

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



СПОДВИЖНИКИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

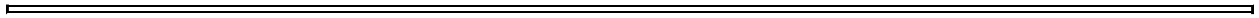
Annotation

Предлагаемый вниманию читателей сборник знакомит с жизнью и революционной деятельностью выдающихся сподвижников Чернышевского — революционных демократов Михаила Михайлова, Николая Шелгунова, братьев Николая и Александра Серно-Соловьевичей, Владимира Обручева, Митрофана Муравского, Сергея Рымаренко, Николая Утина, Петра Заичневского и Сигизмунда Сераковского.

Очерки об этих борцах за революционное преобразование России написаны на основании архивных документов и свидетельств современников.

- [СПОДВИЖНИКИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО](#)
 -
 -
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [В. Прокофьев](#)
 - [В. Тростников](#)
 - [Ю. Авербах](#)
 - [В. Кернаценский](#)
 - [Г. Ионова](#)
 - [Г. Ионова](#)
 - [Я. Новикова ВЛАДИМИР ОБРУЧЕВ](#)
 - [Ю. Куликов](#)
 - [А. Смирнов](#)
 - [КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ПАДЕНИЯ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ\[21\]](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)

- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)



СПОДВИЖНИКИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Сборник



Деятельность великого русского революционера и мыслителя Николая Гавриловича Чернышевского оставила глубокий след в истории нашей Родины. Чернышевский был идейным вдохновителем и вождем назревавшей в России в 60-х годах народной революции. Вокруг него группировались смелые, сильные духом, мужественные люди. Вместе с Н. Г. Чернышевским создавали они революционное подполье, вели пропаганду революционно-демократических идей. Вместе с Чернышевским работали они для дела подготовки революционного восстания, видя в нем единственное средство достижения полной свободы, уничтожения крепостной зависимости крестьян и угнетения.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Герои этой книги — ближайшие ученики и сподвижники Чернышевского, революционные демократы, видные деятели освободительного движения в России.

«Молодыми штурманами будущей бури» назвал их, вслед за Герценом, В. И. Ленин, определяя их место в судьбах русских революций

Далеко не всем известны были имена этих людей в те годы, когда целая армия жандармов и полиции вынуждала их действовать в глубоком подполье, скрываться под псевдонимами, обращаться к народу из крепостных казематов, говорить эзоповским языком. Но решающее слово осталось за историей. На страницах революционной летописи имена Михайлова, Шелгунова, Николая и Александра Серно-Соловьевичей, Владимира и Николая Обручевых, Муравского, Рымаренко, Утина, Заичневского, Сераковского и других революционных демократов по праву занимают почетное место вслед за именами Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Огарева.

Это они в годы революционной ситуации (1859–1861) сплотились в тесное ядро вокруг вождей революционного лагеря. Их усилиями создавалось всероссийское общество «Земля и воля» — прообраз революционной партии, поставившей задачу революционного воспитания народа и руководства крестьянской революцией.

Связанные узами личной дружбы с Чернышевским и Добролюбовым, близкие к заграничному кругу русских революционеров, возглавляемому Герценом и Огаревым, сотрудники «Современника» и корреспонденты «Колокола», они стояли в авангарде общественно-политической жизни России эпохи падения крепостного права.

Пламенные трибуны, выпестованные Чернышевским, умевшим, по словам В. И. Ленина, и в подцензурных статьях воспитывать «настоящих революционеров»^[1], они явились проводниками самых передовых общественных взглядов своего времени

Соратники Чернышевского были последователями русского утопического социализма. Исторически обусловленная социальная утопия, в которой, по характеристике В. И. Ленина, не было «ни грана» научного социализма, вместе с тем несла в себе прогрессивное содержание — идею революционного уничтожения крепостного строя. Их деятельность, как

указывал В. И. Ленин, была направлена на «свержение всех старых властей»^[2].

Величайшей заслугой Чернышевского и его соратников было появление в России массовой бесцензурной печати. В годы бурных крестьянских выступлений на страницах революционных воззваний «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», «К молодому поколению», «Что нужно народу?», «Молодая Россия» и др. они звали народ на вооруженную борьбу против помещиков и царизма, воздействовали в революционном духе на все слои населения, разоблачали российских либералов, формулировали программные и тактические основы революционной партии.

Не довольствуясь печатным словом, они шли в гущу народа с устной пропагандой революции. В пропаганде через воскресные школы активное участие принимали Н. Серно-Соловьевич, Рымаренко. Царские жандармы схватили Заичневского в дни, когда он вел пропаганду среди крестьян Орловской губернии.

Велика и многогранна деятельность соратников Чернышевского в деле создания революционных кружков и обществ в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Казани и других городах. Руководимые Чернышевским, они объединяли эти организации в одно целое. Шелгунов, Михайлов, Серно-Соловьевич еще до реформы вместе с Чернышевским вынашивали план будущей «Земли и воли». В период наиболее активной деятельности этой организации (конец 1861 — первая половина 1862 года) в руководящий центр «Земли и воли» наряду с В. и Н. Курочкиными и А. Слепцовым вошли Рымаренко и Утин. Сераковский вместе с другими деятелями центра лично осуществлял связь Чернышевского и Добролюбова с заграничным отделением «Земли и воли» в Лондоне.

Они были разночинцами, представителями нового поколения революционеров, выходцев из различных сословий. Рядом с Чернышевским и Добролюбовым, вышедшими из среды провинциального духовенства, мы видим людей, порвавших со своим дворянским прошлым. — Шелгунова, Серно-Соловьевичей, Заичневского. Возле Михайлова, внука крепостного крестьянина, стоит фигура сына бедного чиновника Рымаренко. Из купеческой семьи ушел в революцию Утин. На сторону народа перешли представители дворянского служилого офицерства — Обручевы, Сераковский.

Разночинцам и освободительном движении тех лет В. И. Ленин отводит место «главного массового деятеля». Сподвижники Чернышевского смело поднимали возмущенные массы к открытому

протесту и манифестациям, к уличным столкновениям с войсками и полицией. Они держали курс на вооруженную борьбу. Бесстрашными и талантливыми организаторами массовых студенческих выступлений 1861 года были Утин, Рымаренко, Заичневский. Героическое участие в польском вооруженном восстании 1863 года принял славный сын польского народа Сераковский.

В. И. Ленин неустанно разоблачал дворянское и буржуазно-либеральное толкование реформы 1861 года как акта «доброй воли» со стороны помещиков и царского правительства. Он подчеркивал, что падение крепостного права протекало в условиях революционной ситуации. Главным борцом против крепостничества и царизма выступило крепостное крестьянство. Реформа 1861 года, по словам В. И. Ленина, была «побочным продуктом революционной борьбы»^[3].

Революционная ситуация 1859–1861 годов не вылилась в революцию. Определяя причины такого ее исхода, В. И. Ленин указывает, что в России в то время не было еще класса, способного на достаточно сильные «революционные массовые действия»^[4]. Натиск революционной партии на самодержавие был отбит. В обстановке полицейского террора правительство провело реформу «сверху».

Царизм жестоко мстил революционерам за попытку поднять народ против господства помещиков. Соратники Чернышевского разделили участь своего учителя. Мужественно и с достоинством вынесли бесстрашные борцы вражеский террор. В жандармских застенках, казематах Петропавловской крепости, на эшафотах они оставались верными революции, являя последующим поколениям пример непоколебимой стойкости.

По-разному сложилась дальнейшая судьба ближайших соратников Чернышевского. Лишь немногие (например, Владимир и Николай Обручевы) не выдержали напора реакции и отошли от революционной деятельности. В сибирской каторге погибли М. И. Михайлов и Н. А. Серпо-Соловьевич. На эшафоте закончил свой путь Сераковский. В астраханской ссылке умер С. С. Рымаренко.

Оставшиеся в живых продолжали борьбу. Гонимый самодержавием, Н. В. Шелгунов всю жизнь оставался на посту революционного публициста. До конца был верен революционному знамени П. Г. Заичневский, ставший после каторги и ссылки вождем революционного «русского якобинства». Славной страницей в революционной биографии А. А. Серно-Соловьевича и Н. И. Утина было их участие в организации и работе Русской секции I

Интернационала, руководимого К. Марксом и Ф. Энгельсом.

Высоко ценя революционный подвиг смелых сподвижников, Н. Г. Чернышевский запечатлел их лучшие черты на страницах своих произведений.

Художественный материал для создания типа «новых людей», лучших представителей России, людей будущего, великий революционный писатель черпал из своего ближайшего окружения. В образе Рахметова из романа «Что делать?» мы узнаем мысли, характер и поступки самоотверженного Н. А. Серно-Соловьевича, непоколебимого П. Г. Заичневского. Многие черты Н. В. Шелгунова и М. И. Михайлова легли в основу образов Лопухова и Кирсанова. Герой романа «Алферьев» наделен почти портретным сходством с В. А. Обручевым. В романе «Пролог» Чернышевским создан пленительный образ офицера Соколовского, в котором без труда можно узнать Сигизмунда Сераковского.

Революционное движение конца 50-х — начала 60-х годов оставило глубокий след в экономической и общественно-политической жизни России. Его побочным продуктом явилось падение крепостного права. Царская Россия сделала первый шаг по пути превращения феодальной монархии в монархию буржуазную. Чернышевский и его соратники завещали последующим поколениям богатое идейное наследие и боевые революционные традиции. Идеи революционных демократов, по словам В. И. Ленина, «способствовали, — прямо или косвенно, — последующему революционному воспитанию русского народа»^[5].

Столетие, отделяющее нас от эпохи падения крепостного права, отмечено событиями всемирного значения. За этот короткий исторический срок наша страна прошла капиталистический этап своей истории с его последней стадией — империализмом. В России вырос и окреп самый революционный класс — пролетариат, который под руководством Коммунистической партии, через огонь трех революций, впервые в истории человечества привел наш народ к победе социализма.

Оглядываясь на славный путь, пройденный нашей страной на последнее столетие, мы видим у истоков этого стремительного процесса славную плеяду революционеров, которые в героической битве против крепостничества и царизма первыми подняли знамя борьбы против всякой эксплуатации. Ошибочное их представление о том, что крушение крепостного строя и самодержавия разом приведет к уничтожению общественного антагонизма, объясняется исторически обусловленной незрелостью социалистической мысли в России. Оно не снижает объективного значения деятельности революционных «штурманов»,

пролагавших дорогу к более прогрессивным формам экономической жизни России, к истинно научной теории — марксизму, к борьбе пролетариата за коммунизм.

Рассказать широкому кругу читателей о жизни и борьбе ближайших соратников Чернышевского на фоне главных событий эпохи падения крепостного права и составляет задачу предлагаемой книги.

В сборнике представлены биографии далеко не всех видных революционных соратников Чернышевского. Объем издания и недостаточная разработка материалов не позволили посвятить специальных очерков Н. Н. Обручеву, А. А. Слепцову, жизнь и борьба которых в те годы тесно переплетались с деятельностью М. И. Михайлова, Н. А. Серно-Соловьевича, В. А. Обручева и потому отчасти отражены в соответствующих очерках.

Сподвижниками Чернышевского с полным основанием могут быть названы такие деятели «Земли и воли», как братья В. и Н. Курочкины, руководители Московского отделения «Земли и воли» Ю. Мосолов и Н. Шатилов, организаторы Харьковского-Киевского революционного общества Я. Бекман, П. Завадский, П. Ефименко, сподвижник и друг П. Заичневского — П. Аргиропуло, офицеры А. Красовский, И. Жуков и др. В восстании 1863 года, помимо Сераковского, покрыли себя славой А. Потебня, К. Калиновский. Заметный след в революционном и демократическом движении той эпохи оставили Д. Писарев, А. Щапов. Среди демократических публицистов, близких Чернышевскому, известны имена М. Антоновича, Г. Елисеева, Г. Благосветлова.

Предлагаемый сборник построен на документальной основе. Преследуя цель «приоткрыть дверь» в эпоху, показать обстановку революционных будней, изобразить живых героев с их индивидуальными чертами, авторы внесли в очерки элемент беллетризации.

В отдельных случаях конкретные ситуации и диалоги, имеющие вспомогательное значение в раскрытии биографии героев, являются литературной реконструкцией, основанной на косвенных сведениях, почерпнутых из исторических источников. Изредка в изложении некоторых существенных моментов деятельности В. А. Обручева, П. Заичневского и других соратников Чернышевского из-за недостатка источников используются гипотезы, высказанные в исследовательских работах.

Книга о соратниках Чернышевского поможет читателям ближе познакомиться с деятельностью замечательных людей эпохи падения крепостного права.

Ю. Куликов

В. Прокофьев МИХАИЛ МИХАЙЛОВ



Простая телега, запряженная выдавшей виды почтовой лошадкой, глухо гроыхает по булыжнику. Улица круто взбирается в гору. Над ней нависает крепостная стена Нижегородского детинца.

В телеге двое молодых людей. Один «в очках, с длинными, заложенными за уши волосами. Другой— круглолицый, коротко стриженный.

Их пыльные пальто, усталый вид напоминают о дальней дороге, бесконечных ухабах, бессонных почках.

Раннее утро первого дня августа, свежее, ласковое, напоенное запахами лета и прохладой, веющей от большой реки.

Кучер привычно взмахивает кнутом, дергает вожжи: «Но... но же!», однако лошадь не ускоряет шага.

Наконец кончилась гора, лошадь пошла быстрее. Седоки всматриваются в приземистые деревянные дома.

Кажется, этот!

Молодой человек в очках спрыгивает с телеги, бежит к дверям и, не найдя колокольчика, сильно стучит кулаком.

Заспанная кухарка кивает головой куда-то в глубину дома.

Молодые люди проходят во флигель. На пороге в распахнутом халате их встречает черноволосый человек лет двадцати. Он радостно смеется, хватая в объятия гостей и тащит в комнаты.

— Господи, Чернышевский! Да каким счастливым ветром вас занесло в этукую, выражаясь высоким штилем, юдоль провинциального свинства, грязи, скуки?

— Погодите, погодите, друг мой! Прежде всего мы просим снисхождения за столь раннее вторжение, затем объявляем вам, что пробудем в сей провинциальной юдоли два дня, и, в-третьих, познакомьтесь, мой кузен — Саша Пыпин.

— Я рад, очень рад. Михайлов, Михаил Илларионович!

Пыпин в продолжение этой сцены с интересом рассматривает Михайлова, о котором столько слышал от своего брата. Так вот он каков поэт, ходячий справочник по зарубежной литературе, знаток европейских и неевропейских языков и писец 1-го разряда Нижегородского соляного управления.

Он невысок ростом, очень строен, скорее даже худ, невероятно подвижен. Но больше всего Пыпина поражает лицо Михайлова. Оно просто страшно; черные густые брови крутыми полукружьями обрамляют узкие, разрезанные по-калмыцки глаза. На них тяжело навалились красноватые веки. Для того чтобы открыть глаза, Михайлов поддегивает брови, поэтому его лицо все время перекашивается гримасами. Большие очки только отчасти скрывают этот недостаток. Пыпин знает, что Михайлов в детстве перенес операцию век. Операция позволила ему видеть, но, конечно, он остался обезображенным па всю жизнь.

Черные-черные с отливом волосы и на редкость красные губы.

В сером халате в сумраке мезонина он напоминает летучую мышь. Пыпина даже передернуло.

Зато голос у Михайлова такого приятного, звучного тембра, что хочется слушать и слушать.

И он говорит без умолку, быстро, образно, остро.

Извинившись перед братьями, Михайлов на минуту скрывается в спальне и выходит оттуда уже без халата, в сильно поношенном сюртуке, сидящем на нем, однако, безукоризненно.

Чернышевский хватается друга в объятия, всматривается, смеется:

— Ты все такой же франт, а я, брат, по-прежнему попович. Знаешь,

Саша, как мы познакомились с ним в университете?

И, не дожидаясь, когда Пыпин скажет «знаю», Чернышевский уже в который раз с удовольствием рассказывает, как на первой же лекции Михайлов обратил внимание на бледненького близорукого студента в сереньком форменном сюртуке.

— Вы, вероятно, второгодник? — спросил он меня.

— Нет, — говорю, — а вы, должно быть, судите об этом по сюртуку?

— Да.

— Так он с чужого плеча. Я купил его на толкучке.

Михайлов смеется раскатисто, заразительно, Чернышевский — сдержанно, но глаза его светятся радостью.

С этого сюртука началось знакомство, которое теперь, с годами, стало тесной дружбой людей с одними мыслями, одними целями, едиными взглядами на жизнь.

— Но тебе пора в управление, — Чернышевский говорит Михайлову то «ты», то «вы».

— Как бы не так! Пока вы у меня, я для управления не существую. Скажусь больным...

— А поверят? — с опаской спрашивает Пыпин.

— Ха! Обязаны поверить представителю благородного российского дворянства, потомку князей.

Пыпин смотрит на Михайлова с недоумением.

— Да, ваш кузен, наверное, и не знает, что по линии матери я прихожусь внуком генерал-лейтенанту Уракову, «киргизскому» князю, а со стороны отца — я потомок крепостных. Вот и получается, что слову князя в соляном управлении поверить обязаны, ну, а как крепостная bestия, я могу и обмануть начальство.

Пыпин только теперь понял, почему у Михайлова такой косой разрез глаз.

Все, что он сейчас услышал, пробудило любопытство.

Между тем Чернышевский разгружал телегу от домашних припасов, которыми его заботливая мать снабдила братьев на дорогу.

За завтраком, затянувшимся далеко за полдень, Михайлов и Чернышевский настроились лирически и все больше вспоминали свои петербургские дни.

Михайлов говорил о них с грустью человека, для которого Петербург только прошлое, Чернышевский, вспоминая столицу, мысленно был уже в ней, забыв о Саратове, с которым так недавно и с таким сожалением расставался.

Михаил Илларионович с большим юмором рассказывал, как в 1846 году он отправился в Петербург, дабы поступить в университет. Гимназии ему окончить не пришлось, а посему предстояло выдержать вступительный экзамен.

Михайлов блестяще провалился, будучи плохо подготовленным то курсу казенных наук, и должен был довольствоваться местом вольнослушателя.

— Вы знаете, моя петербургская жизнь напоминает мне гору, по которой вы добирались сюда. И я катился с нее неудержимо вниз. Прибыл в столицу этаким фертом. Квартиру снял на Невском, у своего же бывшего гувернера-француза. Платье от лучшего портного. Но истратился быстро и перебрался на Гороховую, но и на этом склоне не удержался, а скатился к самому концу Вознесенского проспекта. Денег после смерти батюшки совсем не осталось. Вотчин у выслужившегося вольноотпущенного крестьянина не было, а детишки были, были и кое-какие долги. Так на Вознесенском и завершилась моя карьера студента.

Чернышевскому в этих словах слышатся горечь, сожаление об университете. А стоит ли он того? Михайлов слишком недолго пробыл в его стенах, и поэтому ему и по сей день представляется, что это храм науки. А на деле — та же казенная богадельня или скорее казарма, из которой изгнано все живое. Казарма и канцелярия — вот опора наук. И, конечно, священное писание. Оно неистребимо, им прикрывается убожество чинуш в профессорском звании, оно, как талисман, охраняет от крайностей, столь нетерпимых правительством.

— Поверите ли, ведь так же, как и в двадцатых годах, некоторые, с позволения сказать, профессора определяют гипотенузу в прямоугольном треугольнике как «символ сретения правды и мира, правосудия и любви через ходатая бога и человека, соединившего горнее с дольным, небесное с земным». Вот и выведите отсюда катеты! — под общий хохот заканчивает Чернышевский. Да, но что приобрел Михайлов, устроившись через дядюшку писцом в соляное управление? Если смотреть с точки зрения чиновничьей карьеры, то он преуспевает, как всякий добросовестный служака, которому совершенно чужды интересы порученного дела. Из писца 1-го разряда его в феврале этого 1850 года произвели в коллежские регистраторы, а в ближайшем будущем ему обещана должность столоначальника.

Но разве к этому он стремился, для этого изучил почти все европейские языки, западную литературу?

Нет, его поприще — изящная словесность, поэзия.

Чернышевский заметил, как постепенно к концу завтрака Михайлов стал задумчивее, он уже реже смеется.

— А как ваши занятия поэзией, беллетристикой? Кое-что из переводов ваших мы читали в «Литературной газете», рассказы в «Иллюстрации» и даже, как ни странно, в «Москвитянине».

Михайлов оживился. Значит, Чернышевский все время следит за его работой, его стихи, переводы из Гейне, Гёте не прошли незамеченными?

Это льстит самолюбию поэта. А он самолюбив, хотя и добр до бесконечности.

И как это Николай Гаврилович не понимает, что печататься в «Москвитянине» его заставляют свирепости цензуры. Ведь «Литературную газету» прикрыли, что же прикажете делать? А идейно он чужд всеядному «Москвитянину», который все более и более склоняется к «искусству для искусства».

Чернышевский в этом не сомневается. Он на всю жизнь останется благодарным Михайлову за тот, так сказать, первый толчок на пути к развитию, который дал ему Михаил Илларионович.

Друзья смеются, когда хозяин рассказывает, как Михайлов, значительно раньше, чем Чернышевский, освободившийся от религиозных предрассудков, яростно нападал на попов и вообще на духовенство, а потом, вспомнив, что Николай Гаврилович происходит из семьи священника, очень любит и уважает своего отца, тут же просил прощения, ходил целый день мрачный и злился на себя.

Сейчас это все в прошлом, над этим можно только посмеяться, а тогда это была трагедия начинающейся дружбы.

Михайлов стольким обязан Чернышевскому. Да, да, это не лесть и не красивые слова. Если бы не его ободряющие письма сюда, в Нижний, если бы не его энергия, которой хватало на многих, то он, наверное, бы опился, бросил к черту всякие занятия и сделался бы прозябающим тунеядцем.

Он и сейчас иногда испытывает приступы апатического отчаяния. Чем сильнее он любит свою родину, чем полнее осознает свои обязанности гражданина, тем бездоннее кажется ему та пропасть, в которую царизм влечет Россию. И он не знает, как уберечь отчизну.

Чернышевский слушает внимательно, изредка поглядывая на брата. Для Пыпина такие речи в новость, и вообще для своих лет он слишком благонамеренно настроен.

А вот Михайлов?

Тот и в университетские годы был проникнут духом просветительства и демократизма. Видимо, не перебродила в нем кровь деда. Да и дай бог,

чтобы не перебродила никогда.

«Какими разными путями, — думает Николай Гаврилович, — люди приходят к сознанию необходимости борьбы?» Сам он шел через историю, через знакомство с петрашевцем Ханьковым, наконец, через те события, которые так недавно и так трагично завершили французскую революцию 1848 года.

А у Михайлова революционная идея впиталась в душу с детскими рассказами няни и тетки — бывшей крепостной, с семейным преданием о деде Михаиле Максимовиче, крепостном симбирской и оренбургской помещицы Надежды Ивановны Куроедовой. Это ее изобразил С. Аксаков в «Семейной хронике» под именем Прасковьи Ивановны Багровой.

После смерти Куроедовой Михаил Максимович должен был получить вольную.

Но он не знал, как оформляется «вольная бумага», и наследники помещика его закрепостили вновь. Михаил Максимович протестовал. Его наказали. Наследник Куроедов вообще отличался жестокостью невообразимой, и кто-то из крепостных отравил «изверга». В село была введена воинская команда. Скорый суд, и Михаил Максимович в остроге. Там его засекли насмерть.

Чернышевский не раз слышал эту жуткую историю от самого Михайлова, не скрыл от него друг и завещание отца: «чтоб он помнил историю своего деда, никогда не делался барином и стоял за крестьян».

Нет, Михайлов не стал барином. Хотя его отец был отпущен на волю, выслужился и получил дворянство для себя и своих детей, но Михаил Илларионович никогда не забывал поколений предков — крепостных крестьян. Не забыл он и наставлений первого учителя — ссыльного студента; тот говорил «о господстве зла на земле, о необходимости непримиримой вражды к нему, о святости борьбы, страдании и гибели за благо родины и человечества».

В далекой Илецкой защите, где прошло его детство, был каторжный соляной карьер. Каторжники были для мальчика людьми из внешнего мира, каторжники стали и его первыми друзьями.

А ведь среди них было так много схожих судьбою с дедом. Омерзительные условия крепостнической неволи превратили их в каторжан. Это он понял очень рано и уже никогда не забывал.

Михайлов очнулся от невеселых дум. Он совсем забыл, что у него гости, хотя гости чувствовали себя как дома. После долгой, утомительной дороги, волнений встречи они спали спокойным оном молодости.

А когда вечерняя заря отбросила причудливые тени на вершину крутого берега, сползла вместе с ними к воде и тени преломились, стали струиться в тихих всплесках волжской воды, Михайлов, умывшись, переодевшись, растолкал братьев.

Вечер располагал к задушевной беседе.

Чернышевский попросил Михайлова почитать что-либо новое из того, что он написал в последнее время. Зажгли свечи. Пыпин по старой, детской привычке забрался с ногами в кресло, Чернышевский опустил голову на руки.

Михайлов читал превосходно.

Это была только что оконченная комедия «Тетушка». Тунеядцы из дворян, творящие произвол и насилие вперемежку с молитвой, проходимцы папы осмеивались с поистине вольтеровским сарказмом. Чернышевский отметил про себя, что перо Михайлова в этой комедии резко заострилось. Он вспомнил ранние стихи поэта, их мягкость, задушевную лирику. Куда там! Злая сатира! И какое великолепное знание помещичьего и крестьянского быта, как будто комедия списана с натуры!

Хотелось слушать и слушать, смеяться и плакать.

Михайлов кончил. Встал, открыл ящик комода и, приподняв белье, засунул рукопись на дно. Пыпин удивленно посмотрел на брата. Чернышевский хорошо понимал Михайлова.

Эту комедию цензура не пропустит. И тут же у него появилась мысль взять рукопись с собой в Петербург, прочесть ее в кружке Иринарха Введенского, где собиралась демократически настроенная молодежь, литераторы, журналисты, педагоги.

Михайлов согласился.

Он подготовил для друзей сюрприз «на закуску». Оказывается, им начата большая повесть. Пока он не знает, как она будет называться, условно — «Адам Адамыч». Написана только первая глава, и если слушатели не устали, то он прочтет ее.

Пыпин поудобнее усаживается в кресле.

Провинциальный уездный городок Забубеньевск. Местное «общество», гоголевские типажи, так и отдает запахами шинели Акакия Акакиевича. Полемически остро, с издевкой описываются ахи и вздохи романтических пустышек. И с какой силой, как реалистично он изображает

мерзости жизни, пороки помещиков и чиновников, их скотское существование!

Чернышевский просто в восторге. Михаил Илларионович обязан как можно скорее закончить повесть.

Какое дарование, какой острый взгляд! Нет, этому маленькому человеку уготована большая будущность.

Спустя день телега увозила братьев в Петербург. Михайлов долго шел рядом, слушая, как Чернышевский развивает планы его, Михайлова, переезда в столицу, с тем чтобы выдержать испытательные экзамены и с помощью Чернышевского, друзей получить преподавательское место.

Михайлову и хочется верить и не верится в проекты друга, только он знает одно — преподавателем ему не быть.

*

«Адам Адамыч» увидел свет только в следующем, 1851 году и имел огромный успех. Повесть была замечена критикой, вокруг нее разгорелись дебаты. М. Погодин, издававший «Москвитянина» и познакомившийся с Михайловым в одну из поездок на ярмарку в Нижний, был и сам не рад, что напечатал ее.

«Современник» встретил «Адама Адамыча» хвалебной статьей: это замечательное произведение, автор его обладает «дарованием несомненным». Зато А. Григорьев, критик того же «Москвитянина», злобно шипел: Михайлов «ударился в крайность».

Григорьеву не по душе, что повесть написана по-гоголевски, что автор выворачивает наизнанку всю мерзость крепостной действительности и бичует ее, заставляя читателя горько смеяться. С точки зрения Григорьева, это не искусство.

Родственник Михайлова В. Даль, через которого, собственно, и произошло знакомство Михаила Илларионовича с Погодиным, счел своим долгом отписать к издателю письмо с извинениями за автора. Кто же знал, что он создаст эту «непристойную», «грязную» повестушку?

Успех окрылил Михайлова. Он вошел в литературу и может жить на гонорары!

Прощай, соляное управление, должность столоначальника и Нижний Новгород. Его место в центре, в Петербурге.

Начальник соляного управления не удерживал Михайлова. Но, узнав,

что тот собирается выйти в отставку в двадцать три года, при чине губернского секретаря, был потрясен. Потерять казенное место? Жить неизвестно чем и как! Нет, он положительно не понимает современную молодежь.

А отставной губернский секретарь уже в столице.

Обидно, что Чернышевский вернулся в Саратов и преподает в гимназии.

Ничего, теперь Михайлов будет вытаскивать друга из «саратовской глуши». А пока, в письмах, они будут делиться мыслями и настроениями. Их переписка такая же теплая, откровенная, как и раньше. Михайлов советуется с Чернышевским. От него получает характеристики людей, с которыми следует в первую очередь познакомиться.

Михайлов жалуется на трудности. Оказывается, не так-то просто обеспечить себе сносное существование литературными заработками.

А ведь, чего греха таить, писатель любит комфорт, любит хорошо одеться, у него есть страсть — книги. На них тратится уйма денег.

Но Михайлов необыкновенно трудолюбив, прямо-таки «рьян к работе». Он готов сидеть день и ночь; издатели ценят его аккуратность, добросовестность. Он никогда не подводит. Это так неожиданно и так приятно!

Михайлов не хочет заниматься литературной поденщиной ради денег. Он помнит заветы Белинского, которого так тщательно, с таким восторгом и преклонением изучал в годы «нижегородского соления».

Настоящий писатель прежде всего учитель. А журналы, книги — его кафедра, его трибуна. И нечего с этого помоста проповедовать «плаксивое бессилие», восторженно сюсюкать над цветочками и лепестками или слюняво негодовать на пороки, которые волею самого же писателя наказуются, — добродетель, конечно же, торжествует.

Нет, писатель должен обладать «силой поэтического чувства, глубоким, сердечным пониманием лишений и нужд, печалей и радостей народных».

Вокруг царят произвол и насилие, невежество и надругательство над всеми и всяческими человеческими правами. Значит, долг писателя, долг литературы вмешиваться в эту жизнь, бороться с «дикостью, произволом, невежеством». Пока идеалы поэта — расплывчатое марево чего-то светлого, счастливого, торжество разума, просвещения, справедливости. Мир должен быть обновлен, в нем должны господствовать «любовь и истины законы». Он и теперь и всегда демократ. Его слово, его стихи, «вся его жизнь, если понадобится, принадлежат народу.

И Михайлов пишет, пишет, пишет.

Он удивительно плодovit. Стихи, переводы, повести, рассказы...

Он пересматривает свое «литературное прошлое». Первые его стихотворные опыты кажутся теперь «эпигонскими». Стишки — «пустыми, слезливыми».

Ему давно стали чужды романтические настроения героя с душой «печальной и холодной».

И в эти мрачные дни 1852 года, когда цензурный гнет не позволяет сказать ни одного живого, гневного слова, Михайлов отказывается от «чистой лирики» и обращается к политической теме.

Прощание с прошлым, с романтикой не было овеяно грустью. Поэт издевается над «чувствительным романом», место которого не на полках книг, а под подушкой слезливой захолустной мещаночки.

Он пишет злую пародию на себя в прошлом и на лирику Фета — «чувствительный» роман «Камелия».

Пока хватит лирики. Быть может, потом, когда-нибудь, он и вернется к ней, а сейчас переводы, гражданский пафос и проза, проза!

*

Петербургский день наступает обычно поздно. Михайлов же привык вставать в семь утра и работать на свежую голову. Вот и сегодня. Утро еще не занималось, а на столе потрескивает свеча. Откинувшись на спинку кресла, он, как школьник, готовящийся к экзаменам, проверяет себя. Готов ли он к предстоящей встрече?

Встреча не с кем-нибудь, с Некрасовым!

Сколько дум, поисков, чудесных взлетов фантазии и тяжелых переживаний гражданина, патриота вызывает это имя! Ведь Михайлов пытался подражать Некрасову. Его «Охотник», «Современный гидальго» не что иное, как некрасовская тема разоблачения бесправия крестьян и ужасов крепостничества. Но разве ему угнаться за этим колоссом? И к тому же он чувствует в себе достаточно сил, чтобы идти своей дорогой.

Некрасов стоит во главе «Современника». Что бы там ни говорили, а это лучший журнал России. Печататься в нем — большая честь для писателя. Вот когда литератор действительно обретает трибуну.

В приемной редакции «Современника» Михайлова встретил Панаев, который формально был издателем журнала.

— Некрасов выйдет через несколько минут.

И действительно, вскоре в кабинет вошел мужчина, еще молодой, лет 30–32, немного сгорбленный, с опущенными плечами. Его слабые шажки, невнятный тихий голос, опавший стан поразили Михайлова. Он представлял Некрасова другим, во всяком случае могучим, с развернутой грудью, вроде былинного героя.

Некрасов тепло отозвался об «Адаме Адамыче», рассказах и стихах Михайлова. Этот хилый, больной человек обладал удивительной способностью видеть в людях самую сущность их души, умением определять будущее людей. И он редко ошибался.

Поэтому так просто, так откровенно складывалась их беседа. Отныне Михайлов может всегда рассчитывать на то, что его переводы, критические статьи и беллетристические произведения с радостью будут встречены редакцией «Современника» и на страницах этого журнала они всегда найдут место.

Некрасов разглядел в Михайлове не только незаменимого сотрудника, но и человека, искренне и горячо преданного интересам и успехам «Современника».

Это был друг журнала, и ему суждено было стать другом тех, кто его издавал.

*

Чернышевский писал из Саратова, что его карьера преподавателя гимназии окончилась печально и что через некоторое время он собирается перебраться в Петербург. Михайлов всячески поддерживает Николая Гавриловича в этом стремлении. Тем более что Михайлов успел познакомиться со многими интересными людьми, которые будут полезны для Чернышевского, и прежде всего с издателями и писателями — Я. Полонским, поэтом и переводчиком Н. Гербелем, А. Писемским, А. Майковым и — что, конечно, самое важное — с И. Тургеневым.

Михаил Илларионович чувствовал, что все к нему хорошо относятся, помогают, чем могут, и, не зная, чему это приписать, считал, что его новые знакомые какие-то необыкновенные люди. Между тем его собственное душевное обаяние, доброта привлекали к нему людей. Чернышевский прямо говорил, что «не любить его нельзя, потому что у него слишком доброе сердце».

В присутствии Михайлова, зараженные его «успокоительной мягкостью», «внутренней красотой», люди становились как будто добрее, приветливее. Литературная молодежь, в круг которой Михайлов очень быстро вошел, с восторгом отнеслась к этому человеку, готовому всегда «жертвовать собою для других, для тех идей, которые он считал справедливыми и гуманными».

Чернышевский приехал в столицу в начале мая 1853 года с молодой красавицей женой, счастливый и опечаленный. У него внезапно умерла мать.

Николай Гаврилович решил избрать себе ученую карьеру. Он будет готовить магистерскую диссертацию, хотя тема пока еще не уточнена.

Михайлов рад за друга, но в душе уверен, что Чернышевский так или иначе займется журналистикой. Ведь он такой тонкий ценитель литературы, так хорошо умеет видеть в явлениях искусства явления жизни. И только журналистика поможет ему высказать те передовые мысли, которыми, как знал Михайлов, Чернышевский переполнен.

Михаил Илларионович, как человек очень подвижного ума, впечатлительный, увлекающийся, не только работал и работал до одури, но и старался впитать в себя все то новое, что давала ему столичная жизнь. Он исследовал характеры, справедливо считая, что писатель должен работать <по методу ученого и объектом его исследований должны быть характер и душа людей. А души и характеры — разные. Например, эти «шалопаи» Яков Полонский, Александр Дружинин, Дмитрий Григорович. Они частенько устраивают холостые пирушки, балы, веселые ужины.

Михайлов с ними. Он смеется, острит и мистифицирует дам, которых называет почему-то «доннами». И наблюдает, наблюдает, чтобы потом воплотить в образах увиденное. «Донны» уверены, что этот веселый, остроумный поэт страшный сердцеед. Михайлов их не разубеждал, наоборот, где-нибудь на балу, уединившись с «донной», он по секрету рассказывал об очередном своем походе, тут же экспромтом сочинял стихи, якобы посвященные даме сердца, а потом с усмешкой наблюдал, как сказанное «по секрету» становилось достоянием всех.

А за заставами Петербурга, за околицей «большой деревни» — Москвы, на необозримых пространствах Российской империи, там, где не читали стихов и не умели вообще читать, в курных избах и вонючих фабричных бараках, на барщине и в рудниках свершалось то новое, что так волновало передовых людей России, о чем спорили в литературных салонах, перед чем дрожали дворцы: свершалась гибель старого,

крепостнического строя и вызревали новые, более прогрессивные буржуазные отношения.

Крепостной строй трещал по всем швам, трещал уже более полу столетия. И как ни старался царизм замазать трещины, поддержать покосившуюся громаду всевозможными административными полумерами, она оседала и оседала, угрожая похоронить под своими обломками и монархию, и помещичье землевладение, и всю сложную перепутавшуюся военно-бюрократическую надстройку.

Сто тысяч маленьких и покрупнее «князьков», «царьков» — помещиков — подгребли под себя почти всю удобную для пахоты землю. Они владели не только землей, владели они и «крещеной собственностью» — крепостными крестьянами. Крепостной, посаженный на участок помещичьей земли, был основой благосостояния своего барина. Он же поил и кормил, одевал и набивал деньгами кошельки всего класса дворян, на его плечах держалось здание помещичьей империи.

Крепостной своим инвентарем обрабатывал помещичью землю. И работал недобросовестно. На барщину его выгоняли палкой, его приковывали цепями к плугу, надевали ему на шею деревянные колодки с острыми гвоздями, чтобы он не мог прилечь, вместо того чтобы пахать, сеять, косить, убирать.

У него был участок земли, который он не мог обрабатывать, так как помещик оставлял ему для себя только ночь. И он жил впроголодь, питался корой, умирал. И не мог уйти от помещика, так как был его вещью, собственностью. Его порол, над ним измывались потехи ради, его продавали и покупали, меняли на борзых, дарили в придачу к каретам, лошадям, собакам.

Так было издревле.

Но и в вонючей, клопиной деревне совершенствовалась техника, росли рыночные связи, возникала кустарно-промышленная деятельность.

Россия не могла отставать от века, но она отставала. А век XIX был уже веком бурного развития капиталистического производства в таких странах, как Англия, Франция. Фабричные трубы росли быстрее колоколен, и заводские гудки раньше колоколов будили сонные города.

И в России, несмотря на яростное сопротивление царизма вкупе с помещиками, строились железные дороги, возникали промышленные предприятия. Товарно-денежные отношения врывались в натуральные хозяйства, заставляя помещика изыскивать новые источники получения денег.

Помещик стал производить хлеб на продажу. Стремясь получить как

можно больше этого хлеба, он усиливал эксплуатацию крепостного, сгонял его с наделных участков земли, распахивал их, тем самым подрывая самую основу натурально-крепостнического хозяйства — «наделение основного производителя землей».

Не все помещики могли приспособиться к товарно-денежным отношениям. Многие (разорялись, закладывали и перезакладывали свои земли, продавали их разбогатевшим крестьянам или купцам.

Усиление феодального гнета, обезземеливание мужика усиливали и крестьянское движение.

Неуклонно из года в год число крестьянских волнений росло. То там, то здесь, то в Пензенской, то в Орловской, в Курской и Казанской губерниях, в Прибалтике и Белоруссии крестьяне поджигали помещичьи усадьбы, убивали бар, растаскивали инвентарь, зерно. Крестьяне убегали от своих хозяев или, собравшись воедино, вдруг предъявляли властям требование заменить чиновничье управление мирским, крестьянским.

Вопрос о крепостном праве стал главным вопросом — вопросом номер один — в царствование Николая I. Царь и его присные понимали, что крепостное право — это пороховой погреб у подножья трона, и вся вторая четверть XIX века ушла на то, чтобы как-то решить этот «проклятый крестьянский вопрос». Но решить его можно было, только уничтожив крепостничество, передав землю крестьянам. А разве на это могли согласиться царь и помещики? Они не хотели даже куцых реформ. Хотя реформы — это путь, уже опробованный Западом.

Но был и другой путь, путь революционный. И на этот путь звали крестьян революционеры-демократы — Белинский, Герцен, Огарев. О необходимости революционным путем, крестьянской революцией решить «крестьянский вопрос» уже в начале 50-х годов думал и Чернышевский.

Крестьянской революции страшились дворяне, ее призрак всю жизнь преследовал царя.

А революционные штормы в Западной Европе прибывали к русским берегам обломки корон, изодранные порфиры. Рушились троны, стоявшие столетиями, и чтобы русское самодержавие могло «властвовать внутри страны, царизм во внешних сношениях должен был не только быть непобедимым, но и непрерывно одерживать победы, он должен был уметь вознаграждать безусловную покорность своих подданных шовинистическим угаром побед, все новыми и новыми завоеваниями»^[6].

И грянула война. Восточная война с Турцией. Николай I рассчитывал быстро расправиться с этим «больным человеком» и был уверен, что Англия не выступит, а Франция без Англии промолчит. Об остальных он не беспокоился.

Но его расчеты не оправдались.

Отсталая, крепостническая Россия осталась с глазу на глаз с передовыми капиталистическими странами. Это была безнадежная война. Но в начале ее не многие понимали, чем она должна закончиться, и шовинистический угар охватил общество.

В литературных салонах распевали песенку Вильбоа на слова неизвестного автора:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.
Вдохновлен его отвагой,
И француз за ним туда ж,
Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: «Allons, courage!»
Полно, братцы! На смех свету,
Не оставайтесь в дураках,
Мы видали шпагу эту
И не в таких руках.
Если дядюшка бесславно
Из Руси вернулся вспять,
Так племяннику подавно
И вдали несдобровать...

Талантливые и бесталанные карикатуристы изошрялись в изображениях Наполеона III, Пальмерстона, турок и англичан, газеты были заполнены ура-патриотическими гимнами.

А Россия, крепостная Россия шагала на войну, на убой.

Михайлов болезненно переживал за русского мужика, идущего воевать «неведомые Палестины». Его отрывали от земли, от семьи, чтобы он сложил голову свою неизвестно где и неизвестно за что.

Поэт зло высмеивал историю с ключами от Вифлеемского храма,

которая якобы и стала причиной войны, он обрушил свой гнев на головы тех, кто, напившись и нажравшись до икоты на торжественных банкетах во славу русского воинства, пел гимн царскому солдату и «солдатскому» царю:

Спали, господь, своим огнем
Того, кто в этот год печальный
На общей тризне погребальной,
Как жрец, упившийся вином,
В толпе, рыдающей кругом,
Поет с улыбкою нахальной
Патриотический псалом.

В эти дни Михайлова потянуло опять к переводам. И он начинает регулярно заниматься ими. Среди множества западноевропейских поэтов он отыскивает таких, которые по настроениям, мыслям близки ему.

И прежде всего обращается к Бернсу.

«К полевой мыши, разоренной моим плугом», «К срезанной плугом маргаритке» — ведь это о пахаре, о труженике, который сеет и который гибнет, как беспомощный полевой цветок.

Он ищет поэтов, которые бичуют своими стихами тех, кто порождает нищету и утверждает бесправие. Михайлов против тех, кто «едет», и за тех, кто «везет». Он прямо называет себя «певцом скорбей людских»:

Его скорбеть учило зло —
Тиранство — стон раба —
Столица — фабрика — село —
Острог — дворцы — гроба.

Михайлова тянет к людям, которые так же, как и он, хотят докопаться до источника всех бед, обличить эти несчастья, перестроить жизнь, — хотя он еще не знает как.

А таких людей становилось все больше и больше.

Николай Васильевич Шелгунов, офицер корпуса лесничих, как, впрочем, и вся провинциальная молодежь, стремился поскорее вырваться из Самары, где он служил при управлении казенными землями, и уехать в Петербург.

И не потому, что ему нужен Петербург, а потому, что он сам может понадобиться столице. Его стремление разделял и чиновник удельной конторы, восторженный поклонник русской старины П. П. Пекарский.

Он называл Петербург «единственной точкой России, где можно жить», мечтал бросить службу чиновника и отдаться историческим изысканиям, а также окунуться в атмосферу борющейся мысли. Пекарский был неутомимым «коллекционером» замечательных людей.

В 1851 году Шелгунов и Пекарский, наконец, вырвались в Петербург.

Пекарский стал для Шелгунова своеобразным фатумом, перстом судьбы. Это он открыл ему Чернышевского. Хотя первое впечатление от встречи с Николаем Гавриловичем было у Шелгунова смутным. Весь вечер кто-то говорил, но не Чернышевский. А он односложно поддакивал «да-с» или «нет-с» и потом быстро ушел.

Шелгунов под влиянием жены Людмилы Петровны решил создать свой маленький салон, в котором могли бы встречаться интересные люди, где можно было говорить без обиняков, салон, в который слетались бы и где оседали новые идеи, контрабандой перебирающиеся из-за рубежа.

Людмила Петровна Шелгунова прекрасно подходила к роли «русской Рекамье», как величали ее злые языки, желая уязвить эту живую, общительную, хотя и далеко не красивую молодую женщину.

В просторной квартире гостеприимной хозяйки вскоре появились музыканты. Людмила Петровна великолепно играла на рояле и была тонкой ценительницей музыки.

Пекарский, живший тут же, в квартире Шелгуновых, убегал в Публичную библиотеку, так как музыка мешала ему работать. Николай Васильевич терпеливо слушал, хотя предпочел бы, чтобы комнаты были наполнены не звуками рояля, а голосами спорящих.

Но Людмила Петровна быстро соскучилась в обществе музыкантов и как-то пожаловалась на это Пекарскому.

— Ах так, прекрасно! На днях мы едем в маскарад, в Благородное собрание.

— Ну что же я буду там делать?

— Интриговать, и я вам скажу кого.

Пекарский рассказал, что встретил на днях своего земляка, с которым

был знаком в Уфе, когда тот держал экзамен за гимназию. Это беллетрист, сотрудник «Современника» и «Отечественных записок» — Михаил Михайлов.

Все было обставлено так, как этого требуют маскарадные интриги. Михайлов получил раздушенную записку на французском языке и в назначенный день был на Литейном. Он знал только пароль: «Уфа».

И «Уфа» появилась. Она болтала без умолку, рассказала поэту о его родных, знакомых, вспоминала улицы, перемывала косточки всем уфимским барышням, а потом благополучно скрылась.

Михайлов был заинтригован. На следующий же день он отправился к Пекарскому, чтобы вместе с ним выяснить лицо таинственной маски.

«Коварный антиквар» предупредил Шелгунову, и она, стоя за дверью, слышала все, что говорил поэт. Петр Петрович Пекарский хохотал до безумия, но Михайлов так и не догадался, что эта интрига его рук дело.

Шла зима, маскарады продолжались, и та же маска уже трижды успешно интриговала поэта.

Но вот однажды на балу, в том же Благородном собрании, оказался Чернышевский с Ольгой Сократовной. Чернышевский быстро разгадал маску, и знакомство Михайлова с Шелгуновой состоялось. Оно очень скоро перешло в дружбу.

Михайлов жил вместе с Яковом Полонским, не имел от него секретов, поверял ему все свои мысли, горести и печали.

Поверил и свою любовь.

Нет, нет, это не мимолетное увлечение, не интрижка. Он влюблен, влюблен в Шелгунову и чувствует себя преступником перед Николаем Васильевичем. А у него с ним великолепные, дружеские отношения, близость духовная, идейная. Он просто в растерянности. Может быть, Полонский ему поможет?

Полонский старался излечить друга от этой любви. Людмила Петровна казалась ему женщиной холодной, кокеткой, которая не прочь вскружить и ему, Полонскому, голову. К тому же он противник новых идей о праве на свободное чувство. И, к слову сказать, ему не нравятся женщины, склонные к полноте, не умеющие одеваться и слишком просвещенные.

Михайлов выслушивал длинные проповеди, злился и влюблялся все сильнее и сильнее.

Любовь не мешала работе, тем более что Людмила Петровна также горячо сочувствовала идее освобождения крестьян, была демократкой, поборницей женского равноправия.

Под влиянием этой любви меняется круг жизненных интересов поэта

и даже друзей. Он не порывает со старыми, но еще ближе сходитя с новыми, с людьми, которых представили ему Людмила Петровна и Николай Васильевич.

В ней, как в сиянье дня,
Я увидал, что истинно, что ложно,
Что жизненно, что призрачно, ничтожно
Во мне и вне меня.

Куда девалась «рассеянная жизнь», пирушки у Дружинина и Панаева? Он все время проводит теперь у Шелгуновых. Беседы с Николаем Васильевичем укрепляют в нем убеждение о необходимости радикальных перемен в России. Он глубже всматривается в те стороны жизни, которые замечал раньше только мимоходом.

Он воспринимает теперь жизнь не только как раненный ее несправедливостями человек, но и как представитель нарождающейся плеяды «новых людей».

Это было время «открытий» не только для Михайлова.



Н. Г. Чернышевский.



Н. А. Добролюбов.

Кончалась Крымская война. Кончалась поражением русского царизма. Еще Севастополь держался героизмом простых русских солдат и матросов,

но уже в самых различных слоях русского общества, вплоть до «людей порядочных и умеренных», широко распространились пораженческие настроения.

Падения Севастополя втайне ждали, ждали, «надеясь, что с падением его падет и нынешняя система».

В разгар этого ожидания перемен, словно провозвестник их, внезапно, 18 февраля 1855 года, пришло сообщение: умер император Николай I.

Михайлов был радостно взволнован, хотя некоторые его знакомые искренне горевали. Светские дамы даже плакали. Для них «Николай был легендарным героем, коронованным рыцарем».

В салоне Штакеншнейдер упорно говорили о самоубийстве императора, и это тоже обещало перемены. Если уж этот деспот не вынес горечи поражения, если и он осознал, что причина страшного позора — отсталость России, крепостной строй, то можно думать, что наступит время, когда страна проснется от летаргического сна, что старое уже не может повториться, дорога к нему закрыта.

Это чувство перешло в уверенность после падения Севастополя и заключения тяжелого Парижского мира.

Все очнулись, все стали думать, и всеми овладели критические настроения. Еще ничего не прояснилось, но было ясно: «царизм потерпел жалкое крушение... он скомпрометировал Россию перед всем миром и вместе с тем самого себя — перед Россией. Наступило небывалое отрезвление»^[7].

Это был медовый месяц освобождения от позорного прошлого. И Михайлову казалось, что все до единого полны одной радостью, охвачены одними и теми же надеждами.

Но так казалось не только Михайлову. Даже Чернышевский, который, как и предвидел Михайлов, избрал себе карьеру журналиста, хотя и не отказался от защиты диссертации, даже Чернышевский, вставший во главе отдела критики и библиографии «Современника», говорит о единстве и необходимости взаимного доверия.

Но он не хочет «довольствоваться малым», как не хотят этого и новые люди — разночинцы. Они прорвались к свету сквозь завесу крепостничества, классово-кастовости. Они живут своим трудом, не эксплуатируя, чужого, они отрицают наследие прошлого. «Все традиционное существование, принимавшееся ранее без критики, пошло в переработку. Все — начиная с теоретических вершин, с религиозных воззрений, основ государственного и общественного строя вплоть до житейских обычаев, до костюма и прически волос», — так отмечал в своих

воспоминаниях П. Анненков.

Михайлов чувствовал себя в одном строю с этими «разумными эгоистами», как не слишком удачно окрестил их Чернышевский. Он пересматривал вместе с поколением основы и прежде всего этические основы — брака, семьи, любви.

Людмила Петровна помогала ему в этом. И для него и для нее вопросы личного счастья неразрывно были связаны с проблемами социальных реформ. Они не хотели «счастья в уголку». Их личная судьба — это судьба всех, и если они переворачивают наизнанку укрепившиеся веками устои брака и любви, то только потому, что вся жизнь людей должна быть теперь раскрепощена.

Николай Васильевич Шелгунов тяжело переживал «раскрепощение» своей жены. Но разве не он первый внушал ей эти мысли еще до замужества? Она полюбила Михайлова, что же, он не будет насиловать ее чувства, отойдет в сторону. Но разве это означает, что они должны разойтись, разве Михайлов ему стал меньше дорог как друг и единомышленник?

Нет, сто тысяч раз нет!

*

10 мая 1855 года Чернышевский защищает свою диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности». Михайлов, познакомившийся с нею раньше, целиком соглашается с ее выводами и очень скептически относится к тому, что диссертант получит искомую степень магистра.

Действительность выше искусства. Нет искусства, оторванного от жизни, питающегося бесплодной фантазией. Не должно быть «искусства для искусства». Художник обязан воспроизводить жизнь во всем ее многообразии — это были заветы, эстетическая платформа «новых людей». И Михайлов всем своим творчеством стремится на практике воплотить материалистическую эстетику Чернышевского — в очерках, рассказах, стихах, критических статьях.

В полуофициальных кругах упорно говорили о необходимости освобождения крестьян. Освобождения, конечно, сверху.

И сразу же вся пресса страны подхватила, стала разглядывать со всех сторон пути и возможности отмены крепостного права. Правительственные

и официальные издания вроде «Военного сборника», «Морского сборника» не остались в стороне. Они завели отделы критики и библиографии, в состав редакции вошли передовые литераторы.

Интерес к крестьянину и народной жизни, быту, нравам того, кого собирались уравнивать в правах с «просвещенными классами», возрос неимоверно. Великий князь Константин Николаевич, управляющий морским министерством на правах министра, предложил осуществить ряд экспедиций для ознакомления с бытом жителей, занимающихся морским делом и рыболовством.

Михаилу Илларионовичу тоже было предложено поехать на родной ему Урал.

Михайлов согласился с радостью, хотя ему и не хотелось расставаться с Шелгуновыми, бросать начатую серьезную работу над переводами Гейне.

Но соприкоснуться с жизнью, воспроизвести ее в очерках, рассказах, романах, как того требует Чернышевский, собрать народные сказы и предания, запомнившиеся ему с детства, обследовать места, где проходили сражения Пугачева, записать предания о нем, о башкирских повстанцах!.. Нет, он не мог устоять!

Михаил Илларионович двинулся в путь. Сначала он поехал в Уфу, потом — в Оренбургскую губернию, а оттуда на Урал.

*

Недаром Наполеон считал русские дороги и русскую грязь одной из стихий, одолевших его, не знавшего поражений. А если прибавить к бесконечным ухабам, рытвинам, снежным заносам отсутствие денег, невозможность иногда по нескольку дней сыскать себе съестного, то можно представить, каково было путешественнику. Морское министерство не позаботилось о присылке средств и продовольствия.

Михайлов пишет Шелгунову: «Если странствовать, то странствовать по своей воле, а лучше всего оставаться с теми, кого любишь».

«Безденежный идеалист» растрчивает последнее на лошадей, на корки хлеба. Именно корки, так как зима в этих местах выдалась голодная.

Да и не первая это было голодуха. На дорогах звенящие от мороза трупы детей, стариков, женщин. Мертвые деревни, над которыми не поднимается ни одного дымка, где не видно тропинок к домам, протоптанных живыми. Помещикам нечем кормить своих крестьян, да они

и не желают тратиться на это «быдло». Проще выгнать со двора, пусть до весны попытаются «христовым именем», а там их вернут обратно, никуда не денутся.

В помещичьих гнездах сытость и довольствие. В зимнюю скуку, когда не поскачешь за десятки верст в гости, единственное развлечение — водка да издевательство над дворовыми. По ним стреляют из пистолета, как по живой мишени, на них испробуют новые пучки розог, выгоняют босиком на мороз...

Встречаются по пути горнорудные предприятия. Люди запряжены в круг и ходят, ходят, ходят, поворачивая колесо для привода к сверлильному станку. Ходят до тех пор, пока перед глазами не начинает вертеться земля и меркнет свет. Тогда ушат ледяной воды и железная кошка возвращают к жизни. А если все же не хватает сил, то для их подъема существует карцер, в котором ни лечь, ни сесть, ни повернуться и сорок градусов мороза.

В башкирских, татарских, казахских селениях поголовная трахома, бытовой сифилис провалил носы у пятилетних детей. Голод такой, что едят сгнившие трупы павших животных, бывают случаи и людоедства. Но регулярно в сопровождении казаков приезжают жирные чиновники собирать бесчисленные подати, чинить суд и расправу.

Летом в степи занимались пожары. Голодные, едва выжившие зимой люди молча, обреченно смотрели на то, как огонь уничтожал посевы, амбары. Он, правда, с трудом одолевает их жалкие жилища — прогнившие бревна почти не горят, а солому с крыш давно съела скотина, но зато нехитрая утварь, одежда, обувь — все идет в пищу огню.

Люди знают, что это смерть. Отчаявшиеся бросаются в пламя.

Вот когда перед Михаилом Илларионовичем во всю необозримую ширь развернулась пропасть народных бедствий, порожденных крепостным правом.

Поэт не только собирает песни и сказы, записывает предания. Он напивается гневом, у него исчезают последние иллюзии насчет возможности освобождения крестьян помещиками. И зреет решение: отдать всего себя, все свои знания, талант борьбе. Только борьба. Без нее гибель. Россию не спасут царь, помещики, не спасет «воля», дарованная сверху. Он в этом убежден.

Теперь его долг убедить и читателей, убедить тех, кому розовый туман либерального словоблудия заслонил действительную жизнь.

Михайлов изучает местные языки и пишет Шелгунову, что это дает ему «возможность собрать много памятников башкирской народной поэзии: сказок, былин и песен, донные неизвестных».

В них Михайлов слышит народную думу, думу неграмотных людей, которые в изустной форме из поколения в поколение передают свои надежды, свое горе, чаяния и страдания.

Он напишет большие историко-этнографические «Очерки Башкирии», в которых даст «стройную этнографическую картину Башкирии, никем обстоятельно не описанной».

Михайлов посещает родную Илецкую защиту, затем живет зиму 1856/57 года в Уральске, наезжает в «киргизские степи».

И всюду одно и то же, одно и то же. Он радуется известиям о восстании десяти тысяч уральских «киргизов». Недовольству казаков. Ведь всюду восставшие идут на бой с одной думой — о воле. Эти восстания перекликаются со всем крестьянским движением, развернувшимся в России как в годы Крымской войны, так особенно после ее окончания. В разоренный войною Таврический край хлынули переселенцы-крестьяне. Они идут семьями, их не пугают войска, преградившие путь к Крыму. Они слышали, что тем, кто переселится сюда, дадут волю. От кого они слышали? От самих себя. Они сами себя уверили в этом. Воля — это значит и земля. Воля — это право быть человеком, а не говорящим инструментом. Воля — это спасение от голодной смерти, от пыток и издевательств помещика. Воля — это будущее их детей, будущее России.

Надежды на то, что волю даст царь, уживаются рядом с памятью о Пугачеве. Крестьяне не забыли, нет, как «батюшка Емельян Иванович да удалой Степан Тимофеевич душегубов и тиранов на земле изводили». Память о вождях крестьянских войн хранят сказы, песни, былины.

Михайлов должен написать еще один очерк — «От Уральска до Гурьева». Он начал оба, но боится, что цензура не пропустит ни одного. «Везде стараюсь, по мере возможности, говорить откровенно, без прикрас, о положении края. Гадостей нет числа», — пишет путешественник Шелгунову. Он теперь и «дышит полнее» и «думает светлее». И обрел тот опыт, которого ему не доставало.

*

Деньги вышли, материал собран. Скорее в Петербург, за письменный стол. У него столько наблюдений, мыслей, что нужны только силы. Его зарисовки помогут Чернышевскому, уже начавшему на страницах «Современника» печатать серию статей об объявленном правительством

«приступе к рассмотрению возможностей освобождения крестьян и выходе их из крепостного состояния».

В Петербурге все «пенится». Опубликован высочайший рескрипт Виленскому генерал-губернатору Назимову, разрешающий дворянам создавать в губерниях дворянские комитеты для обсуждения проектов освобождения крестьян.

И уже намечается некоторое размежевание в «образованном» обществе. Либералы, вчерашние «славянофилы», да и «западники» тоже, жмутся поближе к трону. Они торгуются за меры уступок; и они всецело против крепостного права, но не трогайте монархию!

И, не дай бог, революция.

Даже Герцен еще верит в реформы и не разобрался в той «пакости», которую готовят царь и помещики русскому крестьянину.

Он написал письмо Александру II.

«Государь, — писал Герцен, — дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно, мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора, она стонет в цензурных колодках. Дайте нам вольную речь... Нам есть что сказать миру и своим.

Дайте землю крестьянам — она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братьев, эти страшные следы презрения к человеку. Я стыжусь, как малым мы готовы довольствоваться; мы хотим вещей, в справедливости которых вы так же мало сомневаетесь, как и все...»

Но уже в Лондоне начал выходить «Колокол». Скоро он ударит в набат. Да, это будет «скоро».

Чернышевскому, Некрасову и новому сотруднику «Современника», который пришел в журнал в отсутствие Михайлова, Николаю Александровичу Добролюбову, трудно вести борьбу. Цензура вырезает все, что может напоминать призыв к революции. Она не позволяет обсуждать возню «верхов» вокруг освобождения крестьян. А тут еще либеральные писатели во главе с Тургеневым недовольны направлением журнала, грозятся уйти из него.

Ну и пусть уходят!

«Современник» должен стать рупором крестьянской революции.

Михайлов без колебаний на стороне Чернышевского и Добролюбова. С Николаем Александровичем он очень скоро сдружился.

Но поездка, видимо, не прошла даром. У Михаила Илларионовича начались недомогания, напоминающие приступы тифа, да еще с какими-то невероятными осложнениями.

Михайлов между жизнью и смертью. Людмила Петровна не отходит от него. Он живет у нее в Лисино, где в Лесной академии преподает Шелгунов.

*

Михайлов упорно не поправляется. Из Петербурга приезжал Николай Курочкин, доктор, литератор. Несколько ночей провел он у постели больного. Потом, успокоив Шелгунову, уехал.

Михайлов очень слаб. Но он уже таскает крендели, которые ему никак нельзя есть. И диктует шутливые стихи Полонскому;

В стихах тебе посланье шлю,
О друг Полонский, издалека.
Вот видишь — болен я жестоко.
Бульоны ем, микстуру пью
И огорчен притом глубоко.

.....

Сегодня враг желудок мой
Не мог и супом пообедать...

Только в ноябре, после операции, Михайлову стало лучше. К этому времени Шелгунов обосновался в Петербурге, и Михаил Илларионович стал жить в его квартире под сенью «любви и дружбы». Остаток осени ушел на переводы Шиллера, издание которого готовил Николай Васильевич Гербель. Впрочем, Шиллер — это не главное. Цензура так и не пропустила очерков о Башкирии и Урале. Но Михайлов не сдается — его увлекает работа над стихами Гейне, Томаса Гуда, Гартмана.

В произведениях этих поэтов ему близка не только гармония стиха, но прежде всего гражданский пафос, гимн борьбе, революционному движению.

Михайлов хитрит. Проклятый эзопов язык. Но что поделаешь? С помощью переводов можно обойти цензурные рогатки. И пусть стихи говорят о революционной борьбе в германских княжествах, их поймут и

оценят те, кто стремится к революции в России.

Он переводит Гейне:

Брось свои иносказанья
И гипотезы святыя;
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!
Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

В стихотворениях Гейне Михайлов ощущает созвучные его настроениям мысли.

Он ценит в немецком поэте его острое слово, его демократизм, революционное горение. И создает лучшие, непревзойденные переводы Гейне.

*

У Людмилы Петровны Шелгуновой что-то с ногами. Ее часто мучает почти полный паралич. Ей приходится месяцами лежать в постели. Николай Васильевич хлопочет о заграничной командировке, чтобы предоставить жене длительное лечение на европейских курортах.

Если Шелгуновы едут, то Михайлов тоже двинется за границу, ему хочется «много посмотреть, многому научиться».

Шелгуновы уехали раньше, Михайлов получил паспорт только в июне 1858 года и помчался вслед за ними во Францию.

*

Николай Гаврилович с удовольствием читает «Парижские письма» Михайлова. Он регулярно присылает их в «Современник». Как вырос, идейно окреп за эти годы Михаил Илларионович! Его письма

свидетельствуют об уме пытливом, редкой наблюдательности, политической чуткости. И он прямо-таки неутомим. То в Париже тербит рабочего-поэта и революционера Потье, спорит с поборницей женского равноправия Женни д'Эрикур, то он уже в Трувили или разъезжает по Нормандии. И как только хватает ног, чтобы бегать по выставкам, картинным галереям, танцевать в маскарадах и без усталости дискутировать в литературных салонах? Но от него ничего не укроется. За парадной ширмой благополучия луи-наполеоновской империи он разглядел нищету, каторжный труд, изощренную эксплуатацию. Среди мрака реакции его взоры обращены к простым людям Франции. Он верит в их будущее. Они совершат революцию, как совершат ее дорогие ему русские мужики.

Эти письма уже стяжали ему славу блестящего публициста. Он действительно многому научился и еще больше увидел. Он научился острее ненавидеть. Он увидел, что будущее не за монархией и произволом, не за «денежным мешком». Будущее — республика, равенство всех, уничтожение эксплуатации.

Михайлов прислал в «Современник» большую статью — и даже не статью, а ряд статей — о женщинах, их воспитании и значении в семье и обществе.

Чернышевский живо интересуется этой проблемой. Ведь не кто иной, а он сам на практике, в собственной семейной жизни, неуклонно проводил и проводит идею эмансипации женщины.

«Женщины в университете» — статья превосходная. Но Михайлов слишком увлекся. Право, «женский вопрос» затуманил ему глаза. Ну разве семья — основа общества? Разве переустройство общества начинается с семьи? Нет, семья переустроится, когда переустроится общество, оно само будет этим заниматься.

Но зато как неумолимо, логично Михаил Илларионович расправляется с домашними и зарубежными «домостроевцами» типа Прудона.

«Нас укоряют в недостатке решительности, в отсутствии твердых характеров. Пока женщина не будет идти наравне с нами, мы все будем отставать от движения и лишать его должной силы. Может быть, только в ненормальном положении и воспитании женщины лежит вина тех неурядиц, которые делают наше время переходным и отодвигают нас от цели».

Нужно изменить воспитание женщин, допустить их в гимназии и университеты, уравнивать в гражданских правах с мужчинами.

Говоря о женщинах и их положении, Михайлов говорит вообще о рабстве, подразумевая под ним крепостное право. Говоря об уничтожении

рабства и раскрепощении женщины, он говорит искушенному читателю о необходимости свергнуть крепостничество.

Чернышевский, почти не правя рукописей, сдает их в набор.

Интересно, ведь Михайлов в своих «Парижских письмах» продолжил традиции Герцена.

Заедет ли он к нему в Лондон?

*

Лондон. Парламент и королевский дворец. Въевшаяся, вмывшаяся в камень копоть на пилястрах Вестминстерского аббатства, подстриженные парки. Омнибусы. Сходки воров. Профессиональные союзы рабочих. И главное — Герцен. Месяц с ним и Огаревым.

Герцен интересуется буквально всем. Но его особо волнует судьба родины, России, русского крестьянства. Он уже плохо верит в «благоденствие реформ», однако и крестьянская революция кажется Искандеру чем-то желанным, но мало реальным.

Месяц споров, месяц планов, которые развивает Огарев. Он практик и считает, что революционерам России нужна прежде всего партия. Подпольная. С программой, с законспирированным ядром.

Михайлов вспоминает Чернышевского. Он глава Шелгунов, Серно-Соловьевичи, верно, найдутся и тысячи других.

Но многое неясно. И поэтому Герцен не говорит последнего слова.

Впечатлений уйма.

Он должен обо всем рассказать Николаю Гавриловичу.

*

Вернувшись в Петербург, Михаил Илларионович не узнал столицы. Вчерашние друзья и сотрудники «Современника» — Тургенев, Григорович при встрече едва здороваются. Отдел критики целиком в руках Добролюбова, и Чернышевский с Некрасовым не могут нахвалиться «новым Белинским», «русским самородком». Михайлову предложили вести отдел иностранной литературы и стать постоянным сотрудником редакции журнала.

Он и не предполагал, что приобрел такую популярность у себя на родине. Не только «Парижские письма», но и «Лондонские заметки» сделали его в глазах революционно настроенной молодежи одним из руководителей демократического лагеря, уже открыто противопоставившего себя всем скрытым и открытым реакционерам.

На Россию надвигалась крестьянская революция. Удалая, разгульная. С «красными петухами». Более 400 крупных крестьянских волнений за последние 4 года! Брожение среди студентов, недовольство в Финляндии и набатные удары «Колокола», страстные призывы «Современника».

Революция вот-вот грянет. Правительство спешит с реформой. Быть может, с ее помощью удастся предотвратить революционный взрыв.

Уже завершили свою работу губернские дворянские комитеты, редакционные комиссии свели их проекты в общее «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости».

Со дня на день ожидали опубликования «высочайшего манифеста».

К этому дню готовились все. По дорогам России скакали фельдъегерские тройки, неслись специальные поезда, развозя по местам адъютантов и флигель-адъютантов с чрезвычайными полномочиями, в крепостнические клоповники с посвистом и песнями стягивались воинские команды. Официальная пресса давно заказала хвалебные гимны.

Изменился характер вечеров и у Николая Гавриловича. Они по-прежнему шумные, если прислушиваться с улицы, но Ольга Сократовна часто выбегает во двор и внимательно присматривается к прохожим. Как всегда, на этих сборищах много народу, много и новых людей. Николай и Владимир Обручевы, поляк Сигизмунд Сераковский, служащий Государственного совета Николай Серно-Соловьевич.

Идет консолидация сил революционного лагеря. Здесь ожидают, что объявление «воли» может стать исходным пунктом крестьянского восстания. Нельзя допустить, чтобы оно вылилось во вторую пугачевщину. А для этого нужен штаб восстания. И совершенно необходимо привлечь на его сторону лучшую часть офицеров, студенческую молодежь, солдат. Наладить непосредственные связи с крестьянами.

Михайлов понял: наконец настала пора от слов перейти к действию.

Михайлов становится ближайшим сподвижником Чернышевского, и идейное влияние на него Чернышевского безгранично. Кружок Николая Гавриловича, куда вошел и поэт, — это контуры создающегося революционного центра.

Михайлов так же, как и Чернышевский, социалист.

Это был утопический социализм. В его теории решающую роль играла

уверенность, что Россия сумеет перешагнуть через капитализм, миновать его. И сразу, после победы крестьянской революции, на основе исконного крестьянского общежития и коллективистических начал поземельной общины строить новое, социалистическое общество.

Утопия! В ней ни грана научного социализма. Но какая прекрасная, революционная! За нее Михайлов готов умереть.

*

Однажды хмурым декабрьским днем 1860 года в кабинет Михайлова кто-то очень робко постучал.

— Да, да, прошу, войдите!

В комнату проскользнул невысокий молодой человек с очень узким лбом, волосы были острижены под гребенку.

Он протянул Михайлову письмо и скромно сел в предложенное ему кресло.

Письмо было из Москвы от Плещеева, поэта-петрашевца, часто печатавшегося на страницах «Современника». Плещеев рекомендовал Михайлову Всеволода Костомарова, отставного уланского корнета как знатока иностранных языков, даровитого переводчика Гейне.

Костомаров хотел бы кое-какие из своих переводов печатать в «Современнике», и потом он страшно нуждается и не имеет никаких иных доходов, кроме литературных. И на эти доходы он живет с матерью, братом, сестрами.

Михайлов просмотрел переводы. Они были неплохими.

В кабинет вошли Шелгунов и Людмила Петровна. Михайлов представил им гостя.

Разговорились.

Костомаров все время смотрел в пол и говорил как-то отрывисто, но очень многозначительно. Он любил, видимо, прихвастнуть. Михайлов очень корректно подтрунивал над корнетом, и тот вконец разошелся. Вытащил листок, на котором типографским шрифтом было отпечатано стихотворение и стояла подпись: «В. Костомаров».

Стихотворение было смелое, антиправительственное.

Михайлов стал откровеннее с Костомаровым и через несколько дней познакомил его даже с Чернышевским. Николай Гаврилович отнесся к начинающему поэту тепло.

Костомаров уехал в Москву.

*

19 февраля 1861 года, в шестую годовщину своего царствования, Александр II подписал манифест и положение об отмене крепостного права в России.

Россия готовилась справлять широкую масленицу. Реформа же была слишком постной, и-царь побоялся объявить ее в дни, когда в империи пьют и гуляют, берут приступом снежные города.

Царь боялся приступа Зимнего дворца.

5 марта церковный благовест разогнал галок с колоколен. Они носились над селами и городами с тревожным карканьем.

А церкви гремели и гремели, созывая верноподданных прослушать царский манифест.

Слушали молча. Священники в умилении воздевали к куполам руки, помещики, чиновники, «чистая публика», нарушая церковное благочиние, кричали «ура».

А крестьянин по-прежнему молчал и думал. Думал, почесывая затылок. И смолкли восторженные крики. На крестьянина уставились десятки тысяч настороженных глаз. Что он надумает?

«Воля» оказалась похуже прежней неволи. Крестьянина освобождали от земли, с него драли выкуп за «песочек», на который его сгонял помещик. Его ободрали как липку и требовали еще благодарности.

Крестьянин не пошел на радостях в кабак пить водку, и он не хотел по случаю «воли» целоваться с пьяным баринном.

Он думал.

Тяжело.

Угрожающе.

*

Костомаров снова в Петербурге. Теперь он уже на правах друга заезжает к Михайлову и не скрывает от него, что то стихотворение было отпечатано на станке, который приобрели московские студенты с целью

издавать нелегальную литературу.

Господи, как это кстати! Именно сейчас, когда объявлена реформа, революционеры должны иметь возможность открыто говорить со всеми слоями русского общества. Надо показать грабительский характер освобождения, нужно развернуть программу борьбы за настоящую волю, демократическое переустройство России. И в конце концов нужно агитировать за свершение революции.

Сейчас создаются прокламации к крестьянам, солдатам, их нужно размножить. И как это замечательно, если будет своя вольная, бесцензурная типография!

Что же, Костомаров готов наладить печатанье прокламаций в Москве.

Вот только бы деньги...

Михайлов уже у Чернышевского.

Николай Гаврилович отнесся к предложениям Костомарова более сдержанно. Он плохо знает Костомарова, хотя нет оснований не верить ему. Конечно, деньги достать можно, но нужно соблюдать строжайшую конспирацию.

Михайлов более порывист. Он легко увлекается. Он берет на себя организацию печатанья прокламаций. Чернышевский передает ему текст прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».

Михайлов ее тщательно переписывает измененным почерком. Передает Костомарову, который спешит вернуться в Москву.

*

Реже собираются по вечерам друзья в уютной гостиной Шелгуновых. И Михайлов бывает здесь нечасто. Правда, у него большая радость, счастье. Родился сын Миша. И хотя он Михаил Николаевич, но он так похож на него, Михайлова.

У Шелгуновых живет брат Людмилы Петровны — Евгений Михаэлис. Он студент университета. Евгений рассказывает, что студенты организуют тайные кружки.

Романтика молодости и готовность принести себя в жертву для блага народа, юношеское легкомыслие и «страшная» конспирация. Михайлов хорошо понимает, как важно объединить эти кружки под одним руководством. Уберечь революционную молодежь от необдуманных шагов и увлечь ее на нужное дело.

Ему известно и о других студенческих кружках — в горном институте, в технологическом.

Евгений сводит Михайлова с университетским кружком.

Конечно, у всех в голове — реформа. Михайлов явился как раз в тот момент, когда студенты только-только закончили чтение манифеста и возмущенно галдели. Появление Михаила Илларионовича было встречено взрывом восторга. Его попросили поделиться мнением о реформе. Михайлов говорил резко и, как всегда, ядовито.

Реформа — «ловушка» и «обман». Это новая форма закрепощения, худшая, так как она оставила крестьян без земли и тянет из них последнюю копейку. Кому не понятно, что выкупная операция — это банковский жульнический прием. Рассрочка уплаты выкупных денег на 49 лет — зафиксированная кабала на полстолетия. К тому же за это время накопятся проценты, которые крестьяне должны погасить.

Михайлов уже «сжег корабли»: он прямо зовет студентов готовиться к революции.

Как надо, как важно именно сейчас показать, рассказать молодому поколению, во имя чего стоит жить и бороться! Призвать его к борьбе.

Шелгунов считает, что нужно написать прокламацию, и он попытается.

Прокламация «К молодому поколению» была написана в конце зимы 1861 года. Михайлов хотел было передать ее для печатанья Костомарову, вновь приехавшему из Москвы, но у москвичей что-то не ладилось. Шелгунов уже не рад, что его первая прокламация «К солдатам», написанная под большим влиянием прокламации Чернышевского, была отдана Костомарову.

Нет, летом Шелгуновы все равно едут за границу. Михайлов тоже. Он понимает — Николай Васильевич хочет отпечатать прокламацию «К молодому поколению» в типографии Герцена. Михаил Илларионович готов ехать в Лондон, хотя, конечно, насколько большим был бы эффект, если бы прокламация была отпечатана в России, а не в лондонской типографии, хоть она и называется «вольной русской».

*

И снова лето. Снова Лондон. Шелгуновы остались в Париже.

Герцен недоволен прокламацией и уговаривал Михайлова ее не

печатать. Но Михаил Илларионович стоял на своем. Он не согласен с Герценом, ему кажется, что прокламация написана убедительно, только немного длинно и напоминает не воззвание, а статью. Что поделаешь, ведь нужно не только призвать поколение к революционной деятельности, но надо напомнить ему «тени мучеников 14 декабря», дать ему объяснение важнейших экономических и политических аспектов жизни Европы и России.

Много было в этой прокламации путаных, неясных мест. Она была составлена в духе идей «крестьянского социализма» Герцена, но самое главное — звала к революции, звала «революцию на помощь народу».

600 экземпляров отпечатали быстро. Единственно, что поразило Михайлова, так это дата — «сентябрь 1861». Почему сентябрь? Герцен объяснил, что пока Михаил Илларионович доберется до Петербурга, приступит к распространению воззвания, как раз наступит осень.

Но как провезти этот довольно увесистый тюк в Россию, минуя таможенные досмотры?

Решили заложить прокламацию в двойное дно чемодана. Михайлову посоветовали не очень скупиться на чаевые.

Окрыленный, он возвращался в Петербург.

Вот и последняя, столичная таможня. Чиновник устал, ему жарко, Михайлов советует отдохнуть, выпить чего-нибудь этакого...

А теперь скорей на пролетку.

*

Июльская жара подсушила гардины на окнах, запорошила стекла серым налетом пыли, вытеснила из комнат атмосферу уюта, обитаемости.

Михайлов распахнул рамы. Аккуратные стопки корректур, завалившие письменный стол, ожили, зашевелились, напоминая о работе и времени.

Но он так одинок в этой огромной квартире! Шелгуновы приедут только к концу августа. А он уже скучает, скучает по «любви и дружбе».

И часто, засиживаясь долго за полночь над рукописями, Михайлов тоскливо поглядывает на дверь, ведущую прямо из его кабинета в половину Шелгуновых.

Потом его взгляд останавливается на камине.

Он стал хранителем прокламаций. Под кучей золы, заваленные старыми газетами, покоятся 600 экземпляров «К молодому поколению». На

всякий случай Михайлов подставил к топке кресло, хотя, конечно, если кому-нибудь придет в голову искать их там, то кресло не преграда.

На улице тишина, все спят, а ему не спится.

Вот уже полгода минуло со дня объявления «воли», а крестьяне молчат.

Молчат?

Михайлов листает газеты, журналы, скопившиеся за время его поездки по Европе.

Нет, крестьяне не дремлют, они ищут подлинной воли. В Рязанской губернии в селе Кукуй они отказались исполнять барщинные работы.

Был введен взвод солдат...

В селе Мощене тоже не обошлось без воинской команды. В имении Дашковой Егорьевского уезда крестьяне сменили бурмистра и, заковав прежнего в кандалы, три дня держали его под стражею в бане.

Вести эстафетой слетались со всех концов России. Сегодня в книжной лавке Кожанчикова он слышал о волнениях 10 тысяч крестьян князя Голицына в Смоленской губернии.

Чернышевский, кажется, прав — крестьяне начинают обгонять их, революционеров.

Но это все разрозненные бунты, и они кончаются поркой, расстрелом. Увы, крестьянин верит в царя, хотя и ненавидит помещика, чиновника. Но это какая-то местническая ненависть — до соседней межи, соседнего уезда. Она мешает мужику объединить свои усилия, направить их к одной цели. Да, нужно спешить, спешить с созданием революционного центра, штаба восстания.

Наверное, что-то сделано за время его отсутствия?

«Дело начинай!» — как писал Чернышевский в своем обращении к барским крестьянам.

Михайлов долго бродит по кабинету, останавливается, что-то слушает, потом опять шагает.

«Дело начинай», «дело начинай»...

«С каждым из нас... связаны десятки людей, за которыми стоят сотни...»

«Тайные кружки революционеров-единомышленников почти при всех высших учебных заведениях Петербурга, Москвы, Казани, Харькова, Варшавы». Кружки в провинции, лондонские издания в руках сельских учителей. В Москве налаживается литографирование листовок, вот-вот начнет работать первая русская вольная типография.

Революционная демократия размежевывается с инакомыслящими,

либералами, завершает выработку единых взглядов на формы и цели движения, на будущее устройство России...

Скоро надобно и начинать.

Чернышевский так и пишет: «Мы уже увидим, когда пора будет, и объявление сделаем...»

Что-то нет вестей из Москвы от Костомарова и Плещеева. Как там подвигается печатанье прокламации «Барским крестьянам»? Хорошо бы, к сентябрю все было кончено и сразу две листовки — молодежи и крестьянам.

Но гложут и черные мысли. Каждый день, всякую минуту жандармы могут напасть на след складывающейся организации. Один неосторожный шаг, проникший провокатор — и все погребло.

Михайлов тушит свечи и осторожно подходит к окну.

Июльская ночь темна. Причудливые тени тянутся по брусчатой панели и напоминают уродливые химеры с фронтона Зимнего дворца. В лунном свете газовые рожки меркнут и кажутся холодными, лишенными пламени.

Михайлов вглядывается в тени. Где-то в подъездах, подпирая заборы, прячась за стволы деревьев, незримо торчат «котелки».

Он видел их не раз. Они сопровождали его друзей в прогулках по Петербургу, крались вслед, сторожили подъезды редакций. Он видел их двойников у крыльца дома Чернышевского. Они прислушивались к словам в ресторанах, клубах, частных домах.

Они всюду!

Михайлов с досадой на себя задерживает шторы.

Ужели сдают нервы?

Нет, просто невыносимо ожидание.

Нужно действовать. «Дело начинать!»

С этой мыслью он засыпает.

А через несколько дней, обеспокоенный, он пишет в Москву Всеволоду Костомарову:

«5 августа 1861 года

Дорогой друг Всеволод Дмитрич, тороплюсь послать вам хоть малую толику денег, сколько у меня есть. Мы сочтемся, когда вы пришлете что-нибудь в «Совр.». Извините, что сумма так ничтожна; я сам теперь, что называется, в тонких, а из конторы «Совр.» все разъехались. Кроме того, посылаю вам тетрадь из истории Шлоссера для перевода. Плата за перевод очень хорошая (хоть не могу определенно сказать), и вам немедленно по доставлении рукописи будут высланы деньги... Совсем не умею писать писем. Мне очень хотелось перетащить вас сюда, но в настоящую минуту

ничего не могу придумать. Может быть, зимой это будет возможно, особенно если удастся мое намерение издавать газету... Я все еще один, Шелгуновы не приехали, и я жду их с нетерпением к 15 авг. До свидания, милый Всеволод Дмитрич. Будьте здоровы и, если вас не сердят мои краткие ответы, пишите мне. Я всегда рад вашим письмам и всегда рад исполнять ваши поручения, если только могу. Мне бы очень хотелось узнать от вас, сколько бы вам нужно было приблизительно иметь в месяц для жизни в Пб., с семейством, чтобы не терпеть лишения. Я имел бы это в виду, чтобы ухватиться обеими руками за первую возможность извлечь вас из Москвы.

Целую вас крепко. Мих. Михайлов».

*

20 августа в Петербург приехал Всеволод Костомаров. И сразу к Михаилу Илларионовичу.

Объятья, поцелуй!

Михайлов суетится вокруг дорогого гостя.

Чай? Кофе? Только что принесли горячие бублики от Филиппова...

Костомаров кисло улыбается, глаза его все время бегают, и с усеченного лба спадают тяжелые капли пота.

Он всем недоволен: правительством, манифестом, своим материальным положением и более всего своим братом Николаем.

— Чем же не угодил вам ваш братец?

— Он украл у меня автограф листовки «Барским крестьянам» и угрожает донести полиции...

Михайлов принял это известие спокойно.

Приглядываясь к Костомарову, он заметил, что тот привирает, стараясь его разжалобить. Не понравились ему и убегающие глаза собеседника.

Корректный, доверчивый, Михаил Илларионович инстинктивно чувствовал, что Костомаров чего-то не договаривает, чем-то встревожен, но пытается «произвести впечатление».

А впечатление было неважное, во всяком случае, куда более худшее, чем при первом знакомстве.

Но Михайлов далек от подозрений, и он давно привык терпимо относиться к недостаткам других. Сейчас Костомаров нужен революционерам, и если ему нельзя доверить тайну создающегося

подполья, то, во всяком случае, он может быть организатором типографии, распространителем прокламаций. Потом он знает только о его, Михайлова, нелегальной деятельности. Ему очень немного известно о Чернышевском, Шелгунове, Серно-Соловьевичах.

Костомаров откровенно клянчит деньги, даже не очень ссылаясь на расходы по созданию типографии.

Михаил Илларионович всегда готов помочь, но после поездки за границу у него ни копейки. И потом это хныканье просто бестактно: ведь и двух недель не прошло с тех пор, как он послал Костомарову последнее, что у него было.

Как назло, Чернышевский уехал в Саратов, тот достал бы денег! А теперь еще, чего доброго, Костомаров начнет отговариваться, заявит, что задержка с печатаньем прокламации произошла именно из-за отсутствия средств. Ведь он привез только корректуру «Барским крестьянам». А «Солдатам»? Ее и не начинали набирать...

Михайлов не любит недомолвок, пусть Костомаров скажет прямо.

Но отставной корнет продолжает что-то бубнить насчет бедной мамы и заневестившейся сестры.

Михаил Илларионович протягивает Костомарову листовку «К молодому поколению».

— Прочтите, это самая последняя прокламация, и, как видите, она отпечатана, остается ее только распространить.

Михайлов, невольно впадая в тон намеков, не договаривает. Но и без того ясно, что прокламация «К молодому поколению» отпечатана, а вот «Барским крестьянам» — нет.

Костомаров читает долго.

И нельзя понять — одобряет он прокламацию или не согласен с ней.

Михайлов терпеливо ждет и про себя еще и еще раз отмечает, что Костомарова будто подменили и даже его неприятные черты лица теперь выглядят просто отталкивающе. Костомаров явно затягивает чтение, чтобы выиграть время, вызвать вопросы Михайлова и первому не высказываться. А там можно будет увести разговор и в сторону.

Но Михайлов спрашивает в упор: согласен ли Костомаров взять с собою в Москву 100 экземпляров этой прокламации и распространить ее в основном среди московского студенчества?

Костомаров не смотрит собеседнику в глаза. Нет, он возьмет только один экземпляр для ознакомления. Он боится брата, а 100 экземпляров от него не спрячешь.

И снова разговор возвращается к бедственному положению, в котором

очутились он, Костомаров, и его семья.

— Если так будет продолжаться, — вдруг выпаливает корнет, — то я пойду в жандармы...

И умолкает на полуслове.

Михайлов ничего не отвечает.

Пауза затянулась. Костомаров уже жалеет, что сболтнул лишнее, и лихорадочно ищет путей отступления.

— Конечно, я хочу это сделать во вкусе Конрада Валленрода и, как тот литвин из поэмы Мицкевича, забравшийся в логово рыцарей, отомстить меченосцам из Третьего отделения, зная о них все.

Костомаров натянуто смеется.

Михайлов спешит попрощаться со своим гостем. Шутка шуткой, но от нее так и отдает полицейским остроумием.

Костомаров на следующий день уехал в Москву. Простились с Михайловым дружески. Михаил Илларионович ни словом не намекнул на вчерашнюю беседу и больше не просил Костомарова взять прокламации.

*

Шелгуновы приехали в самом конце августа, к началу лекций Николая Васильевича.

И снова как будто отступила осенняя хмарь.

В квартире Михайлова светит солнце. Вечера проходят незаметно в беседах, воспоминаниях. Забегают «на огонек» друзья. Все находятся в каком-то «кипении». Шелгунов, тот просто уверен, что Россия стоит «накануне», и он не хочет опять ехать в Лисино, чтобы не пропустить «момента». Михайлов подзадоривает друга, но он и сам в душе уверен, что вот-вот начнется крестьянское восстание, и тогда долой эзоповский язык, маски благонамеренности и верноподданничества.

Ах, скорей бы уж наступило это 1 сентября! Не теряя ни минуты, он начнет рассылать прокламацию, и пусть она будет последней каплей.

31 августа, как всегда совершая утреннюю прогулку, Михайлов не может пройти мимо книжной лавки Кожанчикова на Невском. Собственно, он не собирался ничего покупать и зашел просто так, перекинуться несколькими словами с хозяином, навестить старого своего приятеля, приказчика в лавке — Василия Яковлевича Лаврецова.

Михайлов любил этого неугомонного библиофила, очень начитанного,

прекрасного собеседника.

Ему он был обязан своей великолепной библиотекой.

На вопрос о том, есть ли что из новинок, Лаврецов разводит руками, то ли давая понять Михайлову, что для него ничего нет, то ли любезно приглашая к полкам, чтобы он посмотрел сам.

Отказать себе в удовольствии еще и еще раз прикоснуться к стеллажам, забитым книгами, Михайлов не может. Он осторожно снимает книги с полок, перелистывает, иногда прочитывает страницу, две. Ставит обратно, чтобы взять соседнее издание и заглянуть в него.

Такое общение с книгами стало привычкой, прелюдией к трудовому дню.

Кто-то входит и выходит из лавки, Михайлов уже ничего не замечает.

Не замечает он, как в лавке начинается какая-то суета.

Вдруг загремели ножны сабли, и голос, привыкший командовать, рявкнул почти над ухом поэта:

— Где тут проживает управляющий домом?

Михайлов оборачивается.

Жандармский офицер в штабных чинах, приземистый, с лицом, как-то странно перекошенным и изрытым оспой, внимательно глядит на Михайлова и проходит в дверь, указанную приказчиком.

Лаврецов стоит бледный, громко повторяя:

— Да ведь это Ракеев, Ракеев ведь!..

Оказалось, что жандармский полковник Ракеев арестовывал Лаврецова за нелегальное чтение лондонских изданий.

Михайлов не знает жандарма, да и что ему за дело до этого политического блюстителя в полковничьем чине? Через пять минут он забывает о нем.

Днем предстояло сделать так много.

*

Полковник Ракеев запыхался, поднимаясь по лестнице здания собственной его императорского величества канцелярии.

Управляющий Третьим отделением граф Шувалов уже собирался домой, когда в его кабинет нетерпеливо постучались.

— Войдите! — граф недовольно поморщился.

Будь это кто-либо иной, граф незамедлительно выгнал бы посетителя.

Но Ракеев... Нет, полковник никогда не осмелится потревожить его сиятельство по пустякам.

Ракеев никак не может отдышаться. Его лицо, изрытое оспой, напоминает лунные вулканы.

— Ваше... ваше сиятельство!.. Прошу прощения, ваше сиятельство, что осмелился задержать вас. Но сочинитель Михайлов в столице, ваше сиятельство!

«Сочинитель Михайлов в столице», — граф опустил в кресло.

— Отдышитесь, полковник! Вы и впрямь уверены, что Михайлов не за границей, а в Петербурге?

— Ваше сиятельство, сегодня днем я столкнулся с ним в книжной лавке Кожанчикова.

*

Он так ждал этого дня. Подгонял время... И вот, пожалуйста, как будто они подслушали его мысли.

Михайлов сидит в кресле и с удивлением рассматривает свой кабинет. В нем все разбросано, перевернуто, валяется в беспорядке. И это у него, такого аккуратиста?

В кабинете стоит тяжелый запах крепких папирос, кожи и чего-то неуловимого, но неприятного.

Открывается дверь с половины Шелгуновых. Николай Васильевич входит бледный. Не замечая Михайлова, идет к камину. Потом останавливается, и улыбка сгоняет бледность с лица.

— Ты... ты здесь?

Шелгунов порывисто бросается к Михайлову, обнимает его и молчит. Михаилу Илларионовичу спазмы сдавливают горло.

Шелгунов был уверен, что его уже забрали.

— Люденька, Люденька, идите скорее сюда!

Шелгунова останавливается в дверях кабинета.

Глаза полны слез и смеха, счастливого смеха.

Опомнившись, она торопливо подходит к окну, распахивает его, и комната наполняется свежими ароматами прохладного дня ранней осени.

— О чем тебя спрашивали? Не нашли ли чего, почему был обыск?..

Шелгунов теребит Михайлова, но тот только смеется в ответ. Шелгунов бросается к камину, отбрасывает кресло, запускает руку в топку,

качает головой и разводит руками, вымазанными сажей и пеплом.

Листовки целы.

Михайлов рассказывает, как полковник Ракеев и полицмейстер Золотницкий ворошили своими лапищами письма, бумаги, книги и спрашивали: «А это что-с?», «Да нет ли у вас чего?»

Чтобы скорее отвязаться от них, он сам дал им Прудона, берлинское издание Пушкина с «Гавриилиадой».

— И представьте себе, — оживился Михайлов, — полковник Ракеев, этот жандармский Квазимодо, расчувствовался. «Пушкин! — воскликнул он. — Это, можно сказать, великий был поэт. Честь России!.. Да-с, не скоро, я думаю, дождемся мы второго Пушкина! Как ваше мнение?»

Михайлов уморительно подражал жандарму. Смесь светской непринужденности и строевой выправки в его изображении была столь комична, что Шелгуновы в восторге хлопали в ладоши.

— Но вы только подумайте, этот сыскной енот смел к тому присовокупить, что и он лицо, так сказать, историческое. Позвольте, позвольте... ага! Он заявил так: «А знаете-с! Ведь и я попаду в историю! Да-с, попаду! Ведь я-с препровождал... Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его... Да-с, великий был поэт Пушкин, великий!..»

— И, что занятнее всего, — уже разошелся Михайлов, — оба полковника, слыша в соседней комнате стук чашек и ложек, напрашивались на чай. Как бы не так, я остался глух и нем к их намекам.

— Михаил Илларионович, вы немедленно должны идти в Третье отделение к самому Шувалову и требовать объяснения...

— Я тоже об этом подумал!

*

Полковник Золотницкий был несказанно удивлен и даже встревожен, встретив Михайлова в приемной Шувалова.

— Зачем вы? Ведь ничего у вас не нашли? Разве вас призвали сюда?

Михайлов был отменно вежлив, но остался и дождался приема.

Шувалов казался немного смущенным. Михайлов очень искусно разыграл оскорбленную невинность и в конце концов вынудил Шувалова сообщить, что против него имеются подозрения по делу московских студентов, у которых открыта тайная типография и литография, и что его

еще потревожит министерство внутренних дел.

Признание Шувалова посеяло тревогу, хотя оснований для этого как будто не было. Что могли сообщить попавшиеся студенты? Ничего или почти ничего. Во всяком случае, каждое их сообщение будет голословным, и никому, кроме Всеволода Костомарова, не была известна прокламация «К молодому поколению».

Но даже тот же Костомаров думает, что автором ее является Михайлов. О Шелгуновых он не знает ничего.

*

Вечером этого злосчастного первого сентября в уютной гостиной Шелгуновых тревожно. Михайлов по своей привычке ходит из угла в угол. Шелгунов сидит, опустив голову. Говорит Людмила Петровна.

Она настаивает на том, что прокламацию «К молодому поколению» нужно сжечь. Ведь и Герцен был против нее.

Шелгунов молчит.

Михайлов останавливается, пристально смотрит на Людмилу и вдруг резко, даже зло бросает:

— Нет, нет!

Он уже думал об уничтожении прокламации. И все его существо, вся цельная, страстная натура восставали против такого шага. Это было бы отступлением, капитуляцией, предательством, особенно сейчас, когда Россия «накануне». Так мог бы поступить только жалкий трус, либеральчик из стаи «пустых крикунов».

Но почему молчит Шелгунов? В конце концов он автор прокламации.

Шелгунов чувствовал напряженную тишину, воцарившуюся в гостиной.

Ждут его слова, а ему так трудно решить. Уничтожить — значит расписаться в трусости, в том, что он не более как играл в революционность, «пошумел, пошумел», а как до дела, так и в кусты. А если не уничтожать? Если немного обождать, посмотреть, как там обернутся дела с московскими студентами?

Решили выждать.

На следующий день Михайлов у Николая Курочкина на сходке.

Еще раньше, до его отъезда за границу, Чернышевский, Елисеев, Лавров, Курочкин предложили открыть шахматный клуб не столько для

того, чтобы заниматься пропагандой шахматной игры среди российского населения, сколько для того, чтобы под этой вывеской иметь официально разрешенный политический салон.

Именно политический, в этом был весь смысл задуманного клуба. Идея пришлась по вкусу многим из посвященных, и хотя клуб еще не был открыт, но сходки по поводу его организации приобрели откровенный характер собраний единомышленников.

Михайлова встретили радостно.

Но когда он рассказал об обыске и беседе с Шуваловым, все были крайне удручены.

Арест в Москве нескольких студентов не был здесь новостью, но Михайлова неприятно поразило сообщение о том, что 25 августа был взят и Костомаров. Вспомнились бегающие глаза и зловещее предупреждение стать жандармом. Михайлов поспешил домой. Выжидать больше нельзя.

Теперь и Шелгунов не колеблется. Если у Костомарова нашли прокламацию «К молодому поколению», то будут разыскивать ее автора.

И как знать? Ведь один обыск уже был. Нужно спешить и спешить. Вдвоем с Николаем Васильевичем Михайлову не развести и не разослать 600 экземпляров, хотя Людмила Петровна взяла на себя труд клеить конверты и запечатывать их. Пришлось посвятить в это дело брата Людмилы Петровны — Евгения Михаэлиса. Он жил тут же, рядом, был восторжен, целеустремлен, боготворил Чернышевского и Добролюбова и всецело был «против».

К Шелгуновым зашел Александр Серно-Соловьевич и тут же был тоже пристроен «к делу».

Тридцать конвертов малого формата содержали по одному экземпляру прокламации. Михайлов, меняя почерк, тщательно выписывал адреса из адрес-календаря. В это время Людмила Петровна клеила пакеты, которые могли вместить 20–30 экземпляров. Серно-Соловьевич не переставал трунить:

— Этаким тюк на почту не сдашь, прикажите седлать белого рысака и швырять пакеты направо и налево...

Около двухсот экземпляров уложилось в 15 пакетов.

Михайлов карандашом стал подписывать адреса.

Редакции журналов и газет...

Квартиры знакомых...

Между тем наступил вечер.

Михайлова снова ждали у Курочкина, чтобы окончательно договориться о шахматном клубе.

Людмила Петровна ушла к себе, Шелгунов еще продолжал колдовать над конвертами. Евгений отправился в мелочную лавку, где принималась почта. Ушел и Серно-Соловьевич, договорившись с Михайловым о встрече у Курочкина.

Михайлов набросил на себя пальто, хотя сентябрь, казалось, делал все, чтобы быть теплым, ласковым, приветливым.

*

Сходка была продолжительной.

Говорили, курили и снова пускались в нескончаемые словопрения.

Михайлова приветствовали как пришельца с того света.

— Но, Михаил Илларионович, вы же арестант?

— Почему вас не заключили в Алексеевский равелин?

Хватит! Ему надоели подобные остроты. Почему нет Серно-Соловьевича, чтобы ехать домой?

Серно явился в десятом часу. Как всегда улыбаясь, с шутками, едким сарказмом, Александр подошел к Михайлову и бросил:

— Я проскочил на белом коне Петербург... Меня всюду приветствовали и махали чепчиками.

Михайлов готов был избить этого фанфарона и расцеловать его одновременно.

Обнимая Александра, Михайлов успел шепнуть ему, что и он преуспел, с десяточек конвертов подкинул знакомым по пути сюда.

Как всегда, там, где можно поговорить, неизменно присутствовал Иван Карлович Гербардт. Он был остроумен, его слова иногда сверкали искрами, светились умом, жгли огнем. О, на словах он был радикал, революционер.

Серно-Соловьевич все время порывался ввязаться в спор, но сходка кончилась, продолжать дискуссию на улице не стоило.

Иван Карлович и Петр Лавров жили рядом и, разговорившись, вскоре опередили других.

Михайлов, показывая на удаляющуюся фигуру Гербардта, с усмешкой сказал Серно;

— Интересно, так ли смело он будет витийствовать, получив конвертик с прокламацией?

Серно расхохотался. Значит, Михайлов успел-таки подбросить прокламацию и Гербардту, то-то потеха будет завтра!

И он не ошибся.

Назавтра, когда Михайлов заехал в редакцию энциклопедического словаря, он сразу же был пленен Петром Лавровым, как будто тот специально его дожидался.

— Михаил Илларионович, удивительный пассаж произошел вчера с Иваном Карловичем. Идем это мы с ним домой, заговорились, и я доставил его прямо на квартиру. Зашли. Не успели снять пальто, как лакей Ивана Карловича, Сергей, протягивает ему пакет. Иван Карлович этак по рассеянности распечатывает его при мне и... чтобы вы думали?.. В пакете прокламация! Иван Карлович поражен, бледен, сидит в кресле, и лица на нем нет. На шум прибежал его брат, взялся за лакея: «Кто принес?» Сергей лопочет: «Какой-то маленький, худенький, черненький...» Я тут в суматохе ушел, а ныне жалею, нужно было прокламацию-то у милейшего Гербардта отобрать, не ровен час — он с ней в Третье отделение побежит, ведь вот до чего наш радикал перепугался.

Михайлов делал над собой усилие, чтобы не расхохотаться. Лавров не смеялся, он пристально посмотрел на Михайлова и резко переменял разговор.

*

Не напрасно спешил Михайлов, и не случайно его смутно тревожило известие об аресте Костомарова. В секретной картотеке Третьего отделения, в «книге живота», уже появилось досье, заполненное сведениями о «противоправительственной деятельности» поэта.



А. И. Герцен.



И. И. Огарев.



Крестьянское восстание под Можайском в 1860 году. С картины художника Герасимова.

Жандармский подполковник Житков, производивший в Москве аресты студентов, пытавшихся наладить нелегальное печатанье запрещенных цензурой книг, доносил в Третье отделение, что «не подлежит никакому сомнению участие писателя Михайлова, его рукою писано воззвание к крестьянам...». Житков советует арестовать писателя или по крайней мере получить у него автограф «для сличения его руки».

4 сентября граф Шувалов, как всегда, рассматривал утреннюю почту. Донесения шпионов, рапорты жандармских полковников и подполковников с мест. Все письма — с грифами на конвертах, обеспечивающими им бесцензурную доставку по назначению. И среди этого потока сыскной «литературы» — простой конверт, запечатанный какой-то странной, по всей вероятности перстневой печаткой.

Шувалов с недоумением раскрывает пакет.

Что такое? Типографский шрифт? Одного взгляда на заглавие достаточно, чтобы уяснить: прокламация! Забыты донесения, филерские рапорты.

Шувалов напоминает взбесившегося зверя в тесной клетке. Какая наглость, дерзость, черт знает что такое — прислать ему возмутительную

прокламацию! Да это вызов, издевательство. А если бы почту просматривал дежурный офицер? Ведь один бог знает, какие бы толки пошли!

Шувалов поставил на ноги всю столичную полицию. Обер-полицмейстер Петербурга Паткуль получил заверение графа, что в случае розыска распространителей прокламаций «открыватель» получит значительное вознаграждение.

«Открыватели» в Петербурге сбились с ног. Но тщетно. Открыватель объявился в Москве, и им был Всеволод Костомаров.

Трус, фразер, вымогатель, лишенный каких-либо нравственных и идейных принципов, Костомаров, оказавшись серьезно скомпрометированным в деле московских студентов, решил «реабилитироваться».

Еще подполковник Житков заметил, что Костомаров «чрезвычайный трус»; «он высказывал давно уже мысль, когда еще только арестовали Заичневского, что он серьезно думает сам отправиться в Петербург и во всем сознаться, ибо не видел более надежды на успех предприятия и личным добровольным сознанием заслужить прощение».

Его намерение встретиться с управителем Третьего отделения теперь осуществилось. И Костомаров пошел ва-банк. Московские студенты ничего особого совершить не сумели. А для того чтобы его, Костомарова, вина была забыта, нужно на чашу весов «правосудия» положить самые крупные «гири».

И Костомаров кладет.

В «доверительной» беседе он рассказывает Шувалову о встрече с Михайловым, его предложении начать печатание прокламаций «Барским крестьянам», «Солдатам», о стремлении Михайлова использовать Костомарова как распространителя прокламации «К молодому поколению».

И здесь Костомаров до конца не откровенен.

Он еще не сознался, что донос его брата Николая написан им самим. Он еще приберегает на будущее Чернышевского как самый крупный козырь в ставке, где на кон поставлена свобода, личное благополучие и жизнь. Любой ценой, даже ценой предательства.

У Шувалова нет сомнений. Теперь Михайлов в его руках. Мало того, верноподданническое усердие в обнаруживании автора и распространителя прокламаций будет замечено в верхах и не пройдет бесследно для карьеры графа.

Что же касается Костомарова, то этот прохвост ему еще пригодится. А

потом?.. Потом будет видно, ведь корнет знает кое-что лишнее...

*

По Петербургу ползут слухи. И никто не хочет в них верить. Больше всего говорят об аресте поэта Михайлова. Добролюбов пишет Некрасову: «Только и слышишь, что того обыскивали, того взяли; большая часть, разумеется, оказывается вздором. У Михайлова был жандармский обыск с неделю тому назад, с тех пор я каждый день встречаю людей, уверяющих, что он арестован. Третьего дня вечером я видел Михайлова еще на свободе, а вчера опять уверяли меня, что он взят. Оно бы и не мудрено — в течение ночи все может случиться; да ведь взять-то не за что — вот беда!.. Михайлова взять — ведь это курам на смех!»

Но Добролюбов не на шутку обеспокоен за участь друга. Он не сомневается, что письмо его перлюстрируют. Так пусть узнают, что «взять-то не за что», что общество взбудоражено слухами.

Но так ли уж Михайлов безупречен в глазах жандармов? Нет, этого Добролюбов не будет утверждать. Но об этом известно не многим и, во всяком случае, не жандармам.

Слухи вползают в кабинет Михайлова, мешают работать. Вот уже второй вечер подряд он вместе с Шелгуновыми пересматривает свои бумаги, жжет письма, благо камин теперь пуст.

Он почему-то почти уверен, что его не арестуют.

И только в предутренние часы, когда так хочется спать и когда жандармы имеют обыкновение звонить у подъездов, поэт тревожно прислушивается, забывается в коротком сне и снова пробуждается.

Если жандармам и неизвестно о его встречах и разговорах с Герценом, обсуждениях планов революционного подполья в России с Огаревым, то он-то знает об этом. И беспокойная мысль все время шепчет: «А вдруг?»

Приезжала какая-то знакомая Шелгуновой. Михаил Илларионович знает только, что ее зовут госпожа Блюммер. Она напугана. Она решительна. Михайлов должен тотчас спрятаться в ее квартире, а уж она найдет способ переправить его за границу.

Михайлов тронут заботой, но он совершенно ни в чем не замешан, и госпожа Блюммер напрасно беспокоится.

И все же он проспал этот наглый, продолжительный звонок, способный перепугать насмерть сонного человека с больным сердцем. И ему не снились ни жандармы, ни предатели, он просто устал в прошлые дни от мыслей и напрасных тревог.

Он услышал только последний надрывный звон.

И потом он весь день отзывался в ушах, в голове, сердце. Гвардейская вежливость и светские манеры благодушного полковника Щербатского, проницательность жандармской ищейки Житкова, загадочная непроницаемость сыщика Путилина, ужимки понятых, каменное безмолвие десятка жандармов и полицейских не могли отвлечь Михайлова от этого звонка. Он звучал в ушах, как плач колокола над разверзшейся могилой. Михайлов ни во что не вмешивался. Его не трогало любопытство полковника, читающего интимную переписку, и даже «баба Аграфена», осматривавшая Людмилу, была ему безразлична.

И только тогда, когда жандармы в первом часу дня, облазив чердаки, раскидав вещи в обеих квартирах, сообщили Михайлову, что он должен следовать за ними и нужно опечатать квартиру, звоноклая трель уколола сердце, мозг!

«Опечатать? Значит, они должны забрать и Шелгуновых? Людмилу упрятать в тюрьму?»

О, полковник Житков знал слабое место поэта! Он не имел распоряжений на арест Шелгуновых, но ведь Михайлов об этом пока не знает. И не узнает в Третьем отделении. Пусть думает, что его обожаемую Людмилу ожидает арест, если он сам не сознается во всем. Пусть не знает ни минуты покоя. Это верный способ вынудить признание. Ведь одних устных показаний Костомарова, право, маловато для суда.

Только теперь Михайлов заметил, что у всех жандармов красные, наглые глаза, воровские, шныряющие, щупающие руки, собачья манера нюхать даже воздух.

Это открытие возбудило желчь, злобу. И приступ отчаяния.

Все что угодно с ним, Михайловым, но Люда, сын Миша, Николай Васильевич?!

Он еще не принял решения, но оно уже смутно билось где-то в тайниках мозга, и теперь дверной колокольчик напоминал о сибирской тройке и звенящем ледяном безмолвии.

Чтобы ободрить остающихся, он прощался сдержанно. Даже с сыном. Карета тронулась. Он рванулся к окну, чтобы посмотреть на окна, но дом уже исчез.

Во рту стало сухо, горько.

И вдруг ударил колокол. Ударил так, что шарахнулись лошади, прохожие торопливо осеняли себя крестным знаменiem. У Михайлова мелькнула мысль, что он сходит с ума. Но потом он понял, что это зазвонили у церкви — ведь 14 сентября был праздник Воздвиженья.

*

Николай Васильевич Шелгунов не мог больше оставаться дома. Стоит ли наводить порядок в разгромленных комнатах?

Он был уверен, что Михаила арестовали по недоразумению, ведь должны были арестовать его, Шелгунова.

На улице тепло,людно, и уже занимается вечерняя заря.

Идти в Третье отделение? Требовать, чтобы освободили Михайлова и взяли его, автора прокламации?

Шелгунов решительно шагает в направлении к Цепному мосту.

Но это только порыв дружбы и акт отчаяния. Ему ли не знать, что такое собственная его величества канцелярия?

Он останавливается у памятника Крылову. Уже поздно, и няни загнали детей домой. Сухие листья шуршат под ногами и не вызывают грусти, наоборот, они шепчут: «Не ходи, не ходи, этот молох заглоти́т и тебя, но не изрыгнет из своего бездонного чрева Михайлова».

Чернышевский в Саратове, Некрасова нет в столице. А может быть, и их дни уже сочтены. Вечерние тени напоминают черного сыщика Путилина.

К Добролюбову!

Извозчик, скорей!

Николай Александрович умирал, но еще поднимался с постели. Он не верил, что в 25 лет тоже умирают. Добролюбов негодовал на швейцарский горный воздух и молочную сыворотку, от которой ему стало хуже.

Сыворотка была не виновата.

Шелгунов застал Добролюбова в постели. Николай Александрович выслушал его молча, молча пожал руку и натянул на себя одеяло. Ему было холодно в этих теплых сухих комнатах, ему было душно от мыслей, от

горечи... Он терял не только близкого друга.

Шелгунов ушел.

Он не помнил, как прошел следующий день. Кто-то заходил, о чем-то расспрашивал. И кто-то привел его вечером в бильярдную в доме графа Кушелева-Безбородко.

Бильярдная вместила почти весь литературный Петербург — здесь набилось около сотни писателей, критиков, поэтов, издателей.

Шелгунов никому, кроме Добролюбова, не рассказывал об обстоятельствах обыска и ареста, но Николай Александрович был здесь, и от Николая Васильевича требовали только уточнения деталей.

Все были страшно возмущены.

После таинственной кончины проклятой памяти Николая I общество отвыкло от арестов писателей, от политических процессов.

То, что крестьянские восстания подавлялись вооруженной силой, то, что в России каждый день, каждый час лилась мужицкая кровь, знали. Негодовали.

И только немногие готовились ответить кровью на кровь. А большинство, отвлекаясь спорами, сражениями с цензурой, жило ожиданием.

Кто-то должен начать!

Но только не они!

Хотя среди сотни литераторов были не только фразеры, но и честные люди. Были и убежденные революционеры.

И возмущение по поводу ареста Михайлова, общее для всех, в спорах обрело разные оттенки.

После продолжительных дебатов решили написать петицию к министру народного просвещения Путятину.

Писали сообща, тут же в бильярдной.

Нет, они не требовали немедленного освобождения Михайлова, хотя и надеялись на это. Они говорили только, что уверены в его невиновности. Они очень корректно протестовали против нарушения существующих законов, по их мнению ограждающих каждого русского подданного «от произвольного вторжения полиции в его жилище», и просили о том, чтобы его сиятельство граф исходатайствовал «дозволение назначить к нему [Михайлову] в помощь, по нашему избранию, депутата для охранения его гражданских прав во все время судебно-полицейского исследования поступков, в которых он обвиняется».

Письмо подписали рядом с Добролюбовым — Аполлон Майков, наряду с Петром Лавровым — его сиятельство Граф Кушелев-Безбородко и

Николай Курочкин по соседству с Краевским.

А на следующий день редакция «Энциклопедического словаря, составленного русскими литераторами и учеными», также высказала свой протест и свои надежды на освобождение и просила позволить Михайлову и в тюрьме продолжать работу для словаря. Эта последняя просьба как бы выражала уверенность в том, что Михайлов, конечно же, будет освобожден.

Путятин перепугался, когда к нему нагрянули депутаты — Кушелев-Безбородко, А. Краевский и С. Громеко. Министр соизволил принять только графа Кушелева, но обещал ему лишь, что он доложит о возмутительных действиях литераторов министру внутренних дел и управляющему Третьим отделением.

И он действительно доложил.

Император Александр II приказал посадить депутатов под арест. Но потом отменил свое приказание, видимо поняв, что арест повлечет за собою новые петиции.

*

Выступление литераторов возымело самое неожиданное действие. В Третьем отделении поняли, что тех бумаг, которые были отобраны у Михайлова при обыске да голословных наветов Костомарова более чем недостаточно для организации солидного политического процесса над поэтом.

Нужно было во что бы то ни стало получить от него признание. А на этом пути все средства хороши.

И все средства были брошены в бой. Всеволод Костомаров 16–17 сентября пишет некому Якову Алексеевичу Ростовцеву и датирует свое письмо 25 августа. С таким же успехом он мог писать Иванову, Петрову — письмо предназначалось для Третьего отделения.

Но трудно совместить предательство с благородством. И Костомаров выдал себя с головой. Он заботливо писал Я. Ростовцеву:

«Дорогой друг Я. Алекс. Дело мое гораздо хуже, чем я предполагал. Брат не только донес ка меня, но и захватил кое-какие бумаги, которые я не успел уничтожить. Одна из них писана рукою М. Мих. и может сильно компрометировать его. Ради бога, сходите к П. [Плещееву], узнайте у него адрес М. и поезжайте в Петерб., скажите ему все это. Пусть он примет все меры, какие найдет возможными, и, во всяком случае, уничтожит все до

одного экземпляры М. П. Он поймет, в чем дело...»

И это пишется для того, чтобы предупредить? Нет, подобные письма никого не могут обмануть.

*

Хотя Михайлов и в недоумении, он не верит в прямое предательство, его беспокоит душевное состояние Костомарова.

Беспокоит его и новая, непривычная обстановка в застенке Третьего отделения. Голые стены, маленький диван, шкаф, два стула и параша.

И допросы.

С ним обращаются вежливо, иезуитски растрavляют рану. Ему не говорят прямо, но с печальной миной намекают на арест или возможность ареста Шелгуновых.

В это «истязание души» поэта включается даже сиятельный граф Шувалов. Он действует напрямик, наскоком:

— Как вы ни запираетесь, а госпожа Шелгунова знала об этом деле. Это мне известно как нельзя лучше.

— Не знала.

— Нет, знала.

— Нет, не знала.

— Нет, знала...

И у кого крепче нервы, кто первый сдаст?

Поэт не сдался.

А в камере ночами — нескончаемая мука.

Шелгуновы, Шелгунова, Людмила!

Тревога ни на секунду не покидает его. Шувалову он говорит «нет», но ведь он-то знает, что и Людмила Петровна и Николай Васильевич самые непосредственные участники «дела». А что, если у Шувалова есть не только подозрения?

Их надо спасать!

Мысль, неосознанно сверлившая мозг еще при аресте, стала теперь девизом. Только этому он должен подчинить свои показания, решает взять всю вину на себя.

В результате 18 сентября — первое признание.

Сдержанное и не дающее следствию каких-либо серьезных улик, показание свидетельствовало только о том, что Михайлов привез из

Лондона 10 экземпляров неизвестно кем написанной прокламации «К молодому поколению», показал ее одному Костомарову, а потом сжег.

Костомаров в вопросных пунктах говорил о 150 экземплярах, а во время очной ставки нагло заявил, что «Михайлов знает все», то есть он в курсе того, кто написал «Барским крестьянам», «Солдатам», «К молодому поколению».

Негодяй постепенно набивал себе цену и трудился, поелику возможно помогая Третьему отделению выбить Михайлова из состояния сосредоточенной сдержанности.

И это им наполовину удалось.

Бессонные ночи.

Красные глаза жандармов.

Пугающие намеки.

Омерзение от присутствия следователя, от встреч с Костомаровым.

Желание покончить скорее со всем этим привело к тому, что Михайлов пишет новое показание.

Он признает себя автором прокламации, но говорит, что от его первоначального текста осталось очень немного, подробно рассказывает о побудительных причинах написания воззвания, а именно о желании смягчить цензурный гнет потоком бесцензурных изданий, наконец, очень правдоподобно описывает, как он распространил свое сочинение. Он мало что прибавил и взвалил на себя главное — авторство и распространение.

Теперь его следователи и мучители могут быть довольны и оставят в покое.

Они в покое не оставили, но Михаил Илларионович стал спокойнее. Он начал замечать, что обед ему приносят из какого-то соседнего трактира и притом невкусный. Вспомнил он и о книгах, бывших у него в камере, и даже попробовал заняться переводами.

Но теперь он понял, что наговорил на себя лишнее и не миновать ему суда. А по суду сената — ссылка и, быть может, каторжные работы.

Только теперь он осознал, как иезуитски у него вырвали показания, спекулируя на его благородстве, доверчивости и страхе за друзей, за близких.

А он мог отрицать все.

И эта «история» закончилась бы непродолжительным арестом или, в худшем случае, высылкой из столицы под надзор полиции.

Хотя он еще надеялся.

Его мучители это хорошо понимали и знали об этих надеждах. Им нужны были суд и суровая расправа.

Для того чтобы у Михайлова не было путей отступления, чтобы на суде он не смог отречься от ранее данных показаний, ему предложили написать прошение о помиловании на высочайшее имя, кратко изложить в нем свою вину и уповать на монаршую волю, которая и без суда решит это дело.

Все возмутилось в нем против этого, «но суд страшил меня тем, что к нему будет призван Костомаров и его ответы запутают дело и бросят тень подозрения на кого-нибудь, кроме меня...» — признается он впоследствии в своих «Записках».

Через несколько часов после подачи прошения Михайлову с миной сожаления сообщили, что как Третье отделение ни старалось, но «монаршья воля...». А посему он будет предан суду сената со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Глухая карета доставила его в Невскую куртину Петропавловской крепости.

*

«Общество» волновалось. «Общество» негодовало. «Общество» спешило провозгласить Михайлова мучеником, одарить его ореолом борца за правду и... уйти в сторону, забыть.

Прокламацию прочли, сожгли и, рассуждая за сытым обедом о судьбах России, осудили.

Ее даже называли кровожадной. Подумать только: 100 тысяч помещиков под мужицкий нож. Это уж слишком. Остальное поняли плохо, узрели компиляцию искандеровских статей и качали головами.

Люди, близко знавшие поэта, знавшие Людмилу Петровну Шелгунову, но не знавшие революционных настроений поэта, считали, что Михайлов совершил подвиг во имя любви, и сквозь строки прокламации разглядывали черты характера Шелгуновой.

Даже Елена Штакеншнейдер, так тепло, так искренне относившаяся к Михайлову, записала в свой дневник: «Меня потому берет раздумье насчет Шелгуновой, что михайловская прокламация неглубока, слишком неглубока. В ней как-то больше желания руку правую потешить, чем высказать истину. Я не говорю про Михайлова, — человек, давший на подобное дело свое имя, достоин всякого уважения, — но меня удивляет то, что вдвоем они не сумели написать ничего лучше... прокламация холодна,

неубедительна, не «прочувствованна»...»

Но как ни старалось «общество» благонамеренных либералов и фрондирующих литературных дам забыть о Михайлове, участь которого теперь была всем ясна, о нем напоминали события. О нем ни на минуту не забывали единомышленники. Его имя не сходило с уст даже тех, «кто не прочел ни одной его строчки. Да и какие тут строчки!» — вспоминает Шелгунов. «В воздухе чувствовалось политическое электричество, все были возмущены, никто не чувствовал даже земли под собою, все чего-то хотели, куда-то готовились идти, ждали чего-то, точно не сегодня, а завтра явится неведомый мессия... Каждый точно чувствовал в Михайлове частичку себя, и процесс его стал личным делом всякого. Карточки его покупались нарасхват...»

Он обращался к молодому поколению, он возлагал на него надежды, звал к делам, к борьбе. И правительство с опаской посматривало на «поколение».

Откликнется ли?

И всем показалось, что откликнулось. Да еще как!

Шествия по столице возмущенных «новыми университетскими правилами» студентов Михайлов не видел.

Не видел он и как избивали людей в университетском дворе. Не слышал плача профессоров.

Но он узнал, что Петропавловская крепость до отказа забита арестованным «молодым поколением».

И снова вспоминают о Михайлове. «Ведь до своего ареста он был головою всех этих «длинногривых», «университетских», — шепчут обыватели.

«Даром, что ли, когда его брали — стрелял, чуть жандармского полковника не убил — пуля между левым боком и рукой прошла, перегородку прошила да самовар на комодѣ искорежила», — с апломбом сообщает жене почтовый чинуша.

В купеческом и немецком клубах шумно — обсуждают новость об отравлении Михайлова опиумом в Третьем отделении и тайном захоронении без вскрытия.

И какие бы ни произошли в Петербурге события, нарушающие привычный, ленивый ход жизни, их тотчас молва связывает с именем Михайлова.

Как ни старалось Третье отделение скрыть причину ареста Михайлова, исход следствия, они очень скоро стали известны в столице.

«Автору» прокламаций пытались подражать. Во время студенческих

беспорядков командиру Преображенского полка и нескольким офицерам была прислана рукописная прокламация, в которой с сарказмом изображалось участие солдат этого «первого полка русской армии» в избииении студентов:

«Вы пошли в штыки против невооруженной толпы, стоящей за глупое дело, «образование»! Зачем нам образование? Нам нужны дисциплина, монархизм, мрак невежества: при таком порядке мы будем первые. Будем поддерживать власть, гнетущую народ, — она позволит нам угнетать других; тогда мы покажем, что значит русское войско!.. Потомство сохранит в памяти день 12 октября. Да будут ослиные уши вечным украшением вашим, как эмблема упрямства, тупости и невежества, за которые вы хотели пролить верноподданническую кровь нашу...»

Среди отцов-командиров переполох. В Третьем отделении сличают почерки, а по Петербургу гуляет молва: «Кому же написать такое? Ведомое дело — Михайлов, его стиль. Небось и в крепости успел найти сообщников-злоумышленников».

И радуются друзья. Михайлов, быть может и сам о том не думая, сделался знаменем, которое вспыхивает над головами тех, кто встает в ряды борющихся с мраком невежества, монархизмом, холопским верноподданничеством перед кнутом божьей милостью владык «голштино-татарского племени».

*

Каждые четверть часа играют куранты. «Коль славен» чередуется с «Боже, царя храни». Бесстрастно, монотонно, торжественно. По их ударам можно следить за временем, но нельзя установить приближение утра или наступление вечерних сумерек. В сырой, с бахромой паутины камере свои законы смены дня и ночи. Сквозь полукруглые, вдавленные глубоко в ниши и покрашенные белой краской окна утренний свет проникает только в 10 часов, а к 3 часам дня, будто устрасая приземистых, длинных склепов узилища, спешит подальше от Петропавловки.

Всю ночь горит ночник, и круглые сутки в коридоре выбивают каменный пол тяжелые шаги.

Писать не хочется, да и бумаги комендант генерал Сорокин выдал только один лист.

Четыре-пять светлых часов Михайлов забывается чтением, потом

наступает время тяжелых раздумий.

И все же после Третьего отделения здесь спокойнее, легче.

По бою курантов в камере появляются вода для умывания, чай, обед и ужин, заходят плац-адъютант, комендант, сторожа.

Но к этому узник привыкает быстро.

Тревожит отсутствие вестей с воли.

Хотя он просто еще не приспособился добывать вести косвенным путем из слов сторожей, случайно долетающих до него обрывков разговоров. Ведь когда его везли сюда, жандарм же рассказывал о студенческих беспорядках. Как он сказал?

— Да ведь там целый бунт был. Войско надо было вывести. С окровлением дело-то было, с окровлением...

С «окровлением»!

Теперь он припоминает и слова принимавшего его в крепость стража:

— Тоже из студентов?

Значит, в крепости сидят участники студенческих беспорядков.

Может быть, они первые ласточки тех грядущих бурь, которые с таким нетерпением он ожидал на воле, которые как умел готовил.

И кто знает, быть может, эти смерчи разметают каменные глыбы его темницы?

Как хочется верить! Пусть даже он не доживет до светлых дней. Но знать сейчас, что буря идет, тогда можно и пасть в неравном бою.

Михайлов схватывает единственный лист бумаги.

Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою.
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою!
Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытаются огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!
Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколениях живых.
Стонет и тяжело вздыхает
Бедный, забитый народ;
Руки он к нам простирает,

Нас он на помощь зовет.
Час обновления настанет —
Воли добьется народ,
Добрым нас словом помянет,
К нам на могилу придет.
Если погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколениях живых.

*

Вот и первый снег побелил маленький голый комендантский дворик, осел на форточке и усилил грусть.

Но скоро из того, не крепостного, мира пришли первые вести в виде папирос, рябчиков, отличной икры, солений.

Михайлов радовался, как ребенок. Он не был таким уж гурманом, чтобы не есть тюремной похлебки, но рябчики, несомненно, вкуснее, да дело и не в них — его не забыли, чьи-то заботливые руки упаковывали для него эти банки с икрой, чьи-то любящие души напоминали о жизни, о том, что она впереди и не огорожена стенами.

Да и тюремщики оказались разными, не то что в императорской канцелярии. Комендант — формалист, сух, педантичен. Плац-майор Кандауров любезен, разговорчив, душевен. Он уверен, что Михайлова скоро выпустят.

Какое счастье, что с ним его книги и есть возможность получать свежие журналы!

Даже «Современник» добирается сюда. Вот сентябрьский номер, октябрьская книга. Он узнает статьи Чернышевского. Значит, Николай Гаврилович вернулся из Саратова и на свободе, его не коснулась грязная лапа Костомарова.

Но почему в последних номерах нет статей Добролюбова? Он был плох, когда Михайлов видел его в последний раз.

Он умирает, и этого ничем не предотвратить.

От таких мыслей опять становилось тяжело.

Но были, были в этом заточении и радостные минуты, даже дни.

Ему удалось сблизиться с плац-адъютантом Пинкорнелли, и добрейший штабс-капитан наладил доставку писем на волю и с воли.

Теперь у него много работы.

Михайлов лихорадочно пишет и пишет письма, и прежде всего Шелгуновой.

В эти же дни его начали возить в первое отделение пятого департамента сената на допросы.

У Михаила Илларионовича было время рассмотреть своих судей, пока ему делали «духовное увещание» и поп нес какую-то дичь из евангелия.

Сенаторы напоминали «позолоченных бурханов».

Из-за длинного стола на Михайлова смотрели хитрые, злобные, равнодушные и просто пустые лица.

Бесконечные вопросы. Вновь нужно было не только отвечать, но и собственноручно записывать эти ответы, и все это при полном молчании или злобном сопении судей.

Но у ворот Галерной, на лестницах сената, во дворе Михайлов отдыхал душой. Он понимал, что толпы молодежи, и не только молодежи, собрались здесь ради него.

Приветственные улыбки, слова одобрения, возгласы восхищения заливали грудь теплым чувством гордости за этих людей, позволяли переносить пытку допросов, ненависть судей, одиночку крепости.

Даже сенатские чиновники проявляли необычайное любопытство к человеку, давшему первым свое имя политическому процессу в эти годы «либеральничанья» правительства. Они выскакивали из своих кабинетов, собирались сотнями в коридорах и молча тянулись на носках, чтобы разглядеть поэта.

Это был какой-то почетный эскорт.

Михайлов только усмехался, проходя сквозь строй.

*

17 ноября умер Добролюбов. Михайлов узнал об этом из письма Шелгуновой. Ушел из жизни друг, большой, чуткий, верный.

Мучительно переживал Михайлов эту кончину. Она заслонила его собственные горечи и тревоги.

20 ноября Литейный забит народом. Молодежь хоронит своего кумира. Без цветов, без венков. Простой дубовый гроб зловеще напоминает о

неумолимой смерти в этот хмурый ноябрьский день.

На Волковом кладбище надгробные речи звучат, как на митинге. Чернышевский напоминает собравшимся, чем для всех передовых людей России был Добролюбов, напоминает о подлинной причине смерти великого критика. Он говорит:

— Но главная причина его ранней кончины состоит в том, что его лучший друг — вы знаете, господа, кто — находится в заточении.

Да, господа знали этого «лучшего друга», знали они уже и о том, что сенат приговорил его к каторге, хотя приговор еще не объявлен публично.

И тут же, на кладбище, у могилы усопшего борца, собирают деньги для другого воина революции, которому предстоит медленно умирать в страшных каторжных рудниках.

20 ноября внезапно Михайлова перевели из Невской куртины на главную крепостную гауптвахту. Оказалось, что испугались возможности общения со студентами.

Хотя в этот день ему было все равно.

Он мысленно был там, на Литейном, в доме Юргенева, откуда уходил в свой последний путь Добролюбов. Он шел за его гробом на кладбище, и он тоже сказал свое последнее прости. Оно вылилось в стихах:

Вечный враг всего живого,
Тупоумен, дик и зол,
Нашу жизнь за мысль и слово
Топчет произвол.
И чем жизнь честней и чище,
Тем нещаднее судьба!
Раздвигайся ты, кладбище!
Принимай гроба!
Гроб вчера, и гроб сегодня,
Завтра гроб... А мы стоим
Средь могил и — «власть господня»,
Как рабы, твердим.
Вот и твой смолк голос честный,
И смежился честный взгляд,
И уложен в гроб ты тесный,
Отстрадавший брат.
Жаждой правды изнывая,
В «темном царстве» лжи и зла
Жизнь зачахла молодая,

Гнета не снесла.
Ты умолк; но нам из гроба
Скорбный лик твой говорит:
«Что ж молчит в вас, братья, злоба?
Что ж любовь молчит?
Иль в любви одни лишь слезы
Есть у вас для кровных бед?
Или сил и для угрозы
В вашей злобе нет?
Братья, пусть любовь вас тесно
Сдвинет в дружный ратный строй,
Пусть ведет вас злоба в честный
И открытый бой!»
Мы стоим, не слыша зова...
И, как прежде, дик и зол —
Тризну мысли, тризну слова
Правит произвол.

И, обращаясь к друзьям, приписал:

«Стихи эти невольно сложились у меня в голове вечером в день похорон бедного Бова^[8], и я записал их, чтобы откликнуться из своей клетки на общее наше горе. Сообщите их друзьям покойника. Они не станут искать в них эстетических красот, как не искал бы он сам, но, верно, найдут чувство, похожее на свое. Бедный, бедный Бов; мне так и представляется его доброе прекрасное лицо со слезами на щеках. Да, умирать в такие годы горько».

*

Он не знал, через кого к нему в камеру попали стихи.

Это не было послание с воли. Студенты, сидевшие тут же, в Петропавловской крепости, прослышав о заключении в нее Михайлова, приветствовали своего учителя и друга:

УЗНИКУ

Из стен тюрьмы, из стен неволи
Мы братский шлем тебе привет.
Пусть облегчит в час злобной доли
Тебя он, наш родной поэт!
Проклятым гнетом самовластья
Нам не дано тебя обнять
И дань любви и дань участия
Тебе, учитель наш, воздать!
Но день придет, и на свободе
Мы про тебя расскажем все,
Расскажем в русском мы народе,
Как ты страдал из-за него.
Да, сеял доброе ты семя,
Вещал ты слово правды нам.
Верь — плод взойдет, и наше время
Отмстит сторицею врагам.
И разорвет позора цепи,
Сорвет с чела ярмо раба,
И призовет на снежной степи
Сынов народа и тебя.

Михайлов долго смотрит в форточку, хотя знает, что на комендантском дворе сейчас никто не гуляет. Он должен ответить, но прежде необходимо хоть немного успокоиться. Мало того, что студенты вспомнили о нем, прислали стихотворный привет, называют его своим «учителем», «родным поэтом», они уверены в том, что его скромные труды на поприще революционной борьбы дадут свои плоды и молодое поколение «отмстит сторицею врагам».

Михайлов уже за столом.

Строки легко ложатся на бумагу:

Крепко, дружно вас в объятья
Всех бы, братья, заключил
И надежды и проклятья
С вами, братья, разделил.
Но тупая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,

В тьму и холод рудника.
Но и там, назло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколение
Свято в сердце сохраню.
В безотрадной мгле изгнания
Твердо буду света ждать
И души одно желанье,
Как молитву, повторять:
Будь борьба успешней ваша,
Встретить в бою победа вас,
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас.

«Спасибо вам за те слезы, которые вызвал у меня ваш братский привет. С кровью приходится отрывать от сердца все, что дорого, чем светла жизнь. Дай бог лучшего времени, хотя, может, мне и не суждено воротиться».

*

7 декабря его снова и в последний раз ведут в сенат. И снова на улицах, во дворе, в коридорах полным-полно народа. Его больше, чем при прошлых привозах Михайлова в это судилище.

Сегодня ему прочтут окончательный приговор. Сенат в своем определении еще в ноябре торжественно решил, «не подвергая смертной казни, определенной за преступления этого рода, сопровождавшиеся вредными последствиями, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 12 лет и 6 мес., а по прекращении сих работ, за истечением срока или по другим причинам, поселить в Сибири навсегда, но предварительно исполнение сего приговора внести оный на высочайшее усмотрение...»

Высочайше было усмотрено:

«Срок каторжной работы ограничиваю шестью годами, а в прочем быть по сему».

Сенаторы стоят навтыжку. На мордах — собачья преданность, величайшее почтение и благоговение. Михайлов скрестил руки на груди и

улыбается. Нет, ему, революционеру, не пристало кланяться или отчаиваться перед лицом этих прислужников кровавого престола.

В прихожей толпа. Чиновники исподтишка жмут руку. Доктор Боков, добрый знакомый, рванулся вперед, чтобы попрощаться.

И вдруг родные, знакомые голоса:

— Михаил Илларионович, прощайте!

Варенька и Маша, сестры Людмилы Петровны. Объяты, слезы, поцелуи.

У подъезда опять приветствия, по рукам ходят карточки Михайлова.

*

Теперь впереди Сибирь, каторга. Поп напутствует Михайлова на новую жизнь, петербургский генерал-губернатор Суворов приезжает прощаться и разрешает свидание с друзьями.

Друзья спешно покупают возок, чтобы Михаил Илларионович не подвергся страшной участи пройти 8 тысяч верст пешком, закованным в кандалы.

Шьют ватник, в который в шахматном порядке зашивают деньги, деньги закладывают в переплет евангелия, в подкладку теплой шапки.

Но друзья не знают, что палачи уготовили их другу позорную гражданскую казнь и назначили ее на утро 14 декабря, ровно в 36-ю годовщину восстания декабристов, к памяти которых взывала прокламация.

О казни молчали газеты, и узник не мог предупредить друзей.

*

Рано-рано утром 14 декабря в камере Михайлова палач с ножницами и кузнец с кандалами.

Его остригли по-каторжному — полголовы, а кузнец тем временем заклепывал кандалы. Что-то у него не ладилось, и присутствовавший при этой отвратительной церемонии плац-адъютант И. Пинкорнелли не выдержал.

Михайлов видел, как плачет «добрый и милый» Пинкорнелли, но у него самого не было в душе слез. Вспомнился Петрашевский: его ведь

заковывали прямо на площади у позорного столба. И когда кузнец не мог загнать клепку, Петрашевский отобрал у него молоток, уселся на помост эшафота и быстро справился с кандалами.

Петрашевский! Он жив, и, возможно, они встретятся, встретится последний каторжник николаевских дней с первым каторжником Александра-«освободителя».

Шесть часов утра. Морозная дымка висит над Петербургом. На улицах не видно людей. Михайлов мерзнет в серой арестантской шинели. Ему неловко сидеть спиной к кучеру на громыхающей «позорной колеснице».

Повозку окружают три взвода казаков. Процессия подъезжает к площади, где высится черный эшафот.

Михайлова ставят на колени, чиновник, шепелявя, читает приговор.

Михаил Илларионович вглядывается в небольшие кучки народа, стекающиеся к площади. Нет, среди них не видно друзей, нет и студентов. Это просто рабочий люд, поднятый затемно необходимостью добывать себе кусок хлеба.

Что-то там читает чиновник? Хотя все равно. Опять вспомнились петрашевцы. Плещеев рассказывал о страшных минутах, проведенных ими у позорного столба в ожидании казни.

Почему-то подумалось о том, что вот и Плещеев жив и снова в Москве, а Достоевский в столице. Быть может, и он недолго пробудет в рудниках.

Последний взгляд на Петербург — когда-то он его увидит вновь, да и увидит ли? Последний поиск друзей, но их нет. В толпе о чем-то громко разговаривают, видимо судачат: кого, за что, на сколько?

Над головой что-то хрустнуло, это палач сломал подпиленную шпагу.

А вечером самый радостный миг за эти три с половиной месяца.

Генерал-губернатор Суворов сдержал слово. Михайлов вновь в объятиях Шелгуновых, а рядом ждут своей минуты Полонский, Пыпин, Пекарский, Некрасов, Чернышевский, Александр Серно-Соловьевич, Гербель.

Они притащили ворох теплой одежды и ворох новостей. Ему на ухо объясняют, где защиты деньги, — ведь каторжнику их не положено иметь при себе.

Поздно вечером под усиленным конвоем, опасаясь, что студенты попытаются отбить узника, Михайлова перевезли в Шлиссельбург.

Тяжелая, мучительная дорога, ухабы, рытвины, метели, скверная еда и пьяные ямщики, местные самодуры, насекомые на пересыльных пунктах и почтовых станциях, и так день за днем, день за днем — 18 дней до Тобольска.

В Тобольске полная перемена обстановки, как будто он попал в иную страну с иными людьми, нравами, законами. Разбиты кандалы. В тюремном замке двери настежь. К нему ездят с визитами, несут ему в 40-градусный мороз живые розы.

Ему посылают свежие газеты и журналы, и, наконец, его буквально разрывают на части вице-губернатор Соколов, губернский прокурор Жемчужников, управляющий комиссариатской конторой Ждан-Пушкин, учителя, доктора.

Они хотят, чтобы Михайлов обязательно присутствовал на банкетах и обедах, устроенных в его честь.

И он присутствовал, он отогревался душою в сибирский трескучий мороз.

Месяц провел поэт в приветливом городе. Потом снова в путь.

Тобольск как бы открыл сердца тех, с кем Михайлов встречался в своей нелегкой дороге по Сибири.

В Томске картина повторилась, хотя он задержался всего на один день.

В Красноярске несколько приятных сюрпризов. Во-первых, капитан-лейтенант Сухомлин, командир клипера «Стрелок». Это он разрешил Бакунину пересест с клипера на купеческое судно и отбыть в Японию, оставив с носом сибирское начальство, жандармов, Третье отделение.

А потом пришел Михаил Васильевич Петрашевский. Встретились! Встретились бывший каторжник и только что осужденный на каторгу. Проговорили целый день, остались довольны друг другом, хотя в представлении Михайлова образ Петрашевского несколько потускнел, затянулся тиной местных интересов, интриг, сплетен. Михайлов считал, что революционер должен мыслить шире, видеть дальше и бороться с общей несправедливостью, высшим произволом.

В Иркутске новые встречи и снова с петрашевцем — Львовым.

Иркутские власти были более суровы, они еще не оправились от головомойки, полученной за бегство Бакунина. Но это не мешало местным дамам забрасывать Михайлова цветами, за баснословные деньги скупать его фотографии.

И, наконец, он прибыл на место, в Нерчинск.

Неподалеку, на Казаковском золотом промысле, служил горным

инженером его брат Петр. Свидание было радостным и грустным. Но Петр заверил, что Михайлову нужно только для исполнения формальностей побывать в Нерчинском руднике, а потом его возьмут на Казаковский прииск.

Так оно и было.

*

И опять проблеск счастья, пьянящий миг. К нему, в глубину «сибирских руд», приехали «любовь и дружба» — Шелгуновы со всем семейством. Преобразился дом на Казаковском прииске. Людмила Петровна быстро сумела сделать его уютным. Молодые инженеры, побросав вино и карты, осаждали Казакове. И снова вечерами, как бывало когда-то у Штакеншнейдеров или в салоне Шелгуновой, звучит, Шопен; его сменяют звуки сонаты Бетховена. Смолкает музыка, и дом наполняется неумолчным хором голосов. И опять, как когда-то, смеется Михайлов — молодо, задорно.

Михайлов написал «Записки» специально для Людмилы Петровны. Они застали ее в Петербурге и вернулись с нею в Казаково. Он читал собравшимся гостям отрывки из них.

Но обычно чтение наполняло грустью уютные комнаты. Михайлов не любил вспоминать о Третьем отделении, сенате, встречах с тюремщиками. Зато как часто вспоминал он о каторжниках, гниющих в острогах, умирающих на пересыльных этапах женщинах и детях, партиях разоренных казаков-переселенцев, о колоритных фигурах бунтарей-крепостных, не смирившихся и в неволе и убегающих куда глаза глядят по первому весеннему зову кукушки. Часто чтение внезапно обрывалось: у поэта сжимались кулаки, и он подавался всем телом вперед, как бы грудью идя на врага.

Михайлов задумал и начал набрасывать «Сибирские очерки». Но пока у него не было достаточного материала, только наблюдения, сделанные по пути в Сибирь. Он сам еще не столкнулся с каторжным трудом в рудниках, хотя знал о нем с детства. И он еще не спускался в мокрые штольни и не глотал горько-соленый пот. Писать же о том, что только видишь, но в чем не участвуешь, он не мог, да и не хотел, зная, что ему не избежать тяжелой доли.

Недолго длилось счастье. Однажды, месяца через два после приезда

Шелгуновых, прискакал верховой казак с эстафетой к Петру Илларионовичу Михайлову.

Сосланный кавказский князь Дадешкалиан писал; «Через Байкал я переезжал на пароходе с жандармским полковником Дувингом, который едет в наши места. Зная, что у вас живут какие-то гости из Петербурга, счел нужным предупредить вас. Князь Дадешкалиан».

Сомнений в цели поездки жандарма быть не могло.

И снова жгутся бумаги, прячутся письма. Михайлова спешно устраивают в больницу, над кроватью вешают казенную дощечку с надписью.

Дувинг привез приказы об аресте Шелгунова и его жены «по высочайшему повелению». Пока он должен препроводить их в Верхнеудинск, в острог.

И хотя этого ожидали, все же известие было столь тяжелым, что Людмила Петровна слегла. У нее отнялись ноги. И как ни бесился Дувинг, как ни старался выполнить приказ, ему пришлось пока ограничиться перевозом Шелгуновых в соседнюю, Ундинскую слободу.

Теперь уже Михайлов, «внезапно поправившийся», навещает своих дорогих друзей. Деньги служат ему пропуском к ним.

Но и это призрачное счастье длилось недолго. Прибыл новый приказ — Шелгуновых увозили в Иркутск.

Прощались тепло, с надеждой на встречу. Но простились навсегда.

*

В Петербург слетались доносы о «послаблениях, оказанных государственному преступнику Михайлову». К ответу призваны вице-губернаторы, полицмейстеры, комиссары.

Михайлов живет как частное лицо у своего брата? Это послабление, его место среди каторжан, добывающих золото, руду.

Михайлова бросают в Зерентуйский острог, потом в Кадаинский рудник.

Серебряно-свинцовые рудники и каменный гроб острога — больше ничего. Каторжники и солдаты. В душных отделениях острога, где люди проводят ночь, стоит страшная вонь, слышатся бред больных, стоны умирающих, вскрики спящих, когда им вдруг приснится воля.

Под нарами, на кирпичном полу за ночь примерзают сапоги.

Свинцовые отравления вызывают чахотку, отвратительная баланда ускоряет приход цинги.

Умирают сотнями. Мертвецы забивают амбары, их не успевают хоронить. Особенно быстро умирают поляки — участники восстания 1863 года. Они не могут перенести сибирского холода и царской каторги. Михайлов часто видел, как их «клали поленицами, как дрова. Мертвых объедали крысы и мыши, прежде чем их успевали «валом» зарыть в разрезе же, где они работали».

Как часто он теперь вспоминает обращенные к нему стихи Огарева. Их привезла Шелгунова;

Закован в железы с тяжелою цепью,
Идешь ты, изгнанник, в холодную даль,
Идешь бесконечною, снежною степью,
Идешь в рудокопы, на труд и печаль.
Иди без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен, и святы страданья.

Его «Сибирские очерки» наполняются слезами и кровью. И его слезами и его кровью, но в них и страстная вера в грядущую революцию, во всенародное восстание. Искра таится в столах истязуемых невинных людей, она в гневном протесте беглого, уходящего в ледяное безмолвие на верную гибель, но гибель под свободным небом воли и даже в вызове самоубийства.

К нему в подземелье шахт дошел бодрый привет друга и соратника — Петра Лаврова;

С Балтийского моря на Дальний Восток
Летит буйный ветер свободно;
Несет он на крыльях пустынный песок —
Несет вздох тоски всенародной...
Несет он привет от печальных друзей
Далекому, милому другу...
Несет он зародыши грозных идей
От Запада, Севера, Юга...
И шепчет: «Я слышал, в полях, городах
Уж ходит тревожное слово;
Бледнеют безумцы в роскошных дворцах...

Грядущее дело готово.
Над русской землею краснеет заря;
Заблещет светило свободы...
И скоро уж опросят отчет у царя
Покорные прежде народы...»

Нет, его не сломили страдания. Он слышит живые вести из далекого мира. И он шлет в этот мир свое слово, свои надежды. Он страдает оттого, что в 1863 году не произошло, как он ожидал, всеобщего восстания и что начался спад революционной волны. Его злит, что гневные крики бунтующего народа заглушает либеральное сюсюканье по поводу прожектов о «совещательной земской думе», новом «положении» о земских организациях.

Он не верит в них, не верит в реформы, пожалованные свыше. Он зовет к борьбе.

Отсюда, из далекой Сибири, Михайлов может бороться только словом. Его стихи, его статьи, очерки находят дорогу в столицу. Под псевдонимами стараниями друзей они появляются в печати.

Сколько нужно было иметь сил, веры, мужества, чтобы бороться с отчаянием. И не всегда, не каждый раз он выходил победителем.

Оно иногда прорывалось. Но это не было отчаяние человека, обреченного на смерть каторжным режимом. И скорбел он тоже не о себе.

Михайлов вновь и вновь обращался к молодому поколению. Он ждет от него не слов, а дел. Дел! И, не видя этих дел, клеймит поколение. Это стон сердца, сдержанный, страстный, и даже в стоне слышится надежда:

Иль все ты вымерло, о молодое племя?
Иль немочь старчества осилила тебя?
Иль на священный бой не призывает время?
Иль в жалком рабстве сгнить — ты бережешь себя?

.....

Иль в жертвах и крови геройского народа,
В его святой борьбе понять вы не могли,
Что из-за вечных прав ведет тот бой свобода,
А не минутный спор из-за клочка земли?

.....

Иль тех, кто миру нес святое вдохновенье,
Ведет одна корысть и мелочный расчет?
Кто с песнью шел на смерть и возбуждал движенье,
В мишурное ярмо покорно сам идет?
И за стеной тюрьмы — тюремное молчанье,
И за стеной тюрьмы — тюремный звон цепей;
Ни мысли движущей, ни смелого воззванья,
Ни дела бодрого в родной стране моей!

Так часто думаю, в своей глуши тоскуя,
И жду, настанет ли святой, великий миг,
Когда ты, молодость, восстанешь, негодуя,
И бросишь мне в лицо название: клеветник!

*

Кончался август 1864 года. Больной Михаил Илларионович лежит на узкой жесткой койке лазаретного отделения Кадаинского рудника. Лазарет неусыпно охраняется военным караулом. У Михайлова что-то с почками и очень болит сердце. Лекарь не уверен, но ему кажется, что это начало брайтовой болезни. Она здесь не гостья, а хозяйка. Михаил Илларионович чувствует, что это так. С такой болезнью в больнице, в мучениях он еще сможет протянуть полгода, ну, год, но никак не больше.

А если уйти опять в острог, на рудники, хотя уже по зачету каторжника третьей категории вышли его сроки пребывания на работах, тогда через месяц-два болезнь сделает свое черное дело.

Стоит ли тянуть? За этот год жизни он не успеет окончить начатого романа «Вместе» — романа о себе, о Людмиле, о новых людях, их любви, дружбе, революционной борьбе.

Нет, он не хочет умирать. Лекарь мог и ошибиться.

Михайлов, обессиленный большими мыслями, засыпает.

Его разбудил шум отодвигаемой кровати, потом возглас радости. Он не успел еще совсем проснуться и понять, кто это его обнимает, целует.

Господи, наваждение! Николай Гаврилович Чернышевский!

Нет, конечно, он бесконечно счастлив видеть друга, учителя, и какие теперь могут быть мысли о смерти! Но он и радуется и плачет — Чернышевский на каторге! Значит, погибло все. Значит, кровавый «освободитель» и на сей раз торжествует победу.

У Чернышевского признаки цинги и что-то очень плохо с сердцем.

Первый порыв прошел. Чернышевский расстроен. Михайлов не может понять чем.

Николай Гаврилович, улучив момент, говорит Михайлову, что на людях, на глазах у стражи, смотрителей он должен сторониться Михайлова, чтобы не повредить ему, выходящему на поселение. Михайлов бурно протестует. Он готов разделить с Чернышевским его участь.

Но Николай Гаврилович знает, что для него уготовлен особый режим. И он не хочет быть причиной несчастий друга. Тот вынес достаточно. Теперь речь идет о его жизни. А его жизнь еще пригодится новому поколению борцов.

Они беседуют только с глазу на глаз. Николай Гаврилович рассказывает о «Земле и воле», о «Казанском заговоре студентов». Он привез «Что делать?», и Михайлов тайком зачитывается романом. Он потрясен. Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна... Роман напоминает ему о счастливых днях, о соратниках. Ведь Вера Павловна — это и Ольга Сократовна и Марья Александровна Бокова, сестра Обручева, да в ней и от Людмилы, Людмилы Шелгуновой много, очень много взято.

И этот роман написан в крепости?

Да, и в крепости Николай Гаврилович остался непоколебим в своих социалистических идеалах, не пошатнулся, уверенный в грядущей победе.

Михайлова точно подменили. Болезнь отошла в сторону. Он готов работать и работать. Чернышевский подсказывает тему.

Пусть это будут научно-популярные очерки о первобытных людях «За миллионы лет...», «За пределами истории».

Михайлов пишет с увлечением юноши. Чернышевский для него неисчерпаемый источник познаний в антропологии, истории религии, атеизма, материализма. И очерки получаются материалистические. Они развеивают мистику, поповщину, социальную ложь. Чернышевскому они определенно нравятся. И написаны страстно, образно.

Через полгода Николай Гаврилович немного поправился и из больницы был переведен в острог. А Михаилу Илларионовичу стало вдруг хуже.

Он еще крепился, но болезнь прогрессировала.

Об этом узнал Петр Илларионович. Он пострадал тогда за брата, за

гостеприимство, оказанное Шелгуновым. Но теперь, когда Михаил умирает, его должны отпустить к нему.

Его не пускали долго.

Даже Чернышевского стража перестала впускать в лазарет к умирающему другу.

Михайлову мстили до последнего часа его жизни.

Петр приехал в июне 1865 года. Он несколько раз посетил брата. И, казалось, болезнь отступила. Но ненадолго.

В ночь со 2 на 3 августа Петра Илларионовича разбудил лазаретский служитель;

— Отходит ваш братец-то!

Петр бросился в лазарет. Но страже было «не велено пущать». Петр Илларионович взбесился. Он кинулся домой, схватил револьвер... и вот он уже возле койки умирающего. Тот перед самой смертью пришел в сознание и, не понимая того, что умирает, удивился, увидев слезы на глазах Петра.

— О чем ты плачешь? Ведь я не умираю еще, правда, ведь я не умираю?

Потом наступило полузабытье, и Михайлов уже никого не узнавал. Он твердил одно;

— Петр, Петр!

В дверях лазарета появился Чернышевский, без пальто, без шапки.

Он опоздал.

Михайлова не стало.

Обратно Петр Илларионович выходил с бумагами брата в одной руке и револьвером в другой.

Эти бумаги, как и все остальное, поэт завещал Мише, а значит, и Людмиле Петровне Шелгуновой.

*

Большая деревня в три длинные улицы втиснулась в глубокую мрачную котловину. С обеих сторон ее теснят темные громады гор. Одним концом деревня упирается в сопки, в болотистую долину, над которой отвесной стеной нависает гигант утес.

У подножья утеса множество крестов, могильных холмиков почти не видно.

Немного особняком могилы поляков-повстанцев. И рядом с ними

простой деревянный крест. Он стережет маленький кусочек земли, где покоится прах поэта-революционера Михаила Илларионовича Михайлова.



В. Тростников НИКОЛАЙ ШЕЛГУНОВ



По Невскому, в плотном кольце полицейских, медленно движется катафалк. Впереди него и сзади — молчаливые толпы провожающих. За гробом с многочисленными венками чинно вышагивают господа в пенсне, шляпах, котелках. Они старательно обходят лужи.

Впереди небольшая группа людей в блузах, потертых пальто, грязных сапогах. Над их головами всего один венок из темно-зеленых дубовых листьев.

На ленте надпись: «Н. В. Шелгунову, указателю пути к свободе и братству, от петербургских рабочих».

Похороны напоминают демонстрацию.

Прохожие спешат свернуть за угол.

Многие недоуменно пожимают плечами:

— Шелгунов, публицист, ученый, при чем же здесь рабочие?

А они пришли, чтобы отдать последний долг, сказать последнее прости учителю. Пришли, несмотря на то, что 15 апреля 1891 года — рабочий день и им он зачтется за прогул.

На кладбище полиция ожидает, что «демонстрация» закончится митингом. Так уж бывало раньше, но тогда не было рабочих.

Чей-то печальный голос глухо повисает в тишине:

— Он прожил долгую, красивую, яркую жизнь...

Не многие знают историю этой жизни. Не многие помнят, что она загорелась, засветилась 30 лет назад, в канун 60-х годов. И эстафетой прошла через все этапы революционно-демократического движения, угаснув на пороге нового пролетарского периода в революционном движении.

Красивая!

Яркая!

*

Дом наполнен звуками. Они рвутся сквозь раскрытые окна, затаенно перешептываются в углах гостиной.

Фортепьяно сменяется скрипкой, потом тоскливо звучит флейта, и глубокий, но слабый голос певицы вторит ей протяжно, печально.

Людмила Петровна Шелгунова — центр музыкального салона. Она играет. Она поет.

Ей подыгрывают, ей аккомпанируют.

Николай Васильевич любит эти вечера, озаренные музыкой и... одиночеством.

Ему, лесному таксатору, офицеру «корпуса лесничих», трудно разобраться в тонкостях контрапункта, хотя он частенько подыгрывает на трубе. Но он больше любит слушать, ведь под музыку так хорошо думается.

«Особливо когда поет Люденька».

Музыканты скоро надоели, и на «среды» в уютную гостиную Шелгуновых стали захаживать писатели, журналисты, критики. У Шелгуновых просто, никаких светских церемоний и можно говорить о чем угодно. Вон Михаил Михайлов — поэт, переводчик, драматург. Он не отходит ни на шаг от хозяйки дома. Остроумен, весел. Шелгунов улыбается ему — ведь Михайлов самый близкий друг. В другом углу Николай Гаврилович Чернышевский, немного загадочный, внезапно загорающийся и дьявольски умный, начитанный журналист. Тут же вертится его старый

приятель по Самаре Петр Пекарский. Он неутомим в расспросах.

Николай Васильевич немного завидует им. Они журналисты, писатели, они создают общественное мнение, а он?..

Он лесничий.

Люденька играет что-то задумчивое, нежно волнующее, наверное — Шопен. Ведь он ныне в моде.

Лесничий?..

Александровский кадетский корпус, Лесной институт, подпоручик и лесной таксатор.

Казенная служба складывается удачно. У него незаурядные способности, великолепное знание лесного дела.

Его заметили.

В Самаре, в этом глухом уголке глухой русской провинции, куда его забросила служба, он нашел друзей. В Петербурге их стало значительно больше. И каких друзей! А потом Люденька Михаэлис — его жена, он не может еще к этому привыкнуть, хотя женат уже несколько лет.

Нет, он положительно доволен тем, как сложилась его личная жизнь. Вот только эти неотступные тревожные мысли о России в этот несчастный 1853 год.

*

Жизнь лесного таксатора проходит в бесконечных разъездах. В бездорожье, грязь, под дождем и в нестерпимый зной Николай Васильевич объезжает казенные леса. Кое-как ест, кое-как спит и очень много видит, минуя деревни, села, города.

Дороги приучают к одиночеству, молчаливости. Но впечатлений так много, что невольно руки тянутся к перу. В письмах к Люденьке, к друзьям он делится мыслями, родившимися от соприкосновения с Русью, измеренной колесами его экипажа.

А мысли горькие. Где-то там, в Крыму и на Кавказе, гремят сражения, а здесь, в центре России, по дорогам бредут толпы мужиков, сгоняемых на бойню. Пустеют деревни, зарастают сорняками пашни, тоскливо в нескончаемой жалобе звучат девичьи песни. И обрываются в плач...

И всюду сытые баре, урядники, становые, и всюду дети со вздутыми животами, рахитичными ножками и недетскими глазами, молящими о корке хлеба.

Везде разнузданный произвол чиновников, одуряющая лень помещиков, жестокость, разврат и надругательства над крепостными.

Из Петербурга пишут о лихоимстве и казнокрадстве. В письмах угадывается какое-то напряженное ожидание.

А чего?

Конца войны?

Но она и так заканчивается, заканчивается бесславно для русского царя.

И снова версты, села, пыль и терзающие, не дающие ни минуты покоя мысли.

В чем же выход?

*

Петербург бурлит в эту зиму и весну 1855 года.

18 февраля умер Николай I. Не стало только одного царя, и на престоле уже сидит новый император, а кажется, что прорвало огромную плотину и весенний паводок заливал Россию.

В Публичной библиотеке, на лестнице, ведущей в читальный зал, завсегда — Пекарский и Шелгунов. Они никого не замечают и спорят. Пекарский любит говорить таинственно, как бы по секрету. Шелгунов больше отшучивается. Увлеченный реформами Петра I, Петр Петрович Пекарский убеждает Шелгунова, что только преобразования, подобные петровским, могут спасти Русь.

Шелгунов мало верит в реформы.

И вдруг без всякого перехода Пекарский вспоминает, что завтра 10 мая.

— Чуть не забыл. Николай Гаврилович защищает диссертацию. Ты придешь?

— Непременно!

В университет Николай Васильевич поспел как раз к началу защиты. Аудитория полна. Имя Чернышевского уже известно читателям «Современника». Литературные обозрения, экономические статьи, резкая критика российских порядков находят широкий отклик у тех, кто понимает, что к старому, «николаевскому» возврата нет.

С трудом пробравшись к окну, Шелгунов попросил кого-то потесниться.

Профессора чинно расселись за длинным столом.

На кафедру взошел молодой светловолосый человек в очках.

— Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям, — бросил Чернышевский в притихший зал. — Прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни.

Шелгунов, студенческая молодежь восторженно встречают эти слова Чернышевского. То, что говорит Николай Гаврилович, ново, аргументированно, просто и ясно.

— Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторой заменой ее и быть для человека учебником жизни, — Чернышевский увлекся, он уже не замечает, как хмурятся лица профессоров, и не слышит одобрительного гула аудитории. Он говорит не только об искусстве.

Искусство — фактор борьбы за преобразование общества, пора людям задуматься, по-новому осмыслить жизнь, активно вмешиваться в нее.

Зал гудел! Профессора молчали. И только Плетнев, председательствовавший на защите, подойдя к диссертанту, сухо бросил:

— Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!

Конечно, не это!

Эта диссертация — «первая молния». Она осветит путь, по которому пойдет и Чернышевский, пойдет и он, Шелгунов, а с ними тысячи новых людей, жаждущих активно вмешаться в жизнь, сделать ее действительно прекрасной.

И снова дороги, версты. Но на сей раз Николай Васильевич и Людмила Петровна едут вместе, едут за границу. Настроение приподнятое. Им все интересно, они не устают всматриваться в бесконечное мелькание пейзажей, фольварков, городов. Новые мысли, новые люди и пьянящее ощущение свободы.

Месяц они живут в Париже.

Общество вольнолюбиво настроенных людей. Горячая защита прав женщин, проповедуемая Женни Д'Эрикур; открытое осуждение действий правительства, романтическая, революционная приподнятость, ожидание чего-то, готовность к борьбе с гниющей империей Наполеона III. Это так увлекательно, так манит к себе и заставляет думать, выкинуть за борт все старое, привычное, освободиться от пудовых гирь, наложенных на плечи воспитанием и российской действительностью. Шелгунов чувствует себя перерожденным. Он зачитывается сочинениями Герцена, запрещенными в России. Людмила Петровна дошла до того, что «бредит эшафотом».

В Петербург они вернулись совершенно другими людьми. Это сразу отметили друзья и знакомые. Познакомившись как-то со взглядами Людмилы Петровны на эмансипацию женщин, одна русская дама полушутя, полусерьезно заметила:

— От вас каторгой пахнет!

В светском салоне Штакеншнейдера и у себя дома, в мимолетных встречах с друзьями и во время длительных споров Николай Васильевич высказывал «самые новые и противоположные всему привычному» мысли.

Он еще не убежден в необходимости революции, но уже и не отрицает ее как возможный путь разрешения всех больных вопросов России. И если не революция, то каким образом можно покончить с крепостничеством, как освободить миллионы русских рабов?

Шелгунов помнит об опыте Франции. Он пока еще не пропитался духом Марата, но проповедь Герцена, решимость Чернышевского склоняют симпатии Николая Васильевича на сторону тех, кто готов стать на путь революционной борьбы.

*

Только что назначенный министром государственных имуществ Муравьев совершал «ревизионное путешествие».

Оно напоминало набег татарского баскака времен Золотой Орды.

Чиновники трепетали, губернаторы молили о заступничестве друзей и столичных покровителей.

На дорогах стояли конные подставы, чтобы вовремя известить местное начальство о путях, «избранных его высокопревосходительством».

Впереди министерского кортежа двигалась свора чиновников, они разъезжали по уездам, собирая сведения. Сам же министр в сопровождении флигель-адъютантов следовал прямо в губернский город, где вершил свой суд.

Муравьев не был ни администратором, ни реформатором. Он был просто разрушителем и умел ломать превосходно. Задумав очистить министерство от лиц, ему неугодных, он очистил его и от лиц и от идей.

Блестящее знание лесного дела, честность и добросовестность Шелгунова, известные начальству, послужили основанием для того, чтобы включить Николая Васильевича в число лиц, сопровождающих министра.

Муравьев сумел оценить Шелгунова и после этой поездки начал

покровительствовать ему. Шелгунов оказался меж двух огней. Он терпеть не мог этого сановитого палача, но, будучи честным человеком, искренне стремящимся хоть как-то помочь своей родине. Николай Васильевич старался вскрывать злоупотребления, лихоимство, отдавая их на беспощадный суд и быструю расправу Муравьева, а не действовать по принципу: «чем хуже — тем лучше».

Шелгунов и был уверен, что делает добро. Муравьев оценил Николая Васильевича, и по возвращении в Петербург он назначается начальником четвертого отделения департамента лесных дел.

*

Россия готовится «удивить Европу». Крепостное право пора отменить. Так решил император Александр II. И этому верили, царем-«освободителем» восхищались, пели ему хвалу. И не многие видели, что «решение» императора — признание невозможности управлять страной, народом старыми крепостническими методами. Эту «невозможность» создал народ, бунтующий, не желающий «жить по-старому», ищущий воли, жаждущий земли.

Призрак революции бродил по России.

Бродил он и по Европе.

Николай Васильевич и Людмила Петровна снова в Париже.

Передовая Франция 1858–1859 годов, возмущенная диктатурой Наполеона III, собирала силы для борьбы. Повсеместно возникали кружки, сходки сторонников республики. Гостиница «Мольер», где остановились Шелгуновы, тоже была местом заседаний кружка республиканцев. И вскоре Шелгуновы стали его членами.

В Париже вместе с Шелгуновыми находился и поэт Михаил Илларионович Михайлов.

Шелгуновым и Михайлову был близок революционный дух кружка республиканцев отеля «Мольер». Михайлов слал на родину в «Современник» блестящие корреспонденции с описанием жизни Франции. Его также занимал вопрос о раскрепощении женщин. Михайлов рассматривал его как частичку одной большой проблемы — высвобождения всех духовных сил народа из пут рабства.

В отеле «Мольер» о положении женщин говорилось много, бурно,

остро. И Михайлов пишет ряд статей — «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе».

Николай Васильевич от решения этого вопроса также не остался в стороне. Он лучше Михайлова разбирался в экономических вопросах и помогал Михаилу Илларионовичу четко сформулировать их в своих статьях.

Быть за границей и не увидеть Герцена? Это не в духе Шелгунова, да и Михайлова. Они обязательно познакомятся с ним.

Лондон, Темза, копоть, туман, тюки колониальных товаров на набережной — все это мимо, мимо, сквозь сетку дождя, через широкую спину кучера наемного экипажа.

Шелгуновых встретил Михайлов. Он приехал раньше и уже позаботился о квартире. Успел он побывать и у Герцена. К Искандеру очень легко попасть, и русские идут в его дом толпами.

Не успели с дороги умыться и переодеться, как к Шелгуновым явился сам Герцен.

Он был любезен. Оки гости в Лондоне, а он хотя и не хозяин... но Людмила Петровна, Николай Васильевич, Михаил Илларионович сегодня обедают у него, и никаких отговорок.

Герцен откланялся.

Михайлов с ехидством наблюдал, как чета Шелгуновых готовится к визиту, словно мусульмане к посещению могилы пророка. Людмила Петровна в эту поездку за границу вновь перечитала все, что написал Герцен, и теперь она его самая горячая поклонница. Правда, еще в Петербурге Чернышевский говорил, что Искандер непоследователен, что он еще колеблется, что иногда в нем проглядывает барин. Ну и что же! Если грянет революция, он будет с нами.

В этом Михайлов не сомневался.

Обед у Герцена прошел, как праздник. Михайлов был прямо-таки в угаре. Наутро он не помнил деталей. Зато Людмила Петровна запомнила их на всю жизнь: «За стол мы сели с особенным благоговением. Герцен, несмотря на свою полноту и красноватое лицо, был необыкновенно красив умом и энергией, светившимися в его взгляде. Говорил он прелестно... Герцен жил тогда вместе с Огаревым, и т-те Огарева заведовала хозяйством. Огарев был несколько мрачен и молчалив. Впрочем, в присутствии такого блестящего ума и к тому же любящего говорить, и трудно было кому-нибудь примириться. Огарева говорила, что она представляется в своих собственных глазах смотрительницей какого-

нибудь музея, которая показывает иностранцам и путешественникам сокровища и объясняет их значение. В Лондон приезжала масса русских, и все они являлись к Герцену, и всех принимала как хозяйка Огарева. Она показывала его кабинет, огромный, как танцевальный зал, аркой соединяющийся с гостиной, из которой одна дверь шла в столовую, а другая выходила в парк. Самый дом, где жил Александр Иванович, назывался Park House вследствие большого парка, принадлежащего дому. Кабинет и гостиная не столько отличались роскошью, сколько комфортом. Вообще Герцен жил, как богатый барин-помещик. Принял он нас, как настоящий хозяин, то есть показывал все достопримечательности Лондона, ходил с мужчинами на митинг воров, в ночлежные дома, вообще был очень радушен».

Герцен тоже остался доволен посетителями. Ему особенно импонировал Михайлов. Этот человек, преданный благу России, еще скажет свое слово. Да и Шелгунов тоже.

Герцен был уверен, что видятся они не в последний раз.

Шелгуновы и Михайлов часто виделись с издателем «Колокола». Искандер познакомил их с политическим строем Англии. Беседы и споры о дальнейшем пути развития России укрепили Шелгунова в мысли о необходимости более действенно служить раскрепощению народа.

Желая «переделать Россию сверху донизу и превратить ее в рай», он, как и Герцен, думал добиться этого, минуя капиталистический путь развития, которым шла Европа.

Пример Герцена, свободным словом подымавшего русский народ на борьбу с крепостным правом, заставил Шелгунова задуматься над тем, играет ли какую-нибудь роль его узкоспециальная научная деятельность в начавшейся великой борьбе за освобождение.

Да, он, бесспорно, кое-что представляет собой, если поставить его рядом с Гельтом, чинушей-лесничим, но он «совершенная дрянь рядом с Герценом».

Шелгуновы вернулись на родину в «удивительное время», «когда всякий хотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный, и задачи громадные. Не о сегодняшнем дне шла тут речь, обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России, становившиеся в зависимость от того или другого разрешения реформ. Эта заманчивая работа потянула к себе всех более даровитых и способных

людей и выдвинула массу молодых публицистов, литераторов и ученых». С 1859 года Николай Васильевич сближается с людьми, составившими «цвет эпохи».

«В голове нет ничего, кроме политики», — записывает он в дневнике. В мировоззрении Шелгунова происходит резкий перелом в сторону революционного демократизма. Этот перелом отразился на всем облике жизни Николая Васильевича, занявшего после посещения Европы должность профессора в Лесном институте.

Изменилось и общество, окружавшее Шелгуновых. Размежевание между демократами и либералами отразилось и на «Люденькиных средах». С Шелгуновыми «мы больше не ведаемся», — записывает в своем дневнике Елена Штакеншнейдер — душа великосветского салона в доме своего отца, придворного архитектора.

Не посещают «среды» Майков, Бенедиктов, Анненков и другие либералы. Из места приятного препровождения времени и чисто литературных споров «среды» Шелгуновых превращаются в собрания революционно настроенной молодежи. Вопросы общественного развития и прежде всего вопрос об освобождении крестьян занимают умы этих «новых людей».

На молодежь, сгруппировавшуюся вокруг Шелгуновых и Михайлова, жившего тут же, в одной квартире с друзьями, Чернышевский и Добролюбов возлагали большие надежды.

Добролюбов специально пришел к Шелгуновым, чтобы познакомиться с Веней Михаэлисом, братом Людмилы Петровны, студентом университета, о котором много слышал. Чернышевский свел Шелгуновых с Николаем Серно-Соловьевичем.

Посетители шелгуновских «сред» Михайлов, Николай и Александр Серно-Соловьевичи, В. С. Курочкин и другие были активными сотрудниками «Современника».

Решающее значение в умственной жизни России принадлежало тогда литературе и журналистике. И естественно, что Николай Васильевич стремился выйти из душного чиновного мира на широкую дорогу разума и свободы. «Жизнь была не в чиновном и министерском мире, и не он давал цвет и содержание тому, чем люди жили, жизнь была дальше, там, где начиналась уже крестьянская реформа. Но... было еще течение, более широкое и глубокое... давшее красоту жизни, тон и направление общественной мысли, цвет эпохе. Этим широким, могучим течением была печать».

И это хорошо понимал Шелгунов, стремясь попробовать свои силы на

поприще публицистики. Михайлов, вынужденный заниматься делами журнала «Русское слово», привлекает Николая Васильевича к сотрудничеству в нем. В «Русском слове» Шелгунов помещает ряд статей под псевдонимом «Н. Ш.». Лишь статья «Одна из административных каст» публикуется за его полной подписью — «Н. Шелгунов». В этой статье, обратившись к предмету, хорошо известному, Николай Васильевич бичует искусственно пересаженную на русскую почву немецкую науку «лесную метафизику», показывает, что причины неудач «постановлений по лесному делу» в их оторванности от жизни, в нежелании царского правительства считаться с народом. «Причины понятны, — заключает он, — лесной мир не велик, но и он один из пульсов, по которому можно судить о здоровье целого организма».

Эту статью Николай Васильевич считал своей лебединой песней в лесоводстве и первой статьей, с которой он вступил в общую журналистику.

*

В министерстве Николай Васильевич на хорошем счету. Ему покровительствует Муравьев. Он знаком с именитым сановником князем Суворовым и другими чиновными лицами. Его научный авторитет профессора-лесоведа незыблем. Не обходят его в наградах и чинах. В апреле 1858 года Шелгунов произведен в подполковники, в 1859 году ему объявлена искренняя благодарность министра государственных имуществ, он награжден премией первого разряда и бриллиантовым перстнем, а также орденом Святого Станислава 3-й степени.

Для официального чиновного мира он продолжает оставаться специалистом лесного дела. Но уже в это время Николай Васильевич фактически становится общественным деятелем, публицистом.

Новогодний стол придвинут к постели, на которой лежит разбитая параличом Людмила Петровна. У нее после родов отнялись ноги. Кормилица внесла маленького Мишу. Михаил Илларионович и Николай Васильевич, Веня Михаэлис собрались, чтобы дружно поднять бокалы за освобождение крестьян, за новое счастье. Грядущий 1861 год предвещал много хорошего. Близился день крестьянской реформы. Муж кормилицы, рабочий сенатской типографии, забежав поздравить жену, сказал, что не придет домой целый месяц, так как их не отпускают из типографии, потому

что будут «печатать о воле».

*

Вечер близился к концу. В гостиной еще кто-то продолжал горячиться в споре, но Ольга Сократовна уже прощалась с гостями. Михайлов привел с собою Всеволода Костомарова, отставного корнета, недавно приехавшего из Москвы с письмом от Плещеева и с известием, что у него, Костомарова, имеется нелегальный печатный станок.

Затененная абажуром, неярко светила настольная лампа. У письменного стола в кресле сидел Николай Гаврилович, перед ним лежали листки исписанной бумаги. Увидев, что Михайлов плотно прикрыл дверь, Чернышевский пригласил всех присесть поближе.

— Настало время объяснить крестьянам их положение. Нельзя больше ждать. У меня имеется обращение к крестьянам. Его нужно напечатать и распространить.

— Согласны ли вы нам помочь? — обратился он к Костомарову.

— Для этого я и приехал сюда, — хвастливо ответил, не глядя на собеседника, корнет. — Вы, наверное, знаете, что я уже печатал подобные вещи.

Костомаров протянул антиправительственное стихотворение за своей подписью.

— Подписывать не следовало бы, — заметил Чернышевский.

Михайлов, внимательно слушавший разговор, попросил Николая Гавриловича познакомить их с обращением. Это оказалась прокламация, начинавшаяся словами: «Барским крестьянам от их доброжелателей, поклон».

— «...Так вот оно какое дело: надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. А куда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит — спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. В пословице говорится, что один в поле не воин. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит везде поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай...» — приглушенно читал Чернышевский.

Костомаров сидел, опустив голову, пальцы его шевелились, иногда он

случайно взглядывал на дверь и вновь замирал.

Была ночь, когда Михайлов и Костомаров уехали домой, захватив рукопись прокламации. Утром в присутствии Николая Васильевича Михайлов еще раз прочитал воззвание.

Шелгунов, который не мог вчера присутствовать у Чернышевского, был восхищен смелостью замысла листовки, яркостью и доступностью языка. Костомаров же выглядел испуганным и просил Михайлова смягчить тон прокламации. Тот отказался. Костомаров срочно выехал в Москву. Прокламацию он не взял.

Чернышевский, Шелгунов, Михайлов придавали огромное значение распространению прокламаций. Было решено издать воззвания и к солдатам, и к раскольникам, и к молодежи.

Воззвания к солдатам и молодежи вызвался написать Николай Васильевич. В целях конспирации Николай Гаврилович предложил всю связь с Костомаровым держать через Михайлова.

Всеволод Костомаров снова приехал в Петербург, уже перед опубликованием царского манифеста. Теперь он вел себя значительно смелее: настойчиво просил денег, жаловался на вымогательства брата, который якобы угрожал доносом. Радужный прием, оказанный Костомарову Шелгуновым и Михайловым, атмосфера революционного Петербурга положительно повлияли на него, и он, сдерживая робость, старался показать себя с наилучшей стороны.

Мысль написать воззвание к солдатам не оставляла Николая Васильевича. К приезду Костомарова он набросал первый вариант. Начало воззвания перефразировало прокламацию Чернышевского: «Русским солдатам от их доброжелателей поклон».

В прокламации Николай Васильевич стремился развенчать веру солдат в царя-батюшку, в справедливость присяги, в правильность приказов офицеров.

Рассказывая, как, прикрываясь присягой, офицеры заставляют солдат убивать своего же брата мужика, возмущившегося против тирании помещика, Шелгунов призывал их не стрелять в народ.

«А если и вы, братцы, забыв присягу, пойдете на народ и станете разорять его, вы такие же враги нашей родной страны». «Когда вас посылают на народ, то царь и командиры, которые вас посылают, — клятвопреступники. А если вы их слушаете — вы тоже клятвопреступники... не на такие дела вы присягали».

Костомарову прокламация не понравилась, и Михайлов тоже был не в восторге от нее. Решили попробовать написать сами. Но вышло еще хуже.

Николай Васильевич с жаром защищал свое воззвание.

— В нем изложено именно то, что нужно солдату, — утверждал он.

Спор затянулся. Шелгунов стоял на своем, Михайлов и Костомаров не соглашались.

— Ну вот что, — взволнованно проговорил Николай Васильевич, — этим спором мы ничего не докажем. Я предлагаю пойти к солдатам, поговорить с ними и, если представится возможность, прочесть воззвание.

В первый же свободный день два офицера направились к солдатским казармам. Костомаров взял на себя пехотинцев, Шелгунов должен был проникнуть к артиллеристам. Не доходя до казарм, они разошлись в разные стороны, условившись встретиться в трактире.

Как только Николай Васильевич скрылся за поворотом улицы, храбrivшегося из последних сил Костомарова охватил животный страх. Трусливое сердце его забилося, тревожные мысли одна другой страшнее пронеслись в разгоряченной голове.

«Сбежать... — тоскливо думал он. — А если схватят и все раскроется? Но я обещал...»

Костомаров сделал несколько шагов, поднял воротник и, прячась от прохожих, пошел назад.

Полчаса бродил он вокруг трактира, наконец увидел Шелгунова, идущего с солдатами. Выждав некоторое время, вошел в трактир и подсел к столу.

Солдаты пили чай. Шелгунов говорил о присяге, о том, что нельзя убивать своего же брата мужика, который борется за землю, за волю. Солдаты кивали головами, вставляли соленые словечки.

В приподнятом настроении Шелгунов возвратился домой.

Михаил Илларионович, не дав Шелгунову раздеться и прийти в себя, забросал вопросами. Николай Васильевич сиял. Встреча и разговор с солдатами дали ему богатый материал. Рассказывая обо всем Михайлову, Николай Васильевич вносил поправки в прокламацию. Вскоре новый ее вариант был написан. Михайлов отредактировал его, но в это время был объявлен манифест 19 февраля, и стало совершенно необходимым внести в прокламацию разбор этого манифеста.

«Слышали ли вы о вольной, что дали народу? Поговорите с крестьянами, и вы узнаете от них, что эта воля не настоящая, так только по губам помазали... Помещиков еще не было, а крестьяне были; значит, и земля крестьянам принадлежала ранее, чем помещикам.

А теперь говорят крестьянину — откупи от помещика землю, да чем ему ее откупить?.. Даже за избу, выстроенную самим крестьянином, и

огороды, им сделанные, и за то заплати помещику. Разве такая бывает воля? Это не воля, а кабала... Вот вам и царь, вот вам и клятва его перед богом царствовать на добро».

Окончательно отредактированное воззвание Николай Васильевич переписал измененным почерком и отдал Михайлову, тот, в свою очередь, Костомарову. Незадолго перед этим Чернышевский тоже передал Михайлову листовку «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». В Москву прокламации повез студент Сороко.

Манифест 19 февраля 1861 года был воспринят Чернышевским и его соратниками как замена одной формы эксплуатации народа другой. Не ускользнул от Чернышевского и крепостнический характер реформы. Революционные демократы увидели в царском документе такие противоречия, которые, по их мнению, должны были поднять крестьянство на восстание. «Каждый ждал гораздо большего, чем получил. Неудовлетворение вызывало недовольство, а недовольство создало «революционное брожение», — резюмировал Шелгунов в своих воспоминаниях.

Шли месяцы. От Костомарова из Москвы доходили тревожные слухи. Печатание прокламаций почему-то задерживалось.

А время не ждало. Нужно было тревожить, подымать на борьбу все слои русского общества, сплачивать решительных, отсеивать малодушных. Поэтому решено было использовать русскую «печатню» в Лондоне у Герцена.

*

Шелгунов забросил дела в министерстве, его не видно и в Лисино. Напрасно студенты-лесоводы ожидают появления любимого профессора.

Целыми днями сидит он у себя в кабинете. О чем-то думает, что-то пишет.

Он думает о том, почему провозглашение манифеста не повлекло за собой крестьянской революции. Он пишет, обращаясь к молодому поколению, которое, как ему кажется, остается единственным носителем революционной мысли, действия и надежды на будущее.

Сен-Симон, этот изгнанник «светских салонов», когда-то, сидя на своем «бальзаковском чердаке», уверял, что если сегодня вымрут все цари, короли, придворные, то мир переживет этот мор безболезненно и завтра

найдутся тысячи претендующих на корону и порфиру. Ну, а если несчастье постигнет ученых, литераторов, интеллигенцию, то кто их заменит завтра, через день, через годы и десятилетия?

Значит, смерть ста тысяч помещиков не только не нанесет ущерба России, но и может быть для нее благодеянием.

Рождалась новая прокламация «К молодому поколению». Она все росла и росла в объеме, а Шелгунов никак не мог исчерпать темы.

Обращаясь к молодежи, Шелгунов видел в ней силы, способные изменить существующий строй, звал их на революционное действие.

«Нам нужен не царь, не император, не помазанник божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность, мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли, понимающего жизнь и народ его избравший, — писал Шелгунов. — Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье».

Развивая революционную программу преобразований социального строя России: демократическая республика с выборной властью, самоуправление, равноправие, свобода слова, общинная собственность на землю, полное немедленное освобождение крестьян, реформа армии, коренное изменение основных законов России, — Шелгунов надеется, что эту программу выполнит молодое поколение России.

«Надежду России составляет народная партия из молодого поколения всех сословий, затем все угнетенные, все, кому тяжело нести крестную ношу русского произвола... и 23 миллиона освобожденного народа, которому 19 февраля 1861 года открыта широкая дорога к европейскому пролетариату».

В прокламации «К молодому поколению», хотя и обращенной к молодежи, проблема народа, способность его постоять за свои права находится на первом месте. Шелгунов призывает передовую интеллигенцию сближаться с народом и совместными силами начать революционную борьбу. «Пора приступить к делу, не теряя ни минуты, — говорите чаще с народом и с солдатами, объясняйте им все, чего мы хотим и как легко всего этого достигнуть; нас миллионы, а злодеев сотни. Стащите с пьедестала, в мнении народа, всех этих сильных земли, недостойных править нами, объясните народу всю незаконность и разврат власти, приучите солдат и народ понять ту простую вещь, что из разбитого генеральского носа течет такая же кровь, как и из носа мужицкого. Если каждый из вас убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к этой роли, какую вам

придется играть: зрите в этой мысли, составляйте кружки единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, ищите вожakov, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и «на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря!»

Костомаров не торопился печатать прокламации.

А время не ждало. Дорог был каждый день. Шелгунов и Михайлов решили напечатать прокламацию у издателей «Колокола». Прием, оказанный Шелгунову и Михайлову в 1859 году Герценом и Огаревым, говорил за то, что это им удастся сделать.

Воспользовавшись болезнью жены, Шелгунов добился разрешения на новую заграничную поездку и весной 1861 года выехал в Берлин, а оттуда в Наугейм, где Людмила Петровна проводила курс лечения. Вместе с Шелгуновым находился и Михайлов.

22 июня 1861 года Шелгунов и Михайлов выехали в Лондон. Друзья спешили к Герцену. В купе вагона первого класса они были одни.

За окном мелькали уютные фольварки, стройные ряды саженных рощ и лесов.

Но на душе Михайлова и Шелгунова было тревожно.

Может быть, в первый раз они представили себе всю опасность их предприятия и трагические последствия, которые обрушатся на них в случае провала. Необходимо было выбрать правильный путь. В Петербурге все переговоры о прокламациях вел Михайлов-Костомаров знал авторов, но непосредственно в руки прокламации ему передавал Михаил Илларионович. Он же своим почерком вносил в них поправки.

— Меня очень беспокоит судьба Миши, — прервал молчание Михайлов. — Людмила Петровна больна, только вы сможете обеспечить им приличное существование. У вас твердое положение в министерстве, связи, наконец хорошее жалованье. А у меня — вечная борьба за кусок хлеба. Лучше я пока один поеду к Герцену, а будет необходимость вашего приезда, то я тотчас сообщу.

В Кельне друзья должны были пересестъ на пароход. Михайлову удалось убедить Шелгунова не ездить пока в Лондон, и они, попрощавшись, расстались. Михайлов повез прокламацию к Герцену. Шелгунов, «соскучившись», вернулся в Наугейм.

Прокламация, особенно та ее часть, в которой содержался призыв к революции, вызвала резкий протест Герцена. Он уговаривал Михаила Илларионовича не печатать воззвания. Однако Михайлов твердо стоял на своем. Тогда Герцен пригласил Шелгунова в Англию.

Николай Васильевич приехал в Лондон, когда прокламация была уже отпечатана. Герцен, не сумев убедить Михайлова, согласился издать ее без изменений. Чтобы дезориентировать Третье отделение, «К молодому поколению» набрали тем же шрифтом и форматом, что и «Колокол». Это впоследствии ввело в заблуждение жандармов, решивших, что авторы воззвания — Герцен и Огарев.

В середине июля Шелгуновы и Михайлов встретились в Париже. Людмила Петровна приготовила чемодан с двойным дном, куда были уложены 600 экземпляров прокламации, а сверху вещи Михаила Илларионовича. Спустя несколько дней Михайлов уехал в Петербург.

К началу учебных занятий в конце августа в Петербург возвратились и Шелгуновы.

Первые дни в Петербурге были заняты устройством дел, визитами к начальству и посещениями друзей, подготовкой к лекциям.

Прокламацию Михайлов еще не распространил. Он дал ее лишь самым близким знакомым. Постепенно жизнь входила в обычную колею. И вдруг стало известно об аресте Костомарова. Он знал многое, и теперь все зависело от того, как он поведет себя во время следствия.

1 сентября на квартиру Михайлова нагрянули жандармы и полиция.

Обыск. Он ничего не дал. Прокламация лежала в камине, загороженном креслом, и не была обнаружена. Собравшись после ухода жандармов, Шелгуновы и Михайлов решили поспешить с распространением прокламации. Прокламацию распространили Шелгунов, Михаэлис и Александр Серно-Соловьевич.

Через день после обыска у Михайлова, то есть 3 сентября, генерал-губернатору Петербурга подали пакет на его имя. Вскрыв пакет, генерал-губернатор обнаружил в нем прокламацию «К молодому поколению». Этот день заставил поволноваться графа. То и дело адъютант сообщал ему о прокламациях, которые обнаружили и на креслах в театре, и в университете, и в солдатских казармах, и просто на улице. Затем поступили известия, что прокламации найдена в Москве, Риге, Вологде, Самаре.

Срочно полетели письма в Ливадию, где отдыхали Александр II и шеф жандармов князь Долгоруков.

«Бумага и шрифт лондонские», — телеграфирует генерал-губернатор граф Игнатьев. «Воззвание... напечатано в Лондоне, шрифтом «Колокола», — сообщает граф Шувалов, управляющий Третьим отделением. «Прокламация принадлежит перу Огарева», — утверждает он. «Вероятно», — делает пометку Долгоруков.

Царские сатрапы не могли поверить, что кто-либо осмелится в России

выступить против них. «Лондонские изгнанники» — авторы прокламации. Но у Третьего отделения имелся Костомаров.

У Герцена в июле был Михайлов, за которым ведется наблюдение и у которого недавно произведен обыск. Нужны показания. И Костомаров совершает первое предательство. Горько будет сожалеть поэт-петрашевец Плещеев, что он рекомендовал Костомарова Михайлову. А Костомаров, продавшись Третьему отделению, сыграет роль злого гения 60-х годов.

Через две недели утром 14 сентября четыре жандармских офицера в сопровождении десяти полицейских, перевернув вверх дном всю квартиру Шелгуновых и Михайлова, забрали рукописи, письма и бумаги. Михайлов был арестован.

Вечером этого же дня Николай Васильевич навестил Добролюбова, поведал о первой жертве, вырванной царизмом из их рядов.

Из Третьего отделения просачивались отрывочные и разноречивые сведения: «У Костомарова обнаружены воззвания, набранные для печати на типографском станке». «Михайлов мужественно отрицает наговоры Костомарова».

Дни ползли, полные тревоги, неизвестности, мучительных раздумий о судьбе друга, о деле, которому они посвятили свои жизни.

Воззвания, найденные у Костомарова, не попали в руки солдат и крестьян.

— Нужно новое воззвание, — решает Шелгунов. — Солдаты должны узнать, что присяга обязывает их служить родине, своему народу, а не исполнять несправедливые, преступные приказания царя.

Перо быстро скользит по бумаге: «Нет, если солдат поймет, что по приказанию начальства он помогает угнетать народ, он не будет любить царя и не будет исполнять его подлые приказания».

Николай Васильевич достал папиросницу — подарок Михайлова, закурил, затем чуть прыгающей походкой прошелся по комнате.

«Обязательно написать об Антоне Петрове, — мелькнула мысль, — о 25 годах тяжелой солдатской службы. Основное — союз крестьян и армии».

Мысли облекались в доходчивый текст:

«Грешно убивать безоружный невинный народ, как это было в Бездне», — бросает упрек Шелгунов и тут же выражает уверенность, что солдат «не станет стрелять в народ, когда тот восстанет, чтобы облегчить свою горькую долю, а присоединится к нему, чтобы ему помочь, да и свое житье поправить».

Воззвание «Солдатам» написано, затем напечатано и распространено.

Арест Михайлова не остудил, а скорее подогрел проснувшийся свободолобивый дух петербургской молодежи. Прокламации наводняли столицу. Обеспокоенное брожением умов царское правительство перешло к репрессиям. После Михайлова был арестован Обручев, распространитель «Великорусса». Начался поход против университетских вольностей, освященных многолетними традициями. Студентов лишили права «сходок» и других привилегий.

Новые правила предписывали студентам платить 50 рублей серебром в год за учебу. Без этого их не допускали в университет, без этого иногородним не выдавали вида на жительство.

23 сентября у студентов университета сходка. Бурная, бестолковая.

В воскресенье университет закрыли.

В понедельник новая сходка у запертых дверей храма науки.

Ночью студентов Утина, Михаэлиса, Гена арестовали.

И снова сходки.

Адреса министру.

И новые аресты среди студентов и сочувствующих им офицеров.

Берут ночью с постели, хватают на улице и даже ведут через весь город на веревке, как быков на убой.

Либеральные папаши негодуют, мамыши ежедневно в обмороке.

Пишется адрес государю. Собираются подписи, потом адрес сжигается.

Подписей оказалось всего пятьсот.

Жителей в столице — 400 тысяч.

Студенты уничтожают матрикулы, отказываются приобретать брошюры «новых правил» как пропуск в университет.

И в четверг, 12 октября, их избивают, зверски, нагло. Побоище идет в закрытом дворе.

— Может ли друг государственного преступника служить в вашем министерстве, да еще в Петербурге? — вопрос задан в лоб.

Начальник лесного департамента выжидающе смотрит на министра генерала Зеленого.

— Подполковник Шелгунов — большой знаток лесного дела. Пожалуй, у нас нет сейчас более опытного профессора и автора научных трудов, — медленно произнес генерал. — Да и человек он выдержанный, немного смелый, но это не во вред. А впрочем, надо переговорить с ним. Предложить ему уехать из Петербурга ненадолго. Страсти остынут, и все пойдет своим чередом.

Генерал приказал пригласить Шелгунова в следующий приемный день

к 11 часам.

Генерал Зеленый служил с Шелгуновым у Муравьева много лет и знал Николая Васильевича как исполнительного и думающего человека. Зеленый — человек мягкий, он печалился о неудачной, с его точки зрения, личной жизни Шелгунова. Но тень от дружбы чиновника его министерства с государственным преступником Михайловым падала и на него, министра.

Зеленый принял Шелгунова без особых церемоний. Как старого знакомого он усадил его в кресло, сел сам и начал расспрашивать о семье, о здоровье Людмилы Петровны, которую хорошо знал еще по Наугейму. Объяснив, почему в Петербурге Шелгунову оставаться неудобно, генерал сказал, что наиболее целесообразно перевестись временно подальше от столицы, например в Астрахань.

Выслушав доводы и предложения министра, Николай Васильевич ответил, что он решил подать в отставку.

— Да понимаете ли вы, Николай Васильевич, — взмолился генерал, — что вы делаете! Что греха таить, с нечиновными лицами в нашей империи не особенно церемонятся. Отбросьте все личное, я прошу вас ни в коем случае не выходить в отставку.

Не дав отвечать Шелгунову, министр продолжал:

— Вы подумайте, взвесьте, имейте в виду, что место в Астрахани я пока замещать не буду. А теперь прощайте и передайте привет Людмиле Петровне.

Зеленый встал, показывая, что прием окончен.

Следствие по делу Михайлова завершилось. Поэт был осужден на 6 лет каторги. Наступило время снаряжать его в дорогу.

Николай Васильевич считал своим долгом сделать все, чтобы облегчить дорогу Михайлова в Сибирь и более или менее сносное существование на каторге. Верный друг, он не побоялся пойти в Третье отделение.

Высокопоставленный чиновник Третьего отделения Потапов быстро пробежал составленную Николаем Васильевичем записку, остановился и перечитал просьбу: «Я, как самый близкий человек к Михайлову, прошу дозволить мне доставить ему вещи, необходимые на дорогу», затем искоса посмотрел на Шелгунова и спросил:

— Вы, кажется, жили с Михайловым в одном доме?

Шелгунов молчал. «Неужели он не знает, что мы жили в одной квартире?» — мелькнуло в голове.

Генерал выдержал небольшую паузу, незаметно наблюдая за

Шелгуновым, взял перо и написал: «Разрешаю». Шелгунов откланялся и с чувством выполненного долга вышел из кабинета, как ему казалось, навсегда.

Получив разрешение, Шелгуновы срочно начали снаряжать Михайлова в дорогу. Они купили зимний троечный возок, теплые вещи, сшили специальный ватный нагрудник, в каждую клетку которого зашили по рублю, заклеили в переплет евангелия деньги. Людмила Петровна организовала розыгрыш части библиотеки поэта в лотерею.

Приближался день отправления Михайлова в Сибирь. Забота о друге вытеснила на время все остальные дела. Пользуясь знакомством с новым генерал-губернатором Петербурга князем Суворовым (мать Людмилы Петровны и жена князя Суворова учились в одном пансионе), Шелгунов неоднократно ходатайствовал перед сановным князем об облегчении участи друга. Суворов упорствовал. Он не разрешил везти Михайлова без кандалов. Однако написал письмо к сибирским властям, в которых просил отнестись к Михайлову благожелательно.

При последней встрече, когда Шелгунов просил разрешения проститься с Михайловым, князь предупредил:

— Знайте, что если будет какое-нибудь покушение, чтобы освободить Михайлова, жандармам отдано приказание его застрелить.

14 декабря 1861 года Михайлова увезли на каторгу.

*

После высылки Вени и Михайлова Шелгуновы оставили большую квартиру на Офицерской улице и переехали жить на Царскосельский проспект в собственный дом Серно-Соловьевичей.

Небольшая трехкомнатная квартира Шелгуновых редко пустовала. Николай и Александр Серно-Соловьевичи жили тут же по соседству.

В это время еще не забылся смелый побег Бакунина. Мысль об организации побега Михайлова не давала покоя Шелгунову. Николай Васильевич твердо решил выйти в отставку, ехать в Сибирь к Михайлову и на месте решить, что можно предпринять для облегчения участи друга.

Несмотря на осуждение Михайлова, Обручева, аресты студентов, атмосфера в Петербурге была накалена. Казалось, восстание народное близко. «Не могут же миллионы крестьян, оставшиеся без земли, не потребовать своих прав. Неужели многовековое рабство вытравило в

русском человеке борца, — думал Шелгунов. — Нет, восстание близко, нужно к нему готовиться». Капитализм Запада не отвечал особенностям русской жизни середины XIX века. Рабочих в России почти не было. И революционные демократы мучительно искали особый путь для своей аграрной страны к социализму. Они правильно нацеливали народ на крестьянскую революцию, на свержение ненавистного самодержавия и установление демократической республики.

Дальнейший путь развития Русского государства волновал не только революционеров-демократов, он будоражил и «славянофилов», и «почвенников», и, конечно, царское правительство. Это было время огромного возмущения масс, ожесточенной борьбы мнений, героических дел лучших людей России.

Шелгунов находился в самом центре событий.

Николай Гаврилович Чернышевский часто бывал в небольшой квартирке Шелгуновых и у Серно-Соловьевичей. После смерти Добролюбова именно в них он видел самых близких себе по духу людей. Он группировал их вокруг «Современника», предоставляя страницы журнала для резких и смелых статей.

— Интересный вопрос вы подняли, Николай Васильевич, в «Рабочем пролетариате», — сказал при одной из встреч Чернышевский. — Да, пора уже познакомить русского читателя с произведениями Энгельса.

— Это один из благороднейших немцев и блестящий знаток положения рабочего класса Англии, — заметил Николай Васильевич. — У него исключительная логика и доказательность. Я взялся за перевод этой работы именно потому, что в ней очень рельефно вскрыты язвы капитализма. А Россия должна миновать стадию капитализма. Крестьянская поземельная община — вот путь России к социализму.

— Да, — задумчиво произнес Чернышевский, — крестьянство у нас основная сила. Россия — страна аграрная, рабочего класса почти нет. Следовательно, и ориентироваться надо на мужика, на Разиных, Пугачевых, Петровых.

— А как вам показалась моя статья «Литературные рабочие»? — задал вопрос Шелгунов.

— Есть интересные, свежие мысли. Например, артель литераторов — это очень хорошо. Вообще артели без хозяина, на паевых началах — заманчивое дело. Каждый работает, и каждый участвует в прибылях. Это перспективная экономическая форма.

Разговор зашел о работе историка Щапова.

— Ищет в допетровской Руси, в земском соборе, новые формы

государства, — иронизировал Шелгунов. — Да где ж эта самобытность? В русском кафтане, плохих дорогах да телеге вместо поезда? Нет, нужно у Запада брать все разумное. Нужна республика, надо свергнуть царя. Верю, скоро наступит час восстания.

*

В литературных салонах, редакциях газет и журналов только и разговоров о статье какого-то Т. З. «Литературные рабочие». Многие редакторы откровенно возмущены — этот Т. З. называет издателей капиталистами, эксплуататорами, а литераторы, видите ли, — рабочие, поденщики.

— Не иначе, как Чернышевский. Кто же еще в «Современнике» может писать с таким апломбом: «Не мешало бы порастрасти нашу журналистику — разъяснить принципы и стремления каждого издания, указать цель, которую преследуют каждый журнал и газета».

— Как будто, кроме «Современника», ни у кого и цели нет, — негодуют благонамеренные.

«Пусть только и живут на свете такие журналы, — читают дальше в статье, — около которых, как известных определенных органов, должны группироваться люди известного и определенного образа мыслей, а остальным журналам, от которых только тепло их издателям, незачем иметь читателей, незачем существовать».

— Чернышевский явно зарвался, пора, пора его одернуть, — хорохорятся либеральные подпевалы. — А то ведь в Петербурге уже расшифровывают псевдоним «Т. З.» — как «тюремный заключенник».

Псевдоним «Т. З.» был известен узкому кругу лиц. Даже Людмила Петровна не знала, что Т. З. — это Николай Васильевич и вся шумиха, поднятая «Временем», «Отечественными записками» и другими журналами, имеет отношение к ее мужу.

Чернышевский был доволен.

— Неплохо заварили кашу, Николай Васильевич, — шутил он. — И как правильно вы пишете: «Каждый журнал должен быть органом определенного направления. Журналов без направления быть не должно». Но больше всего меня насмешило утверждение Страхова. Послушайте, как глубокомысленно он ваши идеи приписывает мне. Вот прочтите! — И Чернышевский указал на страницу журнала «Время». — «Не чувствуете ли

вы, наконец, что рассуждения г. Т. З. и г. Чернышевского имеют какой-то странный, особенный характер». И дальше: статья г. Т. З. «с необыкновенной ясностью характеризует многие мнения «Современника».

— Думаю предложить вам, Николай Гаврилович, новую статью, несколько философского плана. В ней я попытался развить мысли «Литературных рабочих», обратившись к системе оплаты за литературный труд. Основной тезис: пока литератор получает за количество исписанных страниц, пока он живет на деньги, которые должен заработать, приспособляясь к вкусам подписчиков и требованиям редакторов-издателей, он поденщик и не может писать то, к чему лежит его сердце.

— Это интересно.

— Я утверждаю, что идеи творит народ, а грамотные люди записывают и обобщают народный опыт, а потом выдают его за свой личный и просят денег. Никакого авторского права быть не может. В литературу должны идти люди, имеющие огромный талант, а ремесленникам в ней нет места. Пусть лучше трудятся там, где от них больше пользы.

— Литература в России, Николай Васильевич, — это огромное общественное дело, это трибуна. Только через журналы мы и можем влиять на общество.

— Я и стремлюсь это доказать в своей статье. Если отвлечься, если представить, что в России республика и общественные вопросы можно решать практически, тогда высказанные положения могут быть осуществлены.

— Ну что ж, давайте статью. Как вы думаете, а следует ли ее подписывать?

— Без подписи будет лучше. Т. З. уже склоняют на всех литературных собраниях. Нет смысла привлекать внимание цензуры к псевдониму, — ответил Шелгунов.

*

Цензор Еленев находился в крайнем раздражении. Еще недавно он получил устное замечание за то, что допустил к печати статью какого-то «Т. З.». Вспомнились разговоры в комитете о статье «Русское слово». Безымянный автор разгромил Щапова с его земскими соборами допетровской Руси и прямо заявил, что «русское слово» скажет весь

русский народ, вся страна. Некрасов тогда пытался доказать, что в статье ничего противоправительственного нет. Однако всем было ясно, что образ мыслей автора в высшей степени вредный. Некрасову пришлось указать. И вот извольте, следующий номер, и опять статья Т. З. под странным названием — «Русское разномыслие».

Цензорский карандаш заплясал по строчкам, оставляя за собой линии, кресты, подчеркнутые фразы.

Статья чем-то напоминала отвергнутую, но была еще более резкой.

Еленев читал: «Зачем идти в глубь старины, в туман чего-то смутного, никому не известного, когда сила, которую бы они нашли там («Это про славянофилов», — догадывается цензор), была у них в руках и в настоящий момент? Вы ищете отрицания, у вас есть сила для него — что же, вот вам настоящее — отрицайте его!» Цензорский карандаш подчеркивает всю фразу и на полях ставит еще один крест.

Но что это: пропаганда объединения, призыв к восстанию?

Цензор уже подчеркивает слова по два раза.

«Сидя за забором, непрактично рассуждать о поле, которое лежит за ним, и о том, как мы расположимся и устроимся на этом поле, сначала нужно выйти на свободу, перейти через забор или уничтожить его, а там уж само поле покажет, как на нем устроиться или какой дорогой идти, в начале же дела дорога для всех одна».

— Куда идет «Современник»? Нет, необходимо доложить председателю комитета. Все отрицание и отрицание. Нигде ничего положительного.

Цензор закончил читать статью, сложил по порядку гранки и над заглавием написал: «Запрещена цензурой. Март 1862».

Была ранняя весна 1862 года. По Невскому еще ездили в зимних экипажах, но лед уж начал кое-где темнеть, заметно прибавился день.

Николаю Васильевичу предстоял последний визит к министру государственных имуществ. Прошение об отставке было подано давно.

Генерал Зеленый не сумел отговорить Шелгунова, однако распорядился повысить его в чине, оставить право носить мундир и выхлопотал солидную пенсию.

После приказа об отставке все как-то сразу определилось, стало на свое место.

Шелгуновы едут в Сибирь, к Михайлову.

Ранним утром 26 мая собрались друзья Шелгунова и Михайлова.

Среди них Чернышевский, Некрасов, Н. Серно-Соловьевич, Гербель. Все готово к отъезду. Людмила Петровна в последний раз просматривает свои вещи. В ее руках альбом с автографами многих известных писателей.

— Разрешите мне на прощание сделать небольшую запись для Михайлова, — обращается к Людмиле Петровне Некрасов.

— Пожалуйста, Николай Алексеевич, Михаил Илларионович очень обрадуется этому.

Опустившись на стул, Некрасов быстро набросал отрывок из «Рыцаря на час». Вслед за стихами;

Суждены вам благие порывы.
Но свершить ничего не дано... —

добавил: «Редки те, к кому нельзя применить этих слов, чьи порывы способны переходить в дело... Честь и слава им — честь и слава тебе, брат!»

И в нижнем левом углу поставил дату:
26 мая в 6 часов утра.

В дороге очень много хлопот причинял Миша. Горничная не справлялась. К тому же и вещей было порядочно. В Твери пересели на пароход, спускающийся по Волге и Каме. Ехали по наитию: место каторги известно не было.

В Перми удалось узнать, что Михайлов недавно проехал на Екатеринбург. Помогали рекомендательные письма князя Суворова, но имелись и свои корреспонденты. С одним из них, капитаном Авдеевым, Людмила Петровна давно вела оживленную переписку.

В Екатеринбурге Михайлова не оказалось. Авдеев писал, что, вероятнее всего, место каторги будет определено в Тобольске, где Михайлов, по-видимому, задержится.

На это письмо Авдеева Николай Васильевич отвечал сам. Описав подробности ареста Михайлова, его поведение на суде и проводы в Сибирь, он очень просил Авдеева узнать, куда будет сослан Михайлов.

Давно уже оставлена каюта парохода. Тряский тарантас, смена лошадей, ночлеги на ямских станциях, проверка подорожных, неизбежные расспросы и далекая цель впереди.

Путевая тетрадь заполняется понемногу наблюдениями, сценками, думами.

«С Тюмени, — записывает Николай Васильевич, — кончаются все удобства пути, и во всю нестерпимо долгую сибирскую дорогу не встретишь нигде ни газет, ни журналов, как будто бы весь мир вымер и осталась одна Сибирь. И чувствуешь, что живешь где-то в новом месте. Здесь как будто видишь совсем новую страну, только что явившуюся после геологического переворота и с только что созданным человеком».

С тревожными мыслями подъезжал Шелгунов к Тобольску. Разрешат ли ему увидеть своего друга, скажут ли, куда его отправляют, как переносит дорогу Михаил Илларионович, не болен ли?

Но вот появились очертания города-острога. Не стесненный вещами (Миша, горничная и багаж прибывали со следующим пароходом), Николай Васильевич сразу же поехал к острогу. Комендант тюрьмы, ознакомившись с рекомендациями, согласился лично показать отставному полковнику, как содержатся заключенные в остроге. Познакомив посетителя с камерами уголовных преступников, комендант собирался уже повернуть назад, когда Николай Васильевич обратил его внимание на помещение, отгороженное от остальных стеной.

— Скажите, ваше превосходительство, — обратился Шелгунов к коменданту, — что находится за этой стеной?

— Там помещение для государственных преступников, — последовал неохотный ответ.

— Не откажите в любезности побывать в этом помещении.

— Видите ли, это не разрешается уставом. Хотя сейчас у нас только один заключенный, куда ни шло, думаю, что не будет большого преступления, если мы немного нарушим устав.

Комендант приказал часовому открыть ворота, и Шелгунов оказался в небольшом внутреннем дворе, окруженном высокой стеной. В середине двора находилось приземистое кирпичное здание.

— В этой камере находится политический ссыльный, — сказал комендант, подводя Шелгунова к двери.

Загремел засов, и в полутемном помещении показался человек в арестантском халате и кандалах. Это был Владимир Обручев.

«Михайлова нет, — мелькнула мысль. — Куда же его отправили?»

Обручев знал Шелгунова по Петербургу, «Современнику», слышал он и о намерении Шелгунова ехать к Михайлову.

Шелгунов протянул руку. Обручев ответил на крепкое рукопожатие.

— Как ваше самочувствие? — официальным тоном спросил Шелгунов.

— Благодарю, не жалуюсь, — ответил Обручев.

Старые знакомые, обменявшись незначительными фразами и дружескими взглядами, расстались.

Вскоре выяснилось, что Михайлов отправлен в Иркутск. На другой день тарантас Шелгуновых снова затрясся по нескончаемым дорогам Сибири. В тетради появилась горестно-ироническая запись: «Тобольск, как и все русские города, гораздо красивее издали, чем вблизи. Особенную красоту придает ему острог, архиерейский дом, семинария и присутственные места».

Заканчивался второй месяц пути. Немилосердно пекло солнце, поливал дождь. Женщины устали. Тарантас требовал ремонта. В Красноярске было решено заняться хозяйственными делами, написать письма.

Иркутск встретил Шелгунова неприветливо. Уже у заставы потребовали вид и два дня изучали его в полиции. Оказалось, искали графа Шуазеля, проехавшего Иркутск две недели назад.

— Люденька, — взволнованно обратился к жене Шелгунов, — я только что познакомился с газетами. «Современник» и «Русское слово» запрещены. В поджогах обвиняют студентов, Чернышевский арестован.

Шелгунова ждала этого, но гнала от себя тревожные мысли, забывала о них в дороге.

И вот случилось!

Арест Чернышевского означал открытое наступление реакции. Удар нанесен в самое сердце революционной партии. Арест мог отразиться и на судьбе Шелгуновых. Нужно спешить, если они действительно хотят организовать побег Михайлову. Необходимо подумать и о собственной безопасности.

Уже позади Байкал, Чита, Нерчинск. Лошади резво бегут, чувствуя близость жилья. Обогнув сопку, тарантас въезжает в небольшое селение — Казаковский прииск и останавливается у рубленого дома, на крыльце которого, протягивая руки и наклоняясь вперед, стоит такой знакомый и близкий, тот, к кому они стремились, — Михаил Илларионович Михайлов.

*

Был вечер. Солнце длинными косыми лучами освещало Зимний дворец. В зале, превращенном в кабинет, у окна стоял человек среднего возраста, с бакенбардами; мундир плотно обтягивал полнеющую фигуру.

Взор его был устремлен на Петропавловскую крепость. Туда совсем недавно доставили государственных преступников Чернышевского, Ветошникова, Николая Серно-Соловьевича.

С минуты на минуту должны прийти с докладом из Третьего отделения.

— Всюду недовольство. Эти прокламации, — Александр II передернул плечами, — подметные письма, призывы к уничтожению царского рода...

— Председатель следственной комиссии, статс-секретарь князь Голицын, ваше величество, — доложил адъютант.

Царь жестом разрешил аудиенцию.

— Позвольте, ваше величество, представить всеподданнейший доклад о порученном мне деле, — с поклоном начал Голицын.

— Говори.

— При ознакомлении с бумагами, найденными при обыске у Николая Серно-Соловьевича, нами были обнаружены письма отставного полковника Шелгунова и его жены на имя государственного преступника Серно-Соловьевича, из которых следует, что Шелгуновы предприняли поездку в Сибирь к Михайлову, преследуя неизвестные цели, и что он близок к Серно-Соловьевичу. Кроме того, несколько писем обнаружено у капитана Авдеева.

— Что же они пишут?

— Разрешите, ваше величество, зачитать некоторые места.

Александр слегка нагнул голову.

— Полковница Шелгунова, ваше величество, сообщает капитану Авдееву: «В Петербурге скучно, грязно, военно, и поэтому хочется бежать и бежать, — читал Голицын, выразительно подчеркивая интонацией отдельные слова. — В Иркутске делают такие ужасы, что страшно за Михайлова, тем более что о нем нет ни слуху ни духу. Знаем только, что в Тобольске его приняли как следовало: дамы ездили к нему на поклон, посетители являлись с утра и каждый день возили на обед».

— Запросить тобольского генерал-губернатора, как допустил подобное, — резко оборвал царь.

— Будет исполнено, ваше величество, — подобострастно прошептал Голицын, делая пометку на бумаге.

— Записка о Шелгунове составлена?

— Так точно, ваше величество.

— Положи, сам прочту.

Александр II сел в кресло, быстро перелистал записку и карандашом через весь лист написал: «Его следует арестовать, и по осмотре его бумаг и

снятии допроса решу участь».

Голицын поклонился.

Аудиенция кончилась.

Через час специальный курьер уже мчался в Иркутск. В сумке у него находился секретный пакет с распоряжением об аресте отставного полковника Шелгунова.

Стояла забайкальская светлая осень. Уже два месяца Шелгуновы жили на Казаковском прииске в одном доме с Михайловым. Шелгунов приводил в порядок разрозненные заметки о Сибири, Михайлов писал дневник, Людмила Петровна много внимания уделяла Мише. Вечерами друзья собирались вместе, слушали игру Людмилы Петровны на фортепьяно, обменивались мнениями. Беседа заходила далеко за полночь.

И это ясное утро было солнечным и беззаботным. Николай Васильевич проснулся рано и, зябко кутаясь в пальто, вышел из дома. Свежий ветерок трепал его светлые волосы. Ощущение бодрости и легкости наполняло все его существо.

По дороге, ведущей из Нерчинска, скакал вестовой.

«Уж больно в ранний час», — подумал Николай Васильевич.

Всадник приблизился.

— Горному инженеру Петру Илларионовичу Михайлову эстафета!

— Сейчас позову, — ответил Шелгунов и поднялся на крыльцо.

Из дому вышел Петр Илларионович. Вскрыв пакет и быстро пробежав записку, Петр Илларионович отпустил вестового и пригласил всех в комнату.

— Князь Дадешкалиан меня предупреждает, что на прииск едет жандармский полковник Дувинг. О цели его поездки ничего не сказано. Но подготовиться ко всему следует.

Были приняты все меры предосторожности: Михаила Илларионовича поместили в больницу. На кровать повесили табличку с фамилией и температурой. Весь день топилась печь, огонь уничтожал бумаги, документы.

Полковник не ехал.

Так прошел день.

Утро следующего дня было таким ярким, таким прозрачным, ласковым, что друзья забыли о всех тревогах, сидя в саду и наблюдая, как Миша и Михаил Илларионович с увлечением играют в мяч. Развеселившийся мальчик не отставал от Михайлова.

Здесь, в саду, за игрой в мяч и застал «больного» каторжника

Михайлова, Мишу и Шелгуновых жандармский полковник Дувинг.

— По высочайшему повелению, — объявил жандарм, — отставной полковник Шелгунов и его жена подлежат аресту. Прошу следовать за мной.

Все отправились к дому, где уже в полном разгаре шел обыск.

— Что предписано делать с нами? — поинтересовался Николай Васильевич.

— Отвезти в Верхнеудинский острог, — отрапортовал Дувинг.

Обыск не дал результатов. Были обнаружены лишь книги по разным вопросам, привезенные Шелгуновым, записки о Сибири, гранки задержанной цензурой статьи «Русское слово» да листок с подсчетом срока, оставшегося Михайлову быть на каторге.

— С Людмилой Петровной плохо, — выйдя из комнаты Шелгуновой, сообщила горничная.

Миша, заплакав, побежал к матери.

— Ко времени, — облегченно вздохнул Николай Васильевич.

Шли дни. Людмила Петровна лежала, не вставая, в своей комнате. Полковник Дувинг тщетно ждал ее выздоровления.

Рапорт в С.-Петербург написан. Пора везти арестованных. Но «домашний совет» с этим не согласен.

Ночью в комнате у Людмилы Петровны «совет» решает предложить Дувингу оставить Шелгуновых под арестом на Казаковском прииске.

Взбешенный полковник приказал срочно доставить на прииск доктора, надеясь уличить Шелгунову в симуляции. Трудный поединок выиграла Людмила Петровна. После осмотра доктор категорически заявил, что больная не сможет вынести дальней дороги.

Дувинг отвез Шелгуновых в соседнюю, Ундинскую слободу. С чувством глубокой благодарности вспоминала всю жизнь Людмила Петровна благородного доктора, спасшего их от Верхнеудинского острога.

Шесть верст по тропинке от Казаковского прииска до Ундинской слободы ежедневно проделывал Михайлов.

Майор Рик смотрел на все сквозь пальцы, а фельдфебель получал регулярную мзду. Отпраздновали новый, 1863-й год. Этот год не принес Шелгуновым счастья.

Вскоре их перевели в Иркутск..

Донесение Дувинга, особенно намеки на интимные отношения Михайлова и Шелгуновой, было благожелательно воспринято окружением Александра II. Усмехаясь про себя, царь повелел: «Не привлекать Шелгуновых к допросу и, освободив от домашнего ареста, оставить их в

Иркутске под надзором полиции».

*

Следствие по делу Чернышевского продвигалось медленно. Арестованный все отрицал. Улик не было, но был Костомаров, предавший Михайлова. Теперь ему предстояло доставить улики против Чернышевского. И он состряпал их в письме на имя какого-то Соколова. Костомаров пространно изложил все, что знал о Чернышевском. Не забыл он и чтение прокламации «Барским крестьянам», чай в трактире, солдат и Шелгунова.

И вот уже в обратном порядке мелькают сибирские города. И не гостиницы, а остроги и камеры — свидетели ночных бдений. По бокам два жандарма с обнаженными шашками, посередине отставной полковник Шелгунов, а вокруг — просыпающаяся после зимнего сна природа.

Шел конец марта, когда, шурша колесами по торцовой мостовой, жандармская карета выезжала на Невский.

Под Дворцовым мостом проплыла очистившаяся ото льда Нева, промелькнула стрелка Васильевского острова, небольшой мост через Кронверкский пролив, и карета, миновав ворота Петропавловской крепости, загромыкала по булыжнику, подъезжая к крыльцу комендантского дома.

— Отвести в Алексеевский равелин, — распорядился генерал Сорокин, ознакомившись с документами Шелгунова.

*

После долгой тряски в жандармском возке Шелгунов с трудом передвигал ноги. Перейдя деревянный мост через небольшой канал, отделяющий Алексеевский равелин от остальной крепости, Шелгунов и сопровождающие его солдаты остановились перед массивными воротами, которые медленно открылись, пропустив во внутрь еще одну жертву самодержавия. Шелгунов увидел белый каменный дом треугольной формы, с окнами, замазанными почти доверху белой краской. Единственная дверь, перед которой стояла будка часового, вела в караульное помещение и

далее в сквозной коридор с казематами. Других дверей не было.

Еще раз проверив документы и совершив необходимые формальности, смотритель предложил Шелгунову переодеться в казенное платье. Арестованного увели в одиночную камеру.

Щелкнул замок, и Шелгунов очутился в небольшой комнате. У окна стоял столик с выдвижным ящиком и стул, у стены — зеленого цвета деревянная кровать с двумя тюфяками и подушками, покрытая двумя простынями и байковым одеялом.

«Надолго ли я здесь?» — подумал Шелгунов. Он еще раз осмотрел камеру и вдруг почувствовал чей-то внимательный взгляд. Обернувшись к двери, Николай Васильевич заметил, что через небольшое окно на него уставился рыбий, навывкате глаз жандарма. Через некоторое время занавеска опустилась.

Быстро сняв арестантский байковый халат и туфли, Шелгунов бросился в постель и, утомленный тысячеверстной дорогой, заснул.

Начались допросы, личные ставки; следствие длилось долго и, наконец, зашло в тупик. Шелгунов держался твердо и уверенно, понимая, что у следственной комиссии, кроме общеизвестных фактов: его дружбы с Михайловым, знакомства с Чернышевским и Н. Серно-Соловьевичем, ничего нет.

На все обвинения Шелгунов отвечал точно и просто: он не отрицал своей многолетней дружбы с Михайловым; пояснял, что знал Чернышевского как выдающегося публициста и имел с ним такие отношения, какие автор статей имеет с редактором журнала; Н. Серно-Соловьевича знал, так как снимал у него квартиру; о прокламациях ничего не знает и причастия к ним никакого не имеет. Все наговоры Костомарова — чистая ложь и клевета. Приятельских отношений с Костомаровым никогда не было.

Следственная комиссия решила испытать последнее средство. Был запрошен цензурный комитет о причинах запрещения статьи Шелгунова «Русское слово». Полученный ответ не давал оснований для судебного преследования.

Длившееся больше года следствие окончилось безрезультатно. Военный суд вошел с представлением в высшие инстанции об освобождении Шелгунова на основании того, что «к положительному изобличению Шелгунова не представляется ни доказательств, ни улик».

Приговор суда гласил: «Хотя Шелгунова следовало бы оставить в сильном подозрении, но как он изъявил желание по всем предметам

обвинения принять очистительную присягу, то, не допуская ее, из опасения клятвопреступления, — освободить от подозрения и передать дело воле божией, пока оно само собой объяснится».

Прошел год, как Шелгунов находился в Алексеевском равелине, В «Русском слове» было напечатано под его полным именем много статей: «Сибирь по большой дороге», «Литература и образованные люди», «Старый свет и Новый свет», «Начала общественного быта» и др. Наряду с Писаревым Шелгунов начал занимать ведущее положение в публицистике.

Статьи проходили сложный путь военной и гражданской цензуры, прежде чем попасть на страницы журнала. Писать приходилось эзоповым языком, но и это не всегда помогало.

«Наконец я получил «Русское слово», — пишет Шелгунов жене. — С моей статьей поступили жестоко. Во второй главе «Нравственные влияния» зачеркнули сплошь весь конец, больше печатного листа, так что теперь не оказывается никакого нравственного влияния».

А дни похожи один на другой, как «куриные яйца». Из кусочка неба, видного в окно, то шел снег, то дождь, то светило солнце. В оловянной чернильнице убывали чернила, гусиные перья, отточенные надзирателем, исписывались и ломались, стопки чистой бумаги таяли.

Получив приговор, Третье отделение не согласилось с ним и переслало дело для дополнительного следствия в генерал-аудиториат. Тот направил приговор на конфирмацию министру государственных имуществ генералу Зеленому.

Министр сообщал о Шелгунове: «Имения никакого за ним, женою его и родителями их не значится. По кондуитному списку способностей ума и в хозяйстве — хорош. Директор лесного департамента удостоверяет, что Шелгунов во время служения в корпусе лесничих ни в чем предосудительном замечен не был, чему служит доказательством назначение его на высшую должность астраханского губернского лесничего».

Князь Голицын, прочитав конфирмацию генерала Зеленого, решил вмешаться в дело Шелгунова. По его указанию в генерал-аудиториат было направлено отношение, в котором давалось довольно красноречивое разъяснение: «если бы полковник Шелгунов и подлежал по суду освобождению от ареста, тем не менее по сведениям, имеющимся о нем в отделении, он не может быть оставлен на жительство в С.-Петербурге, даже под надзором полиции».

В докладе, представленном генерал-аудиториатом Александру II, хотя и оговаривалось, что юридических доказательств виновности Шелгунова

не имеется, однако указывалось на «в высшей степени вредный образ мыслей Шелгунова», на его «дружеские отношения к государственному преступнику Михайлову» и «предполагалось», что он знал «о существовании возмутительных воззваний и о преступном политическом направлении того небольшого кружка литераторов, в котором он сам постоянно вращался».

Решение генерал-аудиториата было сформулировано так: «Подсудимый Шелгунов если бы состоял на службе, то по вредному образу мыслей своих не мог быть в оной терпим, но как он уже находится в отставке, то, лишив его права на пенсию и на ношение в отставке мундира, отослать его на жительство в одну из отдаленных губерний, по усмотрению министра внутренних дел, подчинив его на месте жительства строгому полицейскому надзору».

«Быть по сему. Псков. 26 октября 1864 г.», — начертал на решении генерал-аудиториата Александр II.

*

Тридцатиградусными морозами, пургой и сугробами встретила Шелгунова Тотма — уездный город севера России. Но это был живой мир: люди, снег, ветер, а не каземат Алексеевского равелина, не кусочек неба в окне.

Относительная свобода ссыльного благотворно подействовала на творчество, вдохнула в Николая Васильевича уверенность в своих силах. Как будто бы слетела опутывавшая слово публициста пелена неясности, осторожности, выжидания.

«С тех пор как я на свободе, — сообщал Николай Васильевич жене, — я стал писать совершенно другой манерой, гораздо свободнее, с фамильным оттенком. Пишу я совершенно искренне, то есть не измышляю фамильярности, а как ложится под перо».

Радость ощущения свободы, хотя и мнимой, когда даже тотемские обыватели, погрязшие в сплетнях и мещанстве, казались порядочными и умными людьми, скоро прошла. Появилось чувство неустроенности, и только занятия литературой скрашивали неуютную жизнь, давали возможность на бумаге излить горечь и возмущение.

Шелгунов пишет цикл статей о провинции, в котором обличает социальный строй Российской империи, создает обобщенный образ нищей,

задавленной самодержавием и крепостничеством страны.

Тотьма не устраивает Шелгунова своей отдаленностью от губернского города, затрудненностью связи с Петербургом, и он ходатайствует о переводе в другой город. Неожиданно приходит разрешение «на вид» в Великий Устюг.

Но и в Великом Устюге публицист не находит себе места. Обыватели, «сливки общества», относятся к ссыльному враждебно, смотрят на него, как на иностранца. Уездные болтуны изощряются в распространении нелепейших слухов о причинах ссылки Шелгунова, передавая из уст в уста небылицы, будто бы он сослан за намерение убить свою мать, и поэтому даже жена и дети не хотят с ним жить.

Растущая популярность Шелгунова — сотрудника «Русского слова» еще более настораживает предубежденных устюжских жителей. Литератора подозревают в желании создать карикатурные образы горожан, осмеять всех и вся. Вокруг Николая Васильевича «атмосфера сгущалась».

В «Русском слове» появилась статья Шелгунова «Женское безделье» — одна из лучших работ публициста. Обрушиваясь на патриархальный провинциальный быт, губящий женщин, автор ратовал за необходимость широкого воспитания женщин, видя в них великую силу, способную воспитать молодое поколение борцов.

Статья не осталась незамеченной. Петербургская газета «Голос», которую получали и в Устюге, поместила язвительную рецензию блюстителя домостроя, нелестно отозвавшегося о Шелгунове. Провинциальные сплетники быстро разнесли эту весть. Дамы узнавали в статье Шелгунова свои портреты и страшно возмущались. Им подпевали кавалеры. В обстановке сплетен и шантажа жить было трудно, но еще труднее работать.

«Быть литератором в провинции небезопасно, — горько жалуется Шелгунов, — и теперь мне остается только ожидать, что кто-нибудь, обидевшись какой-нибудь моей статьей, писанной без всякой мысли о нем, наймет каких-нибудь незнакомцев с дубьем и... в одно прекрасное утро полиция г. Устюга найдет на тротуаре мой бездыханный труп».

В ссылке Шелгунов начинает вести «Домашнюю летопись» — ежемесячные обозрения внутренней жизни страны, знакомя читателей с передовыми идеями века. «Благополучие сваливается людям не с неба, — разъясняет он, — а создается ими самими. Оно такой же продукт человеческой мысли, как сапоги — человеческих рук. Поэтому, пока люди не научатся думать хорошо, они не устроят хорошо своей жизни; а для нас, русских, только в том и вся задача, чтобы русская заунывная песня

превратилась в песню веселую».

Об этой «веселой песне», которую запоет русский народ, мечтал Шелгунов в ссылке, к ней звал он своими обозрениями.

Верность принципам революционной демократии, верность идеям Чернышевского и Добролюбова — характерная черта всего творчества Шелгунова. С гневом и презрением обрушивается он на продажных литераторов-либералов, готовых за деньги «писать все и против всего, провозглашая в 1862 году такие мысли и принципы, от которых они потом отказываются в 1863 году». Публицист противопоставляет им революционных демократов, имеющих «свои твердые убеждения, за которые они стоят и, если нужно, умирают, но не сдаются и не торгуют собой».

С каждой почтой Николай Васильевич получал обширную корреспонденцию. Это были самые счастливые минуты, дававшие заряд на много дней вперед. Писали друзья, сотрудники журнала, жена, Михайлов, Благосветлов, Писарев.

Однажды почта принесла тяжелую весть; 2 августа 1865 года умер Михайлов.

— Вот уж и нет одного.

Вспомнилась Гатчина. Лето. Они, веселые, молодые, полные великих планов и мыслей о подвиге. «Какое было лето, какие люди, какие золотые мечты!» — записывает он сквозь слезы.

Зато следующая почта привезла радость — письмо от Писарева, соседа по Алексеевскому равелину, соратника по журналу и родного по духу человека.

«Я часто думаю о том, как бы нам хорошо было жить в одном городе, часто видаться, много говорить о тех вещах, которые нас обоих интересуют, и вообще по возможности помогать друг другу в размышлениях и работах, — с волнением читал Николай Васильевич. — Виделись мы с вами, если я не ошибаюсь, счетом три раза, но я читал вас постоянно года три или четыре при такой обстановке, когда читается особенно хорошо и когда книга составляет единственный доступный источник наслаждения. Поэтому я вас хорошо знаю и давно люблю, как старого друга и драгоценного собрата... пишу я... к вам, — заканчивал Писарев, — собственно для того, чтобы показать вам, что я очень дорожу перепискою с вами, что я вас уважаю и люблю».

Это было признание заслуг Шелгунова перед революционным движением и литературой, одобрение его честности и принципиальности.

Но иначе смотрели и думали уездные чиновники.

Назревал конфликт.

Пребывание в В. Устюге окончилось стремительно и бурно. Возмущенный Шелгунов публично надавал пощечин судебному следователю Сутоцкому, который обозвал его «ссылной собакой». Обычно корректный и выдержанный Николай Васильевич ответил грубияну языком, ему единственно понятным. Новое место ссылки — Никольск, а через год — Кадников.

Редактор-издатель журнала «Русское слово» Григорий Евлампиевич Благосветлов был в большом затруднении. Изменение цензурного устава, отменяющее предварительную цензуру, но дающее право после третьего предупреждения закрывать журналы, недовольство сотрудников ведением дел и выплатой гонорара, боязнь остаться без прибыли — все эти беды как-то сразу пали на него и требовали решения. Романтическая молодость, близкое знакомство с Герценом, детей которого учил Благосветлов, увлечение революционными идеалами, полуголодное существование разночинца отошли в прошлое. Собственный дом, журнал, обеспеченная жизнь... Стоит ли рисковать с таким трудом добытым благополучием?

С каждым номером журналу все труднее и труднее пробиваться через цензурные преграды.

Благосветлов пишет очередное письмо Шелгунову.

«Советую вам удалиться пока в тихую область истории и естественных наук, а политических и экономических пока не трогать... — полунамеки и намеки не по силам нашей публицистике, и поэтому все, что посерьезнее, должно быть припрятано на черный день».

Законвертовав письмо, Благосветлов углубился в чтение только что полученной статьи Шелгунова.

Даже при особой осторожности, исполняя роль «домашнего цензора», Григорий Евлампиевич, как журналист, не мог не отметить возросшего мастерства Николая Васильевича, умения найти обходные пути для обращения к читателю. В присланной статье Шелгунов рисовал чудовищную картину европейских беспорядков: беспутство, разврат и мотовство правителей и придворных, бедность и нищету народа.

— Читатель поймет, — улыбается Благосветлов, и его карающее перо обходит эти примеры. — При случае нужно ему написать, чтобы напускал побольше учености, серьезного тона, — и редактор вписывает целый абзац, чтобы еще больше отвлечь внимание цензуры.

Автор «Обыкновенной истории» и «Обломова», знаменитый русский писатель Иван Александрович Гончаров не одобрял нового цензурного

устава. Никакой предварительной цензуры, и как что-либо «такое» — предупреждение. Три предупреждения — журнал закрыт. «Русское слово» уже получило первое предупреждение. Но Гончаров — член Совета главного управления по делам печати.

У него на столе ноябрьская книжка «Русского слова» за 1865 год. Статьи Писарева и Шелгунова переложены закладками. Иван Александрович еще раз просматривает написанный им отзыв о журнале.

«В статье «Рабочие ассоциации», соч. Шелгунова — автор сочувствует стремлениям рабочих классов соединить мускульную силу с силой умственной, из какового соединения должны возникнуть промышленные ассоциации, которым предназначено изменить существующий строй общественных экономических учреждений».

Дальше цитаты, ссылки и вывод: автор «обнаруживает сочувствие не только к экономическим, но и вообще к социальным теориям Фурье, Овена и Сен-Симона, приводя с одобрением главные положения их теорий».

Отзыв И. А. Гончарова был доложен министру внутренних дел, и 8 января 1866 года последовало распоряжение;

«Принимая во внимание: что в журнале «Русское слово» (№ 11 за 1865 г.), в статье «Исторические идеи Огюста Конта», соч. Писарева (стр. 225–228), заключается стремление колебать авторитет христианской религии, а в статье г. Шелгунова под заглавием «Рабочие ассоциации» (стр. 20–26, 30 и 32–35) предлагается оправдание и даже дальнейшее развитие коммунистических теорий, причем усматривается косвенное возбуждение к осуществлению этих теорий на практике, министр внутренних дел... определил: объявить второе предупреждение журналу «Русское слово».

Следующий выпуск «Русского слова» снова подвергся суровой каре. Тот же Гончаров писал: «Декабрьская книжка этого журнала, почти всеми статьями, в ней помещенными, представляет замечательный образец журнальной ловкости — оставаться верною принятому направлению, не подавая поводов к административному и еще менее к судебному преследованию». Гончаров прямо отметил «вредное направление» статей Шелгунова, в частности статьи «Честные мошенники».

16 февраля 1866 года распоряжением товарища министра внутренних дел журнал «Русское слово», получив третье предупреждение, был «приостановлен». Главным поводом к этому были статьи Писарева и Шелгунова.

Прошло 15 лет. Сколько сменилось городов — Вологда, Калуга, Новгород! Сколько погибло друзей! Давно из-за границы вернулась Людмила Петровна и подросли дети.

Все популярнее становилось имя Шелгунова — литературного критика. После смерти Писарева Николай Васильевич возглавил критический отдел нового благосветловского журнала «Дело». Его статьи «Типы русского бессилия», «Русские идеалы, герои и типы», «Талантливая бесталанность», «Люди сороковых и шестидесятых годов», «Двоедушие эстетического консерватизма» и многие другие продолжали традиции революционеров-демократов — Чернышевского, Добролюбова и Писарева. Они по-новому ставили вопросы о реализме и положительном герое в русской литературе. Проблема «народного реализма», выдвинутая Шелгуновым, обобщала художественную практику писателей-разночинцев Н. Успенского, Помяловского, Решетникова.

В Калуге Николай Васильевич вел уединенный образ жизни. Много писал. Изредка и ненадолго к нему приезжала. Людмила Петровна. Конца ссылки не видно.

Начали сдавать нервы. Появилась бессонница, кошмары.

«Стал прихварывать, — пишет он жене, — все какое-то недомогание, то зубы, то глаз, то простуда». Расстроенное тюрьмой и ссылкой здоровье вынуждало Шелгунова просить о консультации у известных врачей.

И вот, наконец, Шелгунов снова в Петербурге.

Вновь вокруг него пылкая, рвущаяся в бой молодежь. Маститый критик принят в литературные круги. Студенчество считает за честь пригласить знаменитого шестидесятника на свои вечера и банкеты.

Редактирование журнала отнимает много времени. Благосветлов совсем расхворался, и все дела по журналу легли на плечи Николая Васильевича.

После смерти Григория Евлампиевича он становится редактором «Дела».

Вечно ищущий, вечно неудовлетворенный, Николай Васильевич привлекает к сотрудничеству в журнале наиболее радикальные силы — эмигрантов П. Ткачева, Л. Тихомирова, Н. Русанова, позднее Степняка-Кравчинского. Он пытается «вливать новое вино в старые мехи». Однако мечтам Шелгунова о журнале, несущем передовые взгляды в массы, не суждено было сбыться.

1 марта 1881 года Николай Васильевич спокойно прогуливался вдоль Екатерининского канала в сопровождении Русанова.

Они вели свой обычный разговор, как вдруг стало заметно какое-то оживление: бежали люди, мчались экипажи, на рысях проехал взвод жандармов, за ним второй...

Со стороны Летнего сада показался знакомый литератор, в расстегнутой шубе, с потным, растерянным лицом.

— Государя убили, — прохныкал он и скрылся за поворотом.

Шелгунов и Русанов бросились в редакцию. Там уже собрались сотрудники, возбужденные слухами о покушении. Соредактор Николая Васильевича по журналу «Дело» Станюкович и старик петрашевец Плещеев не скрывали радости и ликования. Молодежь строила самые оптимистические планы.

Николай Васильевич, как всегда корректно, пытался остудить пыл молодежи и поставить ее на реальную почву фактов.

— Господа, — обратился Николай Васильевич к собравшимся, — в этот переломный момент русской истории пресса должна заявить о необходимости нового политического режима.

— Правильно! — раздались дружные голоса.

— Нужно использовать все возможности. Каждый из нас обязан, именно обязан, выступить в печати с критикой существующего строя. Не обязательно подписываться под статьями, но писать об этом необходимо.

Принесли экстренный выпуск газеты с текстом правительственного сообщения.

— «Воля всевышнего свершилась, — под аплодисменты присутствующих читал Станюкович, — господу богу угодно было призвать к себе возлюбленного монарха».

— Вы только подумайте, — раздались голоса, — «богу угодно».

— Народная воля — воля божия, — бросил кто-то.

В течение двух следующих месяцев многие журналы и газеты поместили статьи, осуждающие оголтелый монархизм, требующие пересмотра политики. В этой критике деятельное участие принимал и журнал Николая Васильевича.

Новый царь Александр III ответил на убийство отца еще большими гонениями на печать и политическим террором. Журнал «Дело» подвергался особым нападкам цензуры. Неудобен Третьему отделению был и Шелгунов — редактор «Дела». Искали случая, чтобы убрать его.

И такой случай представился,

Студенты Технологического института давали бал. В числе почетных гостей был приглашен и Николай Васильевич. С эстрады говорилось много обычных либеральных фраз. Ораторы сменяли друг друга. Наиболее

впечатляющим было выступление Николая Константиновича Михайловского, приехавшего вместе с Шелгуновым.

В приятном расположении духа возвратился Николай Васильевич домой. А наутро последовал вызов в полицию, обвинение в агитации молодежи и высылка в Выборг вместе с Михайловским.

Ссылным возглавлять журнал не полагалось. Шелгунов передает бразды правления в руки Станюковича. Когда обвинение было снято, Шелгунов достал заграничный паспорт и уехал лечиться на юг Франции.

Весной 1884 года после возвращения из-за границы Николая Васильевича вновь арестовывают по подозрению в сношениях с народовольцами и в снабжении деньгами их Исполнительного комитета.

Но и на этот раз полиция не может найти достаточных улик.

И снова без суда его высылают в административном порядке под надзор полиции, теперь уже в село Воробьево Смоленской губернии.

Опять ссылка, опять одиночество, болезнь, старость...

В смоленской ссылке жизнь пришлось начинать заново. Не было постоянной журнальной работы, да и не было журнала, близкого по духу революционному демократу. Но Шелгунов был достаточно крупной фигурой в литературном мире, и участие его в любом журнале способствовало бы популярности издания.

В Воробьево прислали предложения «Неделя» Гайдебурова и «Русская мысль» В. Гольцева — издания либерального толка. Выбора не было. Николай Васильевич согласился вести обозрения в журнале «Русская мысль».

«Очерки русской жизни» — так назвал Шелгунов свои обозрения. В них умудренный годами демократ во весь голос заявил о необходимости литературы больших мыслей и смелых дерзаний.

Яркие очерки, критикующие абрамовщину с ее проповедью «малых дел», толстовскую философию «непротивления злу насилием», нашли широкий отклик у читателя.

На фоне общего застоя мысли, теории «малых дел», непротивленчества голос публициста звучал молодо, свежо, сильно.

Очерки Шелгунова учили молодое поколение 80-х годов думать, мечтать, искать выхода из болота серости и мелочей жизни. Ставя в пример великие идеи шестидесятников, проводя параллели между десятилетиями 60–70—80-х годов, публицист страстно проповедует жажду подвига.

Противопоставляя молодежь 80-х и 60-х годов, Шелгунов подчеркивал, что в 60-е годы молодое поколение искало «объединения и солидарности», смело и уверенно смотрело вперед и разрешало свои

вопросы «не по программе о куске хлеба».

Никакой общественный застой, никакие учителя, земские врачи, никакие «малые дела» и «тихая культурническая работа» или «непротивление злу» не смогут изменить социальных отношений. Нужно ломать существующий государственный строй.

Рисуя яркие картины взлета мысли, идей и дел 60-х годов, показывая жалкое «ползание мысли», бесцветность литературы настоящего, Шелгунов поднимается до высот больших социальных обобщений.

Заслуги Шелгунова оценили передовые русские рабочие.

Квартира знаменитого революционера-публициста стала свидетелем уважения и любви к нему передовых людей России. Делегация петербургских рабочих поднесла Шелгунову адрес, в котором отмечались заслуги революционного демократа в воспитании сознания рабочего класса.

«Дорогой учитель, Николай Васильевич! — писали рабочие. — Читая Ваши сочинения, научаешься любить и ценить людей, подобных Вам. Вы первый признали жалкое положение рабочего класса в России... Вы познакомили нас с положением братьев рабочих в других странах, где их тоже эксплуатируют и давят. Мы... узнали, как наши товарищи-рабочие в Западной Европе добились прав, борясь за них и соединяясь вместе. Мы поняли, что нам, русским рабочим, подобно рабочим Западной Европы, нечего рассчитывать на какую-нибудь внешнюю помощь, помимо самих себя, чтобы улучшить свое положение и достигнуть свободы...

Вы выполнили Вашу задачу, — заканчивался адрес. — Вы показали нам, как вести борьбу».

12 апреля 1891 года Шелгунова не стало.



Ю. Авербах БРАТЯ СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧИ



Сентябрьский день был по-летнему душен. Едва дождавшись конца служебного времени, чиновники Главного комитета по крестьянскому делу, утомленные однообразным шуршанием бумаги и скрипом перьев, поспешали домой.

Только молодой человек лет двадцати четырех продолжал неподвижно сидеть за столом, погруженный в свои мысли.

Мысли были невеселые... Ну вот, еще один день прошел... а что сделано? Трудиться упорно, самозабвенно, работать над решением самой животрепещущей задачи России — и видеть, как огромное дело, от которого зависит вся судьба отечества, тонет в грудѣ бумаг, в пустой говорильне, как всякая живая и новая мысль глушится... Казалось бы, всем должно быть ясно: дальше так продолжаться не может. Позорно проигранная Крымская война лишнѣй раз беспощадно показала всему миру бессмысленность крепостничества... Необходимы решительные и

быстрые перемены!.. Но — нет! Куда там! Чего стоит хотя бы первое же постановление комитета: «Освобождение должно быть сделано постепенно, без крутых и резких поворотов...» Какая нелепость!

Когда делопроизводитель главного комитета Бутков взял его на должность секретаря, как он был доволен! Оказаться на переднем крае борьбы за отмену крепостного права, непосредственно работать над осуществлением этой задачи — не об этом ли он мечтал? И вот: «постепенно... без поворотов...» А кому доверено руководить подготовкой реформ? Граф Орлов, Адлерберг, Панин, Муравьев... Да ведь они же сами крепостники, туполобые консерваторы!

— Да! Что называется, пустили козла в огород! — сказал он вслух и начал ходить по комнате.

«Но что делать? Как прошибить эту стену? Где отыскать человека, который имел бы силу и власть пресечь канцелярскую канитель и направить дело, которого так ждет Россия, в нужное русло. А что, если?».... Молодой человек даже остановился. «Да, что, если обратиться к... самому государю?! Дерзко! Невозможно! Почему? Ведь Александр II — это не Николай I — он умен, просвещен, искренне хочет блага России — все говорят это! Наконец, он просто человек! Ясные и обоснованные доводы — он не может их не понять! Надо только, чтобы они попали лично к нему, — не завязли в канцеляриях и департаментах. А что, если я напишу ему самому и отдам лично? Как это раньше не приходило мне в голову?»....

Через час молодой человек был уже дома. Из-под пера его бежали резкие и горячие строчки. Он писал царю.

Это было в Петербурге, в сентябре 1858 года. Молодого человека, решившегося на такой поступок, звали Николай Александрович Серно-Соловьевич.

I

Начало его жизни было вполне обыкновенным.

Он родился 13 декабря 1834 года в Петербурге и был первенцем в семье обыкновенного чиновника, получившего дворянство за долгую и ревностную службу в сенате и в военном министерстве.

Обыкновенным было и детство — такое же, как и у всех детей в дворянских чиновничьих семьях среднего достатка. Отец был человеком

незлым и порядочным, но долголетняя служба в учреждениях Петербурга сделала свое дело: он приобрел все черты чиновника ведомств августейшего жандарма. Потому и в семье своей Александр Павлович завел порядки, в которых как в капле воды отразилась николаевская Россия.

Те же деспотизм, педантизм, слепое следование установленным шаблонам, подавление человеческой личности в соединении со всеми сословными предрассудками породили и соответствующие «воспитательные средства». Розги и другие бесчеловечные наказания — все это в количестве достаточном пришлось вкушать детям Серно-Соловьевичей, а их, кроме старшего — Николая, было еще четверо: Александр, Константин, Владимир и сестра.

Мать, происходившая из дворянского рода Кирилиных, была женщиной доброй, сентиментальной, но в высшей степени безвольной и к тому же болезненной, она мало способствовала смягчению семейного деспотизма.

Но деспотизм в семье Серно-Соловьевичей сыграл в известной мере и положительную роль, разумеется независимо от желания отца. Подавляя личность слабую, деспотизм вызывает в людях, сильных духом, протест и непреодолимую любовь к свободе. Может быть, именно здесь и начали формироваться те черты характера, которые впоследствии сделали Николая Серно-Соловьевича и его брата Александра людьми волевыми и стойкими.

В 1847 году Николай Серно-Соловьевич окончил гимназию и поступил в лицей, в котором некогда учился Пушкин и многие его друзья — будущие декабристы. Но это был уже не тот лицей. Даже местопребывание его изменилось: в 1844 году лицей, переименованный в Александровский, перевели из поэтического Царского Села в Петербург. Изменилась и вся обстановка в лицее. Желая воспитать лицеистов верноподданными и исполнительными чиновниками, Николай I и его сановники установили в лицее, как, впрочем, и во всей империи, режим, придавший ему изрядное сходство с казармой. Полицейский надзор и арест за всякую провинность стали неизменными атрибутами лицейского быта. Преподаватели, заподозренные в сколько-нибудь либеральном образе мыслей, удалялись. Особенно усилились репрессии после ареста петрашевцев — ведь среди них тоже оказались воспитанники лицея. Но, несмотря на все репрессии, изгнать из лицея «вольный дух» так и не удалось. Образовались кружки лицеистов, объединенных тягой к знанию и извечно свойственным молодежи стремлением найти цель жизни. Изучали литературу, историю, философию, горячо спорили о вещах, достаточно крамольных с официальной точки зрения.

Активное участие в одном из таких кружков принимали Николай Серно-Соловьевич и его брат Александр, поступивший в лицей в 1851 году. Он был на четыре года моложе Николая, но не по годам развившийся ум и любознательность помогли ему быстро занять достойное место среди старших товарищей.

В 1853 году Николай Серно-Соловьевич окончил лицей с серебряной медалью и поступил на службу в государственную канцелярию. Вскоре вместе с лицейскими друзьями Черкесовым и Долгово-Сабуровым Николай снял отдельную квартиру. Началась жизнь, внешне не отличающаяся от жизни петербургского чиновного дворянства.

Но вот разразилась Крымская война, и крепостническая Россия, казавшаяся до тех пор великой и могучей, предстала перед всем миром как отсталая и позорно-бессильная.

И, подобно грому орудий на Сенатской площади, разбудившему сознание молодого Герцена, гром орудий севастопольских батарей разбудил поколение, к которому принадлежали братья Серно-Соловьевичи.

18 февраля 1855 года умер, наконец, тридцать лет тиранивший Россию коронованный жандарм — Николай I. Война была проиграна. Глухой ропот прокатился по России, и все — от забитых крепостных до людей высшего света — поняли: что-то должно измениться.

Смутно дремавшее в братьях Серно-Соловьевичах ощущение неблагополучия в общественном устройстве России превратилось в ясный вывод: крепостничество отжило свой век, Россия нуждается в немедленном и коренном обновлении.

Внешне все оставалось прежним: балы, посещение театров, танцы, иногда и карты. Но все чаще и чаще дружеские вечеринки в квартире Серно-Соловьевичей принимают характер политических диспутов. Меняется и самый круг знакомых: чуждые общественным интересам беспечные молодые денди исчезают с горизонта — с ними становится попросту скучно. На смену им приходят другие люди — те, что ищут новых путей в жизни.

В начале 1855 года в Петербург приехала Мария Васильевна Трубникова, одна из первых в России начавшая действенную борьбу за эмансипацию женщин. Вместе с ней приехала ее сестра Вера Васильевна Ивашева.

Сестры Ивашевы выросли в Симбирской губернии, в имении своих родственников — князей Хованских, благоговейно относившихся к памяти их отца-декабриста. В семье Хованских дочери Ивашева получили прекрасное по тому времени образование. Сестры принадлежали к

аристократическому кругу. Но не только балы, театры и рауты занимали их время. Среди их многочисленных знакомых преобладала не «золотая молодежь», а образованные молодые люди, большей частью воспитанники лицея. В числе их был и Николай Серно-Соловьевич. Очень скоро он и брат Александр стали завсегдатаями салона Ивашевых. Так был создан литературно-философский кружок, участниками которого стали братья Серно-Соловьевичи, Слепцов, Рихтер, Шамшин, Сабуров. В кружке читали Прудона, Лассаля, Герцена, Сен-Симона, Луи Блана.

Социалистическая литература оказала огромное влияние на братьев Серно-Соловьевичей. Конечно, убеждения их были еще во многом наивны, но основа для безвозвратного перехода Николая и Александра в лагерь противников крепостничества и самодержавия была заложена.

Шло время. Способности Николая, настойчивость и увлечение, с которыми он отдавался работе, не прошли незамеченными. Служебная карьера его была удачной. В 1857 году, двадцати трех лет от роду, он получил чин надворного советника. В его годы этого удостаивались немногие. Однако Николая не радовали подобные успехи. Он страстно желал как можно деятельнее и непосредственнее участвовать в деле обновления России и освобождения крестьян. В ту пору он еще верил, что все это возможно путем правительственных реформ. С радостью принял он назначение на должность секретаря Главного комитета по крестьянскому делу.

Радость была непродолжительной. Очень скоро Николай убедился, что деятельность комитета, руководимого крепостниками, ничего хорошего не принесет, а подготовляемая реформа не даст подлинного освобождения крестьянам и лишь ограбит их. В это-то время и созрело смелое решение написать обо всем Александру II. Николай искренне верил, что стоит только открыть монарху глаза на истинное положение дел в России, которое скрывают от него сторонники крепостного строя, стоит только показать ему, сколь уродливо готовится реформа, и все станет на свое место: император сам энергично поведет дело, и все решится к всеобщему благу России.

II

Записка составлена. Николай еще раз перечитывает ее. Она написана в резких выражениях. Ну, да ничего. Нельзя скрывать правду от государя!

Пусть он прочитает и поймет. Не может не понять, ведь это так просто! Только как передать записку? Это необходимо сделать лично. Добиться аудиенции? Но как? Император сейчас живет в Царском Селе. Прежде всего надо поехать туда, а на месте легче будет найти какой-нибудь способ увидеться с ним.

На следующее утро Николай уже на вокзале. До Царского Села недалеко, каких-нибудь полчаса езды. Но сколько передумано за это время!

Вагон в этот ранний час почти пуст. Только с левой стороны у окна сидит мужчина в жандармском мундире с генеральскими эполетами. Кто это? Кажется, Долгоруков? Николай пересел поближе. Почувствовав устремленный на него взгляд, человек обернулся. Да, это князь Долгоруков, шеф жандармов. Удачно! Уж он-то знает, как попасть к царю! Николай сел напротив Долгорукова.

— Ваше сиятельство! Извините, что беспокою. Не можете ли вы мне сказать... мне необходимо представиться государю и вручить ему одну записку. Это очень важно!

От изумления Долгоруков откидывается назад. Нет, сидящий перед ним хорошо одетый молодой человек не Походит на сумасшедшего.

— Государю?.. Записку? А с кем я имею честь говорить? — наконец выдавливают он из себя.

Николай представляется. Долгоруков продолжает смотреть на него с не меньшим удивлением.

— Милостивый государь, вы состоите на государственной службе и должны были бы знать порядок представления подобных дел! Государь не может принимать каждого прожектера... М-да-с... каждого желающего, — слегка смягчает Долгоруков, видя, с каким настойчивым ожиданием смотрит на него Серно-Соловьевич.

— Если уж вы считаете свое дело столь важным, можете отдать вашу записку мне. Моя канцелярия ее разберет, и, если дело действительно важное, я доложу его величеству.

«Канцелярия?! — думает Николай. — Ну, нет! Я слишком хорошо знаю эти порядки! Уж мне-то известно, сколько важных дел заплесневело там под сукном или сожрано архивными крысами».

— Нет, ваше сиятельство, благодарю вас, но это невозможно.

— Ну, как знаете, милостивый государь! Все равно ваша записка пройдет через мои руки, кому бы вы ее ни отдали.

Поезд подходит к станции. Николай встает и, молча поклонившись, идет к выходу.

Вот и Царскосельский парк. Николай Серно-Соловьевич знал, что

именно в это время, около восьми утра, царь обычно гуляет здесь. Более удобное место для встречи с ним трудно было придумать. Но ведь в парк не пускают посторонних. У входов стояли часовые.

Николай шел вдоль ограды.

«Она не так уж высока, — мелькнуло у него в голове. — А почему бы не воспользоваться этим? Неприлично? Но ведь дело не ждет!»

Николай оглянулся. Вокруг ни души. Через несколько секунд он был уже в парке.

Парк безлюден. Серно-Соловьевич свернул в одну из аллей, и, хоть уж много раз он до мельчайших подробностей представлял себе эту встречу, сердце его бешено заколотилось; по аллее, не видя его, неторопливо шел царь. С ним был мальчик, вероятно кто-то из его детей. Николай быстро пошел за ними. Мальчик первый услышал шаги и обернулся.

— Кто-то идет за нами.

Царь продолжал идти, не оборачиваясь.

— Он идет за нами, — повторил царевич.

Александр II обернулся. Николай был уже в двух шагах от него. Царь остановился, удивленно разглядывая незнакомца.

— Что вам надо? — резко спросил он.

— Хочу подать вашему величеству записку, — ответил Серно-Соловьевич, протягивая листки.

— На это есть канцелярия, — тоном, не допускающим возражений, изрек царь и, взяв сына за руку, пошел быстрее.

«Опять канцелярия? — пронеслось в голове Николая. — Нет, не для этого я ехал сюда!» — И он решительно пошел вслед за царем.

Тот обернулся.

— Что вам надо?!

— Хочу отдать записку вашему величеству в собственные руки, — настойчиво повторил Николай. — Она по крестьянскому вопросу. Я убедительно прошу ваше величество лично прочесть ее.

Царь посмотрел на него почти испуганно. Взгляд незнакомца был тверд и решителен.

— Кто вы такой? — спросил он.

— Надворный советник Николай Серно-Соловьевич, ваше величество.

Словно повинувшись чьему-то приказу, Александр II взял из его рук бумагу и растерянно пробормотал:

— Хорошо, ступай!

На другой день, зайдя после службы к матери, Николай застал ее в слезах.

Плача, мать рассказала ему, что к ней приезжал брат. Он занимал довольно высокий пост и был хорошо осведомлен о делах, происходивших в высших сферах. Брат сообщил ей, что Николай позволил себе чудовищную выходку: осмелился ворваться к царю и вручить ему какую-то глупую записку.

— Нюнька, несчастный! Что ты натворил! — сквозь рыдания говорила мать. — Ты погубил себя! Он сказал, что тебя за это посадят в сумасшедший дом! Господи! Что теперь с тобой будет!

Николай, как мог, успокаивал мать, но у самого сердца было не на месте.

Через несколько дней его вызвали к председателю Государственного совета князю Орлову. Тот накинулся на него, едва Николай Серно-Соловьевич переступил порог приемной.

— Мальчишка, знаешь ли ты, что сделал бы с тобой покойный государь Николай Павлович, если бы ты осмелился подать ему такую записку? Он упрятал бы тебя туда, где не нашли бы и костей твоих! — Затем, помолчав, прибавил: — А государь Александр Николаевич так добр, что приказал тебя поцеловать. Целуй меня!

Орлов протянул вконец ошеломленному Николаю бумагу, где рукою царя было написано: «Призовите его и поблагодарите от моего имени. Скажите ему, что я не только на него не сержусь, но искренне благодарю за откровенное изложение настоящего положения дел, хотя пылкость юношества и повела его, быть может, слишком далеко... В этом молодом поколении много хорошего и истинно благородного. Россия должна от него многого ожидать».

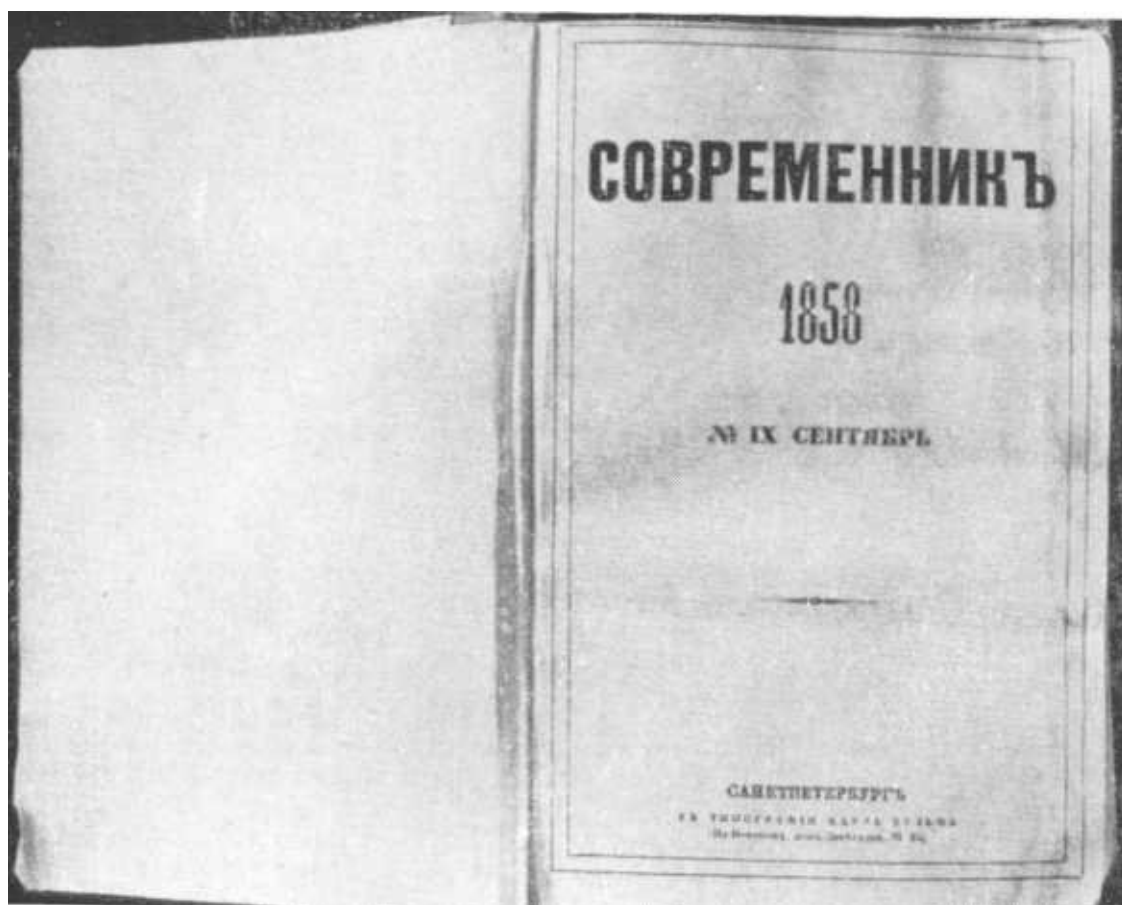
С радостным волнением перечитывал Николай ответ царя. В искренности его он не сомневался. Ему и в голову не приходило, что вот таким же Иудиным поцелуем «наградил» в свое время Николай I казненного им потом Рылеева и отданного в солдатчину на муки и смерть поэта Полежаева. Не думал он, что пройдет совсем немного — каких-нибудь четыре года, и он на себе самом почувствует истинную цену монаршей милости. Да, через четыре года... в одиночной камере Алексеевского рavelина Петропавловской крепости.

III

Вскоре после истории с запиской его послали работать

делопроизводителем в Калужский губернский комитет по крестьянскому делу. Назначение это он принял с большим удовлетворением. Калужский комитет первым во всей России добился разрешения разрабатывать проект выкупа.

С присущими ему энергией и выносливостью, удивившими многих, Серно-Соловьевич взялся за дело. В течение семи месяцев он ежедневно работал по четырнадцать часов в сутки. Он был всего лишь делопроизводителем, но его энергия, убежденность и юношеская страстность оказали влияние на работу всего комитета. Несмотря на бешеное сопротивление «плантаторов»^[9], люто возненавидевших его, проект вышел одним из самых либеральных. А крепостников было немало в Калужском комитете. Впрочем, так было во всех губернских комитетах России. «Плантаторы» всячески тормозили подготовку реформ, пытались все дело освобождения крестьян свести на нет. Либералы же, понимавшие в той или иной степени необходимость перемены, произносили громкие речи, громили отсталость и рутинерство, зывали к мудрости и человеколюбию и... сочиняли проекты, фактически оставлявшие крестьян почти такими же бесправными и едва ли не более нищими, чем при крепостном праве.



Журнал «Современник».

ЧТО НУЖНО НАРОДУ!

1832-1847, 347-75, 1988

(Punkte: 0/10000, erzielte Punkte: 0/10000, 27.04.2020 10:04:40)

[illegible]

Иногда человек, имея доступ к сети, может не захотеть использовать ее в соответствии с правилами, установленными администратором. Иногда в компьютерной сети возникает конфликт интересов между пользователями. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо разработать правила, регламентирующие использование сети. Эти правила называются политикой безопасности.

Варвар, с которым дружил, но однажды он не выдержал тайны, и начался раскол. Разногласия возникли в семье, а впоследствии и в дружбе. Варвару пришлось оставить эту семью и перебраться на ее окраины в деревню. Вслед за ним и в деревню переехал и другой человек, и жилища убралось, что для него было самым, тем и этот человек убрался. Оставил там же убралось. Пятая и шестая.

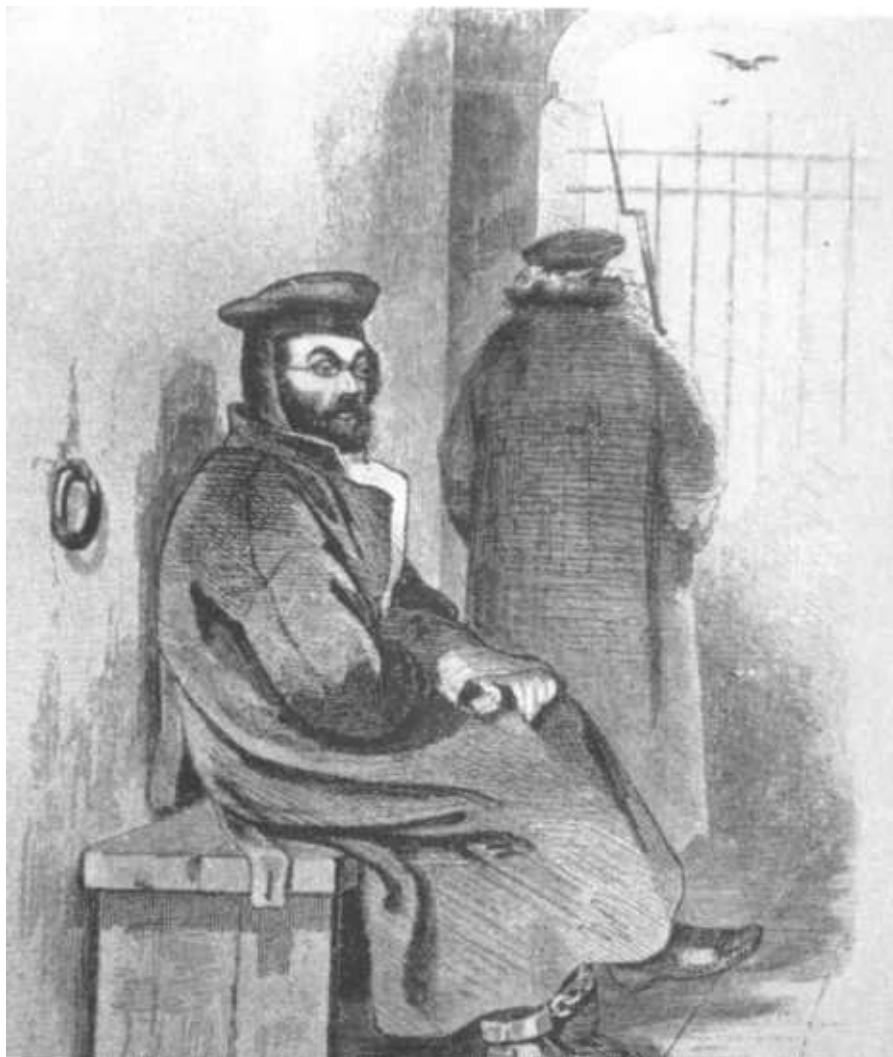
[illegible]

Четверо детей, как и их родители, не из числа бывших заключенных. Четверо уже успели записаться в армию. Некоторым пришлось стать в обычные учебные залы. Пошла очередь студентов в театральном классе, которые в течение дня занимались в театральном училище. Многие уже были из семьи, но не знали, на что такое театральное училище.

Вопросы методики, организации и этики исследований

[illegible][illegible]

Страница прокламации «Что нужно народу?».



М. И. Михайлов в каземате. Гравюра.

Конечно, даже самые «отважные» из либералов не поднимались до сознания того, что только крестьяне являются единственными законными владельцами земли.

Среди лиц, игравших значительную роль в подготовке проекта выкупа, было несколько амнистированных декабристов и петрашевцев. Революционное прошлое этих людей не могло не наложить отпечатка на их дела. И естественно, что Николай Серно-Соловьевич сблизился с ними, а с Николаем Сергеевичем Кашкиным подружился. Работа в Калуге и общение с этими людьми помогли Серно-Соловьевичу многое понять. В Калуге он снова взялся за перо, чтобы на этот раз обратиться не к одному человеку, а ко всем читающим. Он решил написать о деле, которое на первый взгляд имело значение только для одного города.

В то время в Калуге собирались открыть женскую гимназию. Дело

нужное и полезное. Казалось бы, что дурного можно было усмотреть в нем? Но нашлось немало рутинеров, воспротивившихся этому.

Николай решил дать им отповедь. В начале 1859 года в газете «Московские ведомости» появилась остроумная и резкая статья за подписью «Один из многих», убедительно доказавшая пользу открытия гимназии. В Калуге на статью сразу же все обратили внимание. «Держиморды от просвещения» вынуждены были приумолкнуть. Гимназию вскоре открыли.

На статью обратили внимание и те, к кому она менее всего была обращена. В Петербург полетело донесение жандармского подполковника Смирнова, в котором обращалось внимание начальства на «Одного из многих». Правда, при всех своих способностях к выискиванию крамолы «голубые мундиры» не смогли обнаружить таковой в статье, но вольнодумный тон ее не прошел незамеченным. Николай Серно-Соловьевич попал в поле зрения недремлющего ока — Третьего отделения. Вскоре тот же жандармский подполковник донес о вещах более «криминальных»:

«По общим отзывам, Серно-Соловьевич весьма часто высказывал в суждениях своих нерасположение к существующему в России государственному управлению и выражал особенное сочувствие к изгнаннику Герцену».

Срок, на который был послан в Калугу Николай, истек. Жалко было уезжать оттуда. Серно-Соловьевич крепко привязался к городу, к людям, особенно к Кашкину. Но то, с чем пришлось потом столкнуться в Петербурге, обращало эту грусть в тоску, а подчас и в ярость. В самом деле, как трудно ни было в Калуге, как ни была изнурительна борьба с крепостниками, но там все же что-то делали. А здесь?!

С первых же дней по возвращении в Петербург он окунулся в обстановку канители, непролазной формалистики. Вскоре он понял: ничего путного в этих канцеляриях сделать нельзя.

Нет, с этим он не может мириться! Надо что-то предпринять. Николай ищет какое-нибудь полезное дело на общественном поприще. Он вступает в Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым, в которое входили Чернышевский и Тургенев.

В работе общества, как, впрочем, и в любом деле, за которое брался Николай, он принимает деятельное участие; он стремится найти семью казенного Рылеева, чтобы оказать ей помощь, и выполняет другие поручения.

Одновременно он берется вести отдел иностранной хроники в

«Журнале для акционеров», издаваемом Трубниковым. Эта работа очень заинтересовала его. Сопоставление экономической и политической жизни Европы и Америки с жизнью России еще раз убедило Николая в том, насколько отстали и консервативны все порядки в России.

Как-то ему довелось столкнуться с деятельностью акционерного общества «Сельский хозяин». Под европейской личиной его директоров оказалось нутро недоброй памяти подьячих XVII века — то же стяжательство и беззастенчивое казнокрадство. И тогда Николай написал статью, вскрывшую злоупотребления этой компании. Статья имела большой общественный резонанс. «Сельского хозяина» удалось вывести на чистую воду. Но разве это могло что-нибудь изменить?

Все больше и больше крепло убеждение; при абсолютизме, при самодержавии невозможно осуществить серьезные мероприятия, удовлетворяющие интересы народа. А реформа? Исправит ли она положение? Даже если будет осуществлен немедленный выкуп, начисто отменяющий барщину, то есть то, чего добиваются наиболее либеральные участники разработки проектов реформ и на чем настаивал и он сам, — это все же не решит дела коренным образом. Нужны перемены решительно во всем!

Но как должны быть они осуществлены? Что сам он должен делать? Не с кем было даже посоветоваться. Самым близким ему человеком был брат Александр. Он имел большое влияние на Николая, хотя и был четырьмя годами моложе его, но в те дни он, Александр, был за границей.

Николай часто думал о брате. Да, они всегда были очень близки, но все же кое-что в Александре было ему непонятно.

«Александр прекрасно кончил лицей, — думал Николай. — Он способный, мог бы сделать блестящую карьеру. Почему же он не служит? Предпочитает разъезжать по Европе с больной матерью. Правда, у него и самого здоровье скверное, ему тоже необходимо лечение. Но в этом ли дело? Может быть, у него есть особые причины, заставляющие отказаться от службы? Может быть, он знает и понимает что-то, недоступное мне?»

Николай не ошибался. Александр действительно многое 'понял раньше его. Сопоставление жизни России и Европы скоро заставило его, как писал он сам, «дивиться нашему застою» и сказать резкое «Нет!» казенной службе.

В середине 1859 года Александр вернулся в Петербург. Николай несказанно обрадовался его приезду. Первый же вечер они провели вместе. Долго и откровенно рассказывал Николай о своих муках и сомнениях.

— Ты не можешь себе представить, Саша, до чего тяжело стало

работать. Ни у кого нет ясной цели — идут, сами не зная куда. Я пытался как-то надоумить хотя бы тех, с кем сталкивался на службе, — и что же? Как об стену горох! Добился только одного — стали косо смотреть на меня. Называют «красным», «революционером».

— Тебя это обижает? — спросил Александр.

— Напротив, скорее даже льстит. Но не в этом же дело. Пойми, я решительно не знаю, что делать дальше.

— Как что? — с наигранным удивлением возразил Александр. — Служи! Ты человек способный. Скоро до тайного советника дослужишься, а там, глядишь, лет этак через десяток — и в губернаторы попадешь или в министры.

— Не смейся, Сашка! Слишком много отдано этой работе. Быть так преданным крестьянскому вопросу, как я, и уйти, когда дело приходит к развязке?..

— К какой развязке?! — перебил Александр. — Ты же сам говоришь, что ничего путного выйти не может. Или жаль разочаровываться?

— Конечно, жаль, — вздохнул Николай, — разбить то, во что верил, куда как больно.

— А оставаться на службе и подавать руку направлению, которому не сочувствуешь, лучше? Нет, Николай! Мало вздохов да проклятий. Нужно воспитывать в себе злобу! Старое здание сгнило, и надо не чинить его, а сломать — до основания!

— И ты ясно понимаешь, как это сделать?

— Да, понимаю! Ты что думаешь? Я за границей только по немецким докторам ездил да здоровьишко свое лечил? Как бы не так! Я ведь не только в Германии был. Я и дальше забирался. Вот где мозги-то подлечили!

— Где?! — удивленно спросил Николай. — Неужели в Лондоне? У Герцена?

— Да! — с торжеством и радостью ответил Александр. — Ах, Нюнька, какие это люди! Вот где по-настоящему борются за обновление России. Не то что в канцелярии твоей!

Разговор с Александром помог Николаю преодолеть колебания.

В ноябре 1859 года решение было принято; Николай Серно-Соловьевич подает в отставку. Получив ее, он в январе 1860 года отправляется за границу.

Первое время пребывания за рубежом было невесело. В Аахене жила тяжело больная мать. В Кельне лечилась сестра, незадолго перед этим потерявшая сына. Николай не мог оставаться безучастным к страданию близких. По натуре отзывчивый и добрый, он сильно переживал их

горести, стараясь помогать, чем только возможно. Большая часть времени уходила на разъезды между двумя городами. Так продолжалось полтора месяца. Наконец сестра стала поправляться, мать тоже почувствовала себя лучше. Можно было осуществить задуманное. Николай отправился в Лондон.

Не без некоторого смущения шел он к Герцену. Но первая же встреча с ним и Огаревым рассеяла все сомнения. Он увидел, что это не просто увлекающиеся люди и не фанатики. Две недели, проведенные в Лондоне (то было в феврале — марте 1860 года), оказали на Серно-Соловьевича огромное влияние. Николай чувствовал, что находит объяснение многим мучившим его вопросам.

«Лондонские изгнанники» сразу оценили ум и энергию Николая. «Да, — писал Огарев о Серно-Соловьевиче, — это деятель, а может, и организатор!»

Особенно сблизился Николай с Огаревым. Последний много занимался экономическими вопросами, которые так увлекали Серно-Соловьевича.

Они много говорили о России. Все помыслы были устремлены к ней. Жадно ловили каждую весть с родины. А вести были тревожные. Все больше убеждали они: от предстоящей реформы нельзя ждать чего-нибудь хорошего. И окончательно Николай утвердился в этой мысли, когда в Лондон пришло известие о том, что умер Ростовцев — председатель Главного комитета по крестьянскому делу, а на его место назначен граф Панин. Эта новость ошеломила Серно-Соловьевича. Вначале она показалась чьей-то глупой шуткой.

«Конечно, — думал Серно-Соловьевич, — Ростовцев был далеко не прогрессивный деятель. Но Панин! Отъявленный консерватор, идейный вождь всех плантаторов! Чудовищно!»

С газетой в руках Николай помчался к Герцену.

— Вы читали это? — спросил он еще с порога.

— Сподобился, — невесело усмехнулся Герцен.

— Но ведь это же...

От волнения Николай не находил слов.

— Да, — резко сказал Герцен. — Глава самой тупой реакции поставлен главою освобождения крестьян. Это вызов, это обдуманное оскорбление общественного мнения и уступка плантаторской партии. Не надо удивляться. Тон царствования изменился, а с ним должны измениться и все отношения... Этого следовало ожидать.

— Как важно теперь, чтобы это поняла вся Россия! — горячо

отозвался Николай. — Необходимо писать об этом. Теперь же! Немедленно! Александр Иванович, я давно хотел вам сказать: я хочу писать для вас — для «Колокола». Непременно! У меня много есть что сказать!

— Спасибо, — тихо ответил Герцен. — Я ждал, что вы скажете это. Это очень нужно, чтобы нам писали именно из России. Ведь мы-то здесь, в изгнании, порой отстаем от того, что происходит там.

— Я буду писать! Много! И... я еще не говорил вам? Я начал писать большую статью — о решении крестьянского вопроса. Ведь от этого зависит все будущее России! Только для «Колокола» статья будет слишком велика — я вижу, что она разрастется в целую брошюру.

— Конечно, — согласился Герцен, — в газетной статье такая проблема не уместится. Но вы, конечно, понимаете, что в России этого никто не напечатает?

— Что ж, издам за границей. На свои деньги и под своим именем!

— Даже так? С открытым забралом? — улыбнулся Герцен. — А нужно ли — под своим?

— Да, нужно! Нам пора перестать бояться, — твердо ответил Николай.

— Что ж! Может быть, вы и правы. Но только помните — рано или поздно вам не поздоровится за это. Впрочем, если уж вступить на эту дорогу, надо быть ко всему готовым. Кому изгнание, а кому и... — Герцен не договорил и пристально посмотрел на Николая. — Так не боитесь?

— Нет!

Освеженным, бодрым, полным энергии больше, чем когда-либо, вернулся Николай из Лондона. Заехав ненадолго в Аахен к матери, он продолжил поездку по Европе.

Разумеется, эта поездка менее всего походила на путешествие праздного туриста. Николай присматривался к различным сторонам жизни Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии. Неожиданно для себя убедился он, что казавшийся ему раньше прогрессивным (особенно в сравнении с крепостничеством!) капитализм уродлив и отвратителен. Капиталистическая экономика Европы уже начинала оборачиваться своими теневыми сторонами, и ему удалось разглядеть их.

«Я далеко не заражен славянофильством, — писал Николай Кашкину. — Но человек, сколько-нибудь присматривающийся к событиям, не может не видеть, что все основные начала европейской жизни, все элементы западного общества... идут к разложению».

С большим вниманием наблюдал Николай за рабочим движением. Конечно, осознать истинное значение его он не мог, но интуитивно

сочувствовал ему.

Особое восхищение Николая вызвало освободительное движение в Италии. Сколько раз представлял он себя солдатом легендарной «тысячи» Гарибальди. Сражаться за свободу — что может быть прекраснее! И все-таки сердце рвалось в Россию. На родине он нужнее. Место его там. В декабре 1860 года Серно-Соловьевич возвращается в Петербург.

То было время большого общественного подъема. Все в России — иные с тревогой, иные с наивным предвкушением долгожданной свободы — ждали важных событий, ждали реформы. Но Николай, прекрасно осведомленный о ходе подготовки реформы, знакомый со взглядами людей, в руках которых, находилось дело, отрешился от прекраснодушных иллюзий. Сидеть сложа руки было не в его характере. Надо было действовать! И всю свою энергию он вкладывал в дело. Литература, публицистика, просветительство — во всех этих областях неустанно трудился он. Но затаенное беспокойство не покидало его. Он чувствовал: чего-то не хватает в его деятельности. Николай уже сознавал, с чем и за что надо бороться. При самодержавии, при сохранении помещичьей собственности на землю немыслим-настоящий прогресс. Но пути и средства борьбы были как в тумане. Нужен был какой-то осязаемый толчок, чтобы все его догадки, предположения, смутные замыслы (многие из них казались настолько дерзкими, что он боялся признаться в них даже самому себе!) встали на свое место, чтобы дан был, наконец, ясный ответ на главный вопрос: что делать?

Такой толчок, наконец, был сделан.

Как-то в начале января 1861 года Николай зашел в редакцию «Современника» — журнала, который он давно любил и для которого уже писал. У него созрел замысел очередной статьи по поводу земской реформы. Нужно было поговорить с редактором отдела. Редактора на месте не оказалось, и Николай собрался уходить, как вдруг в коридоре чуть не столкнулся с каким-то человеком в очках. Вглядевшись, Николай узнал Чернышевского.

Этот человек давно привлекал внимание Николая. Статьями его он зачитывался. Еще в 1859 году он писал Кашкину: «Чернышевского ставлю положительно во главе всех наших публицистов». Несколько раз ему хотелось поговорить с Чернышевским, но все откладывал исполнение своего решения. Чернышевский почему-то казался ему недоступным, хотя был всего шестью годами старше. И Николай, не сробевший перед царем, как-то все не решался прийти к руководителю «Современника». Правда, они были знакомы по совместной работе в Обществе пособия

нуждающимся литераторам, но знакомство было, что называется, шапочное, и Николай даже не был уверен, помнит ли его Чернышевский. Поэтому, поклонившись, он хотел уже пройти мимо, но Чернышевский поздоровался с ним и заговорил просто, легко, непринужденно, словно они расстались только вчера. Оказалось, что Чернышевский много слышал о Николае.

Внимательно и подробно расспрашивал он о его статье, о поездке за границу.

Наступили ранние петербургские сумерки, а они еще стояли на лестничной клетке и беседовали. Чернышевский спохватился первый.

— Ох, извините, я вас задерживаю, — сказал он и стал прощаться.

Николай, хоть у него и впрямь были дела, пытался возразить, но Чернышевский мягко прервал его:

— Да и мне тоже пора. Но, знаете, Николай Александрович, нам надо поговорить обстоятельней. Заходите ко мне, непременно заходите. Завтра же, хорошо? На Большую Московскую. Знаете?

Конечно, Николай зашел. Зашел — и с того дня, сначала один, а потом и с братом Александром, зачастил на Большую Московскую. Общество Чернышевского стало для него необходимым. Да и Чернышевский тоже привязался к нему. 7 февраля он писал Добролюбову: «Порадуйтесь, я в закадычной дружбе с Серно-Соловьевичем».

Дружба эта была плодотворной, особенно для Николая. Зародившаяся еще в юности интуитивная тяга к свободе окрепла при столкновении с безобразием российской действительности. Она приобрела характер убеждений в ивашевском кружке, сформировалась после знакомства с Герценом и Огаревым и теперь под влиянием Чернышевского окончательно превратилась у Серно-Соловьевича в непоколебимые и обоснованные убеждения революционера.

Наконец 19 февраля 1861 года был подписан, а 5 марта объявлен царский манифест об освобождении крестьян.

Опубликованное одновременно с манифестом Положение было столь уродливым, что возмутило даже наиболее либеральную часть поместного дворянства. Еще до объявления Положения против него протестовал тверской предводитель дворянства А. М. Унковский. В феврале 1862 года несогласие с Положением выразили 13 тверских дворян — мировых посредников. Вслед за ними от имени тверского дворянства был послан адрес царю, в котором также выражалось недовольство реформой. Конечно, все эти протесты были весьма умеренны и составлены в самой верноподданнической форме, но и для этого надо было бы обладать

известным мужеством: царю уже надоело играть в либерализм. Унковский был сослан в Вятку, 13 посредников заключены в Петропавловскую крепость (правда, ненадолго).

С грустной улыбкой читал Николай Серно-Соловьевич адреса и заявления этих деятелей — они так живо напоминали его собственную записку царю. Время либерально-верноподданнических протестов для него кончилось.

Но большинство либералов встретили реформу ликованием: «Какая радость! Рабство на Руси умерло! Мужичок получил свободу из рук обожаемого царя-батюшки! Помилуйте, чего еще? Волки сыты, овцы целы!»... Но сам-то «мужичок» не радовался — в путаных и малопонятных словах манифеста не было того, чего он столько лет терпеливо ждал — настоящей воли.

Невиданная по своим размахам со времен Разина и Пугачева волна возмущения и бунтов прокатилась по России. Иногда они принимали характер настоящих восстаний, как восстание в селе Бездна под предводительством Антона Петрова.

В день, когда стало известно о зверском подавлении этого восстания и казни Антона Петрова, Николай и Александр Серно-Соловьевичи пришли к Чернышевскому.

Николай был задумчив, а Александр кипел от возмущения. Спокойным казался только Чернышевский. Ровным голосом читал он только что полученное им из Казани письмо. В нем рассказывалось о событиях в Бездне и откликах на них — о страстной речи профессора Щапова, о панихиде, устроенной студентами Казанского университета и духовной академии.

Чернышевский кончил читать. Воцарилось молчание. Николай первым прервал его.

— Да, Николай Гаврилович, вы были правы — Александр II скоро показал николаевские зубы. Все они, помазанники божии, одним миром мазаны, — неожиданно для себя скаламбурил он.

— Не миром, а кровью, народной! — исступленно воскликнул Александр. — И сколько ее еще прольется!

— Да, — ответил Николай, — много. Но страшнее всего, что льется она бесполезно...

— И будет бесполезно, — прервал его Чернышевский, — до тех пор, пока все эти Бездны будут бунтовать порознь, пока мы не сможем соединить их разом — в один всероссийский великий бунт!

Братья переглянулись. Так определенно Чернышевский никогда еще не

говорил с ними.

В те дни исчезли последние сомнения Николая. Теперь он знал, что делать. С удесятеренной анергией продолжил он работу над начатой еще за границей брошюрой «Окончательное решение крестьянского вопроса». В июне 1861 года брошюра была закончена.

В июле того же года Серно-Соловьевич поехал в Берлин и издал там свое исследование, как и задумал, под собственным именем. В предисловии он писал:

«Я публикую его под своим именем, потому что думаю, что нам пора перестать бояться, потому что тот, кто хочет правды и справедливости, должен уметь безбоязненно стоять за них».

Можно себе представить, с какой яростью встретило правительство эту брошюру, — ведь революционное содержание ее было очевидно.

«Земля должна быть признана народной собственностью». Эта мысль красной нитью проходила через всю работу. «Крестьянский вопрос, искаженный Положением 19 февраля, разрешим только двумя способами — или общей выкупной мерой, или топорами — третьего исхода нет».

Но «иметь хоть тень надежды на осуществление этого проекта — значило бы... жестоко увлекаться... вся клика помещиков не пойдет на добровольные соглашения». Более того, в брошюре говорилось: «Людям, достаточно смелым, ничего не остается делать, как собирать силы для создания нового, лучшего порядка».

Естественно, правительство было ошеломлено такой смелостью. Настолько, что даже не посмело расправиться с Серно-Соловьевичем, хотя тут-то уж «состав преступления» был налицо. Но перчатка была брошена столь по-рыцарски, так открыто и мужественно, что стиснув зубы жандармы стали ждать более подходящего момента.

Да, Герцен не напрасно назвал Николая Серно-Соловьевича «последний маркиз Поза». При чтении «Окончательного решения» невольно вспоминались смелость и благородство, с которыми герой трагедии Шиллера бросил в лицо тирану гордые и прекрасные слова о свободе. С ним тоже не решились расправиться сразу. Но тираны не прощают правды. Прошло немного времени, и предательский выстрел из-за решетки оборвал жизнь маркиза Позы.

В XIX веке «просвещенные» тираны редко прибегали к столь примитивной форме убийства. У них были другие методы — более медленные, но мучительные и безотказные.

Положение в России становилось все более напряженным. Крестьянские бунты с возраставшей силой вспыхивали во всех уголках

России. Свободолюбивая Польша вновь стояла накануне восстания. Поднималась на борьбу передовая интеллигенция. По университетам прокатились студенческие волнения. Царское правительство бесцеремонно принимало регрессивные меры. Выступления крестьян подавлялись свинцом и нагайкой. Участились аресты. Был закрыт Петербургский университет — на такое не решался даже Николай I. Но гонения лишь усиливали общий протест. Передовые люди русского общества все больше приходили к убеждению: нечего ждать перемен сверху — добиться их можно только силой.

Понимали это и братья Серно-Соловьевичи. Пылкий Александр давно уже рвался в бой. Для Николая тоже безвозвратно прошла пора раздумий и колебаний. «Собирать силы для создания нового, лучшего порядка» — этот девиз, провозглашенный им на страницах «Окончательного решения», стал отныне делом всей жизни.

Все чаще встречались братья с Чернышевским, Михайловым, Николаем и Владимиром Обручевыми, Слепцовым. Все жили одним: революция близка! Крестьяне уже показали, на что они способны.

А в 1863 году, когда будет закончено составление уставных грамот, когда народ вместо желанной воли найдет новое крепостное право, с невиданной силой разразится восстание.

«Все наши силы должны быть направлены на то, чтобы помочь ему, больше того — возглавить его и направить». Так думали братья Серно-Соловьевичи, так думали все единомышленники, собиравшиеся вместе с ними летом 1861 года. Дружеские беседы постепенно приняли характер организованных собраний; из горячих споров шаг за шагом, слово за словом вырабатывалась конкретная программа действий.

Организовать сильный нелегальный союз.

Объединить все тайные общества, зарождавшиеся во всех уголках России и в эмиграции.

Установить контакт с польскими и литовскими революционными организациями (на этом особенно настаивали братья Серно-Соловьевичи).

Но самое главное — то, без чего бессмысленна была всякая борьба: теснейшая связь с народом. Невозможно добиться чего-нибудь силами одного общества. И установлению такой связи должна быть подчинена вся деятельность союза — легальная и тайная.

Итак, необходимо возглавить крестьянскую революцию, уничтожить власть царского правительства, а затем созвать народное собрание — «земскую думу», которая отдала бы землю крестьянам без всякого выкупа, областям^[10] — самостоятельность, а населению — те свободы, которые

ведут к социализму^[11].

Вскоре родилось название общества. Простое, понятное всем, выражающее в двух словах все чаянья народа — «Земля и воля».

Была разработана организационная структура общества. Чернышевский, бывший главным его вдохновителем, предложил систему пятерок как фундамента общества. Был избран Центральный народный комитет. Братья Николай и Александр вошли в него.

Начались дни напряженной работы. Необходимо было издавать литературу, предназначенную для студентов, солдат, раскольников — всех, кто мог принять участие в революции, — и прежде всего, разумеется, для крестьян.

Николай Серно-Соловьевич отдавал все силы делу революционной пропаганды. Еще будучи за границей, он вместе с Николаем Обручевым, Огаревым и Микаэлом Налбандяном принял активное участие в составлении статьи-прокламации «Что нужно народу?».

Николаем же был написан и другой важный документ «Земли и воли» — статья «Ответ Великооруссу».

Во второй половине 1861 года в Петербурге тайным «комитетом» было выпущено три прокламации под заголовками «Великорусс». В них резко осуждалась политика правительства Александра II. Прокламации призывали «общество», «просвещенную часть нации» взять в свои руки ведение дел из рук неспособного правительства, добиться отмены сословно-крепостных отношений, созыва народных представителей для выработки конституции, отказаться от насильственного удерживания других народов в составе Российского государства.

Это обращение вызвало широкий отклик передовой части общества, но предложенные в нем конкретные меры, даже такие бескровные, как подача петиции царю, поугали либеральное большинство «просвещенной части нации». Либералы еще раз продемонстрировали свою трусость и неспособность к серьезной оппозиции.

Но это предвидели авторы «Великорусса». В их прокламации говорилось: «Если этот призыв не найдет отклика среди образованных классов, останется одно — призвать народ на дело, от которого отказались бы образованные классы».

Пропагандировать эту задачу и взялся Николай Серно-Соловьевич.

15 сентября 1861 года в «Колоколе» за знакомой уже читателю подписью «Один из многих» была напечатана статья «Ответ Великооруссу». В ней, горячо приветствуя самый факт вольного печатного слова, сказанного в Петербурге, Николай Серно-Соловьевич писал: «Время

надежд и ожиданий прошло... Наступила пора борьбы решительной и беспощадной». Автор призывал обращаться не к «обществу», а к народу. «Общество» — это помещики и чиновники, — говорил он, — они никогда не пойдут взаправду против правительства. Наша опора — те несчетные массы, которым нечего ждать от существующего порядка — на эти массы мы и обопремся».

Решительно размежевавшись с либералами, Николай Серно-Соловьевич изложил затем принципы тактики, положенной в основу деятельности «Земли и воли»:

«Составление тайных центров, союзов, братств». Круг действий союзов должен быть широк. Надо писать, писать много и понятно народу: заводить тайные типографии, распространять напечатанное в народе и войске, обучать крестьян и солдат, сближать солдат с народом. Войти в сношения с раскольниками, казаками, ввозить заграничные издания, завести торговые и промышленные заведения и заготовить денежные и всякие средства.

«Наша цель — полное освобождение крестьян, право народа на землю, право его устроиться и управлять самим собою, освобождение и свободный союз областей».

«Земля и воля» развернула широкую деятельность. Члены организации устанавливали связь с местными революционными организациями, создавали новые, распространяли по всей стране революционные прокламации.

В течение целого года Александр Серно-Соловьевич, не зная отдыха, по ночам печатал прокламации, а днем разносил их по всему Петербургу. Но наряду с нелегальной деятельностью землевольцы развернули и легальную, и здесь роль Серно-Соловьевичей была также значительна.

По совету активного деятеля «Земли и воли» А. А. Слепцова осенью 1861 года Николай Серно-Соловьевич открыл в Петербурге на Невском проспекте книжный магазин и при нем библиотеку с читальней. Это было чрезвычайно удачной находкой; в самом деле, ведь книжная торговля открывала большие возможности для распространения нелегальной литературы. Библиотека и читальня могли служить весьма удобными конспиративными явочными пунктами. Кроме того, магазин, библиотека и читальня могли внести серьезный вклад в дело народного просвещения.

Быстро росло число читателей, привлеченных необычностью новых предприятий.

Удивляться было чему: воспитанник лицея, бывший служащий Государственного совета, дворянин и вдруг... сделался купцом.

Приказчики говорят на иностранных языках... Публика валом валила в магазин.

Особенную популярность он приобрел среди студенчества — ведь студентов там снабжали книгами чуть ли не даром!

Но библиотекой и магазином, к сожалению, заинтересовались не только друзья и сочувствовавшие.

Агенты Третьего отделения в поисках крамолы постоянно шныряли в магазине — вынюхивали, высматривали. Многие из них пытались под личиной революционеров втереться в доверие к Серно-Соловьевичу, но делали это так грубо, что не только Николай, человек, достаточно проницательный, но и любой гимназист распознавал в них шпииков. Разумеется, Серно-Соловьевич выпроваживал их, но провокаторы лезли все нахальнее и настойчивей. Наконец терпение Николая лопнуло. Однажды он явился к обер-полицмейстеру Петербурга, жандармскому генералу Потапову.

— Я убедительно прошу ваше превосходительство— распорядитесь не присылать ко мне этих болванов... этих господ, — заявил он. — Ведь это, наконец, не только неумно, но и оскорбительно.

— Действительно, болваны, — поморщился Потапов. — Но вы должны понимать, милостивый государь, что ваши действия не могут не быть подозрительными. Я, конечно, не желаю вам никакого зла, но...

— А разве я делаю что-либо дурное? — возразил Николай.

— Дурное... — ироническим тоном повторил Потапов и вдруг, понизив голос, спросил так, словно этот вопрос уже давно не давал ему покоя: — Ну, а это... ваша книга... Ну, объясните мне — зачем вы написали это?

Николай пожал плечами:

— Там в предисловии все написано, ваше превосходительство. Мне нечего больше сказать об этом.

— Вам нечего сказать? — переспросил Потапов. — Ну, а я вам скажу одно слово: берегитесь!.. Надеюсь, вы все понимаете?

Конечно, Серно-Соловьевич все понимал. Он понимал и то, что, продолжая свою деятельность во время разгула реакции, он неизбежно разделит участь В. Обручева и Михайлова, арестованных незадолго перед тем.

Но он знал, на что идет. Страха не было. Вскоре совместно со Слепцовым Николай открыл еще одну читальню — в Гатчине. Там же он организовал и воскресные школы.

Он изыскивал новые тайные и легальные средства, которые могли бы

оказать помощь деятельности «Земли и воли». Одним из таких средств явился шахматный клуб, открытый при его непосредственном участии в Петербурге в январе 1862 года. Это было учреждение внешне достаточно невинное и в то же время весьма удобное для конспиративных встреч и совещаний. Серно-Соловьевичу принадлежала и другая идея — создать легальный периодический печатный орган «Земли и воли». Одному «Современнику», в котором Серно-Соловьевич также принимал участие, было трудно выполнить эту роль. Журнал уже достаточно намозолил глаза правительству, и поручиться за его долговечность было трудно.

К этому времени группа литераторов, в которую входил Серно-Соловьевич, приступила к созданию на артельных началах журнала «Век». Но журналу не суждено было сыграть 'предназначавшейся ему роли. В редакции «Века» оказалось много лиц, придерживавшихся умеренных взглядов. Большинство редакции не желало придать «Веку» то направление, на котором настаивали Серно-Соловьевич, Шелгунов и их единомышленники.

Разногласия особенно обострились после того, как Н. Серно-Соловьевич принес в редакцию только что написанную им статью «Мысли вслух». В ней он подверг уничтожающей критике либералов, пытавшихся добиться каких-либо прогрессивных перемен в отрыве от народа.

Либеральные члены редакции возражали против этой статьи. Любители пустить слезу по страданиям народным и произнести громкую речь о необходимости освобождения крестьян, они в глубине души изрядно побаивались самого народа и, хотя не любили признаваться в этом, исповедовали лицемерный догмат «все для народа... но не народом» — тот самый, против которого была направлена статья Николая.

«Все для народа — и только народом!» — этот лозунг был основой ее. Напечатать такое значило попасть в «неблагонадежные», а то и... При одной мысли о казематах либералов прошибал холодный пот.

Стремясь предотвратить раскол, Николай созвал 27 марта 1862 года в помещении шахматного клуба всех членов редакции. Совещание было долгим.

Либералы доказывали, что для успеха журнала необходимо вести его, «конечно, прогрессивно, но лояльно! Непременно лояльно!...».

Николай не выдержал.

— Нам необходим журнал не для лояльного переливания из пустого в порожнее, а для помощи настоящему делу! — воскликнул он.

Воцарилось молчание. Роковое слово «восстание» не было произнесено, но, как ни старался Николай подобрать лояльное выражение,

все поняли, что имелось в виду.

— Но, помилуйте, — заикаясь, проговорил кто-то, — нельзя же так резко. И вообще...

— И вообще своя рубашка ближе к телу, — язвительно закончил Николай. — Нет, господа, с вами каши не сварить!

Для большинства редакции это было уже слишком. Редакция раскололась — Серно-Соловьевич и Шелгунов вышли из ее состава.

Время шло. Реакция свирепела. Жестоко подавляемое стихийное крестьянское движение шло на убыль. Попытки «Земли и воли» установить связь с народом разбивались о вековую неорганизованность крестьянской массы. Революционеры-демократы по-прежнему ожидали всеобщего восстания крестьян в 1863 году, но одно им становилось ясно; подготовка революции — дело неизмеримо более сложное, чем они предполагали раньше.

В статье «Мысли вслух» Серно-Соловьевич писал, что революционная литература «выражает стремления кучки людей честных, хороших, но незначительных по числу, не имеющих никаких корней в народе и потому положительно бессильных. Грустно делать такое сознание, но сделать его необходимо».

А реакция тем временем переходила уже в открытое наступление. Братья Серно-Соловьевичи давно сделались для нее бельмом на глазу — и она использовала все возможности, чтобы хоть как-нибудь помешать их деятельности.

В июне 1862 года были закрыты читальня Серно-Соловьевича, воскресные школы и шахматный клуб. Но все это были еще полумеры — правительство готовило настоящую расправу, тщательно собирая материалы того, чтобы найти обоснование для нее. В начале 1862 года в дом Серно-Соловьевичей поступил на должность лакея агент Третьего отделения. Его чрезмерное любопытство вскоре бросилось братьям в глаза, и под благовидным предлогом Николай рассчитал его. Потерпев очередной провал, Третье отделение решило действовать более прямолинейно: намечено было провести одновременно обыск у ряда «подозрительных» лиц («авось удастся найти компрометирующие материалы!»). И, конечно, в списке «крамольников» значились Николай и Александр Серно-Соловьевичи.

Но до обыска дело не дошло — предлог для расправы представился раньше.

24 июня того же 1862 года из Лондона в Петербург возвращался служащий торговой фирмы Ветошников, вызывавшийся доставить в Россию несколько писем от Герцена, Огарева и Бакунина. Об этом узнал провокатор Перетц — штатный агент Третьего отделения, вошедший в доверие к Герцену. Как только пароход вошел в русские воды, Ветошников был арестован. Легко представить себе ликование инквизиторов из Третьего отделения» когда они читали изъятые письма. В них упоминалось столько имен, а среди них — ненавистнейшие из ненавистных — Чернышевский и Н. Серно-Соловьевич!

Связь с лондонскими пропагандистами! Это был уже «состав преступления» и — наконец-то! — «законный» повод для ареста.

7 июля вечером, придя домой, Николай Серно-Соловьевич был встречен ожидавшими его уже три часа жандармами под предводительством генерал-майора Ливенталя. Часа через два незваные гости покинули дом, прихватив с собой хозяина и его бумаги.

Вечером того же дня за Николаем захлопнулась дверь одиночной камеры Алексеевского рavelина Петропавловской крепости. Туда же был препровожден Чернышевский, а за ними — все, кого удалось арестовать по обвинению в связях с «лондонскими пропагандистами». Избежать ареста удалось лишь троим, оказавшимся в то время за границей. Среди них был Александр Серно-Соловьевич. Еще весной он выехал из России — сначала в Кенигсберг, для организации транспортировки нелегальной литературы, а затем в Англию и Швейцарию — для лечения.

IV

Дело Серно-Соловьевича было передано в специально учрежденную царем следственную комиссию под председательством князя Голицына, печально известного своими талантами в малопочтенной роли сыщика. В задачи комиссии входило: «расследовать причину смуты, обнаружить всех, так или иначе ее посевающих, и вырвать с корнем революцию из русской жизни(!)». Насколько успешно справилась комиссия с этими задачами, особенно с последней, понять нетрудно, но «черновую» сыскную работу она выполняла довольно старательно, хотя и без особой спешки: за время следствия членам комиссии полагались повышенные суточные и ряд привилегий по службе. Торопиться смысла не имело.

Вероятно, поэтому первый допрос Николаю был учинен только через

три месяца после ареста. Может быть, комиссия уповала еще и на то, что у человека, просидевшего три месяца в одиночестве и неизвестности, скорее развяжется язык. Никому не разрешали и свиданий с Николаем. Даже переписываться с братом Владимиром ему было разрешено только в сентябре. При этом вся корреспонденция тщательнейшим образом просматривалась. Письма, в которых можно было усмотреть — с основанием или без (чаще без) — какой-либо намек на условные выражения, изымались и подшивались к делу.

Первые вести с воли были нерадостны. В частности, Владимир сообщил ему, что помещение, где прежде была читальня, сдается под пивную!

«Это, — писал в ответ Николай, — возбуждает во мне много дум. Что может быть характеристичнее: закрытая читальня сменяется пивной... Недостает, чтобы сняли мою квартиру под публичный дом!»

Но ни одиночество, ни оторванность от внешнего мира не в состоянии были поколебать твердость его духа и самообладание. Когда 16 октября Николая вызвали на первый допрос, комиссия была неприятно поражена: арестант выглядел бодрым и спокойным, ответы его были кратки и обдуманно. В них не было решительно ничего, на чем можно было бы построить обвинение. Связь с лондонскими изгнанниками Николай Серно-Соловьевич отрицал. Комиссия потребовала ответов более определенных. Николай отвечал, что ничего нового сообщить не может, разве только повторить прежние показания. Взбешенные члены комиссии пригрозили привлечь его к ответственности за дачу ложных показаний. Николай молчал.

Тогда комиссия составила большой перечень вопросов, рассчитывая, вероятно, запутать Серно-Соловьевича в мелочах и поймать его хоть на какой-нибудь несообразности. 5, 8 и 11 декабря ему учинили продолжительные допросы — результат их был для комиссии не более утешителен: на самые каверзные вопросы Николай отвечал действительно пространно, но так, что придраться было не к чему.

Большие надежды комиссия возлагала, очевидно, на вопросы о причинах, побудивших Николая написать свои работы, особенно «Окончательное решение». Серно-Соловьевич с достоинством парировал эти вопросы, неопровержимо доказывая, что делал он все исключительно для пользы отечества (тут ему и не нужно было как-либо выкручиваться!). А все заживления о недозволённости подобных писаний он остроумно отражал ссылками на лицемерные высказывания... самого царя!

Комиссия бесилась, но ничего сделать не смогла; многие ответы

Николая загнали ее в тупик, а найти подходящих улик так и не удалось.

Отчаявшись добиться чего-нибудь от Серно-Соловьевича, комиссия занялась допросами других обвиняемых — там дело шло несколько легче: такой твердостью духа, как Николай, не многие могли похвалиться. Вообще надо сказать, что многие из арестованных в первые же дни смалодушничали и, униженно вымаливая пощаду, выдавали всех и вся. Но материала для «законного обвинения» было еще недостаточно. Лучше других о деятельности Николая, несомненно, знал его брат Александр Серно-Соловьевич, но он был за границей.

Вот если бы удалось заполучить его обратно!

И комиссия послала Александру официальную бумагу с категорическим требованием немедленно вернуться в Россию. Вызов застал Александра в Лондоне. Первой мыслью по получении его было: «Брат и Чернышевский за решеткой, а я — здесь?! Но вернуться в Россию, с тем чтобы прибавить к числу узников еще одного? Нет, явно не стоит доставлять палачам такое удовольствие. Надо продолжать начатое дело хотя бы в изгнании — другого решения быть не может».

Скомканная бумага с вызовом полетела под стол, а в Российское посольство было послано резкое и лаконичное уведомление, что он, Александр Серно-Соловьевич, отказывается выполнить предписание и остается за границей в качестве политического эмигранта.

Арест Чернышевского и брата заставил его отказаться от личных планов. Лечение было заброшено. Работать, только работать! Он должен хоть сколько-нибудь заменить собой товарищей, вырванных из рядов борцов.

Приближался 1863 год — в это время в связи с истечением срока составления уставных грамот ожидалась новая волна крестьянских волнений. Надо было поддержать крестьянское движение, направить его в нужное русло. Для этого требовалось большое количество агитационного материала, а значит, и новые издания, новые типографии. Александр переезжает в Швейцарию. В конце осени 1862 года в Берне он создает новую русскую типографию и начинает переговоры с Герценом об объединении вольной русской печати.

А для Николая вновь потянулись однообразные дни и месяцы заключения в крепости. Допросов больше не было. Нельзя сказать, чтобы Николай жалел об этом. Допросы, конечно, вещь малоприятная. Но все же это была борьба, хотя и безнадежная, — слишком неравным было положение сторон.

Эта борьба требовала напряжения ума, душевных сил, выносливости,

сообразительности. А так что оставалось делать? Неподвижно лежать, перебирать в уме прошлое... слушать шаги часового? Но это путь к безволию, к безумию, к смерти заживо.

«Нет, как бы не так! Работа — вот спасение!» И Николай взялся за работу. Он писал новые проекты финансовых реформ, статьи по экономике, философии, стихи, поэмы, пьесы, делал переводы — ни одного дня без работы. Минутами приходила коварная мысль: «А зачем? Ведь все это увязнет в комиссиях и канцеляриях». Но он гнал ее.

«Нет! Моя работа нужна. Ведь что-то должно просочиться на волю! Ведь это будут читать! Пусть даже враги. Пусть! Может быть, и они поймут хоть немного, что нужно России. И пусть они знают, что и здесь, в крепости, я, непобежденный, работаю для своего отечества!»

Снова и снова — убедительно и страстно — Николай Серно-Соловьевич доказывает: необходимо утвердить в России начала гражданской свободы, дать всевозможные амнистии, созвать выборных от всего государства, предоставить государственную независимость Польше, Финляндии, самоуправление — Украине, Белоруссии, Прибалтике. «В будущем и во внутренней и во внешней политике неуклонно следовать началам свободы — только это спасет Россию от морального, военного, экономического и политического краха».

6 февраля 1863 года Николай обратился в сенат, куда в начале 1863 года было передано ведение следствия, с прошением о допущении его на основании закона к чтению материалов судопроизводства. Разрешение было получено лишь в декабре. Прочитав материалы, он убедился, что скрывать более свою связь с Герценом и Огаревым бесполезно: в ходе следствия, главным образом из-за малодушия ряда обвиняемых, она была доказана неопровержимо. Что оставалось делать? Серно-Соловьевич 16 января 1864 года написал пространнейшее заявление на имя царя.

По форме это было «всеподданнейшее» прошение — так требовали правила. Но стандартным обращением формальное сходство исчерпывалось.

В послании, признавая самый факт знакомства с Герценом и Огаревым, Николай отрицал, что между ними было что-то большее, чем личное знакомство, и утверждал, что не разделяет всех их мнений. Но что мог дать этот компромисс? Конечно, стоило бы только написать о Герцене и Огареве что-либо компрометирующее — и участь его была бы облегчена. Но это было невозможно для Николая.

«Притвориться отступником — куда ни шло, но стать предателем? Нет!» И Николай написал; «Узнав их лично, трудно не отдать

справедливости их серьезному уму и бескорыстной любви к России».

Разумеется, такой отзыв о людях, официально признанных изменниками и преступниками, самое упоминание имен которых считалось предосудительным, было делом гибельным. Николай, естественно, понимал это. Но как иначе поступить? Снова изложив свои взгляды по вопросам устройства России, Серно-Соловьевич закончил: «Какая бы участь ни ждала меня, я встречу ее с твердостью... Вся моя вина — убеждения, а они враждебны только тем, кто не дорожит благом отечества!»

Через несколько дней Николаю стало известно распоряжение правительства: «Обо всех лицах, которые при ведении об них дел... покажут полное раскаяние и готовность к открытию преступлений, делать особое представление его величеству».

«Представление его величеству!.. За что?! За предательство и донос? Да, господа, вы недвусмысленно позваниваете тридцатью сребрениками. Но иудой вы меня не сделаете. А полное раскаянье? Что ж, попытаемся его изобразить! Может быть, удастся вырваться хоть на поруки».

26 января Николай подал второе «всеподданнейшее» прошение. Но такого раскаяния, которое устраивало бы царские власти, в нем не было!

«Я свято сохранил свои прежние убеждения и перестал бы уважать себя, если бы изменил им, — писал Николай во втором прошении. — Я не отрекаюсь от своих убеждений, не поношу ни их, ни людей, неприятных правительству. Я не называю сообщников. По своим понятиям о чести я скорее пошел бы на казнь, чем сделался иудой... Все эти люди — не злоумышленники, а люди сильных убеждений...» «Старый государственный порядок кончил свое существование в истории, переворот в государстве неизбежен, потому что совершился переворот в понятиях... Другая система — свобода».

Естественно, что после такого «всеподданнейшего» прошения в выдаче Серно-Соловьевича на поруки было категорически отказано.

Возникает лишь вопрос: зачем Серно-Соловьевич, давно убедившийся, что от правительства ничего хорошего ждать нельзя, стал метать бисер перед свиньями, писать царю, доказывать правительству необходимость конституции, политических преобразований, гражданских свобод?

Подобно тому как человек, бесчестный сам, меряя всех людей на свой аршин, ждет от них подвоха и подлости, так разумный и благороднейший Серно-Соловьевич все-таки до конца пытался найти хотя бы остатки благородства и разума там, где их не могло быть.

Шло время. Мрачные и сырые стены одиночной камеры день за днем

подтачивали здоровье. Но мужество и непоколебимая вера в победу ни на минуту не оставляли Николая. Ими проникнуты все его произведения, написанные в крепости. Помимо работ научных и политических, Николай серьезно занялся литературным творчеством. Он написал две пятиактные драмы в стихах — «Андроник» и «Кто лучше», перевел мистерию Байрона «Каин», привлекающую его страстным романтическим богоборством. В крепости им же было написано также несколько политических и лирических стихотворений. И во всем, что бы ни писал Николай, свобода и борьба остаются его боевым девизом.

Дело Н. Серно-Соловьевича медленно, но верно подвигалось к концу. Ни комиссии, ни сенату так и не удалось найти явных доказательств его преступлений. Впрочем, они в доказательствах особенно не нуждались: осуждение его было предрешено. Николай это отлично понимал. В письме брату Александру (письмо было перехвачено Третьим отделением) он писал: «Я при следствии отверг все до одного обвинения, но всевозможные искажения были сделаны... Указ, предавший суду, обвинял в государственном преступлении, а потому всякие усилия бесплодны... Впрочем, пусть говорят, что хотят!.. Единственный суд над моими поступками, имеющий для меня значение, — мой собственный. Каторга меня не пугает».

Письмо Николай закончил гордыми словами из своей трагедии «Андроник»:

Как ровно бьется сердце... Ты покойно,
Ты праведно. Я бережно хранил...
В себе твой идеал, свою святыню,
И сохранил его до сей минуты,
И не подался ни на шаг назад!
Да, я могу геройски умереть
И чистым победить!

10 марта 1864 года Серно-Соловьевичу было предложено присутствовать на слушании дела. Николай отказался — унижительно было бы для него принимать участие в этой комедии с заранее заготовленным концом.

10 декабря сенат вынес приговор:

«Отставного надворного советника Николая Серно-Соловьевича, 29

лет, за участие в злоумышлении с лондонскими пропагандистами против русского правительства, за распространение заграничных сочинений преступного содержания... за дерзостное порицание действий правительства и самого образа правления — лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на двенадцать лет, а затем поселить в Сибири навсегда».

19 апреля 1865 года Государственный совет по просьбе матери Серно-Соловьевича «смягчил» приговор, отменив каторгу, но оставив поселение в Сибири навсегда.

Что ж, правая рука ведала, что делает левая! Сознательно предложить заведомо завышенную меру наказания, чтобы потом «милостиво смягчить» ее, — прием старый, и едва ли он мог произвести впечатление. На «мнении Государственного совета» Александр II начертал: «Быть по сему».

6 апреля Николай Серно-Соловьевич сделал последнюю попытку добиться освобождения. Он написал письмо царю.

Разумеется, это не была униженная мольба о пощаде. С достоинством и прямою подчеркнув, что он не стал отступником и не изменил своих убеждений, Николай еще раз попытался доказать, что такие люди, как он, нужны России, а потому просил дать ему возможность трудиться, чтобы «служить одной общей цели: величию и счастью России».

Надо ли говорить, что царь оставил приговор в силе?

27 апреля 1865 года приговор был объявлен в сенате при открытых дверях.

При чтении приговора Серно-Соловьевич, по свидетельству современника, «держал себя благородно донельзя и даже, когда читали сентенцию «по просьбе матери», сказал: «Я ее об этом не просил».

С таким же достоинством держался он 2 июня на Мытнинской площади, где над ним был совершен обряд гражданской казни. Все было устроено так же, как и с Чернышевским, как и с Михайловым, — фантазия устроителей не отличалась разнообразием.

Впрочем, одно нововведение они все-таки внесли: к месту казни Серно-Соловьевич был доставлен не в закрытой карете, а в какой-то нелепой колеснице — видимо, «чернильные инквизиторы» (по выражению Герцена) пытались хотя бы этим унижить ненавистного им человека.

Два дня спустя Серно-Соловьевича препроводили в пересыльную тюрьму, а оттуда через Москву и Нижний Новгород — в Сибирь.

Александр Серно-Соловьевичу приговор был вынесен заочно. В случае возвращения в Россию его ожидали каторга и ссылка. Но поскольку применение таких мер к человеку, находящемуся за границей, было вне возможностей правительства, решено было считать его изгнанным из России и лишить всех прав состояния или, попросту говоря, ограбить.

Приговор вызвал у Александра лишь горькую усмешку: уж он-то меньше, чем кто-либо, рассчитывал на милость судей. Правда, приговор оставлял его без всяких средств к существованию, но к этому он давно уже был готов.

Было слишком много дел. После поражения польского восстания и массовых репрессий в России за границу (в основном в Швейцарию) хлынуло большое число революционных эмигрантов. Надо было найти им приют и работу, а главное — создать из них революционную организацию, готовую продолжать борьбу. Этому делу и посвятил себя Александр.

С 1863 года он жил в Цюрихе. Вместе с ним жили лицейский друг А. А. Черкесов, П. И. Якоби, В. А. Голицына и Л. П. Шелгунова (жена известного публициста Н. В. Шелгунова). Она приехала в Швейцарию в 1863 году, приехала открыто, оставаясь русской подданной. Не будучи эмигранткой, Шелгунова принимала большое участие во всех эмигрантских делах. Вскоре она организовала пансион для эмигрантов. Это было большой поддержкой для изгнанников, оставшихся без родины, без дома, без средств.

Сплотившийся вокруг Серно-Соловьевича круг единомышленников вскоре стал ядром «Молодой эмиграции» — под таким названием вошли в истории участники революционного движения 60-х годов, собравшиеся тогда в Швейцарии. Все они горели желанием продолжать борьбу, но условия, в которых они оказались, были очень тяжелыми: не было средств.

Если бы удалось наладить отношения со «Старой эмиграцией», с Герценом и Огаревым, это, конечно, могло бы значительно облегчить их положение. Но эти отношения были довольно натянутыми. И не случайно. Самое название «Молодая эмиграция» отражало не только возраст ее членов. Это было уже новое поколение — разночинцев по происхождению, демократов по убеждениям, революционеров по деятельности. Воспитанные на сочинениях Чернышевского и Добролюбова, на собственном опыте испытывавшие террор царизма, они не представляли себе иных путей преобразования России, кроме открытой революционной борьбы. Ко всяким отклонениям «старых» в сторону либерализма они относились в высшей степени непримиримо; самую мысль добиться

свободы мирным путем (а такие высказывания нередко появлялись на страницах «Колокола») они рассматривали как предательство.

В результате получалось, что «старые» и «молодые» часто говорили на разных языках.

Но при всех разногласиях обе группы эмиграции жаждали одного — освобождения отечества, а для борьбы с общими врагами необходимо было единство действий.

С обеих сторон предпринимались неоднократные попытки добиться этого единства. Но большая часть этих попыток разбивалась о взаимное недоверие, а главное — все увеличивающуюся разницу во взглядах.

В конце декабря 1864 года в Женеве собрался съезд русской эмиграции. Из Лондона приехал Герцен. «Молодая эмиграция», возглавляемая Александром Серно-Соловьевичем, выдвинула свои требования: оказание Герценом помощи в издании общеэмигрантского органа или введение в редакцию «Колокола» на равных правах представителей «Молодой эмиграции».

Переговоры продолжались несколько дней. В результате их было принято компромиссное соглашение. Казалось, контакт был установлен. Но соглашение фактически сводило на нет все требования «Молодой эмиграции». В требованиях «молодых» Герцен усмотрел прежде всего попытку захватить в свои руки «Колокол», хотя в действительности Александр Серно-Соловьевич и не думал о каком-либо захвате. Он лишь добивался, чтобы «Молодая эмиграция» была представлена в «Колоколе» на равных правах. Перед самым отъездом Герцена от имени А. Серно-Соловьевича и Якоби ему было вручено требование: «Колокол» издавать по большинству голосов». Соглашение было сорвано — все осталось по-старому.

Это не привело к полному разрыву; внешне отношения продолжали оставаться приличными. Но трещина продолжала углубляться.

Это тяжело подействовало на Александра: ведь фактически он сам сорвал соглашение. Он не мог поступить иначе, но от сознания собственной правоты легче не становилось.

А к этому прибавилось еще столько горя. Приговоры Чернышевскому, Николаю, наконец, ему самому, поражение польского восстания... Все эти беды, накапливавшиеся в течение последних лет, в соединении с непосильной работой и нерегулярным лечением вконец подорвали его здоровье. Начались частые потери памяти, бред. В середине марта 1865 года он был вынужден лечь в психиатрическую клинику, где пробыл больше года.

В сентябре 1865 года Николая Серно-Соловьевича везли в Сибирь.

Полной грудью вдыхал он свежий осенний воздух. Жадно всматривался в открывавшиеся ему картины русской природы, в лица людей. Всего этого он не видел три года! Конечно, следование по этапу в ссылку — путешествие далёко не увеселительное, но после трех лет сырого и мрачного каземата и оно было счастьем. Сила воли Николая превозмогла все ужасы одиночного заключения. Одни умирали, другие теряли рассудок. Николай выдержал. Но это далось ему нелегко. Еще из крепости он писал брату Александру: «Силы подтачиваются, весь расклеиваешься, и сила ума подавляется, как и все прочее. Бывают дни, когда я не в состоянии думать... Порою просто невыносимо. Но я берегу себя сколько возможно... все восстановится на свежем воздухе, хоть и в кандалах...»

Это было уже позади. Теперь были свежий воздух и возможность передвигаться без кандалов.



Н В. Шелгунов.



Николай Серно-Соловьевич.

Николай чувствовал, как с каждым днем возвращаются к нему силы и энергия.

И первая мысль его по выходе из крепости была о побеге. Но вскоре она сменилась другой.

После подавления польского восстания 1863 года в Сибирь было сослано несколько десятков тысяч поляков. Среди них было много участников восстания, которым удалось избежать виселицы. Осенью и весной, во время бездорожья, вся масса ссыльных месяцами концентрировалась в главных сибирских острогах. В одном из них, красоярском, Серно-Соловьевич сблизился с группой активных участников польского восстания, особенно с Павлом Ляндовским. Все они также первоначально думали о побеге — никто из них не собирался безропотно оставаться всю жизнь в ссылке. Индивидуальные побеги были вполне возможны, но желающих было слишком много, а бежать в одиночку, бросив товарищей по несчастью, было бесчестно. Но массовое освобождение — это уже вооруженная борьба! И постепенно мысли Серно-Соловьевича и его польских товарищей приобретают ясное направление: нужно готовить восстание!

Среди поляков было значительное количество военных и людей, так или иначе знакомых с военным делом, — все они горели жаждой мести и освобождения. Среди населения Сибири также было много ссыльных, которые, несомненно, могли бы оказать поддержку восстанию. Николай по всему пути следования часто говорил с местными жителями. Ему казалось, что они настроены достаточно бунтарски. Нельзя было сбрасывать со счетов и нерусское население Сибири, угнетаемое царской властью, — татар, казахов, бурятов и других. Ведь национальные меньшинства России принимали участие в крестьянских войнах при Разине, при Пугачеве, да и сами частенько восставали... А восстание, вспыхнувшее в Сибири, могло перекинуться на всю Россию!

От разговоров перешли к делу. Была создана тайная организация. Николай был избран ее кассиром. Одним из членов организации, полковником Валентином Левандовским, были разработана структура органов, которые должны руководить восстанием, организация тайной печати, приобретение оружия, развертывание пропаганды для привлечения к восстанию широких масс крестьянства и учащейся молодежи. Серно-Соловьевичем был написан программный документ восстания — воззвание к народу, войску и ссыльным полякам. Решено было распространить его по всей Сибири. В воззвании говорилось:

«Во имя правды и воли и ради благополучия всех и каждого. Братья! У

нас нет ни правды, ни воли. Народ страдает и мучится, а начальство сосет его кровь и тешится... Братья! Довольно грешить и страдать! Будет помогать беззакониям начальников! У них нет никакой силы, кроме нашей... Вся сила в народе.

Поляки! Вы, сосланные в Сибирь за вашу отчизну, вы, мученики за волю... встаньте дружно до одного человека вместе с народом за отечество и волю. Народ! Встань честно, смело и дружно за правду и волю!»

В декабре 1865 года Серно-Соловьевич, пользовавшийся как ссыльный относительной свободой передвижения, выехал из Канска в Иркутск. Незадолго перед отъездом он написал письмо В. В. Ивашевой (вышедшей впоследствии замуж за его соратника по «Земле и воле» А. А. Черкесова). К письму было приложено последнее стихотворение Н. А. Серно-Соловьевича. В нем были такие строки:

...Я не создан невольником петь.
Я тогда воспою этот край.
Когда воля посеет в нем рай
И проснувшийся разум сотрет
Человека осиливший гнет...

Поэт мечтал о том времени, когда в Сибири — крае, где звон цепей да стоны узников заглушали все звуки жизни, свободный человек создаст себе жизнь разумную и прекрасную. Но Николай Серно-Соловьевич не дожил до этой поры. Не дожил он и до восстания. Оно началось в июне 1866 года на Кругобайкальской дороге, но было жестоко подавлено.

Пребывание в крепости и все условия, в которые были поставлены царским правительством люди, сосланные в Сибирь, сделали свое дело: 14 февраля 1866 года на 32-м году жизни Николай Серно-Соловьевич скончался. 10 марта 1866 года его родственниками была получена нелепая телеграмма: «Серно-Соловьевич божией волей помре». И все!

Обстоятельства смерти стали известны лишь год спустя из писем его безвестных товарищей.

«В дороге у него начался тиф, — писал неизвестный друг. — Может быть, он и поправился бы, но, когда мы спускались с горы, лошади наскочили на подводу, где сидел Николай, подмяли его под себя, и сани с двумя седоками и ямщиком проехали по нему.

Кроме того, он получил еще удар в бок ружьем. Он, видите ли, заступился за своих спутников, и защитник отечества хватил его

прикладом.

Приехали в Иркутск... На другой день Серно-Соловьевич пошел в больницу и богу дух отдал... тихо, как заснул...

Спи же мирно, земляк, ты свое сделал: честно служил тому, что считал правдой. Ни словом, ни делом ты не изменил себе. Умер композитор, но звуки его станут жить вечно и вечно станут пробуждать спящих и возвращать их к жизни».

Узнав скорбную весть, Герцен с гневом писал:

«Благороднейший, чистейший, честнейший Серно-Соловьевич — и его убили...

Последний маркиз Поза, он верил своим юным, девственным сердцем, что их можно вразумить: он человеческим языком говорил с государем... и умер в Иркутске, изможденный истязаниями трехлетних казематов. За что?

Враги, заклятейшие консерваторы, были поражены доблестью, простотой, геройством Серно-Соловье-вича. Это был один из лучших, весенних провозвестников нового времени в России... и он убит... «Да они не хотели его смерти». Что за вздор! Михайлов умер, Серно-Соловьевич умер, Чернышевский болен. Какие же это условия, в которые ставят молодых и выносливых людей, что они не выдерживают пяти лет?»

VII

Когда печальное известие дошло до Женевы, Александр Серно-Соловьевич был еще в больнице. Здоровье его восстанавливалось медленно, хотя друзья делали все для его улучшения... Содержание и лечение в больнице стоило дорого. Эмигрантам чуть ли не по грошам приходилось собирать эти деньги. Но ведь главное лекарство при нервных заболеваниях — покой, а его-то и не было у Александра. Тоска по друзьям, по работе мучила его непрерывно. Едва наступало хоть небольшое улучшение состояния, Александр уходил из больницы. Его начали сторожить — он убегал тайком, сводя на нет все результаты лечения.

Друзья вначале пытались скрыть от него гибель брата. Но ведь такое нельзя скрывать бесконечно. Когда они, по возможности подготовив Александра, рассказали ему все, Александр ничем не выдал своего отчаянья, только страшная бледность разлилась по его лицу. Ласково простившись с друзьями, он вернулся в свою палату, лег и несколько часов пролежал неподвижно. Горе было слишком тяжелым, чтобы плакать.

Александр словно ушел в себя — он казался собранным и спокойным, но такие потрясения не проходят даром. Состояние его вновь резко ухудшилось. Еще несколько месяцев пробыл он в больнице. Выйти из нее он смог лишь в конце лета 1866 года.

Едва оправившись от болезни, Александр жадно набросился на работу, Герцен и Огарев, которые и во время болезни Александра оказывали ему большую материальную поддержку, поручили ему корректуру «Колокола». Это давало регулярный заработок. Казалось, отношения наладились.

Но серьезные расхождения оставались. Они не могли не привести к разрыву.

Осенью того же года среди прочих материалов для корректуры Александр увидел статью Огарева «По поводу продажи имений в Западном крае». В ней говорилось о принудительной продаже земель польских помещиков — участников восстания — русским помещикам и чиновникам. С удивлением и возмущением перечитывал Александр эту статью: в принципе Огарев не возражал против продажи, нет! Он советовал правительству передавать эти земли русским крестьянам и выражал надежду, что таким образом — о святая простота! — может осуществиться ликвидация сословий... Тщетно пытался Александр доказать Огареву, что тот совершает серьезную ошибку: поддерживая так или иначе руссификаторскую политику правительства, он вызовет лишь ненависть поляков, которые справедливо расценят эту статью как предательство прав Польши на самоопределение и независимость, как оскорбление их национального достоинства. Настойчиво просил он Огарева выбросить из статьи все, что относилось к переселению русских крестьян в Польшу.

Но Огарев остался глух ко всем доводам.

«Если вы не согласны с нами, пишите против нас», — отвечали издатели «Колокола».

Что же, начинать уособицу в своем лагере? Доставлять радость врагам?

Александр нелегко было решиться на такое. Но его взгляды по польскому вопросу были ясны и определены: «Сперва отделение Польши и всего польского от России, а потом, если возможно, братский союз». Компромисса не было.

Он написал протест и послал его в «Колокол».

Герцен отказался его напечатать. В декабре 1866 года Александр выпустил свой протест отдельной брошюрой на французском языке. Дело шло к окончательному разрыву.

Он наступил, когда в «Колоколе» была напечатана статья Герцена

«Порядок торжествует». В этой статье говорилось, в частности, о Чернышевском как о представителе «книжного», «западного», «оторванного от народа» социализма.

Это было для Александра Серно-Соловьевича последней каплей, переполнившей чашу. Чернышевский был знаменем революционной молодежи, самое имя его было для нее священо, и подобное высказывание — действительно, несправедливое — было воспринято Александром как кощунство. Долго сдерживаемые раздражение, несогласия, обиды — все вылилось разом.

В середине 1867 года Александр издал брошюру «Наши домашние дела». В ней он в резкой форме говорил о всей деятельности Герцена последних лет. С болью и гневом обрушился Александр на либеральные заблуждения Герцена. Но чувство меры в этой статье все же изменило Серно-Соловьевичу — видимо, сказалось его болезненное состояние. Он объявил Герцена политическим мертвецом. Несправедливо было и то, что Александр резко противопоставил Герцену Чернышевского, утверждая, что между ними нет ничего общего. Он забыл, что, несмотря на все их разногласия, и Герцен и Чернышевский — каждый по-своему — сражались в одном лагере против общего врага.

Герцен был глубоко оскорблен статьей Александра Серно-Соловьевича. Да и единомышленники Александра, признавая правильность большинства обвинений, упрекали его за недопустимо резкий тон.

Вскоре это понял и сам Александр. После выхода из печати брошюры Серно-Соловьевича немецкий политический деятель С. Боркенгейм просил предоставить ему право перевода ее на немецкий язык. Александр согласился с большими оговорками, а когда перевод был сделан и прислан ему на отзыв, задержал его на продолжительное время. Тому же Боркенгейму он писал: «Герцена я только высмеиваю и вышучиваю...»

Через некоторое время возобновилась переписка Серно-Соловьевича с Огаревым, а в начале 1869 года Герцен вел с Серно-Соловьевичем переговоры о совместном возобновлении «Колокола». Но осуществиться это уже не могло: «Колокол» изжил себя, и основная причина этого заключалась не в колебаниях и ошибках его издателей, а в той обстановке, которая сложилась в России. К этому времени волна общественного подъема, захлестнувшая страну в начале 60-х годов, спала. Крестьянские волнения были подавлены. Тайные и легальные революционно-демократические организации разгромлены, над руководителями и участниками их была учинена жестокая расправа. Уцелевшие от нее вынуждены были либо бежать за границу, либо отошли от общественной

деятельности.

Что же оставалось делать Серно-Соловьевичу? Сложив руки ждать нового подъема? Или, может быть, вернуться в Россию и, смиренным покаянием вымолив прощение коронованного палача, превратиться в мирного обывателя?

Но даже мысль о возможности такого исхода Александр отвергал. Если для него нет сейчас дела в России, он найдет его в Европе, где уже занялась заря новой эры в истории человечества, где основанный Карлом Марксом Интернационал положил основу организованной борьбе рабочего класса за свержение власти всех эксплуататоров. Во многих странах мира возникают секции Интернационала, возникают они и в Швейцарии. И вскоре после их организации в них начали вступать русские эмигранты, верные делу революции. Одним из первых был Александр Серно-Соловьевич.

VIII

Рабочее движение уже давно привлекало его внимание. Еще в юности, во время первых своих поездок за границу, он частенько посещал собрания рабочих.

Теперь он целиком отдался работе в Интернационале.

Дел в Швейцарии было непочатый край и трудностей было чрезвычайно много. Правда, швейцарская конституция — одна из самых демократических по тем временам — относилась достаточно терпимо к объединению рабочих, но и сам рабочий класс в Швейцарии, где еще не существовало крупной промышленности, был одним из самых неподготовленных к организованной борьбе.

Рабочее население Швейцарии распадалось на две резко отличавшиеся друг от друга категории. Наиболее обеспеченную группу представляли собой так называемые «фабричные рабочие», точнее сказать — ремесленники (в Швейцарии тогда не было фабрик в сегодняшнем смысле слова). Имея сравнительно высокий жизненный уровень, они были далеки от пролетарской революционной сознательности, а по своей идеологии тяготели к мелкой буржуазии.

Совсем в ином положении находились строительные рабочие. Не имея постоянного жилья и твердого заработка, ведя, как правило, полуголодную жизнь, они были истинными пролетариями, но пролетариями

неорганизованными и совершенно чуждыми политической жизни. Кстати, большинство их, как люди пришлые, не имело даже избирательных прав. Но в потенциале они были, несомненно, более революционны и неизмеримо больше нуждались в организации... К ним-то и обратился Александр Серно-Соловьевич. Все свои знания и опыт отдал он рабочим. И вскоре стал для них своим.

«...Он не любил разыгрывать шумную роль, он был враг трескучих фраз, ничего собою не выражающих, он любил в деле дело, а не свою фигуру. Когда он нужен был на трибуне, он являлся на нее, и не раз общее собрание всех секций звало его в президенты собрания. Но гораздо важнее, чем на трибуне, была деятельность его в кружках рабочих, в личных ежедневных сношениях с ними: там, где он мог что-либо заимствовать, там он слушал жадно и являлся учеником; там же, где он мог дать что-либо от своего знания и изучения, которое отоль ценят работники, — там он обращался в искреннего, добросовестного учителя», — так впоследствии отзывались об Александре его товарищи.

Работа в секциях, в рабочих кружках, в редакции издававшегося в Женеве революционного журнала «Ла либертэ» занимала все его время и все чувства, кроме одного, которое мучило всех изгнанников, — тоски по родине. Иногда эта тоска заглушала все, и в такие минуты являлось желание очертя голову умчаться в Россию. Но Александр привык держать себя в руках и сурово гнал мечты о невозможном.

Как-то вечером возвращался он с другом Николаем Утиным с собрания секции Интернационала. Шли молча, изредка перекидываясь двумя-тремя словами о делах. Мысли были далеко.

И вдруг перед самым домом Утин остановил его и спросил о том же, о чем думал и он сам:

— Саша, а что, если вернуться нелегально? Может быть...

Александр резко прервал его:

— Ты думаешь, меня самого не мучит, что я не еду в Россию мстить за брата и друзей? Но что такое одиночное мщение? Оно бессмысленно. Нет, мы отомстим всему этому проклятому порядку здесь, работая в общем деле, потому что в Интернационале — залог уничтожения всего этого порядка повсюду...

И он работал. Было трудно. Средств к существованию не было почти никаких. Единственная помощь от старого друга — Марии Васильевны Трубниковой. В 1867–1868 годах она приезжала в Женеву с сестрой Верой Васильевной и детьми.

Словно кусочек родины вдруг оказался на чужбине. В кругу этой

семьи к Александру относились, как к родному, и он отогревался здесь душою — даже тоска по родине и по своей безвозвратно утраченной семье немного утихала. Трубникова же нашла для него заработок — переводы (разумеется, анонимные) для газеты «Биржевые ведомости», издававшейся ее мужем, и литературных приложений к ней. Работа эта была неинтересна и отнимала много времени, но давала возможность хотя бы не умереть с голоду.

*

В начале 1868 года строительным рабочим Женевы и их организатору Серно-Соловьевичу предстояло выдержать первый классовый бой.

Это было время усиления эксплуатации и обнищания строительных рабочих. На рабочих собраниях и в секциях Интернационала все чаще ставился вопрос о необходимости улучшения их положения и выдвигались требования об этом. Но буржуазия реагировала на них весьма своеобразно: не заикаясь о каких-либо конкретных уступках, она обливала грязью Интернационал. В официальном органе «Журналь де Женев» появлялись статьи, в которых рабочие уверяли, будто положение их совсем не такое уж тяжелое. Серно-Соловьевич на страницах «Ла либертэ» логично и остро опровергал все лицемерные доводы писак из «Журналь де Женев».

Классовая борьба обострялась все более. 23 марта 1868 года созванное Интернационалом собрание строительных рабочих постановило начать забастовку. Время для забастовки было выбрано не очень удачно — весной, когда работы только что начинались, когда рабочие уже успели прожить все, что было отложено на зиму. Но, несмотря на это, забастовка протекала организованно. Рабочие относились к ней предельно сознательно.

Конечно, этого добиться было нелегко. Серно-Соловьевич много поработал. Усилия его не были напрасны: вскоре предприниматели заговорили об уступках. В то же время они делали все, чтобы так или иначе сорвать забастовку, внести разлад в ряды рабочих. Предпринимателям не хватало только агента, который пользовался бы авторитетом среди рабочих. Такого агента женевская буржуазия обрела в лице некоего Аманды Гегга, объявившегося в Женеве в разгар забастовки.

Участник германской революции 1848 года, к тому времени успевший насквозь обуржуазиться и даже обзавестись собственной фабрикой, Гегг развернул бурную деятельность. Вершиной ее явилось письмо к рабочим,

опубликованное на страницах все той же «Журналь де Женев».

Начав с пылких признаний в любви к рабочим, Гегг закончил патетическим назиданием; «Вы же, рабочие, не будьте слишком взыскательны, помните, что вашей стачкой вы мешаете нам в нашей борьбе за свободу, независимость и благосостояние народов!»

Как ни лицемерны были слова этого апостола классового мира, они произвели известное впечатление на рабочих, уже основательно изголодавшихся за время забастовки. Революционное же прошлое Гегга вызывало к нему определенное уважение.

Слово надо было обезвредить словом. За это дело взялся Александр.

Через несколько дней в Женеве уже читали его брошюру «Ответ Геггу. По поводу стачки».

Хохотом встретили рабочие уже первые ее строки, обращенные к Геггу: «Что значит: «я люблю рабочих»? Любите ли вы их, как любите капусту, ветчину, больше или меньше?»

Язвительно и умно разбив и высмеяв все аргументы Гегга, Александр закончил; «Чем бы ни кончилась наша стачка, рабочие, не доверяйте этим «благодетелям человечества» и помните всегда, что люди, толкующие нам о любви, спекулируют или спекулировали нашим трудом».

Иллюзии, посеянные Геггом, были развеяны. Стачка продолжалась, привлекая всеобщее внимание. Действия рабочих отличались упорством и организованностью.

С интересом следили за стачкой Маркс и Энгельс. Заинтересовались они и руководителем ее — Александром Серно-Соловьевичем. Вскоре Маркс через С. Боркенгейма послал Серно-Соловьевичу — первому из русских — только что вышедший 1-й том «Капитала».

Прошло уже больше трех недель — стачка не прекращалась.

Наконец в дело вмешалось женевское правительство^[12]. Это было большой моральной победой рабочих: до сих пор буржуазия не желала признавать самого существования «этой злоумышленной организации», то есть Интернационала. Теперь же самому главе правительства — президенту Большого совета штата Камперио — пришлось пригласить к себе для переговоров представителей Интернационала. Президент пожелал лично познакомиться с Серно-Соловьевичем. Александр уже завоевал у буржуазии репутацию опасного и сильного противника.

В результате переговоров у предпринимателей удалось вырвать некоторые уступки. Забастовка была выиграна.

Но сам Александр не был удовлетворен результатами стачки. Моральная победа была налицо, но уступки, вырванные у буржуазии, были

незначительны. Кроме того, ему было ясно: несмотря на всю проделанную работу и ее результаты, рабочие все еще остаются в своем большинстве малосознательными. И вскоре по окончании стачки он вместе со швейцарскими товарищами предпринимает смелую попытку поднять рабочее движение Швейцарии на новую, высшую ступень организации: создать социал-демократическую рабочую партию.

В ноябре 1868 года предстояли выборы в Женевский Большой совет — законодательное собрание штата. 10 октября 1868 года в газете «Ла либертэ» под лозунгом «Свобода в равенстве» была опубликована предвыборная платформа новой партии.

Несмотря на величие самой идеи создания партии, в тогдашних условиях эта попытка была явно преждевременной и заведомо обреченной на неудачу: сильную рабочую партию мог выдвинуть только промышленный пролетариат, а его-то и не было в Швейцарии. На выборах партия собрала немногим более ста голосов и не получила ни одного мандата.

Такой результат был закономерен. Основная социальная опора партии — строительные рабочие в большинстве своем не имели права голоса, ремесленники же предпочитали традиционно голосовать за радикалов. Немалую роль в поражении новой партии на выборах сыграл и Бакунинский альянс. Сама личность Бакунина привлекала к себе всеобщее внимание, а анархическая программа альянса, эффектная по форме и утопическая по существу, оказывала влияние на швейцарских рабочих, так или иначе зараженных мелкобуржуазной идеологией. Членам же альянса предписывалось не участвовать в политической жизни — следовательно, и в выборах.

Все эти причины были Серно-Соловьевичу понятны. Несмотря на трудности, он продолжал работать.

Между тем мысли все чаще возвращаются к горячо любимой родине. Как ни сильна была реакция в России, освободительное движение в ней не могло исчезнуть совсем — рано или поздно оно должно было воспрянуть с новой силой. А если это так, то необходимо связать его с Интернационалом. Для этого следует создать русскую секцию Интернационала.

И Александр начинает работу по ее организации. (Русская секция была создана в 1870 году, уже после смерти Александра Серно-Соловьевича.)

Так же усиленно трудится Александр над созданием газеты «Эгалитэ» — печатного органа романских секций Интернационала^[13], к участию в котором он хочет привлечь К. Маркса. Но на состоявшемся в январе 1869

года конгрессе романских секций большинство составляли сторонники Бакунина. Александр не был избран в редакцию газеты, для создания которой он отдал столько сил.

Оказавшись в изоляции, Серно-Соловьевич пытается продолжать борьбу. Но болезнь неотвратимо подтачивает его.

В середине 1869 года он вновь попадает в психиатрическую больницу. Сознание все реже и реже возвращается к нему, но и возвращение его не приносит облегчения. С ужасом начинает он понимать: болезнь неизлечима; пройдет еще немного времени, и рассудок окончательно покинет его. Настойчиво требует он от врачей, чтобы те сказали ему правду. Врачи отвечают уклончиво: профессиональный долг медиков не дает им права делать это.

Больному все хуже. Скрывать больше невозможно. 3 августа 1869 года один из врачей не выдерживает.

— Ведь мое состояние безнадежно? — глядя в глаза врачу, настойчиво спрашивает Александр. — Ну, будьте же мужчиной, доктор! Я должен это знать! Безнадежно? Да?

Доктор чуть заметно кивает головой. Александр почти рад этому: правда лучше неизвестности. Теперь он знает, что делать!

Перо его твердо выводит на листе бумаги:

«...Если бы я мог думать, что у вас достанет мужества выслушать спокойно мое прощальное слово, я, конечно, мог бы убедить вас в необходимости для меня расстаться с жизнью.

Я люблю жизнь и людей и покидаю их с сожалением. Но смерть — это еще не самое большое зло. Намного страшнее смерти быть живым мертвецом».

Плотно закрыты окно и дверь. Жаровня с калеными углями поставлена около кровати. Зеленые облака угара постепенно заволакивают маленькую комнату. Ни страха, ни отчаянья. Так надо. Только как мало сделано в жизни! Но что сделано — не напрасно? Нет. Не напрасно! И спустя столетие новое поколение подтвердило: не напрасно!



В. Кернаценский МИТРОФАН МУРАВСКИЙ



Мысли о детстве будили в нем ощущения солнечных просторов и пряного аромата южных степей.

Митрофан Данилович вспоминал себя худощавым мальчуганом, резво бегущим навстречу ветру по полям и холмам. Возле дубовой рощи белели хатки деревни Степановки, а поодаль, на холме, небольшая барская усадьба — имение отца, Данилы Муравского. Митрофану был всего один год, когда семья Муравских в 1838 году переехала из Харьковщины в Александровский уезд Екатеринославской губернии. Здесь прошло его детство.

Беззаботные детские годы омрачала суровая изнанка действительности. Кругом слышался стон крепостных людей. Жизнь была сплошной мукой. Вот со слезами валяются они вместе с женами и детьми в ногах у барина. Это сосед-помещик собирает недоимку. И маленький Митрофан бежал прочь, чтобы не слышать стонов и криков. Он знал, что теперь многим в деревне не хватит хлеба даже до рождества.

Еще страшнее были набеги исправника и станового за подушной податью и рекрутами. Всюду шел циничный торг крепостными «душами». В барских конюшнях свистели плети...

Дикие сцены из огромной крепостнической трагедии на всю жизнь оставили глубокий след в его памяти.

А вот, десятилетним подростком, он сидит за партой Екатеринославской гимназии. Арифметика, чистописание, география, история были ступеньками в мир широких познаний. Но куда все это перемежалось с зубрежкой, тумакami и подзатыльниками. Ни один учитель не оставил у Митрофана приятных воспоминаний. Сверстники тоже мало интересовали его. Он нашел себе иных друзей. То были книги.

Мать приучила его к чтению, и теперь он все чаще увлекался гармонией пушкинских стихов, знал наизусть многие творения Державина, Жуковского, Козлова. Позднее его увлекали повести и романы Марлинского, Дюма, Вальтера Скотта, Эжена Сю. Когда мальчик дошел до четвертого класса, его страстью стала история. В ней Митрофана прежде всего интересовали военные события. Вот где открылся простор мечтам и воображению! С книжкой на коленях он сражался в фалангах Александра Македонского; вместе со Сципионом рушил стены Карфагена; с суворовскими чудо-богатырями штурмовал вершины Сен-Готарда. Митрофану казалось, что он рожден для военной деятельности. Временами он пытался писать стихи о походах, сражениях...

Но и эта страсть миновала, как детская болезнь. В седьмом классе гимназии он стал более серьезно смотреть на вещи, размышлять об окружающем. Митрофана стала привлекать ученая деятельность. Он задумывался об университете.

Семнадцати лет Муравский получил гимназический диплом.

Однажды в руки Митрофана попала старая книга с изречениями китайского философа Конфуция.

Она пробудила в нем много мыслей: в чем цель жизни человека и народа? Как возник мир и человеческий разум? Что такое истина, счастье, добро и зло? Отчего произошло неравенство, власть одних над другими?

Он хотел серьезно изучить философию, думая найти в ней ответ на эти вопросы. В 1854 году Митрофан подал прошение на историко-филологический факультет Харьковского университета, но вскоре, ознакомившись с программой, передумал: ассиро-вавилонские развалины и древнегреческий язык грозили отнять у него все время, а курс философии на этом факультете был не большим, чем на других. Он тут же забрал бумаги и поступил на юридический.

Первая лекция. С глубоким почтением смотрел «будущий юрист» на тучного профессора Мицкевича, взбиравшегося на кафедру.

— Римское право есть основа для познания всей современной юриспруденции, — начал с расстановкой лектор.

Вслед за профессором римского права появился профессор Станиславский, читавший энциклопедию законоведения и государственных законов. Потом замелькали новые имена и мудреные названия. Профессор Полумбецкий объявил себя специалистом в области законов уголовных и полицейских. Знатком законов о государственных повинностях и финансах оказался профессор Клобуцкий и т. д.

Впечатление было ошеломляющим. Муравский был убежден, что он попал в истинный храм науки. Беседы со старшекурсниками посеяли первые разочарования. Старшие товарищи с пренебрежением отзывались о многих профессорах. Все, что здесь читают, говорили они, — ветхая рутина, перепевы мертвых правовых школ. Для современной жизни это не годится.

Прошло некоторое время, и Муравский сам начал понимать, что подлинная наука права находится где-то далеко за стенами университета.

Его жизнь постепенно вошла в определенную колею. По утрам юный первокурсник спешил в университет. В зале за каждым студентом было закреплено место. Пропускать лекции не разрешалось. Студенческая братия была самая разнообразная. Юристов звали «богачами»^[14], а медиков — «лекарями». Богатые студенты квартировали у местных профессоров. За полный пансион профессору много платили, но «пансионер» мог быть твердо уверен, что он кончит курс. «Пансионarii» кутили, играли в картишки. В Харькове квартировал полк улан. На вечеринках «пансионarii» соперничали с ними в танцах, и притом так, что однажды дело чуть не закончилось дуэлью.

Университет мало отличался от прочих российских казенных присутствий. Жизнь студентов контролировалась до мелочей.

Крикун Эйлер, старший инспектор, прозванный брандмайором, мог прийти к студенту рано утром или поздно вечером, проверить, что он читает, как расходует деньги.

Его помощник — рыжеусый верзила Засядько — исправно вел кондуит, а в необходимых случаях делал из него выписки для сообщений родителям.

Наряду с этими строгостями «ученые мужи», не краснея, брали деньги за хорошую отметку. Богатые студенты охотно соглашались на это, лишь бы закончить курс.

Университетская жизнь разрушила гимназическую замкнутость Муравского. Теперь он не сторонился сверстников.

Шла Крымская война.

Каждый день Муравский жадно читал газеты и ждал победоносного окончания войны. Вера в силу русской армии жила в нем еще с гимназических лет.

Однажды в перерыве между лекциями он читал хронику военных действий. К нему подошел быстрый в движениях, невысокий юноша.

— Разрешите представиться, коллега: Яков Николаевич Бекман, своекоштный студент.

Муравский оглядел его: брюнет, коренаст, с умным взглядом.

— Очень рад. Муравский.

— Вижу в руках у вас свежую газету. Интересуетесь ходом событий на театре военных действий?

— Да... интересуюсь, — ответил Митрофан с небольшой заминкой. — Последние новости обнадеживают. Схватки на Малаховом кургане дают невиданный пример мужества русской армии. Такие солдаты не могут не победить!

— Солдаты — да, а начальство — нет! — заметил Бекман.

Звонок заставил их поспешить на места в зал. После лекций они вместе возвращались домой.

Бекман был сыном мелкопоместного дворянина Полтавской губернии. Он снял комнату недалеко от университета, на тихой Мало-Сумской улице.

Муравский стал часто бывать у него. Чтобы не тратить свечей, он тащил друга на улицу. Вечерние прогулки стали привычкой. Друзья обходили темные улицы, кружили вокруг университета и с Екатеринославской улицы поднимались на Университетскую горку — небольшой холм, обсаженный шпалерой деревьев. Отсюда открывался широкий и красивый вид на всю западную часть города, что за рекой Лопанью. Во время прогулок они часто спорили о возможном исходе войны.

— Митрофан, солдаты и народ могут выиграть войну, — говорил Бекман с уверенностью много думавшего человека, — но начальство крадет, дороги разбиты...

Муравский нетерпеливо перебил его:

— Я слышал об этом! Эти нелепые слухи распространяют враги отечественной славы. Время покажет, что ты не прав.

Но Муравский ошибся. Не звуки фанфар и не грохот победного салюта

возвестили конец этой войны. Нет, позорный мир, смерть тысяч солдат, гибель Нахимова, Корнилова и всего Черноморского флота.

Негодование и стыд охватили юношу. Будто он сам был виноват. Бекман ощущал то же самое. У многих поражение в Крымской войне породило уныние. Муравский тяжело переживал крах своих иллюзий, но зато теперь он ясно увидел необходимость немедленных перемен.

— Да, Яков, Россия далеко не образец совершенства, — говорил он своему приятелю, — ей еще над многим следует потрудиться, от многого очиститься. Теперь для России тоже предстоит война, но война внутренняя, для этой войны тоже требуется мужество, быть может более почетное, нежели военная храбрость, — мужество гражданина.

— Правильно, правильно, Митрофан. Спасти Россию теперь могут только глубокие перемены. И не штопкой дыр на старом кафтане должно заниматься теперь. Всеобщий переворот нужен России. Старое надо разрушить!

— Но как сделать это? Что сумеешь ты под всеобщим переворотом?

— Революцию, дружище! Это такая вещь, когда народ, подняв знамя свободы, под звуки победной песни рушит бастилии и возводит тиранов на эшафот.

— А затем?

— Затем собираются представители всей нации и решают судьбу страны. Именем народа они издают великий закон свободы, равенства, прогресса...

Все это звучало очень увлекательно. Но Митрофана не удовлетворяли громкие слова. Больше всего он любил ясность. С мыслью о всеобщем перевороте вставало множество вопросов. Вдвоем обсуждали проблему уничтожения крепостного права и вопрос о землевладении. Дальше требовалось уяснить задачи государственного переустройства и найти ответ на вопрос: какими силами и как может свершиться революция?

Книги! Вот где оба друга искали теперь помощь и поддержку. Книги выпрашивали у знакомых, покупали у букинистов, брали вместо жалованья за уроки сынкам состоятельных родителей. Муравский положил начало политической библиотеке. Очень скоро на его полке оказались запретные рукописные сочинения. Появились и первые номера журнала с изображением Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Каховского. То была «Полярная звезда» Герцена.

Началось жадное изучение истории европейских революций, раздумье, споры с Бекманом.

Однажды вечером, просидев перед тем целое воскресенье с пером в

руке, Муравский явился к Бекману.

— Хочу прочитать тебе наброски своих мыслей.

— Давай!

Бекман слушал не двигаясь. Он вскочил со стула лишь при следующих словах:

— «...утвердить новый закон или изменить существующий государь может не иначе, как с согласия членов Государственного совета и сената, которые должны состоять из депутатов от каждого сословия и каждой области...»

— Конституционная монархия! — гаркнул Бекман, забыв осторожность. И тут же заговорил, шагая по комнате: — Скажи на милость, зачем же оставлять самого тирана, если сила будет в руках депутатов? Нет, я за республику! Это не переворот...

Муравский объяснил, что в простом народе живет вера в самодержца.

— Ну, об этом подумаем, как быть, — отвечал его друг. — Вдвоем мы всего не решим. Пора создать общество людей честных и смелых, готовых пожертвовать всем ради свободы.

Митрофан согласился. Они оба стали искать надежных друзей. Друзья нашлись.

Таинственные собрания на квартире Бекмана не привлекали внимания посторонних. Что ж, пусть себе зубрят латынь и право, думали те, кто покупал отметки за деньги.

Сначала Муравский пригласил к Бекману Петра Ефименко, с которым вместе учился в гимназии. Ефименко держался в университете благодаря отличным способностям. Родители юноши очень нуждались, и ему: не раз грозили исключением за невзнос платы.

Спустя некоторое время Ефименко привел худого студента Александра Тищинского.

— Вот, господа, рекомендую обер-офицерского сына.

Затем удалось привлечь Петра Завадского, сына сельского священника, подвижного, словно ртуть, тщедушного на вид молодого человека. Бекман привлек еще к участию в собраниях Константина Хлопова и Владимира Ивкова. Первый был сыном отставного штаб-ротмистра, второй из обедневших дворян, живших на Кавказе.

Так уже в начале 1856 года подобралось ядро будущего тайного общества. Среди семерых единомышленников только двое — Завадский и Тищинский — были медиками. Остальные — юристы. Но вопреки существующим традициям отнюдь не богачи. В своем большинстве это были люди более чем скромного достатка. Семья Митрофана Муравского

уже не имела к тому времени никакой недвижимой собственности.

Вокруг Бекмана и Муравского постепенно собиралась талантливая молодежь. Известный харьковский профессор Каченовский утверждал, что за все время преподавания он не встречал студента способнее Бекмана.

Работы Завадского, Хлопова, Ивкова признавались в университете выдающимися.

Каждый, кто появлялся в бедно обставленной квартире Бекмана, мучительно переживал поражение русской армии под Севастополем, нищету народа и крепостное право.

В комнате стояло серое облако табачного дыма, но дверь не открывали. Изредка кто-нибудь тихо подходил к двери и внезапно распахивал ее: следили, не подслушивает ли кто.

Говорили и спорили горячо — много накопело. На чем свет стоит ругали правительство, осуждали деспотизм Николая и его жестокость к декабристам.

Читали вслух все, что содержало критику царизма. По рукам ходили сочинения Герцена, письма Погодина о восточной войне, письмо декабриста Штейнгеля Николаю I, написанное в 1826 году в крепости.

*

Утром в первый день пасхи, 15 апреля 1856 года, на квартиру к полицмейстеру примчался запыхавшийся вестовой. В руках — пакет с надписью «Экстраординарно».

— От господина квартального надзирателя!

Начальник харьковской полиции с трудом протирает глаза после праздничной попойки. Пакет вскрыт. Квартальный рапортовал, что нынешней ночью в разных местах на улицах города были расклеены рукописные «преступные листы» одинакового содержания, общим числом — двадцать пять. Один из листов прилагался.

Пасхальный хмель вылетел из головы начальника с первых же строк.

«Божьим попущением и неистощимым терпением любезноверного нам русского народа, мы, Александр Второй, император и самодержец всероссийский, объявляем всенародно...»

Дальше шел текст, от которого полицмейстер долго не мог прийти в себя. Праздник испорчен! В полиции тревога. Кто писал? Кто клеил?..

Граф Остен-Сакен, харьковский губернатор, готов послать к чертям

всю свою полицию. От пасхальных возлияний ныла печень. Но все же пришлось читать:

«...Так, россияне, ваша благородная ревность к славе отечества, ваши пожертвования, ваша кровь были напрасны! Народ и войско сделали все, что могли; но неспособность и корыстолюбие генералов, хищничество высших сановников...»

Это была жестокая и смелая пародия на царский манифест о мире. И ее прочитали по крайней мере сотни обывателей!

«Вот так история, — думал губернатор, — как теперь выкручусь из нее?»

В донесении к министру внутренних дел Остен-Сакен старался приуменьшить значение события. По его мнению, это просто чья-то мальчишеская выходка, не поколебавшая преданности харьковских обывателей престолу.

— Плохое оправдание, приятель! — усмехался шеф жандармов Долгоруков. К нему в столицу листы были доставлены очень скоро. — Нет, посмотрите, что пишут и читают в Харькове!

...«Благодарим вас, добрые россияне, за ваше ослепление, в котором вы не видите всех злоупотреблений наших; благодарим вас за ваше терпение, поистине овечье, с которым вы переносите все бедствия, все несправедливости, всю тьму зол, происходящих от деспотической власти нашей...»

Каково? И в Харьков летят депеши. Губернатору, жандармскому генералу, полицмейстеру — всем предписывается немедленно отыскать «злоумышленников».

Пришлось доложить и самому императору. Царские усы и бакенбарды топорщились в разные стороны от гримас. Еще бы!

«...Спите, добрые россияне, пока с вас не стянули последней рубахи, не выпили последней капли вашей крови. Спите! Верьте архиереям и попам. Утешайтесь нашими о преобразованиях обещаниями, в которых не было, нет и не будет ни слова правды...»

А внизу написано:

«Дан в С.-Петербурге и проч., и проч., и проч.».

Да, таких вещей при покойном отце-императоре не было! Целое лето самодержец России держал в памяти эту оплеуху, и нет-нет шеф жандармов снова напоминал харьковским властям, что «государь император изволит обращать особенное внимание на это дело» и что для обнаружения «преступников» следует употребить «все средства». Но ни депеши, ни «средства» не помогали. Авторов и распространителей «манифеста» не

нашли.

Между тем спустя месяц с небольшим на стенах Харьковского университета и на окружающем его заборе начальство, к своему ужасу, обнаружило четыре одинаковые рукописные афиши.

«К 1862 году, тысячелетнему юбилею России, обитателями русской земли, если народ поскорее очнется, совершенно будет:

Освобождение России от батыевых наследников, или Победа света свободы над мраком самодержавия. Историческая драма в 3-х действиях, соч. Судьбы Народов».

В афише фигурировали такие действующие лица, как, например, «проповедники истины», «гонители истины», «народ».

Происхождение этой рекламы тоже осталось тайной для жандармов и полиции.

Все чаще стали доносить местные жандармы в столицу о распространении у них всевозможных рукописных «пасквилей». Их ходило теперь по Харькову много. В них остро высмеивалось все местное начальство, начиная с генерал-губернатора Кокошкина, кончая попечителем учебного округа.

Кокошкин снискал себе славу среди харьковчан в двух сферах административной деятельности. Первая — строительство деревянной лестницы на Университетской горке; вторая — беспощадное преследование студентов. Беда, если на улице генерал-губернатор повстречает студента в мундире, не застегнутом на все крючки. Арест неминуем.

Зато как дружно хохотали студенты, а с ними и многие жители Харькова, читая остроумные сатирические стихи, посвященные ретивому правителю! В Харьковской управе благочиния и штабе жандармского округа велся длинный список таких произведений. В нем можно было увидеть, например, такие названия: «Вопль С. А. Кокошкина к царю», «В нашем городе тревога», «Когда Кокошкин в силе был...», «Вопль Кокошкина к своему защитнику», «Маскарад», «На гулянье».

В конце марта того же 1856 года в университетских аудиториях, в убогих студенческих квартирах и присутственных местах города люди давились от смеха. Они украдкой переписывали длинную сатирическую повесть «Дело о падении аэролита на Харьковский университет в ночь под праздник святого благовещения 25 марта 1856 года».

Злая пародия на попечителя учебного округа Катакази начиналась с рапорта университетского эзекутора ректору. Рапорт, написанный по всем требованиям канцелярской формы, гласил, что в указанную ночь на постель, принадлежащую попечителю, с неба, пробив крышу и потолок,

свалилась «необыкновенно уродливая фигура», которая, впрочем, «напоминает отчасти человеческую», но издает необыкновенно сильный и душливый запах, «напоминающий запах гнилой редьки и чеснока».

По ходу повести события развивались следующим образом. Ректор университета распорядился произвести «ученое исследование» над упавшей фигурой.

Много веселых минут доставило харьковчанам чтение ученых «заключений», сделанных профессорами университета. Так, например, профессор математики Байер по исследовании размеров мозга «фигуры» доказал, что «он составляет величину бесконечно малую». Один из профессоров-юристов пришел будто бы к выводу, что за свои преступления (богохульство, взяточничество и пр.) «фигура» не несет ответственности, «как и всякая вредная и неразумная тварь».

Долго билась полиция над вопросом о происхождении «пасквилей», гуляющих по городу. Подозрения пали на студентов братьев Раевских и братьев Марковых, о чем и сделан был соответствующий рапорт в Третье отделение.

Впрочем, харьковские власти полагали, что пока «тишине» и «спокойствию» города опасность не угрожает.

*

13 ноября 1856 года. В комнатке студента Ефименко полумрак. Слабый круг света едва охватывает стоящих у стола. Это Бекман, Муравский, Ефименко, Завадский, Ивков. Остальные — в тени.

— Сегодня у нас особо важный вопрос, — говорит Бекман. — Необходимо закончить обсуждение программы общества и утвердить ее.

Беседа идет вполголоса. Каждый по очереди поднимается с места и сообщает свое мнение. За окном непогода. Завывает ветер. Холодный дождь бьет в стекла.

Их теперь уже тринадцать. После летних каникул 1856 года тайное общество приобрело восьмого члена в лице Вениамина Португалова, купеческого сына из города Лубны. Потом появились еще пятеро. С ними первое знакомство началось еще в начале года. Как-то раз на одно из собраний неутомимый и всезнающий Ефименко привел симпатичного, изысканно одетого молодого человека.

— Николай Раевский, с физико-математического, — сказал он,

пожимая Муравскому руку.

Митрофан заметил во взгляде и речи пришельца много ума и юмора.

— Вот он, творец харьковских пасквилей, — смеялся Ефименко, хлопая новичка по плечу.

Действительно, выяснилось, что Раевский возглавляет тайный «пасквильный комитет». У него есть друзья. Они тоже с физико-математического факультета. Очень скоро Муравский и его товарищи познакомились и с остальными членами «комитета». Кроме Николая Раевского, туда входил его брат Виктор, затем братья Марковы, Алексей и Евгений, и, наконец, Николай Абаза.

Муравский тотчас отметил про себя, что это люди одного круга, выходцы из состоятельных и привилегированных семей. Однако держались все очень просто и чем-то располагали к себе. Скоро Митрофан понял, что инициатива и литературный талант принадлежали только двум деятелям «комитета» — Николаю Раевскому и Алексею Маркову. Остальные были лишь техническими исполнителями.

Сближение с «пасквильным комитетом» началось, конечно, на почве сатиры. Общество Бекмана — Муравского охотно согласилось принять участие в написании «Аэролита». Это они, Бекман, Муравский, Ефименко и Завадский, сочинили «мнения» профессоров о загадочной «фигуре». Начало повести представил «комитет» Раевского. Распространяли «Аэролит» вместе. Вместе сочиняли новые остроты.

Что касается пародии на манифест и афиши к тысячелетию России, то это дело полностью принадлежало обществу Бекмана — Муравского. Митрофан больше всех потрудился над «манифестом», и один его экземпляр он сам опустил в ящик почтовой конторы, сделав предварительно на пакете надпись:

«Христос воскрес!
Воистину воскрес!
А правда еще только воскресает!»

Он же, Муравский, от начала и до конца написал текст афиши.

Вскоре Николай Раевский предложил объединить «комитет» с обществом. Митрофан долго обсуждал с Бекманом его предложение. Доводы Раевского казались основательными. Члены «пасквильного комитета» хотят не только высмеивать и обличать местное начальство. Этого недостаточно для тех, кто искренне возмущен нынешними

порядками. Если есть люди, ставящие серьезные цели в смысле воздействия на судьбы России, то он, Николай Раевский, как и его друзья, охотно примкнет к ним. И их решили принять.

Сегодня, 13 ноября, в комнате Ефименко налицо весь «пасквильный комитет». Обсуждение программы продолжается. Выяснилось, что почти все старые члены общества, руководимого Бекманом и Муравским, — горячие сторонники республиканской программы. В вопросе о республике Муравский теперь без колебаний поддерживал Бекмана.

Впрочем, без споров не обошлось.

— Нас вполне устроит конституционная монархия, — говорил Николай Раевский. — Нет нужды в убийстве царя. Его достаточно ограничить конституцией.

С Раевским соглашался и Ефименко. Но республиканцы твердо стояли на своем, и перевес остался за ними. Окончательное решение гласило:

Целью общества является всеобщий переворот в России. Его результатом должно быть освобождение крестьян, как самая настоятельная потребность русского общества, а также замена монархии республикой. Общество преимущественно обращает внимание на крестьян, как на людей, более других склонных к перевороту по причине недовольства своим положением, и на войско, для того чтобы иметь на своей стороне физическую силу. Распространять эти понятия общество полагает посредством запрещенных сочинений, чужих, отчасти и своих собственных.

Такое решение со всей настойчивостью отстаивали Бекман, Муравский, Завадский. Их горячо поддерживал Владимир Ивков.

— Я полагаю, — говорил он, — что условием для достижения нашей цели является, во-первых, недовольство низшего сословия против дворянства, а во-вторых, то обстоятельство, что по окончании Восточной войны сильно поколебался в отечественном мнении авторитет правительства. Мне думается, что лучшим средством для восстания будет сеть наших агентов между офицерами Киевского гарнизона, так как в этом городе имеется сильная крепость и огромный арсенал.

Некоторые участники собрания указывали также на недовольство казаков и раскольников. Для привлечения последних на свою сторону рекомендовали даже использовать священное писание.

В ходе дебатов нельзя было обойти вопрос о судьбе царской фамилии. Вопрос этот так и не был решен окончательно, однако большинство считало необходимым в ходе всеобщего восстания покончить с династией. Особенно горячо отстаивал цареубийство Петр Завадский. Позднее он не

раз выступал с предложением начать все дело именно с этого. Подобная позиция, однако, встречала резкий отпор со стороны большинства.

Собрание закончилось поздно.

Оставалось выработать устав общества. На это ушло две недели. Проекты устава вносились каждым участником общества. Затем особая комиссия в составе Бекмана, Николая Раевского и Завадского занялась редактированием единого проекта. В ходе его обсуждения вносились поправки. Особенно много поправок было сделано Муравским, и потому его также ввели в состав редакционной комиссии.

Второе заседание. На этот раз на квартире Муравского. Устав зачитан, принят и подписан всеми членами общества. Подписывались псевдонимами: «Царедавенко», «Остолопов», «Днепров» и т. д.

Тут же были произведены выборы. «Президентом» общества избрали Якова Бекмана. Секретарем — Петра Завадского. На должность казначея выбрали Константина Хлопова. Митрофану Муравскому поручили должность библиотекаря. Эта незаметная, казалось, функция в действительности была весьма важной. Обществу требовалась литература. Особенно запрещенная. Чтобы добыть ее, нужны были энергия и находчивость.

В тот вечер друзья разошлись воодушевленные своим дерзновенным предприятием. Снег хлопьями падал на крыши затихшего города. Обыватели мирно спали. Сновидения, полные наград и почестей, баюкали харьковское начальство, не подозревавшее, что у него под боком кучка смелых юношей создала тайное общество. Своим знаменем оно избрало революцию и республику. Это было первое революционное общество в России, возникшее после Крымской войны.

*

С ноября 1856 года до апреля 1858 Митрофан Муравский работал не покладая рук. Общество развернуло свою деятельность по всем направлениям. Расширился состав, готовился материал для пропаганды в народе, распространялась литература среди учащейся молодежи, завязывались связи с передовым студенчеством других городов России. На заседаниях общества обсуждались политические события.

В один из весенних вечеров 1857 года Муравский сидел один у стола. Отложив в сторону свод законов, по которому следовало готовиться к

экзамену, он писал. Это было воззвание. Автор назвал его очень просто — «К украинцам». Несколько первых строк были уже готовы.

«В манифесте ложно сказано, будто мы побили неприятеля в Крыму, тогда как, напротив, они нас побили, отняли часть Бессарабии, а царь пожег корабли, поразорял свои крепости, а теперь сидит сложа руки. Вот что он наделал. И после этого отворачивается и обманывает в манифестах простой народ...»

Митрофан задумался. Надо написать просто и доходчиво о главном. Простой народ должен понять, что царь и его правительство — злейшие враги. Но это еще не все. Надо рассказать, за что следует бороться.

Вот уже два месяца, как члены общества приступили к составлению воззвания к народу. Петр Завадский пишет «Поучение», в котором собирается рассказать о древних земских и вечевых порядках на Руси. Александр Тищинский уже написал воззвание «Голос из села», возбуждающее недовольство народа против царя и правительства. Но всего этого мало. Тайное общество должно добиться того, чтобы его услышал весь народ России. Работы много, Митрофан снова макает перо в чернильницу.

«...за все такие скверные дела надобно свергнуть царя. Царей совсем не нужно. Да еще надобно отобрать крестьян от господ, прогнать негодное начальство и поручить управление государством пятидесяти выборным от всей империи, по одному от каждой губернии».

Осторожный стук в дверь. Два медленных удара с расстановкой и два коротких, резких. Кто-то из своих. Прикрыв сводом законов лист бумаги, Митрофан отпирает дверь. На пороге Петр Ефименко.

— Как, разве ты не в Москве?

— Только что с дороги. Дела идут недурно, — вполголоса говорит приятель, усаживаясь на подоконник. — Белокаменная просыпается от спячки. Там образовалось тайное общество «вертепников». Всем делом заправляет Павел Рыбников с друзьями. До чего же увлекательны их собрания! Понимаешь...

И Ефименко рассказывает своему другу о том, как в Москве на квартире Рыбникова происходят философские и историко-политические диспуты. На них стекается уйма всякого народу: студенты, литераторы, офицеры. Ярче всех выделяется студент Свириденко.

Этот не боится никого. Один на один выходит против могучего спорщика, публициста Алексея Хомякова, заядлого славянофила. А с ним и Герцену нелегко было справляться. Только общество Рыбникова как-то сторонится политики, все больше увлекается философией да общими

взглядами на судьбы России.

— Ну, да и это не плохо для раскачки умов, — заключает рассказчик.

С обществом «вертепников» с тех пор наладилась постоянная связь. Московские друзья присылали литературу, за которой Муравский охотился день и ночь. Но этого не хватало. Муравский, забросив лекции, усердно писал письма в разные города. Покупка, обмен, посылки на временное пользование для переписки — все виды и способы приобретения литературы умело и с толком использовал Муравский. В результате библиотека выросла до солидных размеров. Библиотекарь открыл запись читателей, и теперь не только юристы, но и медики и математики проторили дорожку к квартире Митрофана Муравского.

— Отлично! Пусть просвещаются, — радовался Бекман. — Только запрещенные сочинения выдавай с оглядкой, не всякому.

Но вот из-за границы раздались первые удары герценовского «Колокола». Просвещенная Россия востребовалась. Что это? Откуда взялась эта смелость и сила?..

А «Колокол» гудел все громче. Люди стали пробуждаться и мыслить. Всем хотелось услышать голос вещего Искандера. А потом писать... писать... просить лондонского издателя «высечь» того и отдать «под суд» другого...

Митрофану и его друзьям сразу прибавилось забот.

— Теперь все за дело! — скомандовал Бекман.

Он собрал «пасквильщиков». Довольно бездельничать! И вот уже по городу пошли путешествовать рукописные копии герценовских статей. Это работа тайного общества. Новый шаг вперед.

Тайное общество обрастало новыми участниками. В конце 1857 года в него вступил медик-первокурсник Сергей Рымаренко. Он стал усердным помощником Бекмана и Муравского. Посетителем тайных собраний стали Иван Марков и Левченко.

А что делал тем временем Николай Раевский?

Предприимчивый юноша на одном из тайных собраний предложил создать Литературное общество.

— Туда можно привлечь широкий круг разномыслящих людей и постепенно вести просветительную работу. Так легче подбирать единомышленников. К тому же общество может служить удобным прикрытием нашей тайной деятельности, — говорил Раевский.

Все согласились. В работе Литературного общества приняли участие Бекман, Муравский, Завадский. Президентом нового общества избрали

Николая Раевского.

Дело оказалось живым и полезным. На литературные собрания допускались все знакомые студенты. Появились общественные средства. Это позволило организовать выпуск журналов. Началось чтение и обсуждение статей. Организаторы выступали со своими сочинениями. На одном из первых собраний блестяще выступил сам президент. Митрофан Муравский подготовил и прочитал свой перевод из Лорана «О международных отношениях древних греков и римлян».

Муравского тянуло к литературной деятельности. В университете вместе с Левченко он начал выпускать рукописный журнал «Шпиц-бубе». Сатирические картинки из университетского быта сделали журнал необычайно популярным.

Так шли дни, полные кипучей деятельности. Они благотворно отразились на внутреннем развитии

Митрофана Муравского. То было время всеобщего оживления. Ход крестьянской реформы и многие проблемы общественной жизни стали постоянным предметом новых его раздумий. Тут-то и пришла на помощь во всех сомнениях могучая рука. Силу ее он ощутил при первом знакомстве с «Современником». Статьи Чернышевского и Добролюбова усердно изучались членами тайного общества. Неустанно следили юные единомышленники за ходом полемики Чернышевского с его противниками, радовались его блестящим победам, учились публицистическому мастерству.

Идеи Чернышевского на всю жизнь стали путеводной звездой для всего мировоззрения и деятельности Митрофана Муравского.

В университете между тем обстановка накалялась все больше. Начались студенческие волнения. Первое столкновение студентов с местными властями произошло в январе 1857 года. Двадцати студентам грозило исключение. Муравский вместе с товарищами по обществу деятельно вмешался в «историю» и попал в список «неблагонадежных». Теперь университетское начальство ждало предложения для исключения Муравского. Случай представился очень скоро. Как-то случайно встретившись в коридоре университета с помощником инспектора, Митрофан забыл снять фуражку. К тому же на окрик оскорбленного «суба» он не счел нужным остановиться, чтобы дать объяснение «проступка». И участь юноши была решена. Дело раздули. В «назидание» прочим Митрофан Муравский был исключен.

Все это случилось так некстати. Дела общества требовали постоянного участия неутомимого и смелого юноши.

— Оставайся пока здесь, — говорили друзья. — Будем продолжать наше общее дело. Потом что-нибудь придумаем.

Они не подозревали, что над каждым из них, как и над обществом в целом, нависла угроза. Инспектор и его помощники давно следили за Бекманом и его друзьями. Авторитет, которым пользовалась вся эта молодая группа среди студентов, избравших Бекмана и Завадского руководителями общей кассы, был не по вкусу начальству.

В апреле 1858 года по университету прокатилась новая волна возмущения. Все поднялись на защиту трех арестованных студентов. Одним из них оказался Митрофан Муравский, уже исключенный из университета. Арест был вызван новым столкновением двух студентов-медиков со слугами князя Салтыкова. Муравский вмешался в потасовку и угодил в лапы городского.

Всю неделю, пока Митрофан отсиживался в околотке, университет бушевал. Друзья по тайному обществу возглавили протест. Вскоре на столе университетского эзекутора появилась стопа прошений. Сто девяносто восемь молодых людей письменно и устно заявили о том, что они покидают университет.

В результате — массовое исключение. В числе исключенных — Бекман, Ефименко, Завадский, Ивков. Остальные получили «высочайший выговор». Бывшие члены «пасквильного комитета» отделались легко благодаря заступничеству влиятельных родителей.

— С Харьковом, пожалуй, покончено, — сказал Бекман своим друзьям.

— А как же наше общество?

— Пока мы живы, оно не погибнет.

*

В Киев Муравский приехал зимой 1859 года. С Владимирской горки смотрел он на скованный льдом Днепр, на холодную серебряную синеву куполов Александровского собора и бедные лавки сапожников на Подоле.

«Харьковские эмигранты» были приняты в Киевский университет. Вскоре они и там организовали литературное собрание, в котором, как и в Харькове, было две оболочки — одна явная, а вторая тайная. Вместе с Муравским в Киев перебрались Бекман, Ефименко, Тищинский, Португалов. Завадский, Хлопов и Левченко остались в Харькове.

Остальные разъехались кто куда.

Муравский вновь взялся за перо и возглавил издание рукописного журнала «Гласность». Первый номер ходил в узком кругу знакомых. Помещенные в журнале заметки высмеивали университетское начальство и содержали «нестеснительные выражения о государе». Затем Муравский рассказал киевским студентам подробности апрельской «университетской истории» 1858 года в Харькове.

Общество пока было малочисленным. Расширить его состав можно было лишь через литературное собрание. Кандидатов тщательно проверяли. В Киеве в тайное общество было принято пять новых членов.

Муравский сближался с людьми самостоятельного образа мыслей, знакомил их со статьями Герцена, готовил их к принятию в состав общества. Многие друзья разъезжались и становились постоянными его корреспондентами, некоторых же он знал только по переписке, но всем отвечал охотно. Письма, полные прозрачных намеков, свидетельствовали, что его усилия не пропадали даром.

Постоянную переписку вел он с Григорием Залюбовским. Они познакомились в Харьковском университете. Залюбовский не входил в Харьковское тайное общество, но не раз говорил о необходимости подобной организации. В 1858 году Залюбовский написал Муравскому, что нашел в архивах отца материалы о декабристах, которые могут понадобиться в их общем деле. Другому корреспонденту, А. Васильевскому, он посылал в Курск сочинения Герцена.

Студент Петербургского университета Г. Сорокин сообщал ему сведения о деятельности революционного общества петрашевцев. Не забывали Митрофана и бывшие друзья по Харькову. Ефименко писал о попытке вести революционную пропаганду в Нежинском лицее. Из захолустного городка Богодухова подавал о себе вести Левченко.

Талант публициста и редактора так и не был проявлен им. Рукописные журналы в 1—2-х экземплярах, где он писал, за давностью времени канули в Лету, а из его огромной переписки уцелело лишь 4—5 писем целиком и несколько отрывков.

Муравского весьма удручало, что члены тайного общества скованы отсутствием печатного органа. Рукописные журналы, ходившие в единичных экземплярах по рукам, охватывали слишком узкий круг читателей. Нужна была вольная типография.

Хотелось говорить полным голосом, писать, не оглядываясь на цензуру.

Муравский предпринимает энергичные усилия для установления связи

с Герценом.

Герцену было известно о существовании революционного студенчества в Харькове и Киеве. Харьковскому студенту Богомолу удалось встретиться с Герценом в Лондоне.

— Искандер особенно надеется на Малороссию и Харьков, — рассказывал Богомол.

Наконец Муравскому удалось через полицейские кордоны передать весточку Герцену. В Одессе он отыскал человека, который часто бывал в Лондоне. Ему Муравский доверял почту для «Колокола». Статья о злодеяниях харьковского попечителя Зиновьева была послана Муравским по этому каналу. Герцен получил ее и напечатал в своем издании «Голоса из России».

Не менее важно было получать и литературу из Лондона для библиотеки запрещенных сочинений.

Вскоре благодаря Герцену перед обществом Бекмана — Муравского открылось широкое поле деятельности. В Киев из-за границы приехал профессор Павлов. В лице Муравского и его друзей он нашел горячих энтузиастов народного просвещения. Их порекомендовал ему Герцен.

Началось широкое общественное движение под названием «воскресные школы». Митрофан всей душой отдался новому делу. Вместе с Бекманом он радовался тому, что, наконец, сбывается их давнишняя мечта — найти путь общения с простым человеком.

Вместе с Павловым они явились зачинателями организации воскресных школ в Киеве. Муравский поражался, с какой быстротой их инициатива была подхвачена молодежью всех университетских городов. Общее дело послужило средством для расширения связей. Теперь Митрофан вел переписку с Сергеем Рымаренко, жившим в Петербурге. От него узнал он о существовании революционных обществ и кружков в обеих столицах.

Тайное общество «харьковских эмигрантов» смотрело на воскресные школы как на средство революционного воспитания народа. Эту задачу молодые революционеры поставили перед собой еще в Харькове. Но ни Муравскому, ни его товарищам не удалось основательно поработать на новом поприще. Над ними разразилась беда.

В январе 1860 года в Харькове неожиданно для всех арестовали Петра Завадского. Первое, что попало в руки жандармов, была записка о тайном обществе, составленная Завадским для «Колокола». В записке излагались задачи общества. Этого было достаточно.

28 января был произведен обыск на квартире у Левченко в Харькове и

обнаружена его переписка с Муравским и Бекманом.

Через несколько дней были арестованы Бекман, Португалов, Розен, Кацен, Шмулевич, Тищинский, Ивков, Хлопов, Раевский, Марков, Лебедев, Шимков и др.

1 февраля в Киеве был взят в полицейский плен Муравский. При обыске сыщики обнаружили целую библиотеку герценовских сочинений — прокламацию «Юрьев день!», рукописную копию книги «С того берега», переписанные Залюбовским статьи «Права русского народа», «Черты русского монархизма», статьи «Ночной смотр», «Двуглавый орел». Кроме этого, у Муравского нашли рукопись «Монарх». В ней говорилось, что «цари существуют на пагубу рода человеческого».

Муравский был заточен в секретный каземат Киевской крепости.

На третьи сутки всех арестованных начали свозить в Харьков. Эхо молодых голосов гулко разнеслось по каменным коридорам и камерам тюрьмы.

Муравского посадили в грязную камеру, лишили книг, табака и права свиданий. Одиночество скрашивали Лебедев и Тищинский, находившиеся в соседних камерах. Настроение у них было бодрое. Пели песни «Вперед без страха», «Ой, на гори та жнеци жнуть».

Вскоре его вызвали на первый допрос.

Вначале он долго и упорно отвергал свою принадлежность к тайному обществу, но позднее убедился, что скрывать уже нечего. Все, кроме Бекмана, не выдержали жандармских угроз и рассказали о многом. Муравский дал письменные показания.

Его ожидала «казенная поездка» в Петербург.

Дорогой Муравский разговорился с сопровождавшим жандармом. Ему показалось, что тот готов проявить к нему сочувствие. У него появилась тревожная мысль: а не был ли кто из арестованных в переписке и с московскими студентами? Нужно немедленно предупредить москвичей.

На одной станции он написал записку: «Господа, многих студентов Харьковского университета арестовали, некоторых везут в Петербург, в том числе и меня. Будьте осторожны. Бывший студент Харьковского университета Муравский».

Заметив косой взгляд жандарма, он спросил:

— Прочсть это вам, или сами изволите?

— Прочтите сами.

Муравский прочел наизусть первый попавшийся стих, и тот успокоился. Оставалось проездом через Москву бросить записку первому встречному студенту.

Потом другой план пришел ему в голову: «Жандарм, кажется, верит мне — зачем же я его обманываю? Не попросить ли его прямо помочь в этом деле? Может быть, он со временем станет порядочным человеком».

— Я в первый раз неправду, сказал, что пишу стих, — обратился он к жандарму, — записку эту нужно передать какому-либо московскому студенту. Вы сможете это сделать?

Странно блеснули глаза провожатого. Но приятная улыбка рассеяла сомнения арестанта. Жандарм неожиданно сказал задушевым тоном:

— Знаете ли что? Давайте вы ее мне. Вот как приедем да сдам вас в Москве, надену шапку, тулуп, пойду на базар за хлебом, встречусь с кем-нибудь из студентов, отдам. Никто и знать не будет.

Митрофан доверился. Записка в руках жандарма. А повозка уже гроыхает по булыжнику московских улиц.

Жандарм был из Киева, Москву знал плохо, а лихой ямщик знал лишь, где постоялый двор да трактир. Неожиданно показался студент. Жандарм подозвал его и стал расспрашивать, как проехать. В этот момент Муравский успел крикнуть:

— Предупредите товарищей, чтоб были осторожны...

Миг, и рукавица, пропахшая потом и овчиной, закрыла ему рот.

Записку жандарм представил генералу.

Следственная комиссия приговорила Муравского к ссылке в Оренбургскую губернию. Царь утвердил приговор, написав на документе: «Исполнить».

В ссылку угодили и друзья Митрофана; Бекман — в Вологодскую губернию, Ефименко — в Пермскую, Завадский — в Олонецкую, Ивков — в Вятскую.

*

Маленький уездный городишко Бирск встретил почтовую карету безлюдьем тихих улиц. Здесь предстояло Муравскому коротать долгие, тягостные дни. Тупое отчаяние и чувство одиночества терзали его. Порой ему казалось, что он заблудился в степи и обречен.

Он написал письма к друзьям в ближайшие места— Португалову в Казань и Ефименко в Пермь. Ожидание ответа поддерживало в нем искру жизни.

Вскоре пришел ответ Ефименко:

«Не только жаль, но и смешно будет, — писал друг, — если мы, едва сделавши первый шаг в жизни, споткнемся и падём... Наше дело впереди».

Бодрое письмо прислал и Португалов. Первые вести от друзей оживили Муравского.

Первый из местных жителей, кто отважился посетить ссыльного, был преподаватель уездного училища Петров. Молодые люди разговорились.

— Между жителями Бирска ходили слухи, что держите вы у себя разные сочинения лондонского мятежника Искандера... которые вы будто бы похитили в Третьем отделении.

Муравский долго смеялся.

Петров оказался хорошим человеком. С ним можно было начать дело, прерванное в Киеве. Ведь друзья его не пали духом ни в ссылке, ни на родине. Ефименко в Перми затевает организацию ремесленных училищ и воскресных школ; Шмулевич пишет из Киева, что открылись четыре новые воскресные школы, много славного делается в Казани.

С тех пор лед тронулся. Муравский приобрел новые знакомства в училищном кружке. Высокий, худой, в студенческой шинели и валенках, он стал частым гостем в квартирах преподавателей бирского училища.

Его энергия вдохнула жизнь в провинциальный кружок учителей. Заговорили об организации воскресных школ. В августе сделали первую складчину, набрали преподавателей. Оставалось только набрать учеников.

Скоро пришли к мысли, что школы нужно открыть в ближайших от Бирска деревнях. С помощью священника Кассимовского удалось уговорить крестьян по воскресеньям отводить детей в учение.

Бирская публика заволновалась. Прошел слух, что училищный кружок организует литературные собрания. А они действительно начались. Любопытство бирского общества было возбуждено. Смотритель предупредил Муравского, что городская публика проявила к литературным собраниям интерес и изъявила желание в них участвовать. Училищный кружок деятельно готовился к открытию литературных собраний.

На собраниях часто возникали споры. Много было в них наивного. На одном из них как-то раз заспорили, что лучше: деспотизм или свобода для государства, и где лучше: в Англии или в России.

«В литературные беседы, — писал Митрофан Манассеину в Казань, — имеет быть внесен искандеровский элемент, мне удалось достать в Уфе некоторые его статьи».

Шел 1861 год. Муравский старался обратить внимание членов кружка

на протесты студентов в Казани, восстание в Казанской губернии, панихиду казанских студентов в память жертв этого восстания и, наконец, студенческие демонстрации в Петербурге.

Однообразен день в присутствии земского суда.

За одним из столов высится фигура Муравского. Он служит здесь писцом. Ежедневно с 8 утра до 2—3 часов дня и с 6 часов до 10—11 вечера он проводит за перепиской бумаг. Крайняя нужда заставила его пойти на службу.

Радостной отдушиной были письма друзей.

Бекман писал, что письмо Муравского возвеселило дух его; Завадский стал веселее глядеть на свет божий; Левченко писал из Курска, что письма друзей составляют для него одну из значительных нравственных поддержек; «...теперь мы оценили всю важность и благодетельность для нас переписки... — писал Тищинский. — Не будем поддаваться, черт возьми! Если мы будем единомышленны, если станем поддерживать один другого, то никакие меры, никакое раскассирование, никакая ссылка, никакая «провинциальная среда» нам не страшны».

В конце марта 1861 года Муравский переехал в Оренбург по разрешению начальства.

Здесь он поступил на службу писцом в областное управление оренбургскими киргизами. Вечерами он усиленно готовился к поступлению в университет. Прошло полтора года.

Нежданно-негаданно нагрянули жандармы. Обыск, отправка в Петербург. Снова 1 400 верст изнурительного российского бездорожья.

Перед столичным шлагбаумом повозка остановилась через месяц.

Муравский, видевший Петербург в 1860 году только из маленького окна тюремной кареты, не мог сразу сообразить, куда его везли. Но когда карета въехала через старинные ворота на черный двор и вокруг заблестели штыки и кивера, он понял, что попал в Петропавловку.

Бумагами Муравского занимался чиновник, до этого проверявший архив Чернышевского. После просмотра чиновник написал обстоятельную записку в следственную комиссию князя Голицына.

«Действия Муравского, — писал чиновник, — выраженные в переписке его с товарищами, должны быть признаны злоумышлением, имевшим целью возбудить к бунту против власти верховной».

Этот же чиновник просматривал дело Н. Серно-Соловьевича. Он нашел там письмо Завадского из ссылки к издателю Пыпину с просьбой прислать запрещенные сочинения. Эта находка явилась достаточным

основанием для обыска у Завадского. В бумагах Завадского нашли два письма Муравского. В них он писал о том, что по части «общего дела» есть много хорошего, упоминал об «известных целях».

На допросе его спросили о содержании двух писем к Завадскому. Арестованный дал первый отпор.

— По причинам, которые считаю вполне уважительными и которых нахожу нужным не объяснять комиссии, на этот вопрос я отвечать не намерен.

Муравский решил не скрывать своих политических убеждений и вступить с тюремщиками в открытый бой. Через два дня жандармы читали письменное объяснение заключенного.

«В последние три или четыре года, — писал Муравский, — я пришел к твердому убеждению, что от русского правительства (под именем которого я понимаю императора и всех ныне существующих властей) подвластные ему национальности не должны ожидать никаких существенно полезных преобразований, так как правительство не имеет ни способности, ни желания сделать что-нибудь подобное для народа, и что единственное средство к перемене существующего порядка остается, по моему мнению, путь насильственной революции».

Следователей нелегко удивить. Они уверены, что пройдут недели, месяцы, и арестованный переменит тон. Их ждало разочарование. Муравский обладал стальной твердостью.

14 января 1863 года после многочисленных допросов он написал и передал следственной комиссии свой политический манифест. В нем революционер с гордостью повторял, что единственным выходом для России с ее тяжелым положением остается насильственная революция.

Заключенный обвинял царизм в стеснениях университетов, гонениях на воскресные школы, репрессиях в Польше, в несправедливом решении, крестьянского вопроса, нападках в печати на передовых людей без предоставления им права ответа на клевету, в боязни распространить будущее гласное судопроизводство на политические преступления.

Допросы окончились. Суд неторопливо заканчивал дело. Муравского приговорили к 6 годам каторжных работ.

Вскоре он был отправлен в распоряжение Тобольского приказа, а оттуда переправлен на Нерчинскую каторгу.

Шли годы. Свыше десяти лет имя Муравского не упоминалось в полицейских донесениях. Он бесследно исчез с политического горизонта и лишь значился в полицейской картотеке Третьего отделения под рубрикой политических поднадзорных.

Имя Митрофана Муравского вновь появилось на страницах жандармских донесений в 1874 году, после ареста в Челябине. По обвинению в революционной пропаганде среди крестьян он был привлечен к суду вместе с группой обвиняемых по делу, получившему название «процесс 193-х».

Революционер-демократ Муравский примкнул к народникам, увидя в их движении возможность дальнейшей борьбы.

Август 1877 года. Свыше четырех лет продолжалось следствие по невиданному даже в богатой событиями истории царской тюрьмы процессу. Число обвиняемых было рекордным.

Около 70 человек еще в крепости решили отказаться от суда. В «предварилке» они нашли способ общения. Переговаривались по трубам, проложенным в стенах. Так возник своеобразный «клуб» политических заключенных. Говорили обо всем. Чаще всего на тему о жандармской клевете, направленной против ходоков «в народ».

В угрюмых тюремных стенах новички познавали беспримерную историю борьбы узников с жандармским следствием. Героем этой борьбы стал Митрофан Муравский. Он томился здесь уже много лет.

Обычно разговор новичков начинался так:

— Читали книгу «Безвыходное положение»?

— Нет. Кто же написал ее?

— Составляли многие, а редактировал и собирал материал отец Митрофан.

— Это кто?

— Муравский, разве не знаете? Из оренбургского кружка... О, это особенный человек, его зовут отцом Митрофаном, потому что уж очень уважают... А молодежь так за ним и ходит... на прогулках у него целая школа... Ведь он уже был на каторге, ему уже сорок два года, умный, образованный.

Муравский разработал четкий план, как, сидя в одиночке, составить контробвинение против прокурора и комиссии.

Скоро камера отца Митрофана превратилась в своеобразное училище. Была создана группа, члены которой выписывали из дел нужные сведения, опрашивали заключенных, если возникали сомнения, а в особых случаях

доставали письменные свидетельства от компетентных лиц. Весь материал был тщательно отредактирован Муравским. Он не оставил камня на камне от обширного «труда» следственной комиссии по «Делу о революционной пропаганде в 36 губерниях». Члены следственной комиссии оказались в безвыходном положении. Отсюда и название сборника — «Безвыходное положение». Блестящая аргументация, остроумное изложение сделали книгу популярной не только в тюрьме, но и на воле. Даже адвокаты охотно использовали сборник для защиты. Друзья «с воли» отправили это произведение за границу для напечатания.

В тюрьме люди тянутся друг к другу. Это помогает не сойти с ума в одиночной камере.

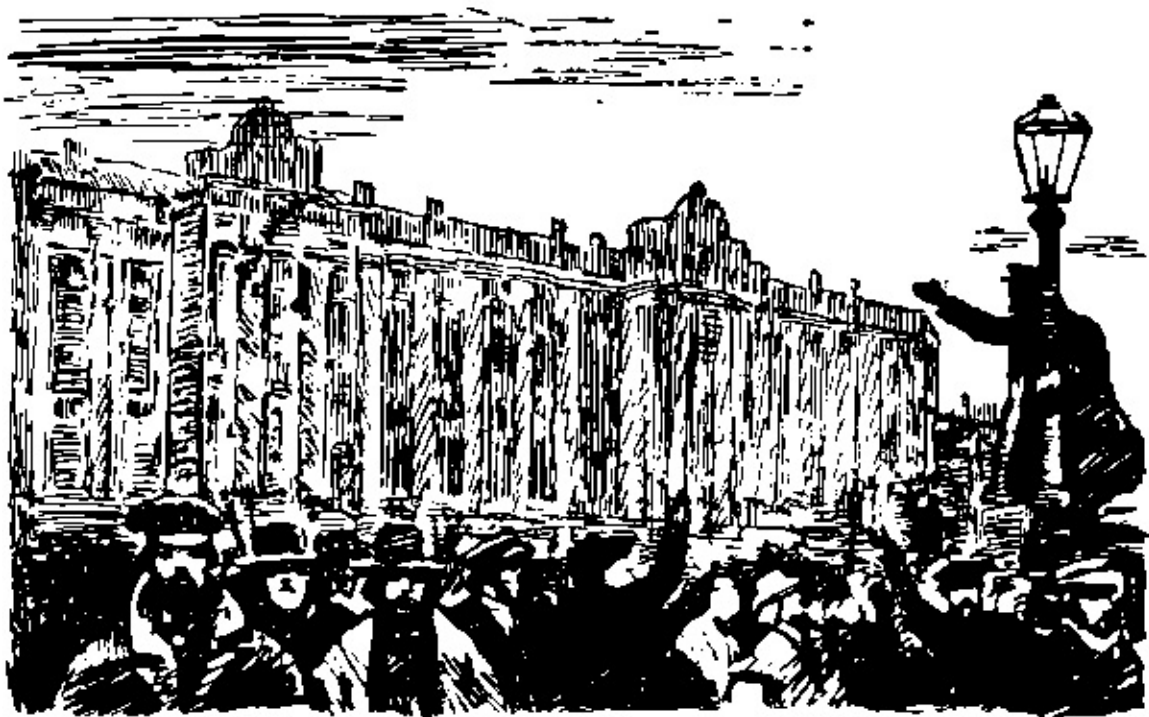
Муравскому писали письма. Он охотно отвечал. Кое-что из его переписки сохранилось. В одном из писем Муравский так писал о себе;

«Я не был ни героем, ни бойцом, и много сказать о себе мне нечего. Единственное крупное достоинство, которое я признаю за собой, это то, что я всегда был смел без нахальства и осторожен без трусости. Мне думается, что моя жизнь — это типичная жизнь честного человека, прожившего свой век в русском царстве».

Осужденный на десять лет каторги, он скончался в одном из ужасных «централов» в 1879 году.



Г. Ионова СЕРГЕЙ РЫМАРЕНКО



Сенатор Гедда спешил на заседание особого присутствия сената. Коляска мягко катилась по набережной. Мимо проплывали каменные громады дворцов. Стоял светлый осенний день. Но сенатор не замечал ни нежных красок петербургского неба, ни строгой красоты города. Его мысли были поглощены «делом» студента Медико-хирургической академии Сергея Рымаренко.

Да! Этот загонит всех в тупик.

Судя по донесениям полиции, он — один из вожakov революционной партии. Третье отделение уже давно располагает сведениями о его крайних противоправительственных взглядах. И все же следствие не дает материала для обвинения. Все вопросы комиссии Рымаренко парирует умело и притом весьма дерзко. Вчера на вопрос, что означает выражение «голос с Альбиона», найденное в его письме к студенту Манасееину, арестованный позволил себе невозмутимо заявить, что «это голос господина Герцена».

— Я читал, — заявил молодой медик, — брошюру под названием «Письма Герцена к русскому послу в Лондоне с примечаниями Шедо-

Ферроти». Из этой брошюры я очень хорошо мог узнать как о характере деятельности Герцена, так и о его сочинениях.

Сенатор побагровел при одном воспоминании об этом заявлении. Неслыханная дерзость! Теперь благодаря «Колоколу» всем известно, что брошюра Шедо-Ферроти напечатана тайно, под видом подпольного издания на деньги русского правительства, чтобы опорочить Герцена. Рымаренко заговорил о ней с явным умыслом. Мол, правительство само позаботилось о популярности знаменитого изгнанника...

А его ответ на вопрос о шифре для переписки, который он послал бывшему студенту Португалову? $404/36$, $324/4$, $395/5$ — эти цифры врезались в память сенатора. Он столько ломал над ними голову!

— Не могу припомнить значения этих знаков, — заявил бунтовщик, — может быть, это было напоминание о какой-нибудь задаче-шараде или дружеской шутке.

Разве это не издевательство над комиссией?

...Коляска остановилась. Медленно растворились тяжелые двери особняка. Сенатор, минуя грозных каменных львов, вошел в подъезд. Небрежно сбросив на руки швейцара шинель, Гедда, страдая одышкой, тяжело поднялся по лестнице.

Члены комиссии уже в присутственном зале. Склонившись над папкой, просматривает бумаги сенатор Жданов. Гедда неприязненно покосился в его сторону. Этот далеко пойдет! Сделает карьеру!

Председатель комиссии князь Голицын застыл на своем месте, словно изваяние. Высокий, седой, с оловянными глазами и безгловым выражением лица, он медленно обвел взглядом членов комиссии и объявил об открытии очередного заседания.

— Господа! Нам предстоит сегодня вынести определение по делу студента Медико-хирургической академии Сергея Рымаренко. Каковы мнения членов комиссии?

Гедда заговорил, с трудом сдерживая раздражение:

— Рымаренко — личность весьма упорная, крайних взглядов, и к нему необходимо применить самые строгие меры наказания!

— Я совершенно согласен с вашим мнением, милостивый государь, — протянул Жданов. — Рымаренко изобличается в заказе столяру Вагнеру типографских прессов для тайного печатания и в увозе с неизвестными лицами одного из этих прессов. Совпадение времени заказа студентом Рымаренко типографских прессов со временем распространения в значительном количестве разных возмутительных преступных сочинений,

тайно печатаемых; первоначальное заpiresательство Рымаренко и потом его изворотливые и уклончивые объяснения, а также его противоправительственное направление, ясно видимое из найденных у него при обыске бумаг, не оставляют сомнений в участии его в злоумышленном распространении сочинений преступного содержания. Как личность, представляющуюся по делу весьма упорною и вредного образа мыслей, надлежит его выслать на жительство в один из отдаленных городов Европейской России, по назначению министра внутренних дел.

Сенатор умолк. На окаменевшей физиономии написано: «Сгноить в ссылке!»

— Сверх того, — заключил Голицын, нарочито грассируя. — рекомендовать как место для ссылки Астрахань. Со своей чахоткой он там недолго протянет!

...Человек, о котором шла речь, не думал о своей участи.

В те минуты он сидел на убогой железной койке больничного отделения Невской куртины Петропавловской крепости. Это был юноша небольшого роста, со впалой грудью и поразительно добрыми глазами. Лицо его сияло глубокой радостью. Он сжимал в руке листок бумаги — письмо от сестры, сообщавшей ему незначительные семейные новости. Но среди пустяковой женской болтовни нет-нет да и попадется условное выражение.

Все хорошо. Борьба продолжается. В руках полиции ничего нет. Друзья помнят о нем. Просят крепиться.

Сергей обдумывал ответ. Арест не застал его врасплох. В руки полиции не попало ничего серьезного. На допросах он сумел отвести подозрения от друзей. Самое большее, что грозит ему лично, — ссылка, а там ведь всюду товарищи и... продолжение борьбы! Сейчас 1864 год. Минуту шесть лет с той поры, как он стал на революционный путь. Все началось в первый год его студенческой жизни.

*

Осенним утром 1857 года шестнадцатилетний Сергей впервые шел на занятия в Харьковский университет. Он все еще не мог освоиться с мыслью, что его приняли на медицинский факультет. Ласковое солнце заливало улицы мягким светом. Последний перекресток. Сергей уже видел здание университета. Но что это? Из-за угла показался, ковыляя на

костылях, инвалид с крестом и медалями на груди. Смертельно-бледное лицо. Глубоко ввалившиеся глаза. Лохмотья висят, едва прикрывая исхудалое тело.

У Сергея сжалось сердце. Он остановился, провожая взглядом солдата, пока тот не исчез за поворотом. По-прежнему сияло солнце, но перед глазами неотступно стояла фигура инвалида. Позорная война... Какие страдания терпят люди — бессмертные герои Севастополя! Теперь они умирают от голода в помещичьей империи, забывшей об их героизме. А ведь они поразили весь мир. Сила и ум народа, отвага и хладнокровие, бесстрашие и смекалка — все было отдано Родине. И все же война проиграна. Проиграна из-за тупости и бездарности царского правительства, из-за воровства чиновников. Все прогнило насквозь. Нет! Невозможно дальше терпеть порядок, который держится кнутом, штыком и поповским кадилом!..

Сергей не заметил, как дошел до университета и очутился в шумной толпе студентов.

Путь к медицинскому образованию был подсказан старшими друзьями. Год назад преподавателем его старшей сестры Елены стал студент-медик Вениамин Португалов. Сергей был очень дружен с сестрой, они вместе сблизились с кружком передовых студентов медицинского факультета. Португалов рассказывал о профессорах, приносил запрещенные сочинения Герцена, вольнолюбивые стихи Пушкина, Рылеева. С каким нетерпением ждал Сергей окончания гимназии и поступления в университет!

Наконец мечта осуществилась. Для него началась счастливая пора юности. Каждый день казался праздником. Новое отношение к окружающей жизни давал ему университет. Ежедневно, вернувшись с лекций, Сергей до поздней ночи просиживал над книгами. Вот они, его верные друзья в кожаных тисненых переплетах и простых бумажных обложках, толстые и тоненькие, свежие и затрепанные. Рядом с анатомией Вальтера поместился дантовский «Ад», и вслед за физикой Ленца идет Шекспир, дальше Гоголь, Баратынский и Фейербах, Белинский... Главным образом беллетристика, философия, политика!

Не мудрено. Философией и политикой увлекаются все студенты. Таково время. Ухитряются сэкономить каждый грош, чтобы купить книги. А расходов у студента немало. Недавно пришлось в складчину купить труп для занятий по анатомии.

Однажды в его комнате появился Португалов.

— Читал «Колокол»?

— А что это такое?

— Новый журнал Герцена, — и он протянул Сергею тонкие свернутые листы.

Сергей был поражен силой и смелостью вольного слова.

Для Сергея наступила пора больших раздумий. Но с кем поделиться всерьез, где найти таких людей? Прежде всего хотелось знать, чем он-то, Сергей Рымаренко, может быть полезен стране? Кругом происходят события, к которым никак нельзя оставаться безучастным. После военной катастрофы все вдруг разом заговорили о безнадежной отсталости России, о безобразных порядках в армии, в судах, университетах. Требуют свободы печати, возмущаются произволом полиции и чиновников. А надо всем этим хаосом чудится, как подымается грозная тень исполина в лаптях и с топором, занесенным над головой. Страх пробирает помещиков. Сам царь поневоле заговорил о необходимости освобождения крестьян.

И вот теперь «освобождают». Секретный комитет... губернские комитеты... но что в них творится, понять трудно. А к кому обратиться?

Перед ним опять Вениамин.

— У тебя, Сергей, честный образ мыслей. Мы давно присматриваемся и теперь решили принять тебя в свой круг. Хочешь?

— Разумеется! Я давно мечтал познакомиться с людьми, способными мыслить и действовать!

— Тогда приходи ко мне. Сегодня собираемся побеседовать. Наше общество существует уже больше года.

Смеркалось. Первыми пришли Муравский и Ефименко. Потом появились Завадский, Ивков, Левченко, Зеленский, Раевский. Последним пришел Яков Бекман. Он тотчас приковал к себе внимание Сергея. Умное лицо, пронизательный взгляд, спокойствие, за которым чувствовалась большая внутренняя сила, наконец, общее уважение к нему указывали, что это вожак. Впрочем, сам он старался держаться незаметно.

Когда все собрались, поднялся Петр Завадский.

— Мне поручено написать статью для «Колокола» о деятельности и задачах нашего тайного общества. Я начал с того, что общество ставит своей целью произвести революционный переворот в России. Но что сказать дальше?... Мне кажется, — продолжал оратор, выдержав паузу, — лучше всего сразу покончить с царем... Вот только бы достать денег на билет до Петербурга, а там бы я подкараулил, когда царская семья поедет в коляске на прогулку, и...

Завадский стиснул себе горло руками.

— Легкомысленная болтовня, — оборвал Бекман, — революционный

переворот требует участия всего народа.

— Конечно! — горячо отозвался Муравский. — Поднять всеобщее народное восстание, вот что надо! Это вполне осуществимо в наше время. Сейчас вся Россия как паровой котел, готовый взорваться. Можно не сомневаться — в одно прекрасное утро Россия узнает, что во всех концах ее вспыхнул жесточайший бунт.

— Поднять восстание сразу нельзя, — возразил Ефименко. — Следует сначала хорошо подготовить народ, чтобы он знал о наших целях. А для этого нужно распространять среди крестьян прокламации, написанные народным языком. Пожалуй, стоит поручить Петру Завадскому написать такую прокламацию. Это поможет ему избавиться от фантастических планов. Не так ли, господин истребитель династий?

Все рассмеялись. Предложение Ефименко было принято.

В «Колокол» о работе общества написали Бекман и Муравский.

Сергей стал участником тайного общества. Собирались почти каждый день. Чаще всего у Сергея. Так безопаснее. Он жил в доме отца. Это был чиновник железнодорожного ведомства. Выслужив в Петербурге небольшую пенсию, он в 1851 году вернулся на родину в Харьков. Сергею было в то время 12 лет. В Харькове семья жила на пенсию отца и его случайные заработки — он занимался посредничеством в продаже недвижимостей. Кроме Сергея, в семье было еще четыре сына и две дочери.

Родители с опаской смотрели на новых друзей Сергея. Убеждали прекратить тайные сходки. Только Елена восторженно встречала студентов.

В маленькой комнате друзья часто засиживались до утра. Горячо обсуждали подготовку правительством крестьянской реформы, читали «Современник». Бекман призывал учиться у Чернышевского.

— Как видишь, здесь развивается мысль, друзья обмениваются благородными идеями, здесь наглухо закрыта дверь для своекорыстия, мелкого эгоизма и злобы, — пояснял Сергей сестре.

Девушка понимала. И когда ей позволяли, слушала с интересом беседы единомышленников.

Особенно запомнился ей один вечер. Петр Завадский читал свои «Заметки». В них говорилось, что от царя один вред народу, затем последовало «Поучение» простому народу. Это был сказ о том, какие порядки были в старину, когда управлял не царь, а народное вече, что в этих порядках хорошего и как бы снова вернуться к ним.

Первым заговорил Муравский.

— Написано очень хорошо... — тихо начал он, — просто, понятно,

настоящим народным языком... но не век же сидеть на баснях и притчах. Мы совершенно упустили из виду, — продолжал он, оживляясь, — что ведь из наших крестьян едва ли сотая часть умеет читать, а из читающих едва ли сотая часть в состоянии понять написанное... Необходимо научить народ читать серьезные вещи. Надо образовать его, приучить думать, расширить круг его понятий. Грамотных людей легче подготовить к делу...

В комнате оживление. Задвигались стулья.

— А ведь он прав!

И они решили подумать о том, что можно сделать для распространения грамотности.

Однажды в начале апреля 1858 года на пути к университету Сергей был встречен возбужденной толпой товарищей. Гул возмущенных голосов всполошил обывателей. В окнах торчали сотни любопытных. Сергей не сразу понял, в чем дело.

Оказалось, попечитель Катакази приказал исключить из университета двух студентов, участвовавших в столкновении с полицией.

Экстренное собрание тайного общества. На этот раз на квартире Бекмана.

— Немедленно организовать общий протест против произвола полиции! — говорит вожак. — Необходимо пресечь вмешательство в жизнь студентов. Добиться восстановления исключенных!

Требования составлены. Они были утверждены на студенческой сходке. Делегации в составе Бекмана, Португалова, Левченко и Хлопова поручено передать их Катакази.

Попечитель отклонил требования, не потрудившись повернуть головы к делегатам.

Взрывом возмущения встретила молодежь выходку бездушного чиновника. У дверей университетского правления вытянулась вереница юношей. У каждого в руке лист бумаги. 138 человек подали прошения об увольнении из университета. Вскоре к ним присоединилось еще 60.

— Под конвоем отправить смутьянов к родителям! — приказал было губернатор. Но тут же осекся. Не дай бог, все это получит огласку в России, а особенно за границей. Ведь там у этих мальчишек сильный защитник — господин Искандер. А его и в Петербурге побаиваются.

Началась обработка поодиночке. Кое-кого угрозами удалось заставить взять прошения обратно. Через несколько дней за стол уселась особая комиссия. Приговоры штамповались без задержки.

Исключить... исключить... исключить...

Сергей Рымаренко получил «высочайший выговор». Ему пришлось

выслушать строгое внушение от университетского начальства. Оставаться в Харькове невозможно. Немедленно в какой-нибудь другой город. Сначала захотелось в Москву, но оттуда сообщили, что в университет его не примут. Многие уехали в Киев. Сергей крепко обнимал товарищей на прощанье, давая слово не сходить с избранного пути. Друзья поклялись поддерживать переписку. Сергея теперь привлекал Петербург. Там, в главном центре политической жизни и передовой мысли, он рассчитывал найти применение своим силам. Как не мечтать о Петербурге, если знаешь, что там живет поэт Некрасов, пишут свои удивительные статьи Чернышевский и новый кумир студентов Добролюбов? Там кипит жизнь, туда стекается смелая, энергичная молодежь.

На счастье, представился удобный случай. Сергею предложили сопровождать в столицу сына Харьковского откупщика Щербакова. Сергей горел жаждой деятельности. Буря, разразившаяся над студентами в Харькове, не испугала и не охладила его. Всю дорогу он горячо объяснял своему спутнику, как много еще предстоит сделать молодежи, как близок в России переворот, который покончит, наконец, с крепостным правом. Казалось, спутник вполне разделяет его взгляды. То был роковой промах. Спустя пару дней купеческий сынок направился прямо в Третье отделение. Он-то и положил начало жандармскому «делу» о студенте Сергее Рымаренко.

*

Сергею не до жандармов. В тот день, радостный и счастливый, он медленно шел по Невскому. Постоял на Аничковом мосту, любуясь конями Клодта. Пробираясь через толпу, прошел мимо Гостиного двора. На пути к Дворцовой площади он испытал всю тяжесть столичной духоты, жары и пыли. Лишь выйдя на набережную Невы, Сергей поддался вновь очарованию Северной Венеции. От красавицы реки веяло свежестью. Летний сад с его тенистыми аллеями, статуями и журчанием фонтанов напоминал грезы детства. Чудо-город! Куда ни глянь — дворцы, проспекты, каналы, памятники. У конной статуи Петра он читал про себя стихи Пушкина.

Впрочем, не одни красоты привлекли его внимание. После тихого Харькова Сергей был поражен кипучей жизнью огромного города. На окраинах дымили трубы, стучали машины. Со всей страны в столицу в

поисках заработка стекались оброчные крепостные и государственные крестьяне. Ютились в темных и зловонных углах. Никто не имел представления о водопроводе. Беднота пила из каналов, загрязненных нечистотами. Каждое лето по городу проходила косой свирепая холера. Квартирная плата поглощала львиную долю грошового заработка рабочего, обрекая его семью на голодное существование. И вдобавок приходилось еще платить оброк помещику.

Да, это был город резких контрастов! Роскошь и нищета, барство и подневольное существование уживались в тесном соседстве. Лицо и изнанка крепостного права были одинаково ужасны. История уже подписала смертный приговор чудовищу, а оно, не подозревая этого, все еще продолжало пожирать людей.

Долго тянулось дело о приеме Сергея в Медико-хирургическую академию.

Наконец он был принят.

Все новым показалось Сергею в столичной академии. Профессора с громкими именами, иные порядки в аудиториях. Завязывались новые знакомства.

Жизнь его ничем не отличалась от существования сотен студентов-бедняков, собравшихся сюда из разных концов России. Убогая комнатка за пять рублей в год, лекции, анатомическая практика, вечная погоня за уроками в частных домах.

Среда, в которую он окунулся, юная, дерзающая, напоминала Харьков. Те же сходки, столкновения с полицией, та же тяга к объединению для защиты своих прав. Еще сильнее, чем на родине, чувствовался здесь жадный интерес к общественным вопросам и политике. По рукам без конца ходили запрещенные сочинения. Люди по ночам переписывали огненные памфлеты «Колокола». От души ликовала молодежь при появлении каждой новой статьи Добролюбова, со смехом декламировала сатирические стихи Якова Хама из неугомонного «Свистка». До дыр зачитывались номера «Современника».

Как недоставало ему друзей из Харькова! Вот где бы можно развернуться! И он писал в Киев Бекману, Португалову, Завадскому. Рассказывал о студенческих делах. Делился планами. Друзья сообщали, что в Киеве дела обстоят не хуже и они не бездействуют.

Как-то на улице один из товарищей Сергея показал на скромно одетого человека в очках.

— Это Чернышевский!

Вот он, человек, с которым Сергею нужно во что бы то ни стало

поговорить. Что, если пойти прямо в редакцию «Современника»?

...Литейный проспект. К простому двухэтажному дому он подходил с замиранием сердца. На втором этаже остановился перед дверью с медной дощечкой: «Н. А. Некрасов». Рука потянулась к шнуру звонка. Уйти?.. Но колокольчик уже звякнул, и дверь распахнулась. Сергей «невольно вздрогнул. Огромная медведица, стоя на задних лапах, скалила зубы. Возле нее — два медвежонка. Швейцар посторонился, и Сергей увидел в лапах чучела серебряный поднос для визитных карточек. Позднее он узнал, что это лесное семейство — охотничий трофей Некрасова. Страстному охотнику он достался дорогой ценой.

Швейцар указал дверь в редакцию «Современника». В первой комнате никого. Сергей нерешительно шел мимо рабочих столов, заваленных рукописями и корректурами. В следующей комнате царил строгий порядок. Длинный стол, покрытый зеленым сукном. Здесь происходили заседания редакции, куда приглашались и писатели, сотрудничавшие в журнале. За тем же столом происходило «кормление диких зверей» — так называл Некрасов изысканные обеды, которыми он угощал цензоров. Иногда это помогало. «Звери» становились более снисходительными.

Но пока Сергей еще не знал всего этого. В конце комнаты у конторки стоял человек с пером в руке. Оторвавшись от работы, он взглянул на Сергея. Да ведь это Чернышевский!

— Что вам угодно, сударь?

— Можно ли видеть господина Некрасова?

— Вам придется подождать. Его нет сейчас. А какое у вас дело к нему?

— Я... пожалуй... лучше я зайду в другой раз...

— Как вам угодно.

Опомнился он уже на улице. Зачем было идти? Разве у него есть достаточно серьезное дело, чтобы отнимать время у занятых людей? Нет, должно быть, он поспешил. Нужно прежде сделать что-то полезное.

*

В столице росло революционное настроение. Отовсюду доносились тревожные слухи о событиях в деревне. В 1859 году в газетах появились короткие сообщения о протестах крестьян против винных откупов. Студенты записывались на очередь за статьями

Добролюбова в «Современнике». Там он писал, что единодушное

движение против откупов охватило 38 губерний. Цифра внушительная! Деревня разгибает спину. Многие видят в этом начало больших событий. В стенах университета, Медико-хирургической академии, педагогического института студенты все чаще собираются в тесный кружок. В середине оратор. То там, то здесь слышится заветное слово — революция. Пока что его произносят с оглядкой, но погодите...

Сергей действовал с тактом. Для начала он решил создать Литературное общество. Оно было открыто с разрешения начальства. Сначала в нем читали новые романы, стихи Некрасова, некоторые статьи из «Современника». Потом осмелели — начали читать «Колокол», «Полярную звезду» и другие нелегальные издания. Тут же слушались доклады членов общества. Иногда ставили любительские спектакли.

Литературное общество было первым успехом Сергея. Общество давало возможность постепенно присмотреться к людям и выбрать самых надежных. Теперь можно было подумать о создании тайных политических кружков. Конечно, не все участники литературных собраний были готовы к этому. Многие не ушли дальше простого сочувствия крепостным крестьянам, негодования по поводу бездарности правительства, проигравшего войну, возмущения отдельными случаями беззакония и произвола чиновников. Но все больше под влиянием чтений и бесед юноши стали понимать узость своей борьбы за университетские преобразования; они осознали, что без крушения крепостного строя все останется по-прежнему. Об этом им неустанно толковал Сергей.

Теперь Сергею не хватало денег на свечи. Нередко до самого рассвета он не отрывался от страниц «Современника».

Сергей читал, делал выписки, а наутро спешил к людям, которые, по его мнению, вскоре смогут тоже назваться революционерами. Вот они, эти энергичные и смелые студенты-медики: Гюбнер, Крапивин, Беневоленский, Хохряков, Мультиановский, Ляпустин, Краковецкий, Березин... Они стали его близкими помощниками. Не зря выбирал он их из среды своего Литературного общества. С ними у него разговор идет в открытую. Нужно готовиться к борьбе с оружием в руках. Только таким путем можно разрушить здание, покоящееся на крепостном труде, уничтожить помещичий гнет, беззаконие, произвол, создать в России республику. Своих юных слушателей он уверял, что победа революции приведет к социализму.

С помощью новых друзей Сергею Рымаренко удалось к началу 1860 года создать в Медико-хирургической академии несколько революционных кружков. Была установлена связь с другими революционными группами Петербурга и в первую очередь с университетским кружком Николая

Утина.

О деятельности Рымаренко узнал Чернышевский.

И вот поздно вечером Сергей в незнакомом кабинете. Перед ним Чернышевский с его пристальным взглядом и странной, совсем необычной улыбкой. Она и насмешливая и ласковая одновременно.

Сергей без смущения выдерживает этот взгляд и улыбку. Под ногами твердая почва. Знаменитый публицист сам пригласил его к себе, и разговор идет о серьезных делах, в которых он, Сергей Рымаренко, уже не новичок. Он проявил себя неплохо.

Беседа идет о воскресных школах.

В 1858 году киевский профессор Платон Васильевич Павлов, измученный травлей со стороны чиновников ведомства просвещения, решил эмигрировать под предлогом лечения. Встреча с Герценом в Лондоне изменила все его планы. Герцен советовал Павлову вернуться в Россию, в которой все вскоре должно измениться и которую ожидает великая будущность. Герцен подал Павлову мысль об открытии в России народных воскресных школ силами общественности. Профессора, учителя, студенты должны добиться от правительства разрешения бесплатно учить крестьян, мастеровых, приказчиков, домашних слуг и их детей по воскресеньям. Школы должны содержаться на средства, жертвуемые добровольно людьми разных сословий. Просвещение народа, по мнению Герцена, — одно из важных средств коренного переустройства страны.

Павлов вернулся на родину. Уже 1 октября 1859 года в Киеве открылись Подольская и Новостроенская воскресные школы. Число школ быстро стало расти. Еще в Лондоне Герцен сообщил Павлову имена студентов, на которых можно было опереться, начиная новое дело. То были друзья Сергея Рымаренко по тайному обществу в Харькове. Это они в свое время писали Герцену о готовности начать распространение грамотности в народе с целью революционной пропаганды. Теперь они уже писали Сергею из Киева об успехе начатого ими предприятия.

Из Киева пишут, рассказывал Сергей Чернышевскому, что профессор Павлов едет в Петербург. Он собирается развернуть работу воскресных школ в столице России. Митрофан Муравский в своем письме описал прощальный вечер, данный киевскими студентами любимому профессору. Это было 14 декабря 1859 года. Знаменательная дата восстания декабристов, конечно, была избрана не случайно. В тот вечер студенты благодарили Павлова, руководившего деятельностью воскресных школ. Отвечая студентам, Павлов провозгласил тост за здоровье того, кто стоит «во главе прогрессивного движения в России». Тост был подхвачен с

воодушевлением. Каждый знал, что речь идет о Герцене.

Чернышевский много говорил о воскресных школах. Во-первых, они помогут воспитать народ, научить не только читать, но и думать, подготовить к восприятию революционной агитации, которую, впрочем, не следует откладывать в долгий ящик. Во-вторых, воскресные школы дадут возможность установить постоянные тесные связи с кружками, уже возникшими в разных городах, и подготовить объединение их в единое революционное общество.

Сергея поразила осведомленность Николая Гавриловича в студенческих делах. Оказалось, что он знает о полулегальном Литературном обществе Медико-хирургической академии и даже о тайных кружках.

— Работаете прекрасно, — говорил Чернышевский, — но прошу вас: осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Создавайте дальше кружки, расширяйте работу, но самому вам не следует держаться на виду. Действуйте через других, подобрав надежных помощников. Не сомневаюсь, что они у вас уже есть.

Сергей молча кивнул.

— Отлично, используйте их! Кроме этого, необходимо организовать наблюдение за шпионами. Следует выследить агентов Третьего отделения, знать их, предупредить всех. Только так можно избежать провалов.

Сергей стал посещать Чернышевского в редакции и на дому. Они подружились. Николай Гаврилович полюбил этого юношу, внешне хрупкого, болезненного и в то же время обладавшего сильной волей.

Сергей запомнил каждое слово своего учителя. Тот был по-отцовски внимателен к нему и всегда очень серьезен.

— Сергей Степанович! — говорил он. — Приближается пора нашего общего дела. Скоро наступит время великой битвы. К этому нужно готовиться.

*

И Сергей готовился. Ближайшими делами пока были распространение грамотности и пропаганда. Воскресные школы стали модой. В них принимали участие и дамы-благотворительницы и вылощенные офицеры. Под прикрытием моды можно было действовать, не бросаясь в глаза властям.

Профессор Павлов уже в Петербурге. С его помощью, казалось, можно было поставить дело на широкую ногу. Но тут неожиданно нагрянула беда.

Все произошло по вине Петра Завадского. Полицейская слежка и гонения на студентов ничему не научили его. Во время летних вакаций Завадский получил место домашнего учителя в семье харьковского помещика Гаршина. Все шло отлично, пока неосторожный юноша не проговорился о своих связях

с Герценом. Его уволили тотчас же. Тем бы и кончилось дело, если бы через полгода жена Гаршина, всегда стремившаяся учиться, не скрылась из дому. Муж поднял на ноги полицию. Подозрения пали на Завадского. Кого же винить, как не вольнодумцев с «Колоколом» за пазухой и с головами, начиненными бунтом?

У Завадского обыск. В письмах имена друзей. У друзей обыск... Вместо госпожи Гаршиной полицию ожидала другая находка. Из захваченных бумаг и писем полиция узнала о харьковском тайном обществе. Был найден старый черновик статьи Завадского, предназначавшейся для «Колокола». В ней он рассказывал о планах и замыслах тайной организации.

Заскрипели тюремные ворота. За решеткой Португалов, Муравский, Левченко, Ефименко и другие студенты, покинувшие Харьков еще в 1858 году. Их нашли в разных городах — Киеве, Москве, Казани.

По первому сигналу Сергей спрятал все документы. Он временно замер. Никуда не выходил из дому, сказавшись больным. Ждал ареста. Но гроза прошла мимо. По-видимому, в бумагах Завадского и его товарищей имя Рымаренко не встречалось.

Арест друзей был серьезным ударом. Рымаренко возлагал на них большие надежды. Вместе со своими новыми товарищами он вынашивал план объединения столичных кружков с провинциальными.

— Мы потеряли смелых и энергичных участников нашего дела, — говорил Сергей на тайной сходке. — И все из-за непростительной небрежности. Ведь обыск у Завадского был совершенно случайным. Полиция ничего не подозревала. А в результате столько арестов!

После этой встречи Сергей стал еще более осторожным.

Памятуя советы Чернышевского, он старался теперь действовать через других. В Медико-хирургической академии ближе всех к нему был Гюбнер. Они вместе сняли квартиру на Выборгской стороне в доме Колпакова. Настоящее конспиративное гнездо. Комната Гюбнера находилась на первом этаже, а комната Сергея над ним. Обе соединялись винтовой лестницей. С ними поселился и Мультиановский, впоследствии известный хирург. Кроме

того, Сергей снял еще одну квартиру. О ней никто не знал. Там в надежном тайнике хранилась литература и все то, что опасно было держать дома. Вскоре тайник стал служить складом для всех кружков Медико-хирургической академии.

Письма Сергей теперь писал шифром, пользоваться которым его научил Чернышевский. Он брал целые слова из заранее условленной книги. Слово обозначалось дробью, в которой числитель указывал страницу, а знаменатель строчку, где первым стояло нужное слово. Соблюдая наказ Чернышевского, Сергей организовал слежку за шпионами. В тайнике хранился целый список, в который он занес 25 фамилий полицейских агентов. Фамилии шпионов сообщались всем членам политических кружков.

Но идею воскресных школ бросать было нельзя, и потому, едва утихла гроза, Сергей снова начал действовать в полулегальной сфере.

Не раз советовался он с Николаем Гавриловичем. Тот познакомил его с новыми людьми. Однажды Чернышевский представил Сергею симпатичного шатена с большими ласковыми глазами. Это был Николай Александрович Серно-Соловьевич. Сергей уже встречал его как-то в редакции «Современника». Вместе с ним пришел коренастый мужчина в пенсне, с небольшой окладистой бородкой и открытым, жизнерадостным выражением лица.

— Александр Александрович Слепцов, — четко произнес он, протягивая руку.

Сергей не подозревал, что рукопожатие этих двух людей было началом его революционного содружества с верными единомышленниками Чернышевского.

В тот день все они обсуждали вопрос о расширении просветительной деятельности.

Было решено организовать «Общество распространения народной грамотности». Во главе общества стал профессор Платон Васильевич Павлов. Руководство всей негласной работой взяли на себя Сергей

Рымаренко и новые его знакомые. Они разделили обязанности. Слепцов и Серно-Соловьевич занялись организацией школ, библиотек и читален для простого народа.

Сергей принял участие в Совете общества. Первое заседание решили провести в Летнем саду.

В назначенный день, рано утром, Платон Васильевич Павлов медленно шагал по улицам просыпающейся столицы.

«Куда бы это в такой час?» — размышлял человек в светлом пальто и

соломенной шляпе. Он двигался следом за профессором на почтительном расстоянии. Ему поручено тайно следить за «агентом лондонских пропагандистов».

Решетка Летнего сада. Профессор скрылся за ней. Человек в пальто прибавил шаг. В саду пусто. Его поднадзорный успел выйти на лужайку и прямо к беседке. О, там его уже ждут!

Трижды мелькнула шляпа шпиона в соседней аллее. Двоих он, кажется, узнал. Похожи на Николая Серно-Соловьевича и Сергея Рымаренко. Но как подобраться? Место выбрано с толком. Кругом одна трава...

Сняв шляпу, соглядатай присел за кустами на краю лужайки. Чу!

— Нужно основательно продумать программу... несколько лет... главное... остаться в тени...

Лучше всего слышно самого Павлова. Тот не бережется.

Вечером в Третьем отделении уже читали донесение. «Общество распространения народной грамотности» ставит своей задачей подготовку народа к революционному преобразованию России. «Оно рассчитывает, — агент точно записал заключительные слова Павлова, — что поступающие отныне в воскресные школы будут подготовлены по программе общества не более как через тринадцать лет к тем реформам, которые хотел ввести Петрашевский, и тогда уже никакая сила не будет в состоянии удержать общий по всей России порыв к перевороту».

Это уже не первый сигнал. О «вредном» действии воскресных школ на умы простонародья скопилось множество агентурных донесений.

Чиновники Третьего отделения скрипят перьями. Курьеры развозят «конфиденциальные письма» в канцелярии генерал-губернаторов, министру внутренних дел, министру просвещения...

Правительство решило принять меры к прекращению деятельности воскресных школ. Но как? Сразу закрыть их невозможно. Такой шаг вызвал бы резкое недовольство, а это опасно в обстановке общего возбуждения умов.

А воскресные школы росли как грибы. Остановить движение казалось делом безнадежным.

Сергея с головой поглотила новая работа. В Петербурге под его личным руководством успешно действовала Самсониевская воскресная школа на Выборгской стороне.

Совет «Общества распространения народной грамотности» организовал закупку азбук, учебников арифметики, бумаги, перьев. Все это весной 1860 года раздавали уезжающим на каникулы студентам. Им

поручалось создавать в деревнях и городах новые воскресные школы и затем, наладив за летние месяцы работу, передавать это дело кому-нибудь из местных энтузиастов.

А теперь — в Кострому на лето, к старшей сестре Елене! Ведь там еще не начато новое дело. Такие люди, как сестра, — прямо клад для воскресных школ. Жизнь разбросала их по разным городам. Сергей учился в Петербурге, а Елена вышла замуж за чиновника, служившего в Костроме. Балин, ее муж, принадлежал к передовой части молодежи, воспитанной на идеях Герцена и Чернышевского. Он, смеясь, рассказывал Сергею, что давно уже возбуждает подозрения губернатора «странным образом своей жизни». За картами его не увидишь. Не пьет. Вечно за книгами и до поздней ночи беседует с друзьями — такими же «странными» людьми.

Сергей рассказал сестре и зятю о цели своего приезда. Оба оживились. Организацию школы можно начать немедленно.

— У нас есть уже кружок из передовых чиновников и учителей, — сообщил Балин. — Они будут рады начать практическое дело.

На следующий день кружок обсудил все детали. Тем же летом воскресная школа начала работать. Подготавливалось и создание местного «Общества распространения народной грамотности».

Организаторы революционного просвещения народа стремились централизовать руководство воскресными школами. Местные общества должны были по их плану подчиняться главному — Петербургскому и действовать согласованно.

Вернувшись осенью в Петербург, Сергей написал проект учебного плана для Самсониевской воскресной школы. Проект ставил задачу — не только обучить учащихся грамоте, но и расширить их политический кругозор. Совет общества разработал Правила для воскресных школ, которые были приняты сначала в Петербурге, а затем и повсюду.

Следуя Правилам, школы повсюду расширяли программу преподавания.

В Харькове читались лекции по физике, а в Казани обучали языкам, географии, истории, естественным наукам. В Петербурге давали начальные сведения об электричестве, знакомили с географией, искусствами, литературой и даже с политической экономией; в Москве знакомили с естественной историей и физикой.

Сколько дела! Сергей не спит ночами, обдумывая, как лучше организовать подбор учителей. Ведь от этого зависит весь успех. Главным резервом служат, конечно, студенты, но не на каждого можно положиться. А потом, прежде всего надо дать идейное направление. Дело не просто в

азбуке, географии или физике. Подготовить народ к восприятию революционных идей — это значит в первую очередь подготовить воспитателей. А сколько потребовалось труда для подбора легальной литературы, которую можно было использовать для агитации!

Он устает. Начало сдавать без того слабое здоровье. Мучает кашель и бессонница. А когда он, наконец, засыпает, ему снятся пытливые и добрые глаза рабочих, ремесленников, забитых подмастерьев и крестьянских детей. Они жадно впиваются в учителя.

Живое дело сблизило его с передовыми людьми. Теперь Сергей крепко сдружился с Николаем Серно-Соловьевичем и Слепцовым. Завязались искренние отношения с энергичным и смелым Николаем Утиным. Завязывались дальнейшие знакомства. Ближе всех к нему были Н. П. Спасский, Е. П. Печаткин, П. А. Гайдебуров. Сергей гордился своими новыми знакомыми в кругу передового офицерства.

А Чернышевский? Его незримое участие в общем деле Сергей ощущает постоянно. Не всегда удастся поговорить. Николаю Гавриловичу теперь все больше недостает времени. Порой в редакционной сутолоке он молча стиснет Сергею руку. Этого достаточно.

*

Тысяча восемьсот шестьдесят первый! Он пришел, этот роковой год. Обманчивый, мятежный...

Первым его «подарком» был царский манифест 19 февраля.

А потом?..

Расстрелы демонстрантов в Варшаве. Залпы усмирителей по крестьянам. Казнь отважного Антона Петрова из села Бездна. Целая буря в университетах. Ропот либеральных дворян с их жалкими адресами к монарху. Общее негодование. Бесконечные толки и... неутолимая жажда свободного смелого слова!

А смелое слово пока все еще тайком ввозится из-за моря. Но звучит оно страстно и гневно.

Народ царем обманут!!!

Нет, Герцен хоть и питал некоторые иллюзии в отношении монарха, но все-таки не пошел за хозяином Зимнего дворца. С негодованием отвернулся он от него. «Мы с народом русским, мы с мужиками, а не с сенаторами...» — восклицает издатель «Колокола».

А еще что принес шестьдесят первый?

Листики... листки... Тайная печать родилась в самой России! И не хилым младенцем, а богатырем, растущим не по дням, а по часам и зовущим к бою.

Наступила пора для окончательного оформления общерусской революционной организации.

События не застали Сергея врасплох. Он настойчиво продолжал свое дело. Нелегко доставалось ему. Приходилось посещать лекции в академии. Иначе нельзя. А помыслы были устремлены на другое. Он жадно следил за событиями. Многие рассказывали ему Чернышевский, Слепцов, Серно-Соловьевич.

Тайные политические кружки, руководимые Гюбнером, Мультановским, Крапивиним и другими, возглавили студенческое движение в Медико-хирургической академии. Их направила рука Сергея Рымаренко. На сходках выступали подготовленные им ораторы. Студенты требовали коренных перемен в высшем образовании, шли на открытый протест, на столкновения с властями. Агитаторы из тайных кружков призывали студентов к протесту против расправы с крестьянами и польскими борцами за свободу.

Одна забота терзала Сергея. Нужно, наконец, добиться постоянной и тесной связи провинциальных и столичных тайных обществ и кружков между собою. Но в чем должна она состоять и как добиться этого, приходилось искать самому. После долгих раздумий искомый рычаг был найден. Обмен информацией!

Ночь 29 апреля. В каморке Сергея горит свеча. Он заканчивает письмо к Вениамину Португалову в Киев. Он просит киевских руководителей тайного общества составить отчет о проделанной работе. Отчет следует прислать ему, Сергею Рымаренко, а также разослать во все университеты — в петербургский, московский, харьковский, казанский, дерптский. Оттуда киевляне получают такие же отчеты. «Для чего это нужно, сам понимаешь, не маленький», — добавляет он в конце.

Осенью, в самый разгар студенческих волнений, Сергея пригласил к себе Слепцов. Беседа была долгой. Сергею предложили войти в состав тайной пятерки. Слепцов возглавил ее.

Пятерки! Это была лучшая форма конспирации. Из пятерок начало складываться тайное общество; теперь оно приобрело название. Его сообщил Сергею Слепцов — «Земля и воля».

Сергей понимал, что он уже давно был побочным функционером тайного общества. Он угадывал решающее влияние в нем Чернышевского.

Но теперь он, Рымаренко, вошел в него полноправным членом. Все становилось на свои места.

Осень и зима прошли в трудной, кропотливой работе по объединению сил общества. Создавались новые пятерки. Но главное, конечно, было впереди. «Земля и воля» исходила из того, что всеобщее восстание следует ожидать весной 1863 года. Так мало времени! За каких-нибудь полтора года надо было подготовить все.

В марте 1862 года Сергей вместе со Слепцовым уже заложил основу четвертой пятерки. Первыми в нее были введены студенты столичного университета Николай Утин и Лонгин Пантелеев.

Вскоре Слепцов по заданию общества уехал на все лето для организации работы в провинции, и теперь в Центральном комитете его заменил Сергей Рымаренко.

На него по-прежнему возлагалась организация пропаганды в столице и провинции. Нужно было усилить деятельность воскресных школ, использовать и другие легальные возможности. Из Лондона через тайные каналы поступала литература. Сергей принимал участие в поддержании связи с Герценом и Огаревым.

Законы конспирации суровы. Многое из того, что проходило через руки Сергея, оставалось ему неизвестным. Незнакомым людям, являвшимся с паролем, он передавал то запечатанные сургучом пакеты, то денежные суммы. Всюду требовалось соблюдение тайны.

Все это не помешало землевольцам смело вторгаться в общественную жизнь. Собственно, они-то и были дрожжами, распространявшими широкое брожение. Этому учил Чернышевский и сам подавал пример. Рымаренко ясно видел, что учитель превратил «Современник» в орган, возглавляющий различные демократические движения, бравший на себя инициативу во многих делах. Здесь и просвещение и бой за свободу печати, равноправие женщин, независимость угнетенных народов.

То же делал и Герцен, хотя (теперь это Сергею было известно) в кругу лондонских «изгнанников» вершились и такие дела, о которых дано было знать лишь немногим.

Быть в гуще людей, работать на виду у всех нелегко. Но другого пути не было. И вот уже с декабря 1861 года стали появляться библиотеки-читальни, организованные деятелями «Земли и воли».

И еще один успех. Николай Серно-Соловьевич открыл книжный магазин. Лучший магазин с редкими книгами и новинками. Кто только не ходил туда! Одни за книгами, другие прочитать новую журнальную статью, третьи — просто поглазеть на красавицу Анну Николаевну Энгельгардт,

жену известного профессора. Даже дамы рассматривали ее в лорнет, точно редкий экспонат.

Еще бы! Первая женщина за прилавком! И странно и ново, а в общем... похвально. Лишь заядлые консерваторы, отворачиваясь, хихикали.

А она, невозмутимая и прекрасная, стояла у полок с книгами. Обстоятельно и с достоинством беседовала с покупателями, охотно отвечала на вопросы. Сергей втайне восхищался этой женщиной. Одно из звеньев цепи, приковывавшей наглухо жену и мать к домашнему очагу, дало трещину.

Какая полезная и удобная вещь эти читальни и книжные магазины! Во-первых, очаги просвещения, во-вторых... За дверями комнатки, где сидел хозяин магазина, не раз исчезали люди, зашедшие «по делу» на пару слов. Это из тайного общества. Сам он не раз приносил Николаю Александровичу то «прочитанную книгу», то «денежный долг». И никто, даже полицейские и шпики, то и дело совавшие сюда нос, не мог ни к чему придраться.

На Петербургской стороне хорошо действует Введенская школа. По воскресеньям она до отказа набита фабричным людом. Окрестные жители видят, как по утрам туда заходят два офицера. Любопытные жмутся к окнам. Офицеры читают ученикам по книге, что-то пишут на доске. Простым рабочим! Слыханное ли дело?

Сергей знает обоих отлично. Это Яков Ушаков и Иван Аверкиев. Он сам привлек их к этому делу, снабдил литературой.

Что касается учеников, то те прямо распространяли эту литературу на фабриках. Сергей знал нескольких распространителей по фамилиям. Это Михаил Митрофанов с фабрики Шау, затем Василий Трифонов, Михаил Федоров, Егор Коченков и еще двое-трое.

Все труднее было Сергею. Он чувствовал, как тают силы. Чахотка? Может быть. Но сейчас не до лечения.

Однажды в марте к нему пришел Мультановский и швырнул на стол номер «Русского вестника».

— Прочти этот пасквиль и скажи скорее свое мнение!

Он достал из-за пазухи четыре свечи, положил на стол и исчез.

Их было двое. Сергей лежал на постели. У его ног на краю уселся Василий Хохряков. Говорили о том, как создать клуб для рабочих. Темнело.

— Вот лиходеи! — рассмеялся Василий. — Швырнул и умчался. А за свечи спасибо...

Комната озарилась слабым светом. Зашелестели первые страницы.

«Отцы и дети». Новый роман. Глаза жадно искали имя автора. Вот оно! Знаменитое, уважаемое. При чем же тут пасквиль?

...Хохряков давно ушел. Сергей глотает страницу за страницей. Три дня подряд из головы не выходят думы о Базарове и его творце. Что случилось с Тургеневым? Кем он стал, «отцом»? Сергей всегда причислял его к «сыновьям». А тут!..

Да! Это измена нашему знамени. Об этом надо заявить во весь голос.

В тот памятный вечер собрание Литературного общества, созданного студентами Медико-хирургической академии, было особенно многолюдным. Пришли не только медики, но и многие студенты университета, офицеры Николаевской инженерной академии, Михайловского артиллерийского училища.

— Иван Сергеевич Тургенев, — начал в полной тишине Рымаренко, — явился художником-историком общественного движения России сороковых-пятидесятих годов.

Голос оратора дрожал от волнения.

Характеристика жизни и деятельности московских кружков сороковых годов, сделанная Тургеневым, соответствовала жизненной правде.

Сергей понемногу оживлялся. Голос его окреп. Глаза заблестели. Он говорил о конфликте «отцов и детей», как ослабил и исказил этот конфликт писатель.

— Борьба отцов и детей — это политическая проблема современной жизни. Соответствует ли облик Базарова нашему представлению о порядочном человеке? — Сергей оглядывает аудиторию. — Нам всем известно, каким должен быть молодой человек, чтобы мы могли признать его порядочным!

Среди присутствующих оживление. Собравшимся здесь не безразличен этот суд над романом знаменитого писателя. В стенах Медико-хирургической академии немало истинных Базаровых. Они не хотят смотреть в кривое зеркало. Особенно в такое время. Взять хотя бы Мультановского или Хохрякова. Не о них ли говорит сейчас оратор? Послушайте:

— Те, на которых я намекаю, — люди с характером и развитием, не уступающим базаровскому, но они пережили не такие минуты. За тысячи верст принуждены были они бежать, без копейки в кармане, чтобы спасти свое человеческое достоинство от отчего деспотизма.

Сергей оглядывается на Хохрякова.

— Тяжелую борьбу принуждены были выдержать другие, чтобы отстоять свои убеждения от тирании отца, от желания выше всего

поставить свой авторитет...

Теперь он невольно кивает в сторону Мультановского. Но это всего лишь пример. Сергей защищает целое новое поколение! Да и не в Тургеневе, собственно, дело, хоть и жаль, конечно, что он так написал этот роман. Роман скорее предлог. Важна самая проблема двух борющихся станов. Именно она побудила Сергея выступить сегодня.

— Тургенев не показал достаточно ясно Базарова как борца за дело народа, не раскрыл хотя бы намеками его политических взглядов, его отношения к крестьянскому и другим вопросам, волнующим Россию. Это делает для нашей молодежи невозможным принять Базарова не только за образец, а просто как типическую фигуру!

Сергей попал в цель. Его речь вызвала горячее одобрение. Он говорил о том, что глубоко волновало всех.

На другой день он лежал совсем разбитый. Переутомился, готовя выступление. Силы иссякли. Он болен.

А ведь потрудился не зря. Глубокая трещина разделила образованное общество. И она расширяется. Превращается в океан. Это теперь люди противоположных берегов. Сейчас, как никогда, следует ясно и недвусмысленно заявить об этом.

Сергей в стане борцов за народное дело. «Земля и воля» ждет от него новых усилий. И он не позволяет себе долго лежать в постели.

На очереди организация тайной типографии и издание новых прокламаций.

Весной 1862 года Петербург был наводнен подпольными изданиями. Молодежь доходила до дерзости, распространяя крамольные листки. В день пасхи, 8 апреля, прокламация «К офицерам» была разбросана в церкви Зимнего дворца во время заутрени. Через несколько дней та же прокламация разошлась по всему городу с таким добавлением: «В первый день пасхи воззвание это поразило долгоруко-долгоухое шпионство в самую шишку честолюбия: в дворцовой церкви, перед самым носом государя оно было роздано в большом количестве».

К печатанию прокламаций Сергей привлек Юлия Гюбнера и Помпея Мультановского.

Еще в конце 1861 года Сергей вспомнил о бывшем студенте Медико-хирургической академии Маркове. Тот после смерти отца бросил учиться и, получив наследство, занялся его умножением. У него-то и была типография. После рабочего дня в ней можно было без всякого риска заниматься печатанием.

Теперь где-то нужно было разыскать людей, владеющих типографским

искусством.

— Как раз имею удачную возможность! — обрадовался Гюбнер, когда Сергей посоветовал ему заняться этим делом. — Мне предложили недавно урок у одного немца, Винкеля, владельца типографии. Я хотел было отказаться, но теперь, наоборот, соглашусь.

Начались уроки. Гюбнер быстро сошелся с Винкелем-старшим. Ему он толковал, что готовится к коммерческой деятельности и собирается издавать книги по медицине. Сейчас ему нужно познакомиться с типографским делом.

Винкель с готовностью пошел навстречу многообещающему молодому человеку.

Предприимчивый Гюбнер быстро научился печатать, затем обучил этому делу еще нескольких студентов, и работа пошла. Но этого было недостаточно. Нужны были новые типографии. Столяру Вагнеру Сергей, Мультиановский и Марков заказали два прессы для печатных станков. Один из них предполагалось отправить на Нижегородскую ярмарку. Было решено печатать и распространять прокламации в Поволжье. Революционеры готовились поднять всеобщее крестьянское восстание в этом крае. Ведь в прошлом он не раз был ареной грандиозных крестьянских войн!

Другую тайную типографию решено было организовать в имении А. А. Черкесова. Он был помощником Н. А. Серно-Соловьевича по книжным магазинам и читальням.

Много труда и риска понадобилось, чтобы доставить по назначению первый станок. От Вагнера его вез на извозчике Юлий Гюбнер. Он выбирал глухие переулки. Сергей ехал позади на другом извозчике. Зорко всматривался в вечерний сумрак. Он знал в лицо шпики. Вот и нелегальная квартира. Дальнейшая перевозка была уже проще. Через несколько дней Гюбнер доставил свой груз в имение Черкесова.

Вечерами Сергей выходил подышать воздухом. В раздумье бродил по набережной Невы, любуясь закатом солнца. Вспоминались слова Чернышевского. Тот постоянно говорил, что только те народные права прочны, которые достигнуты движением самих масс. Народ!

Слово короткое и емкое. Сколько заключено в нем смысла! Необъятная масса родных ему, Сергею, сердец, умов, рук... Сейчас он скован, этот многомиллионный великан. А давно бы пора ему подняться. «Декабристам на Сенатской площади не хватало народа», — пишет Герцен. Вместе с Огаревым они оба мечтают о появлении в России революционных кружков, не «франных», а народных. А он, Сергей? Разве не все силы кладет он на то, чтобы поднять простых людей из народа на общее дело? Но всего этого

мало. Надо удвоить усилия... удесятерить их!

Сейчас, например, нужна новая прокламация. Ее поручил ему написать Центральный комитет. Сергей уже придумал название — «Чего мы хотим?».

Через несколько дней прокламация готова.

На нелегальной квартире собрались Гюбнер, Мультановский, Ляпустин и Краковецкий. Сергей читает:

— «Итак, на первом месте в настоящее время стоит вопрос о пропаганде идей между народом — с этой целью каждый член нашего кружка должен стараться приобретать агентов в деревнях и селах, городах губернских и уездных...»

Эти агенты, — поясняет Сергей, — должны быть именно из простого народа. Такие люди быстрее и лучше будут поняты остальной массой.

«Нужно толково и ясно убедить их в необходимости скорого переворота. Но одних слов мало, нужно дело; встретит ли кто-либо простолюдина, пусть немедленно он поможет ему из общей нашей кассы...»

Надеюсь, понятно? Революционеры сближаются с тысячами простых людей, воспитывают их, помогают им во всем, завоевывают доверие. Когда настанет время, тысячи наших друзей из народа поднимут миллионы.

«Только подобные действия, — заканчивает Сергей, — дадут нам любовь народа, и тогда успех будет верен; тогда будет можно смело надеяться, что скоро настанет день, когда мы скажем: мы свободны от деспотизма».

Друзья Сергея твердо верили в скорое наступление такого дня. Они готовились к нему не только умом и сердцем. В ожидании решительной схватки следовало подумать о практической стороне восстания.

В скромной квартире солдатской вдовы Андреевой кипит работа. Шьются одинаковые пальто и шапки с особыми значками. Делом руководит Мультановский. Нужны форма и знаки отличия для повстанцев. Иначе как узнавать друг друга в сражении?

Враг между тем готовил наступление. В апреле 1862 года на столе управляющего Третьим отделением уже лежал список лиц, «подлежащих немедленному арестованию». Он открывался именем Чернышевского и включал в себя много других имен, в том числе Николая Серно-Соловьевича, и Сергея Рымаренко. Жандармы искали удобного предлога.

Он был найден. В середине мая, когда в столице случился пожар, в голову какого-то изобретательного жандарма ударило: «А что, если?..»

Вскоре в глуши ночей к домам крались продажные люди со смолой и паклей. Наутро они же поднимали переполох:

— Вот оно, дело бунтовщиков и социалистов! В огонь их!

30 мая 1862 года Сергей был арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

Теперь он узнал ее изнутри. Сколько раз любовался, бывало, он ее бастионами и шпилем! Страшный каземат вытравил эстетические ощущения. Но он не сломил волю Сергея.

Находясь в крепости, Рымаренко сохранял связь с друзьями. Несмотря на его арест, прокламация «Чего мы хотим?» все же была выпущена. Она была разбросана на улицах Петербурга 2 июня. Сергей знал, что вслед за ним полиция схватила еще многих членов общества. Это была целая волна репрессий. В начале июня он узнал об аресте Чернышевского. Это был страшный удар. Конечно, Николай Гаврилович всегда говорил о возможности ареста. Он настолько опытный конспиратор, что власти не смогут предъявить ему никаких обвинений. И все же сердце Сергея болезненно сжималось при мысли о том, что Николай Гаврилович тоже в крепости.

Долгие месяцы допросов были для Сергея временем напряженной, суровой борьбы. Настойчиво и умело он отводил обвинения против него и его товарищей, а когда запирательство становилось для него и его товарищей бесполезным, брал всю вину на себя. В конце концов власти вынуждены были освободить Мультановского, Краковецкого, Гюбнера, а для самого Сергея наказание ограничить ссылкой.

Глубокой осенью, 9 ноября 1864 года, Сергей был освобожден из крепости и выслан в Астрахань под надзор полиции.

Дорога по осенней распутице казалась бесконечной. 20 января 1865 года Сергей прибыл в Астрахань совершенно разбитым и больным. Но относительная свобода приободрила его. Старался не думать о недугах. После вынужденного перерыва он снова рвался к подпольной деятельности.

В Астрахани было много энергичной молодежи, не было только вожака, который смог бы сплотить и объединить ее. С приездом Сергея все изменилось.

В 1867 году Сергею был предложен пост секретаря губернского статистического комитета. Он охотно согласился. В те годы ссыльные революционеры стремились служить в учреждениях, связанных с крестьянским делом или статистикой. Такая служба давала возможность разъезжать по губернии, знакомиться с положением крестьян и расширять круг связей. Сергей Степанович фактически руководил деятельностью комитета. Однако болезнь уже подточила его силы. Дни его были сочтены.

В январе 1869 года к Чернышевскому в далекую Сибирь дошла весть о смерти Сергея Степановича.

В одинокой избушке у стола сидел скромный человек в очках. В руке письмо. Он уже не видел ни бревенчатых стен, ни грубого стола. Перед его взором вставали дорогие образы. Друзья!.. Скольких из них уже нет!.. Сначала безвременная смерть самого близкого — Добролюбова, потом в Сибири погиб Николай Серно-Соловьевич, и вот теперь весть о смерти Сергея Рымаренко.

Николай Гаврилович видел перед собой его умное, мужественное лицо, слышал его голос... В ушах звучали суровые и гордые слова любимого Сергеем стихотворения;

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь,
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

«Нет, не даром погибло столько лучших из лучших, — думал великий революционер, — их жизнь была сурова, но она была полна радости борьбы; их смерть была безвременна, но они заложили прочный фундамент для грядущей победы русской революции».



Г. Ионова НИКОЛАЙ УТИН



Тень от зеленого абажура падает на лицо юноши, уютно устроившегося в глубоком кресле.

Тишина. Раскрытая книга забыта на коленях. Юный читатель не смотрит в нее. Его мысли где-то бесконечно далеко.

Бесшумно открылась дверь. С порога доносится шепот камердинера.

— Николай Исаакович! К вам братец Борис Исаакович пожаловали.

— Наконец-то!

Николай кинулся навстречу брату.

Они очень похожи. И все же бросалась в глаза разница между ними. Николаю всего 17 лет. Это худощавый стройный юноша среднего роста, с шапкой черных кудрей. Продолговатое лицо с тонкими чертами оживляли большие, слегка выпуклые черные глаза. В движениях — юношеская порывистость.

Борис Исаакович намного старше, он уже профессор Петербургского

университета. Привычка читать лекции наложила отпечаток на его манеру держаться и говорить. Мягко улыбаясь, он с трудом усадил младшего брата.

— Я окончательно решил поступить на юридический, — горячо говорил Николай. — Мы накануне больших событий. Скоро России нужны будут не одни чиновники. Общественное поприще потребует многих просвещенных людей.

— Рад за тебя. Университет — это единственное место, где стоит сейчас учиться. Рад также и потому, что через тебя надеюсь ближе сойтись со студентами. Отстаю. Да и молодежь стала иной.

— Можешь не сомневаться!..

Николай взмахнул рукой, порываясь снова вскочить.

— Хорошо, хорошо, не сомневаюсь, — улыбался Борис Исаакович, сдерживая брата. — Вот принес тебе новый номер, — продолжал он, доставая из кармана тонкие листы «Колокола». — Могу по секрету сообщить свой план. Во время летних вакаций еду за границу под предлогом лечения и хочу непременно побывать у Герцена.

Теперь уже никакая сила не могла удержать Николая. Сорвавшись с места, он зашагал по комнате.

— Чего бы я не дал, чтобы побывать у него! Это мечта всей моей жизни!

— Положим, эта жизнь еще не так велика, — ласково усмехнулся старший, любуясь юношеской горячностью.

До поздней ночи просидели братья, увлеченные беседой.

В ту ночь на другой половине дома долго не спал их отец — банкир Исаак Осипович Утин. Перед ним вставали картины молодости. Он сумел нажить состояние на подрядах и откупах. Разбогатец, приобрел этот роскошный дом на Галерной улице. Здесь же, в разных квартирах, жили его дети. Он гордился, что сумел выбиться «в люди», но в душе постоянно жила тревога. Дети не оправдывали его надежд. Семья большая. Пять сыновей — Лев, Яков, Борис, Николай, Евгений и единственная дочь — Софья. Кажется, он не жалел денег на их воспитание. А в результате...

Старший, Борис, стал профессором Петербургского университета, но сколько волнений с ним было! Связался с участниками нелегального кружка. Каждую минуту отец ждал его ареста. Сыну грозила каторга, а может быть, и смертная казнь. Да и теперь — старик Утин чувствовал это — Борис продолжает увлекаться политикой.

Младших, Николая и Евгения, еще нужно поставить на ноги, но как это сделать, если их тоже тянет не в ту сторону? К тому же кругом так беспокойно!

Была весна 1858 года. Отовсюду шли слухи о крестьянских волнениях. В городах началось невиданное брожение умов. Непокойно и в Польше. Каждую минуту там могло вспыхнуть новое восстание.

Старик тяжело вздыхал. Больше всего его волновала судьба Николая. В этом году он должен поступить в университет. Отец уверен, что Николая ожидает блестящая будущность. С его способностями, энергией он, несомненно, сделает карьеру.

А Николай всеми своими помыслами жил в ином мире. На всю жизнь врезались в память юноши впечатления детства.

Вот у Бориса собрались друзья. Позднее их стали называть «петрашевцами». Они увлечены горячим спором. Никто не обращает внимания на Николая, который забился в уголок большого кожаного кресла. Он помнит это кресло и запах теплой кожи, нагретой его щекой. Мальчик свернулся в комочек и слушает, затаив дыхание, долгие споры о социализме и будущем России, о необходимости создания республики. Он был слишком мал, чтобы понять все содержание этих разговоров, но горячее чувство возмущения несправедливостью, желание уничтожить всякое зло и добиться торжества правды глубоко запали в его душу. Он вырос, стал разбираться в вопросах, волновавших брата. Неясные мечты о борьбе за справедливость приобрели более определенную форму. Теперь он с нетерпением ждал поступления в университет. Казалось, именно там его ждет настоящее дело.

Университет бурлит

В аудитории собралась шумная толпа. Сквозь общий гул голосов слышались выкрики:

— Сходку, сходку!

— Пора, наконец, организовать!

Перед собравшимися стоит на стуле худощавый юноша. Черные волнистые волосы, продолговатое лицо, слегка выпуклые глаза, сверкающие возбуждением. Горячая речь захватывает слушателей, зал наэлектризован. Оратор призывает действовать дружно, не отступать. Начальство будет вынуждено признать их права. Студенты должны сами решать все вопросы, касающиеся их жизни. Надо избрать свои органы самоуправления. И вообще студенческая корпорация — это сила, она еще покажет себя!

— Правильно, Утин! — восторженно откликаются голоса.

— Не отступать!..

— Мы — сила!..

Сходки стали постоянным явлением в столичном университете. На них обсуждались все вопросы, волновавшие студентов. Порой здесь говорились такие вещи, о которых не писал и Герцен в своем «Колоколе». Не дожидаясь разрешения начальства, юноши сами проявляли инициативу. Была создана библиотека, издавался студенческий сборник.

В 50-х годах в университеты хлынули разночинцы — сыновья мелких чиновников, учителей, врачей, ремесленников. Вся эта молодежь не имела никаких средств, и для помощи нуждающимся создавались студенческие кассы. Много изобретательности было проявлено студентами, чтобы найти средства для их пополнения. Ставились благотворительные концерты. Было начато чтение публичных лекций профессорами. Сбор от них шел в пользу студентов.

Николай сблизился со студентом Евгением Михаэлисом, братом Людмилы Петровны Шелгуновой. Его поразили широта познаний и интерес Евгения к общественным вопросам.

Михаэлис познакомил Утина с Чернышевским. Теперь Николай очень часто бывал в доме известного публициста. Серьезные разговоры в кабинете Николая Гавриловича сменялись шумным весельем в кругу гостей его жены. Ольга Сократовна была постоянно окружена молодежью. Она стремилась создать себе репутацию веселой и беспечной дамы. Никто не подозревал, что эта маленькая стройная женщина, красота которой приковывала общее внимание, была верным другом и помощницей своего мужа.

В квартире Чернышевского жил брат Ольги Сократовны — Алексей Студенский. Он тоже учился в университете. У Чернышевского Утин часто встречал артиллерийского офицера Вениамина Ивановича Рычкова, двоюродного брата Ольги Сократовны. В те дни Николай еще не знал, что судьба свяжет его с ними на революционном поприще.

Студенческое движение быстро расширялось. В 1859–1860 годах молодежь принимала деятельное участие в организации воскресных школ. Устанавливались связи с университетами других городов. Тайно работали политические кружки. В студенческие кружки шли женщины. Это была эпоха борьбы за устранение всякого неравенства, всех форм гнета. Вместе с главным вопросом русской жизни — уничтожением крепостного права — вставал вопрос и о ликвидации бесправия женщин. Добиваясь доступа в высшие учебные заведения, они сами проявили инициативу.

Как-то раз, явившись на лекцию, Николай увидел на скамье двух молодых девиц. Одна из них поразила его. Это была Надежда Корсини, дочь известного архитектора. Тяга к высшему образованию толкнула ее на смелый шаг. И вот она в аудитории. Вскоре там появились и другие слушательницы. Студенты держали себя по отношению к ним с большим тактом. Чтобы не смущать, старались не смотреть в их сторону. Пора доказать, что присутствие женщин на лекции — обыкновенное дело. Николай поступал так же, как и другие, но и не глядя на Корсини, он ощущал ее присутствие.

Надежда приняла участие во всей студенческой жизни. Николай познакомился с ней и вскоре почувствовал, что она выделяет его среди других.

Как-то само собой случилось, что они стали вместе преподавать в воскресной школе. В первый же день уроков Николай с волнением ждал ее. Они долго бродили по улицам города. Оба наслаждались петербургской весной, ощущая прилив светлого юного счастья.

Работа в воскресных школах сближала студентов Петербурга. Николай сошелся с Сергеем Рымаренко, который руководил организацией школ. Круг его знакомств простирался все дальше, за стены университета. А университет продолжал бурлить.

«Утинская партия»

Правительство готовило репрессии против университетов. В 1860 году попечителем Петербургского учебного округа вместо либерального князя Щербатова был назначен генерал Филипсон, служивший до этого в Генеральном штабе. Царь мечтал возродить военные порядки в университете, и потому на пост министра просвещения весной 1861 года был призван, неожиданно для всех, адмирал Е. Ф. Путятин. Меньше всего ожидал этого сам адмирал. Если бы год назад ему сказали, что он станет во главе российского просвещения, он бы просто рассмеялся. Но старые служаки привыкли безропотно выполнять царскую волю. Как иначе? Тем более что русским императорам всегда требовалась «твердая рука» в деле просвещения.

Уже в мае 1861 года университеты вкусили первые плоды «военно-морского руководства». Были изданы новые правила, ограничивавшие число студентов, освобождавшихся от платы за посещение лекций.

Молодежь заволновалась. Однако до серьезных столкновений пока не дошло. Начались каникулы. Все разъехались на лето. Борьба развернулась осенью.

В конце августа к Николаю ворвался Студенский.

— Я только что приехал и — сразу к тебе! Читал новые правила? Сходки не разрешают, закрываются библиотека и касса. Лишают возможности поддерживать студентов, у которых нет средств для учения.

— Добавь к этому еще, что отменяются публичные лекции, отменены концерты. Правительство явно хочет закрыть низшим и средним сословиям дорогу к образованию. Мало того, вообще сама студенческая корпорация упраздняется. Нас лишили права самоуправления.

— Неужели потерпим это? Надо кликнуть клич...

— Правильно!

В день открытия университета собралась сходка. Громадный зал гудел.

— Не брать матрикулы!

— Отстоим самоуправление!

На кафедре Николай Утин. Его встречают овацией. В зале звенят его гневные, зажигающие слова.

— Перед произволом мы не отступим! Студенческая корпорация должна себя отстоять. Главное сейчас — не брать матрикулы. Эти книжонки должны служить удостоверением личности. В них вписаны новые правила. Кто возьмет матрикулы, тот признает эти гнусные правила, изменит товарищам. Сейчас надо немедленно избрать депутацию и вызвать попечителя. Пусть явится на сходку!

Депутация избрана. Во главе ее, разумеется, Утин. С ним его брат Евгений, затем Михаэлис и еще несколько человек. Попечитель Филипсон встретил депутацию надменно.

— Ко мне посылать депутатов? Как могли студенты позволить себе подобную дерзость!

Депутаты держались твердо и решительно.

— Передайте студентам, — наглел попечитель, — что я не оратор. Советую им заниматься науками а не сходками.

Слова эти подняли целый ураган гнева. Начались ежедневные сходки. Профессора кусали губы. Перед ними на скамьях сидели жалкие десятки «прилежных», а рядом, в свободных аудиториях, бушевали сотни «мятежных голов».

Душой движения был Николай Утин, энергичный, смелый, изобретательный. Сложившееся вокруг него боевое, решительное меньшинство в университете называли «утинской партией».

Эта партия не признавала компромисса. Она избрала курс на решительный конфликт. Пусть начальство одумается, а если не захочет отступить, тем лучше! Ведь закрытие университета — это настоящий политический скандал!

— Друзья! Мы не одни, — говорил Утин, — с нами вместе студенты всех городов. В Москве и Киеве, в Казани и Харькове люди протестуют против путятинских правил.

Начальство растерялось. Закрыть университет означало расписаться в своем бессилии. Что делать? Кто-то предложил запереть аудитории, в которых происходили сходки. Новый промах! Замки на дверях только подлили масла в огонь. Когда на другой день толпа студентов вышибла дверь актового зала и устроила там грандиозную сходку, начальство поняло свое поражение.

24 сентября 1861 года лекции были прекращены и университет закрыт. То была первая победа «утинской партии». Но на этом останавливаться нельзя. Утин и его друзья продолжали наступление. На следующее утро университетский двор был переполнен. Сходка. Начальство должно дать отчет, на каком основании прекратили занятия! Новая депутация к попечителю.

Филипсон бледнеет.

— Отвечайте, что меня нет. Еще не приезжал...

Произошло нечто необычайное. Все, как один, двинулись к дому Филипсона. По набережной, через

Дворцовый мост, мимо Зимнего, перекрывая весь Невский проспект, валила нестройная толпа.

— Куда?

— На Колокольную. Там попечитель...

Невиданное зрелище в столице! Тысячи любопытных теснились на тротуарах. Студенты шли медленно. У многих расстегнуты шинели. Фуражки небрежно сдвинуты на затылок.

В полиции переполох. На Колокольной улице шествие было встречено генерал-губернатором Игнатьевым. Возле него стоял обер-полицмейстер Паткуль. У дома попечителя сверкали штыки. Рота стрелкового батальона шла занимать караульные посты. Ее тут же завернули на Колокольную. При виде высшего начальства и солдат Николай Утин тотчас подозвал одного из студентов, шепнул ему что-то на ухо. Тот кивнул и моментально исчез.

В это утро Чернышевский был дома и работал в кабинете. Запыхавшийся студент торопливо сообщил о событиях этого бурного утра и что рядом на Колокольной студентов встретили солдаты. Чернышевский

спокойно поднялся из-за стола.

— Не волнуйтесь. Отправляйтесь обратно, не теряя времени. Я буду вслед за вами.

Студент убежал. Вскоре вышел и Чернышевский. Он направился к толпе. Встревоженная Ольга Сократовна не раз выходила на улицу. Ведь его могли тут же арестовать.

Он вернулся невредимым. Столкновения не произошло.

Перепуганный Филипсон понял, что его карьере пришел конец. Как это он довел дело до таких скандальных событий? Из университета окольной дорогой он проскакал домой на дрожках задолго до прихода студентов. Теперь он делал все, чтобы избежать дальнейшего обострения. Умолял полицию и военное начальство не вмешиваться, уговаривал студентов успокоиться и разойтись. Он соглашался принять депутацию, но только в университете.

Студенты выдвинули контртребование: попечитель должен идти в университет вместе с ними. И вот вся толпа двинулась тем же путем обратно. Во главе ее теперь шел отставной генерал Филипсон! Он бледнел и краснел, но выхода не было. У Гостиного двора ему позволили сесть на дрожки. И так до самого университета. Под конвоем нескольких сот молодых бунтарей!.. На глазах всей столицы!.. Генерал готов был провалиться сквозь землю. Кругом раздавались насмешливые замечания:

— Взяли в плен попечителя!

— Генерал арестован!

Попав в свой кабинет, Филипсон снова обрел уверенность.

— Примут ли студенты матрикулы? — сухо спросил он депутатов.

— Если и примут, то мы не знаем, будут ли их исполнять.

Ответ звучал довольно дерзко.

— Прошу всех сейчас разойтись. На следующей неделе будут возобновлены лекции, — сказал Филипсон. Он спешил закончить неприятную аудиенцию.

Депутаты сообщили студентам решение попечителя. Это была уступка. Университетский двор опустел.

Университет в казематах

В ночь на 26 сентября полиция арестовала тридцать человек, попавших в список зачинщиков студенческих беспорядков.

«Утинская партия» поднимала на протест все столичное студенчество. Теперь уже шла речь о столкновении с правительством, а не только с университетским начальством.

Утром 27 сентября громадная толпа молодежи буквально осадила университет. Около здания оказались прижатыми батальон Финляндского полка, жандармы и полицейские. В зале Совета университета беспомощно отсиживались генерал-губернатор, обер-полицмейстер и министр просвещения.

За окнами колыхалась и шумела многоголосая масса людей, от которой теперь можно было ожидать всего. Молодежь учебных заведений столицы пришла на помощь друзьям из университета. Среди сюртуков и пальто там и тут пестрели военные мундиры. Это офицеры Артиллерийской академии пришли поддержать студентов, если правительство попытается применить силу.

Хозяином улицы стала протестующая молодежь. Генерал-губернатору докладывали, что на Литейном мосту двое офицеров останавливали каждого военного и направляли к университету.

Один офицер, присоединившийся к протестующим, по распоряжению генерал-губернатора был арестован. Двое солдат повели его. Однако, отойдя несколько шагов, он скомандовал:

— Налево кругом! Марш!

Солдаты не посмели ослушаться. Офицер ушел.

Власти были бессильны справиться с молодежью. Полиция могла лишь выхватывать отдельных людей. Было арестовано 38 студентов и несколько офицеров. Остальные разошлись лишь к трем часам дня.

Ночью патрули обходили весь Васильевский остров. Тревога охватила официальный Петербург.

— Что это — революция? — шепотом спрашивали в Зимнем дворце.

Правительство решило во что бы то ни стало открыть университеты. Но сначала нужно было заставить студентов взять матрикулы. Мучили и уговаривали каждого поодиночке. Начальство не скупилось на обещания, лесть и угрозы. В результате из 1 500 студентов 500 человек попросили матрикулы.

Открытие университета было назначено на 11 октября. Теперь это был не университет, а что-то вроде тюрьмы. У дверей стояла вооруженная стража.

Напрасно профессора готовились в этот день к лекциям. Из тех, кто взял матрикулы, отважились явиться всего несколько человек. Зато явилось множество юношей, не бравших матрикул. Они пришли не для занятий. Их

привело на университетский двор желание выразить громкий протест против путятинских правил.

Надолго запомнился Николаю Утину день 12 октября. Готовясь к нему, «утинская партия» много поработала. Протест необходимо было довести до открытого столкновения с властями. Николай и его друзья стремились объединить в этом деле студенчество всех университетских городов. С Москвой связь была постоянной. Там готовилось выступление примерно в те же дни.

Сходка на университетском дворе в то утро была особенно многочисленной. Студенты потребовали отмены новых правил либо окончательного закрытия университета.

В тот день пролилась кровь. В разгар сходки из-за ограды блеснули штыки. Солдаты набросились на безоружную толпу. Били прикладами, кололи. По официальным данным, явно приуменьшенным, раненых было двадцать человек.

«Третья кровь» — озаглавил Герцен заметку в «Колоколе», посвященную этой зверской расправе. Первой кровью царского «освобождения» были убийства в Варшаве, вторая кровь была пролита при усмирении крестьянских волнений. Обливая кровью улицы столицы, царское правительство вновь доказало свою несостоятельность во всех делах, в том числе в области просвещения.

В тот день Николай вернулся домой поздно. Несмотря на усталость, он и его брат Евгений долго не спали, обсуждая происходившие события. За один день они стали старше на несколько лет. Спать почти не пришлось.

Было около двух часов ночи, когда раздался резкий звонок. Послышались шаги, звякнули шпоры. На пороге появился камердинер. Свеча дрожала в его руке. За его спиной Николай увидел фигуры жандармов.

Во время обыска Николай сохранял полнейшее хладнокровие. К этому он уже был готов. На письменном столе не было ничего, кроме элегантных безделушек. Перевернув вверх дном всю квартиру, жандармы ничего не нашли.

Под утро Николая привезли в Петропавловскую крепость. Все помещения были переполнены. В ту ночь было арестовано 243 студента. Каждого вновь прибывшего встречали со смехом. Кто-то бросил крылатую фразу: «Петропавловская крепость превращена в Петербургский университет!»

На другой день эти слова повторял весь город.

Никогда еще эти мрачные стены не видели столь жизнерадостных

заклученных. Их не пугали лишения. Прежде всего они были все вместе. Но главное — они стали героями дня. Им сочувствовала вся просвещенная столица.

Правительство вновь опозорилось, бросив в тюрьму сотни студентов лишь за то, что они требовали отмены университетских правил. За что, интересно, их будут судить?

В каземате собрался цвет молодежи. Вся «утинская партия» налицо. Вот и сам ее вожак, чернокудрый, неугомонный. Вот Михаэлис и Ген — лучшие помощники Утина. А вот завсегдатай сходок Михаил Покровский. Здесь же без умолку хохочет бесшабашный Евгений Утин.

Николая радовало мужество, с которым его товарищи переносили лишения. В камерах не умолкали песни. Студенты читали стихи, обсуждали события.

Все хорошо! Только сердце неустанно било тревогу. Николай ни на минуту не забывал, что здесь же, в крепости, томилась в одиночестве Надежда Корсини. Ее арестовали вместе со студентами.

«Утинская партия» не оставалась без дела. Николай и его друзья подготавливали товарищей к допросам. Следствие не дало никаких материалов для судебного обвинения.

Студентов продержали в крепости до декабря. Сам царь вынес им окончательный приговор.

Николай Утин, отнесенный было по степени «виновности» к первому разряду, вскоре оказался перечисленным во второй. «Высочайшее повеление» гласило: «Исключить из университета и отдать на поруки родителям». От старика Утина была взята подписка в том, что сын не будет «производить беспорядки или подстрекать к ним других лиц». Подписавший отвечал за нарушение своего обязательства по всей строгости законов.

Вернувшись из крепости, Николай не узнал родного дома. Отец угрюм и мрачен. Старшие братья встречают холодно. Исчез привычный ритм домашней жизни. Рассыпались уют и гармония большой семьи.

Начались столкновения. Старик требовал от сына прекратить «неблагоднамеренный» образ действий. Это может погубить карьеру и его самого.

Николай возражал спокойно и убежденно;

— Поймите, для молодых людей дороже всего честное имя. Карьера? Для кого и зачем она? К тому же для меня она все равно недоступна. Единственная деятельность, к которой я стремлюсь, — получение кафедры в университете — теперь немислима при моих отношениях с

профессорами.

— Ты должен поступить на службу, — настаивал отец. — Если это не удастся, поезжай за границу. Хотя бы для того, чтобы поправить здоровье.

В глазах отца поездка в Европу — лучшее лекарство против вольнодумства.

— Лечение необходимо, — соглашался Николай. — Крепость испортила зрение. Нервы расстроены. Нужно подать прошение о заграничном паспорте. А пока буду заниматься. Хочу сдать экзамен за университет.

Николай смотрел на заграничную поездку иначе, чем отец. За границей Герцен и Огарев. Там ближе можно познакомиться с революционным движением, а может быть, и принять в нем участие. Новый генерал-губернатор князь Суворов решил по-своему;

— Николаю Утину заграничный паспорт не давать!

Расправившись со студентами, правительство тем не менее вынуждено было пойти на уступки. Были отстранены министр просвещения, попечитель учебного округа, столичный генерал-губернатор и обер-полицмейстер Петербурга. В Москве и других городах также произошла смена чиновников. Это был несомненный успех.

Вечером в шахматном клубе, куда сходилась цвет литературного Петербурга, горячо обсуждались последние события. Один из посетителей, энергично жестикулируя, говорил:

— Нам нужно иметь оплот против правительства, а этот оплот можно найти только в такой корпорации, как студенческая. Мы видели, что она, состоя из горсти людей невооруженных, преследуемых, теснимых, разбила наголову нравственно и фактически правительство со всеми его войсками и штыками: министр, генерал-губернатор, граф Шувалов удалены, а все корпорация!

Оратор явно преувеличивал. Правительство не было разбито. Уступки лишь отчасти прикрывали новые репрессии. Всюду велась полицейская слежка. Жандармские агенты кружились вокруг Чернышевского и его друзей.

С этими зловещими переменами Утину пришлось столкнуться при первом же визите к Николаю Гавриловичу. Его появление у подъезда писателя было замечено сразу с двух сторон. Из окна — Ольгой Сократовной, сидевшей теперь неотлучно на посту с рукодельем, а из замочной скважины — шпионом. Он тайно скрывался в комнате швейцара.

— Положение серьезное, Николай Исаакович, — говорил

Чернышевский, — за нами следят днем и ночью.

Долго оставаться было рискованно. Коротко сообщив новости и рассказав о настроении в университете, Утин откланялся.

Его провожал Студенский.

Несколько слов, которыми вполголоса они обменялись в подъезде, были подслушаны. К «делу» Чернышевского в Третьем отделении была подшита новая бумажка.

Полицейские гонения не были случайностью. В столице появились революционные прокламации. Их рассылали по почте, раскладывали на креслах в театре. О распространителях воззвания «К молодому поколению» складывались легенды. Рассказывали о каком-то господине, который ехал на белом рысаке по Невскому и под носом у полиции раскидывал направо и налево запретные листки.

Николай тоже внес свой вклад в это дело. Вместе с Евгением Печаткиным он выпустил и распространил прокламацию с протестом против высылки из Петербурга профессора Павлова, который пострадал за резкую критику правительства.

Земля и воля!

После ареста Утин почувствовал, что вокруг происходит что-то серьезное. К нему просматривались друзья.

Однажды вечером он зашел в шахматный клуб. Это было в начале марта 1862 года. В газетном зале его окликнул Александр Александрович Слепцов. Николай давно уже был знаком с ним. Оба принимали участие в создании шахматного клуба. Изредка встречались у Чернышевского.

Александр Александрович поднялся навстречу. Сначала речь шла о делах шахматного клуба и общих знакомых. Когда же они удалились в одну из уединенных комнат, Слепцов, наконец, заговорил о главном.

— Вы, по-видимому, догадываетесь, что я хочу говорить с вами о важном деле. Мне хорошо известно, что вы сторонник самых решительных мер в борьбе против нынешних порядков.

— Да, — подтвердил Николай, — я убежден, что революция не делается без крови. Она меня не пугает, а если придется умереть... потомки будут завидовать нашей участи.

— Я знаю, что вы думаете так, — просто ответил Слепцов, — потому и говорю без всяких подходов. Создано тайное революционное общество, и

вам предлагают присоединиться.

Разговорились о вовлечении в организацию студентов и о том, какую работу прежде всего нужно выполнить молодежи.

На следующий день Слепцов рассказал Сергею Рымаренко о переговорах.

— Утин вполне подходит для четвертой пятерки» которую я сейчас подбираю. Он пользуется авторитетом среди студентов. Этот серьезный, энергичный человек, несомненно, будет полезен организации.

Было решено вовлечь Утина в организацию. Ему объяснили, как нужно создавать пятерки тайного общества, чтобы избежать провалов. Позднее Сергей Рымаренко не раз давал Николаю практические советы о приемах конспирации. Он требовал действовать очень осторожно, привлекать в организацию самых надежных людей. Сам Николай не должен подавать никакого повода к подозрению. Это особенно важно, так как Николай уже был арестован. За ним, безусловно, установлен тайный надзор. Поэтому нужно бывать в обществе, в театре — жить так, чтобы каждый его шаг казался на виду.

Начались дни лихорадочной работы. Перед Николаем раскрывались нити всероссийской организации «Земля и воля».

— Сейчас, — объяснял Слепцов, — необходимо завершить объединение в одно целое кружков и тайных обществ Петербурга, Москвы, Поволжья, юга и севера России. Почти везде у нас есть свои люди. В Москве инициатива принадлежит Юрию Мосолову и Николаю Шатилову. Это гимназические ученики Николая Гавриловича Чернышевского. У них уже сильная организация, она выросла из московского общества, которое называлось «Библиотека казанских студентов». Мосолов послал на юг молодого землемера Ивана Андрущенко с прокламациями и литературой. Москвичи не теряют связи с Саратовом. Сам Мосолов теперь создает кружки и заводит типографию во Владимире и Нижнем Новгороде. В Казани действует Умнов, в Вологде — Бекман. Люди не сидят сложа руки.

Николай внимательно слушал. Утина поразила широта замысла. Все кружки и тайные общества России должны были действовать на основе общей платформы. Ею служит изданное в прошлом году воззвание «Что нужно народу?». Об этой платформе уже знали многие. Она была напечатана в герценовском «Колоколе» в июне 1861 года. Это была платформа революционной партии.

«Очень просто, народу нужна земля да воля!» — отвечали составители возвания на вопрос, поставленный заглавием.

Крестьяне требуют «всю землю» и «всю волю». Царский манифест 19

февраля обманул надежды. Революционная партия знает, что достичь цели можно только всеобщим вооруженным восстанием. Уже в 1863 году народ должен подняться против помещиков. То был срок подписания грабительских уставных грамот. К тому времени нужно успеть объяснить народу необходимость организованной вооруженной борьбы и подготовить восстание народа и армии.

Но в богоспасаемой империи путь к народу закрыт. Значит, надо добиться условий, при которых можно говорить с народом более или менее открыто. Такие условия может дать только широкая политическая кампания. Ее успех на первых порах зависит от многих условий, в том числе от участия либерального дворянства.

Адресная кампания! Вот что должно служить началом общего революционного подъема. Пусть она начнется на основе скромных, урезанных требований. И составители воззвания «Что нужно народу?» выдвигают эти требования. Нет, это еще не «вся земля». Предлагается передать крестьянам в собственность лишь тот надел, которым они пользовались у помещика до манифеста, а ведь манифест не дал даже этого надела. От него в виде отрезков к помещикам отошли лучшие куски. Выкуп земли должен производиться за счет всей нации. Помещики тоже должны принять участие в выкупе. Но народ, пишут составители воззвания, не хочет «обижать» помещиков. Пусть из государственных доходов они получают в течение тридцати лет один миллиард рублей. Этого им будет вполне достаточно. Лишь бы не повышались налоги.

Помещики недовольны многими нынешними порядками, но они до смерти боятся революции. Если так, то пусть они примут участие в мирной адресной кампании.

А как же обстоит дело с «волей»? Нет, пока еще составители воззвания не выступают за «всю волю». Это дело будущего. Крестьянин еще верит в царя. Его надо разубедить. И сделает это сам «помазанник божий». В воззвании предлагается просить «всей землей» царя созвать всенародный земский собор. Он должен решить вопрос о земле. Пусть крестьяне верят покуда, что царь пойдет на такой шаг по просьбе народа. Пусть помещики надеются, что они убедят правительство созвать собор во избежание революции. Революционная партия в чудеса не верит. Придет час, и царь откажется. Но будет уже поздно. Это будет гибель всех надежд на царскую милость. Крушение иллюзий — лучший пропагандист. Революционная партия призовет народ к вооруженной борьбе за созыв земского собора. Тогда-то революционная партия кликнет клич и поведет народ на битву за «всю землю» (ее надо отобрать у помещиков) и за «всю волю» (республика

вместо монархии).

А пока адресная кампания! Необходимо разъединить помещичью клику. Переманить на время к себе либеральную часть дворянства. Адресная кампания дает все необходимое для подготовки восстания. Ведь под предлогом мирного петиционного движения можно будет вести любую пропаганду.

Многое предстояло сделать «Земле и воле». Срок небольшой. Необходимо к 1863 году бросить в народ целую армию пропагандистов, подготовить к выступлению войско, прочно объединиться с польскими революционерами для совместного выступления. А главное— создать и укрепить партию революции.

Работы по горло. Николаю поручено заняться организацией издания подпольной литературы. «Земля и воля» нуждается в постоянно действующей типографии. Помощники Утина — Гулевич, Пантелеев, Жук, входившие в его пятерку, уже начали действовать. Они же помогли Николаю установить практическую связь с революционно настроенными польскими студентами в Петербурге.

Много хлопот доставил московский кружок студентов, руководимый Заичневским и Аргиропуло. Утин не раз встречался с ними в университете. Они привозили в Петербург целые кипы литографированных ими сочинений Герцена. За это поплатились оба. Сидели в Петропавловской крепости, а сейчас в Москве под арестом ждут суда. Умные и талантливые люди. Их организация продолжает действовать: возглавила волнения студентов в Москве. У них какие-то нелады с обществом Мосолова и Шатилова. Но действуют очень энергично. Еще в апреле от Заичневского в Петербург прибыла группа студентов во главе с Аполлинарием Покровским. Предложили присоединиться к ним. Утин хорошо помнил эту встречу. На ней присутствовали, кроме Николая, Слепцов, Пантелеев и студент Гогоберидзе. Расстались очень дружелюбно. Хотя окончательного ответа им дано не было. Слепцов решил подождать.

В начале мая Николай Утин съездил в Москву. Вел переговоры с Мосоловым и Шатиловым относительно деятельности их кружка. Узнал, что Заичневский и его друзья готовят проект революционной программы. Больше ничего выяснить не удалось.

Теперь Николай часто встречался с Чернышевским в шахматном клубе, иногда в редакции «Современника». Предлогом для встреч были общие дела в студенческом отделении Литературного фонда и организация общедоступных лекций в пользу студентов в здании городской думы. Утин знал, что Николай Гаврилович играет немалую роль в «Земле и воле», но

никогда не обращался к нему от имени тайного общества. Этого требовал конспиративный такт. Советоваться же приходилось по многим вопросам.

Чернышевский по-прежнему внимательно следил за настроением студентов. Давал советы и оказывал помощь. Он вмешался в конфликт, возникший в те дни между студентами и профессором Костомаровым. «Думской историей» было названо потом это шумное столкновение. Как-то на одной из лекций профессор бестактно прошелся по адресу боевой, протестующей части студенчества. Он получил резкий отпор. Брат Николая, Евгений, прямо со скамьи оборвал лектора оскорбительным выкриком.

— Ах, молодость, молодость! — смеялся Николай Гаврилович, слушая Утина. Однако скандал уладил.

Трудное время

Пожары в мае 1862 года были началом провокаций и полицейского террора. Одним из первых был арестован Сергей Рымаренко, затем каждый день все новые и новые жертвы.

Утром 7 июля в передней квартиры Чернышевского раздался звонок. Ему не придали особого значения. Хозяин мирно беседовал в зале с сотрудником «Современника» Антоновичем и доктором Боковым.

Дверь шумно отворилась, и приземистый человек в черном мундире бесцеремонно шагнул в зал.

— Мне нужно видеть господина Чернышевского!

Неприятное, изрытое оспой лицо пришельца было хорошо знакомо присутствующим. Это жандармский полковник Ракеев. Его привыкли видеть во всех общественных местах. Играя добродушного простака, он любил похвастаться тем, что некогда сопровождал тело Пушкина в Святые Горы. Сегодня против обыкновения на нем не было голубого мундира.

Хозяин дома понял все.

— Я Чернышевский. К вашим услугам!

— Мне нужно поговорить с вами наедине.

— А, в таком случае пожалуйста ко мне в кабинет.

Николай Гаврилович бросился из зала так стремительно, что офицер растерялся.

— Где же, где же кабинет?!

Затем крикнул повелительно:

— Укажите, где кабинет Чернышевского, и проводите меня туда!

Из передней вынырнул пристав, он проводил полковника. Вернувшись, пристав предложил Бокову и Антоновичу уйти. Подавленные, понуриив головы, они вышли на улицу, не говоря друг другу ни слова.

В кабинете Чернышевский успел уничтожить записку Николая, оставленную на столе. Когда его уводили, он успел шепнуть жившему у него Вениамину Ивановичу Рычкову:

— Передайте Николаю Утину, чтобы он не беспокоился...

Арест Чернышевского произвел ошеломляющее впечатление на всех передовых людей.

Аресты не прекращались. «Страшное, проклятое лето», — вспоминал впоследствии Николай. Но молодежь оставалась верной знамени «Земли и воли». Она продолжала борьбу. В это трудное время особенно важно было показать правительству, что революционная партия невинна и что арестованы невинные люди.

Условия работы усложнились. Полиция пустила в народ слух об участии в поджогах студентов. Вся семья была обеспокоена отказом Николая в пропуске за границу. Он догадывался и сам, что это дурной признак. Над ним сгущались тучи. Несколько раз ходил он к генерал-губернатору узнать, разрешен ли ему, наконец, выезд. Суворов издевался прямо в лицо:

— Как? Разве вы... не арестованы?

Еще в начале марта петербургскому обер-полицмейстеру Анненкову было доставлено перехваченное почтой письмо какой-то болтливой девицы:

«Писано в С.-Петербурге 3 января 1862 года. Как я желала бы встретиться с тобой, чтобы передать тебе хотя бы частичку того радостного кипения, которым заполнена теперь моя жизнь! В вашей сонной Москве вы совершенно лишены возможности дышать воздухом современности. Здесь все кричат «крови! крови!». Требуют действия. Утинская партия решительно преобладает. У меня собирается кружок самых отчаянных демократов. Я теперь совсем настоящая *etancière* — ношу мужскую шапку из меха!

Прощай, моя дорогая, и постарайся приехать в Петербург, — жизнь только здесь.

Твоя Лиза».

Вечером обер-полицмейстер сидел в кабинете Суворова. Оглядывая изысканное убранство, он с глубокой завистью думал: «Умеет же окружить себя блеском и придать себе вес!» Суворов поглядывал на него с легкой

насмешкой: «Этот тугодум не продвинется далеко!» Впрочем, свои мысли он скрывал под маской любезности:

— Письмо, которое вы мне изволили переслать, весьма любопытно. Но смею заметить, что, по моему разумению, этого еще недостаточно для ареста Утина. Нет прямых доказательств.

Летом 1862 года Утин продолжал работу по организации печатания прокламаций. Были изданы воззвания «К образованным классам» и «Предостережение».

В них говорилось, что «образованные классы», под которыми в первую очередь подразумевалось дворянство, должны отказаться от поддержки правительства, начавшего террор. Такая поддержка обернется худо для них же самих, ибо это ведет к усилению тирании, от которой не сладко даже дворянам.

Авторы воззваний взяли под защиту революционный манифест «Молодая Россия». Его составителей обвиняли в проповеди поджигательства и резни. «Молодую Россию», как выяснилось, издала в середине мая группа Заичневского и Аргиропуло. Это была та самая программа, которую юные москвичи готовили целую весну. В ней провозглашались социализм и гражданская война против «всех имущих». Николаю Утину и Слепцову пришлось убеждать Заичневского и его друзей в несвоевременности опубликования максимальной программы революционной партии.

Николай присматривался к людям в организациях молодежи, существовавших легально. В комитете Литературного фонда он обратил внимание на Дмитрия Степанова, студента естественного факультета университета. Николай расспросил, о нем друзей. Ему сказали, что на Дмитрия можно положиться.

Предлог для знакомства с Дмитрием был найден.

— Меня просили порекомендовать кого-нибудь для занятий математикой. Не могли бы вы взять на себя урок?

— Охотно.

Семья, где Степанов начал давать уроки, жила на даче в Лесном. Там же находился в то время и Николай Утин. Они часто встречались. Встречи и продолжительные беседы сблизили их. Николай одобрял образ мыслей нового товарища и, наконец, однажды сообщил Степанову, что есть люди, взявшиеся изменить существующие порядки и создавшие тайное общество.

— Может быть, и от тебя потребуется услуга. Ты готов принять участие в общем деле?

— Можешь полностью рассчитывать на меня, — горячо отозвался Дмитрий.

Николай отвел Степанова в тайную типографию, где его обучили новому делу. Там он работал до декабря 1862 года. Юноша гордился оказанным доверием, отдаваясь с душой общему делу. То были издания «Земли и воли». Их тайну он хранил свято. С Николаем он теперь встречался редко. А когда являлась необходимость, у подъезда богатого дома на Галерной улице появлялся скромно одетый студент. Он тихо называл фамилию, и лакей немедленно провожал его в кабинет Николая. Изредка Николай сам приходил к Степанову под предлогом пирушек. Их Степанов устраивал вместе с вольнослушателем университета Станиславом Издебским и окончившим университет кандидатом Судакевичем.

Всю зиму Николай старался вести жизнь, о которой ему когда-то говорил Сергей Рымаренко.

Он скитался по балам и театрам. Пусть все видят, как спокойно и праздно проводит он свободное от занятий время.

Дорого обходились ему эти «развлечения».

«У юноши слабое здоровье», — думал каждый, глядя на бледного и худого театрала. Никто не догадывался, что его изнуряла большая работа. Днем ее делать было невозможно. После ареста Рымаренко и других друзей Николай Утин вошел в состав Центрального комитета «Земли и воли». И теперь, опустив шторы, он проводил бессонные ночи у стола. Неизменная зеленая лампа освещала зашифрованные письма из провинции либо пачки квитанций, выдаваемых «Землей и волей» жертвователям денежных сумм. Иногда это были пробные оттиски, только что поступившие из типографии, а порой лист бумаги с наброском очередного воззвания. Его надо быстрее закончить. Утром за ним придет Степанов.

А чего стоили ему занятия экстерном? Учиться кое-как теперь было нельзя. Реакционеры злобствовали. «Наша неучащаяся молодежь», — глумились они над студентами, протестующими против реакционной системы университетского образования, а вместе с нею против всех порядков помещичьей империи. Клеветникам нужно было дать отпор.

И Утин, не разгибаясь, сидел над энциклопедией законоведения. Следом за ней шла политэкономия Рошера, а дальше рукописные лекции гражданского и полицейского права. Впереди курс государственного права европейских держав, курс судебной медицины... Сколько требуется сил на все это? Поистине трудное время.

В эту зиму Николай Утин, как член Центрального комитета «Земли и воли», получил особое задание — поддерживать связи с польскими

революционерами. Теперь все отношения с Варшавским Центральным комитетом осуществлялись только через Николая. К нему являлись двое. Один — Иосафат Огрызко, принадлежащий к числу руководителей петербургской польской организации. Его Утин знал раньше как содержателя типографии, где печатались студенческие сборники. Вторым был Владислав Коссовский — худощавый, стройный поручик со светлоголубыми глазами и решительным лицом. Они передавали Николаю корреспонденцию от польского революционного правительства, революционные прокламации, письма и газеты и затем пересылали в Польшу получаемые от него письма.

Восстание в России и в Польше намечалось одновременно на весну 1863 года. Однако уже зимой Варшавский Центральный комитет прислал тревожное письмо. Николай торопливо пробежал строки.

Царское правительство, чувствуя подготовку к восстанию, назначило проведение военного набора; оно решило забрать в армию и удалить из Польши революционную молодежь. Обстоятельства, следовательно, вынуждали начинать восстание теперь же.

Через Николая был направлен ответ. В России выступление еще не подготовлено. Русское крестьянство поднимется на борьбу не раньше весны 1863 года. Организация «Земля и воля» ослаблена арестами и поддержать братьев поляков в данный момент не может. Если восстание в Польше отложить невозможно, то помощь пока может быть оказана лишь людьми, оружием и пропагандой.

И вот восстание началось! За его ходом с волнением и надеждой следили революционеры не только в России, но и в других странах. В далекой Англии 17 февраля 1863 года Ф. Энгельс писал к К. Марксу: «Поляки — молодцы. И если они продержатся до 15 марта, то по всей России пойдут восстания»^[15].

Русские революционеры возлагали все надежды на весну. А пока что приходилось действовать в обстановке политических репрессий.

Жандармские агенты не давали покоя. Прежнюю типографию пришлось прикрыть. Николай решил продолжать печатание изданий «Земли и воли» в имении Михаила Вейде. С ним он учился на юридическом факультете.

Храбрый юноша рвался в ряды польских повстанцев. Выслушав Утина, он с готовностью согласился вернуться в свое имение. Да, он наладит печатание, а затем уйдет «до лясу».

В доме на Галерной, уединившись в кабинете, они обсудили все детали.

— Перед самым отъездом я познакомлю вас с человеком, который будет печатать, — говорил Николай, — ваша обязанность — устроить так, чтобы обеспечить сохранение тайны и надежно укрыть типографию.

— Это я гарантирую, — заявил Вейде, — ведь я знаю там каждого человека, мне знакомы каждый куст, каждая тропинка.

— В случае ареста, — продолжал Николай, — скажите, что вы получили типографские принадлежности от какого-нибудь студента университета, который умер или уехал за границу.

Через несколько дней расторопный Михаил Вейде уже вез типографские принадлежности в свое имение, в село Беловское Люцинского уезда Витебской губернии. Там он спрятал их на чердаке дома. Спустя некоторое время он уже звонил в колокольчик у подъезда дома Утиных.

Вместе они отправились к Степанову. Николай познакомил их, дал им 50 рублей на расходы. Последние инструкции. Рукопожатия. Затем на извозчике к Варшавскому вокзалу.

Типография в Мариенгаузене

Прибыв в Беловское в конце января 1863 года, Степанов немедленно приступил к печатанию. Дом Михаила Вейде был небольшой и довольно ветхий. Его отец служил управляющим в соседнем имении Мариенгаузен, принадлежавшем помещице-вдове Липской. Отец Вейде уже умер, оставив маленькое имение ему и двум его младшим братьям. Все нравилось здесь Степанову и Вейде, если бы не две пары любопытных мальчишеских глаз. Вскоре они стали серьезной помехой.

Вейде отправился за советом в имение Мариенгаузен. Там в те дни находился брат помещицы — Антон Рыцк. Он помог переправить типографию в приселок Семенов, в дом управляющего имением Полонского. Но и здесь встретились непреодолимые трудности. В имении Мариенгаузен Антон Рыцк собирал отряд повстанцев. Заканчивались последние приготовления к выступлению. Поэтому, спешно закончив печатание 300 экземпляров журнала «Земля и воля», Степанов повез их в Петербург. Вейде ушел к повстанцам.

В Петербурге Степанов передал Николаю привезенные экземпляры.

— Нельзя сказать, чтобы идеально, — говорил Николай, просматривая оттиски, — но пустить в дело можно. Молодец Дмитрий!

— Но там продолжать нельзя...

Степанов рассказал о положении в Мариенгаузене. Николай внимательно выслушал его и задумался.

— Необходимо немедленно забрать оттуда типографские принадлежности, а тем временем придумаем что-нибудь другое.

На следующий день Николай познакомил Степанова с Жуковым. Это был штабс-капитан в отставке, приехавший недавно из Киева.

Илья Григорьевич Жуков уже прошел революционную школу. Он был твердым человеком. Его принудили уйти в отставку за связь с революционно настроенными студентами и сочувствие освободительной борьбе поляков.

Вскоре пассажирский поезд мчал двух человек в леса Витебской губернии. Под стук колес доносился говор пассажиров. Рассказывали, что ездить стало опасно. В Польше и Литве все шире разгоралось восстание. Повсюду выставлены заставы, усилена охрана.

Путешественникам было невдомек, что в тот день неподалеку от цели их поездки, в деревне Кобылице Островского уезда, перед толпой мужиков стоял усатый человек. То был волостной голова. Он кричал, краснея от натуги:

— Слушайте строгий приказ! Всем известны слухи о беспокойствиях в мызе Мариенгаузен. Приказываю: всех неизвестных, приезжающих из Люцинского уезда, а равно едущих в тот уезд, спрашивать, что за люди, и требовать виды! Смотрите, чтобы кто не провез оружие! Если вещи у кого слишком тяжелые — задерживайте и доставляйте ко мне!

Мужики расходились угрюмо, опустив головы.

Шли дни. Кругом было спокойно. По дороге из опасного уезда двигались пешком и ехали на подводах мирные люди. Беда случилась в ночь с 25 на 26 февраля. Въезд в деревню, как требовалось, был заложен бревном. Около полуночи караульный услышал сильный стук. Выйдя из избы, он увидел знакомого мужика и с ним двух проезжающих. Крестьянин вез их на станцию. Седоков попросили пройти в избу

— Паспорта есть?

Один оказался без документов.

— Задержать обоих и обыскать!

В дом Рубиловского волостного правления через два часа ввалилась группа людей. Следом за арестованными внесли два небольших увесистых чемодана. Щелкнули замки. На пол посыпались листы, испещренные типографским шрифтом. В одном из чемоданов какие-то железные непонятные вещи.

Голова взял в руки первый попавшийся лист.

«Земля и воля».

На багровом лице зашевелились усы. Голова вполголоса читал крамольные слова:

— «Есть люди наивные и недалёковидные, которые воображают что с течением времени деспотизм постепенно ослабевает и устранится сам собой... воображают, что венценосный деспот поведет нас к свободе!» Ага! Дерзкие выражения о священной особе императора! А дальше: «Правительство, например, только коснулось крестьянского вопроса, но отнюдь не разрешило, а только запутало его... Народ обманут», А вот и про бунтовщиков-поляков что-то говорится: «Поляки хотят быть самостоятельной нацией... они не станут стеснять народной воли... В этом мы убедились вполне вследствие наших личных отношений с руководителями польского движения и честным словом уверяем в том же всех русских».

Голова перевернул страницу. Строчки запрыгали перед его глазами:

— «Россия неминуемо идет к революции... Это закон новой истории... Страх правительства — лучшее доказательство близости революции...»

Голова свирепо оглянулся на мужиков, стоявших без шапок.

— Ну, чего уставились! Марш отсюда! А вы, господа проезжие, будете отправлены в уездный город.

26 февраля Жуков и Степанов были отвезены в тюрьму в уездный город Остров. Затем они были доставлены в Петербург и заключены в Петропавловскую крепость. Началось следствие.

Допросы... угрозы... угрюмые стены камеры, решетка, шаги часовых...

Жуков держится точно кремень. Жандармы слышат от него одно и то же. Он, Жуков, ездил в имение Мариенгаузен к знакомому Степанова. Хотел найти там себе службу.

Больше ничего не знает.

Степанов крепится. Но недостает опыта. Жандармы ловят его на отдельных словах, цепляются, мучают уловками, стремятся сломить волю.

Нервы не выдержали. Быстро утомляющийся, впечатлительный, Дмитрий не смог устоять. Однажды он заявил, что получил типографские принадлежности от Утина, который привел к нему Вейде, дал деньги на расходы. Ему Степанов отвез готовые 300 экземпляров журнала «Земля и воля».

Вернувшись в камеру, Степанов пришел в отчаяние от своего поступка. В тот же день он написал объяснение. Все сказанное им об Утине

— низкая клевета, вызванная ненормальным состоянием. Экземпляры «Земли и воли» он никому не отдавал, а уничтожил дорогой, так как оттиски были никуда не годны.

Показание Степанова, данное 28 апреля, стало известно Центральному комитету «Земли и воли».

Вскоре в сумраке конспиративной квартиры двое вели серьезный разговор. Слепцов доказывал Утину необходимость немедленного отъезда за границу.

Николай пытался возражать, но Слепцов стоил на своем.

— Прежние наши потери были вызваны внезапным нападением врага. Было бы непростительно теперь, зная об опасности, отдаться в лапы долгоруковской шайки. Вы будете полезны там, где она не имеет силы.

Возразить было нечего. Началась спешная подготовка к побегу.

Ушел из западни

В среду 1 мая 1863 года Николай вышел из дому в два часа дня. Домой уже не вернулся.

Вечером в кабинет отца постучал Евгений. Старик Утин сидел в кресле, глубоко задумавшись. Он жил в вечной тревоге. Страх за благополучие всей семьи давно боролся с желанием спасти Николая от грозившей опасности.

— Папенька, мне Николай поручил переговорить с вами.

В глазах старика мелькнуло вопросительное выражение.

— Почти неделю тому назад, — понизив голос, начал Евгений, — Николай был предупрежден о том, что его собираются арестовать. Он молчал, потому что привык к мысли, что его не минует общий удел людей, однажды заявивших себя противниками деспотизма. После выхода из крепости уже девятый раз его намеревались арестовать.

Глаза старика вспыхнули, он наклонился вперед.

— Николай отказался бежать, — продолжал Евгений. — Мысль об этом была ему слишком непривычна. Он ждал ареста. Наконец вчера ему сказали, что медлить нельзя. Предложили деньги и все необходимое для побега. Он ответил, что может подвергнуть ответственности вас, как поручителя. Лучше погибнуть, чем стать подлецом. Ему отвечали, что будет гораздо хуже, если он останется. Его будут годы морить в крепости. Говорили, что отец не будет отвечать за совершеннолетнего. Разные

мерзавцы, конечно, за-

хотят вытянуть у отца деньги, но отец потеряет в сто раз больше, если сын окажется в крепости. Николай подумал и решился. Сегодня он уехал.

Отец в изнеможении откинулся на спинку кресла.

— Но почему он не простился?.. Как он мог уйти, ничего не сказав...

— Он не мог. Тогда все члены семьи стали бы соучастниками побега. Он и мне сказал, только уже уйдя из дома. Через две недели из Брюсселя он напишет.

— Только бы добрался благополучно, — дрожащим голосом произнес отец, — через сколько опасностей ему еще придется пройти... Нужно облегчить ему успех.

Старый банкир тяжело поднялся.

— Пока мы ничего не знаем, — уже деловым тоном заговорил он, — будем считать, что он уехал куда-нибудь поблизости.

Через несколько дней за обедом, когда собралась вся семья, отец спросил:

— А где же Николай? Я уже несколько дней не вижу его

— Уехал в Гатчину, — ответил Евгений.

— Нужно послать туда, узнать нем. Он не возвращается слишком долго.

Началась инсценировка поисков.

Полиция оставалась в полном неведении. Лишь 7 мая, изругав подкупленного дворника Утиных, квартальный надзиратель написал донесение о побеге поднадзорного. Медленно двигаясь по инстанциям, бумага надолго застряла в канцелярии обер-полицмейстера Анненкова

Чтобы отвести удар от семьи, отец Утина, выждав две недели, в течение которых Николай должен был достигнуть Бельгии, решил сам сообщить начальству о сыне.

Утром 14 мая элегантный чиновник особых поручений докладывал Суворову о письме Утина-старшего.

— Как, разве он все еще не арестован? — произнес князь заученную остроту.

— Ваше превосходительство, это письмо его отца, коммерции советника Исаака Утина. Николай Утин скрылся.

— Как хорошо, что я не разрешил ему ехать за границу. Он, конечно, не вернулся бы, а вина осталась бы на мне! Теперь это относится к ведомству обер-полицмейстера. Будьте любезны, переправьте, пожалуйста, письмо ему.

Анненков бушевал. В его ведомстве началась запоздалая суматоха. Был

отдан приказ городской полиции — «собрать сведения, не находится ли здесь, в Санкт-Петербурге, бывший студент Николай Утин, который по показанию отца его не является в дом уже более двух недель». Затем был отдан приказ произвести формальное следствие о побеге Николая Утина. Во главе следственной комиссии был поставлен генерал-майор Огарев.

К ответу притянули отца. Как допустил он побег сына, взятого им на поруки?

Но у того талантливый юрист — Серебряный. С его помощью коммерции советник Утин упорно защищался в следственной комиссии. Доводы были несложны. Сын его, Николай, живя в отдельной квартире, приходил к нему только обедать и иногда не являлся по нескольку дней, так что он за ним уследить никак не мог. К тому же поручительство не было составлено по законной форме. То была просто какая-то бумажка, из которой нельзя понять обязанности поручителя.

Обвинить отца в соучастии в делах сына не представлялось возможным. Однако его оставили под домашним арестом.

А Николай все еще не добрался до Бельгии. О нем уже второй месяц не было никаких сведений.

Покинув дом 1 мая, он отправился на указанную заранее квартиру. Парикмахер и портной сделали Николая неузнаваемым. На следующий день его уже отправили из Петербурга, дав подробные наставления о маршруте, которым он должен был пробраться за границу. Всем делом руководил Центральный комитет «Земли и воли».

Неожиданные препятствия надолго затянули его путешествие. Николай писал позднее отцу: «Мне пришлось терпеть многое, начиная с холода и жары и кончая отсутствием пищи... Я видел, как около меня проходили российские жандармы с арестованными, я видел, как неожиданная глупая смерть приблизилась ко мне и готова была поглотить меня, — не хотелось мне умирать далеко от всех, в неизвестности, так что и весть о моей смерти не донеслась бы скоро... Одна опасность еще не успела вполне исчезнуть, как явилась другая: изнурительная лихорадка, долго она мучила меня».

У больного Николая похитили деньги. Он остался без всяких средств. Написать в те дни отцу он не мог. Письмо могло навести полицию на его след. Он не добрался еще ни до одной из стран, укрывавших в то время политических эмигрантов. То были Англия, Бельгия и Швейцария. Срок, на который Утин имел разные паспорта, истек. Но Утин не терял уверенности. «Я оставался тверд, — писал впоследствии он отцу, — я не верил, что после стольких приключений сорвется, и не сорвалось».

К нему на помощь явились друзья. Они разыскали его, снабдили деньгами, паспортом, окружили заботой и уходом. Николай поправился и в начале июля явился в Брюссель. Отсюда он отправил отцу телеграмму, а затем письмо с описанием своего путешествия. Здесь его ожидала счастливая весть.

Он скоро сможет увидеть Надежду Корсини!

Надежда сумела выбраться за границу. В начале августа 1863 года она уже была в Лондоне. Она стала постоянной посетительницей дома Герцена. Девушка произвела на Герцена очень хорошее впечатление. Ему было бесконечно жаль умную и смелую подругу Утина. В Петропавловской крепости во время студенческих волнений она заболела туберкулезом. Теперь ее жизнь была в опасности.

Николай горел нетерпением увидеть ее и, едва оправившись после болезни поспешил в Лондон.

И вот он наконец, с волнением стоит у дверей ее квартиры. Из комнаты слышался знакомый милый голос. Дверь открылась. Она смотрела на него, ласково улыбаясь.

Вечером они отправились к Герцену. Входя в двери его дома вместе с любимой девушкой, Николай с волнением подумал, что это для него доброе предзнаменование. Он вместе с ней вступает впервые в обитель знаменитого мыслителя и борца, увидеть которого он мечтал с детства. Пусть же они пройдут рядом через всю жизнь дорогой борьбы.

В «Колоколе» от 15 августа 1863 года на первой странице было помещено сообщение Герцена об успешном побеге Утина. На последней странице того же номера было напечатано письмо Николая Центральному комитету общества «Земля и воля».

«Прибыв, наконец, в Англию, считаю первым и главным своим делом уведомить печатно Комитет общества «Земля и воля» об успешном исходе моего путешествия, длившегося так долго вследствие моей случайной тяжелой болезни. Благодарю публично Комитет за своевременное предупреждение меня о грозившей мне гибели; благодарю за снабжение меня всем нужным для выхода из России; за средства как денежные, так и все другие; за пути, которые были мне указаны.

Считаю нужным заметить здесь для сведения Комитета, что все лица, к которым я должен был обращаться во время своего пути по указанию Комитета, вполне оправдали его доверие».

Письмо из Брюсселя и телеграмму отец отправил к генерал-губернатору Суворову, извинившись за употребленные его сыном резкие выражения в адрес правительства. Суворов переслал эту корреспонденцию

в следственную комиссию.

Да, Утин теперь мог писать смело.

Председатель комиссии Огарев бледнел, читая строки о правительстве: «Вы думаете, — так говорил Николаю член тайного общества, убеждая бежать за границу, — что теперь правительство станет стесняться чем-нибудь! Оно осмеяно и опозорено тем, что, несмотря на все его преследования, у него под носом образовалось тайное общество, выпускаются тайные листы; ему надо показать, что виновник найден, и теперь вы избраны жертвой...»

Огарев запнулся. Далее шли слишком уж дерзкие выражения.

Письмо и телеграмма Утина не охладили пыла следственной комиссии. Не веря, что он за границей, она продолжала искать его в Петербурге. Лишь в конце августа до Петербурга дошел № 169 «Колокола», сообщавший о прибытии Утина в Лондон.

«Колокол» принес избавление старому Исааку Утину. 6 сентября, убедившись, наконец, что сын за пределами России, следственная комиссия освободила отца от домашнего ареста, взяв с него подписку о невыезде из Петербурга.

Но царские чиновники не успокоились. Следственное дело о побеге Николая Утина было отправлено в Вильно. Оно потребовалось суду в связи с мариенгаузенским делом, а также для заключения об Исааке Осиповиче Утине. В Вильно были отправлены Степанов и Вейде. Следствие тянулось почти два года.

Резиденция генерал-губернатора Западного края наводила ужас на жителей Вильно. Люди избегали проходить мимо. Ощетинившаяся копиями чугунная ограда, за которой возвышалась мрачная громада дворца, напоминала о тюрьмах, казнях, расстрелах, о крови, которой залил Польшу и весь Западный край Муравьев-вешатель.

В начале ноября 1865 года Муравьев поздно вечером сидел за массивным письменным столом, заваленным бумагами. Он просматривал дело петербургской организации «Земля и воля». Здесь показания обвиняемых, свидетелей, переписка и т. д. Документы составили 17 томов. В показаниях Огрызко и Коссовского, арестованных в Польше, говорилось о связях Центрального комитета «Земли и воли» в Петербурге с польским революционным правительством через Николая Утина.

Читая показания, Муравьев силился вспомнить, где он встречал имя Утина. И совсем недавно...

Вспомнил! Муравьев позвонил. Перед ним вырос чиновник особых поручений.

— Немедленно принесите приговор по делу в Мариенгаузене.

Чиновник бесшумно исчез. Через минуту на столе раскрылась знакомая папка. Муравьев торопливо просматривал пункты приговора, вынесенного 29 сентября 1865 года по делу о подготовке восстания в Мариенгаузене.

Вот! Николай Утин... Признан виновным в том, что составил враждебную правительству партию. Издавал возмутительный журнал «Земля и воля». Для печатания его послал Степанова и Вейде в Мариенгаузен, где готовилось восстание (следовательно, принимал участие в польском мятеже). Узнав о предстоящем аресте, бежал за границу, а по прибытии в Лондон поместил статью в «Колоколе». В своих сочинениях старается поколебать верность подданных России. За это вынесен приговор: «Хотя следовало бы казнить смертью, но как он бежал за границу, то по лишении его всех прав состояния считать вечно изгнанным из пределов государства и, буде имеет имение, конфисковать оное в казну».

Что же касается отца, то суд предоставляет рассмотрение его дела гражданскому начальству по месту жительства. Муравьев совсем недавно подписывал этот приговор. Он утвержден императором.

Теперь он уже не нравится вешателю. Это не приговор! За такие дела, как связь с Центральным революционным комитетом в Варшаве и подготовка восстания в России, нужно не такое наказание. Недаром этот Утин бежал за границу.

И перед владыкой Западного края снова изгибается чиновник особых поручений. Муравьев диктует новый приговор:

— «Николая Утина лишить всех прав состояния и казнить смертью расстрелянием, каковое наказание исполнить по поимке или явке его в отечество. Имущество же его, Утина, как бежавшего за границу и не явившегося по вызову начальства, взять в опекуновское управление, а имущество, которое принадлежит ему в Западном крае или достанется по наследству, взять в казну».

Военный суд послушно проштамповал волю Муравьева-вешателя. Новый приговор был вынесен 27 ноября 1865 года. Теперь палач обрушился на отца «государственного преступника».

До чего приятно сознание собственного могущества! Один росчерк пера — и через день-два у ворот судебного присутствия в Динабурге конвойные высалят старого банкира.

Самодур просчитался. За последние годы он настолько возомнил о себе, что забыл о существовании других сильных мира сего. Требование Муравьева о доставке старого Утина было направлено в канцелярию

столичного генерал-губернатора, минуя самого Суворова.

Князя взорвало. Это уже слишком! Не думает ли Муравьев командовать им, хозяином Петербурга? В дело вмешались высшие власти. В правящих сферах вообще недолгоблюдали Муравьева.

Слишком много власти забрал себе! Над ним стали язвить при дворе, а это уже дурной признак.

А главное, столичным вельможам не нравилось, что диктатор Западного края взялся указывать на их промахи. Они, мол, не заметили опасной деятельности Николая Утина в столице, упустили «преступника». В Петербурге заговорили, что дело Утина вообще не имеет большой важности. Специальная комиссия нашла, что распоряжение Муравьева об отце Утина совершенно изменяет утвержденное им же заключение.

Распря между вельможами избавила Исаака Утина от новой опасности.

У К. Маркса в Интернационале

За границей Николай Утин отдал все силы революционной деятельности. Поселившись в Лондоне, он занялся переправкой герценовских изданий в Россию.

Ему пришлось на время расстаться с Корсини, которая уехала лечиться. Его собственное здоровье становилось все хуже. Он также был вынужден серьезно заняться лечением. С этой целью лето 1865 года Николай провел в Страсбурге, а на зиму переехал в Монтре. Здесь он снова встретился с Надеждой. 17 февраля 1866 года в Женеве была скромно отпразднована их свадьба. Они поселились в Швейцарии. Здесь, в городе Веве, весной 1868 года образовалась небольшая колония русских революционеров-эмигрантов во главе с Утиным.

Вскоре у Утина и его друзей появилась идея создать русскую секцию Интернационала, которым руководил Маркс.

Об этой идее сообщили революционерам в Россию и в другие славянские страны. Требовалось узнать их мнение. Переговоры шли медленно. В нелегальных условиях связи были затруднены. Пока же русские революционеры-эмигранты начали издавать журнал «Народное дело». Первый номер его вышел в Женеве 1 сентября 1868 года.

В первом же номере издатели сообщали, что еще год назад у них явилась мысль о необходимости прочной связи русского революционного

движения с западноевропейским.

Обратиться к Марксу решили через его друга Беккера, которого знали русские революционеры.

Вечером 8 марта 1870 года Утин познакомил Беккера с программой и уставом секции, которые были выработаны группой русских революционеров.

12 марта 1870 года Марксу было направлено письмо с просьбой быть представителем секции в Генеральном совете Интернационала. Генеральный совет 22 марта принял русскую секцию в состав Интернационала, или, как его тогда называли, Международного товарищества рабочих.

Представительство русской секции при Генеральном совете принял на себя Карл Маркс. Он писал 24 марта членам русской секции:

«Я с удовольствием принимаю почетную обязанность, которую вы мне предлагаете, быть вашим представителем при Главном Совете».

Утин и его единомышленники взяли на себя пропаганду идей Интернационала. В Женеве вовсю заработал печатный станок с русским шрифтом. Николай Утин и его ближайшие помощники А. Д. Трусов и В. И. Бартенев горячо взялись за дело.

Еще в 1869 году Базельский конгресс Интернационала принял решение о повсеместном устройстве касс сопротивления. Кассы сопротивления создавались из взносов рабочих для помощи стачечникам, больным и т. п. Нужно было сообщить об этом русским читателям. И они прочитали о кассах на страницах «Народного дела». Вскоре такие кассы стали появляться в России.

В типографии «Народного дела» была отпечатана брошюра «Международное товарищество рабочих». Она была подписана Карлом Марксом. В ней рассказывалось о целях и задачах Интернационала. Затем излагались программа и устав русской секции как ветви Международного товарищества рабочих. Указывалось на необходимость пропаганды и устройства в России своей организации, чтобы поднять народ на активную борьбу против правительства, которое вместе с привилегированными классами стремится к систематическому ограблению народа.

Революционная эмиграция и молодежь России читали журнал «Народное дело» и произведения Маркса, которые переводились его издателями.

Порой эти издания доходили и до русских рабочих. На далеком Невьянском заводе, среди уральских рабочих «Народное дело» в 1872 году начал распространять революционер Перезолов. Вскоре к русской секции

примкнула Анна Васильевна Корвин-Круковская (сестра Софьи Васильевны Ковалевской). Она была одним из первых распространителей марксизма в России. Много труда и вдохновения было посвящено ею переводу на русский язык некоторых брошюр Маркса. Они публиковались в приложениях к номерам «Народного дела». Перевела Анна Васильевна и «Манифест Коммунистической партии». Его издали в 1871 году.

Николай Утин и его друзья из русской секции активно поддерживали Маркса в борьбе против бакунистов.

Деятели русской секции отчетливо сознавали, что борьба против бакунистов имеет международное значение. Анархистские идеи Бакунина оказывали отрицательное влияние на отсталую часть рабочего класса, в особенности во Франции, Италии, Швейцарии. Утин и его друзья не могли примириться с этим, они поддерживали Маркса, отстаивали принципы Интернационала, боролись за революционные цели всего европейского пролетариата.

Члены русской секции считали главными задачами пропаганду и организационную работу. Они ставили цель создания рабочей партии, которую представляли себе как организацию, объединяющую все слои трудящихся. В Россию направляли людей для расширения революционной пропаганды.

В целях конспирации эмигранты, направляемые в Россию для пропаганды, при выборах в секцию получали лишь общую характеристику. Имен не называли. При приеме в секцию новым членам ее выдавалась картонная карточка, на которой вместо имени стоял номер. Такой порядок установили и некоторые кружки в Петербурге, связанные с русской секцией.

Встречаясь с Утиным, Карл Маркс часто говорил с ним о Чернышевском. К нему Маркс относился с глубоким уважением. Много раз обсуждали планы организации побега Чернышевского, томившегося в сибирской ссылке. Все попытки освободить ссыльного кончались безуспешно. Трудно было даже доехать до места ссылки Чернышевского. Наконец в 1870 году Герман Лопатин разработал план. Его осуществление он считал реальным.

Герман Александрович Лопатин произвел на Утина огромное впечатление. Утин знал, как высоко ценил Маркс этого выдающегося революционера, говоря о нем: «есть мало людей на свете, которых я так люблю и уважаю».

Лопатин отправился в Сибирь под видом купца. План был дерзким, и Утин, боясь провала, советовал вслед за Лопатиным выехать П. А.

Ровинскому. Это был друг Утина. В 1863 году при побеге из России он провожал его до границы. В Сибирь он выехал в конце 1870 года по поручению Географического общества, которое организовало длительное путешествие по Сибири и Китаю для сбора научных материалов.

С каким волнением ждал Николай результатов этого смелого замысла! Сообщая Марксу об отъезде Лопатина в Россию, Утин добавил: «За ним последовал один из моих лучших друзей, отправившийся по тому же торговому делу. Таким образом, мы можем, наконец, надеяться, что это торговое дело останется за нами».

Увы! И эта попытка спасти Чернышевского не удалась.

В 1870 году Утин и другие члены русской секции приняли участие в руководстве большой стачкой в Женеве.

Русская секция многое делала для ознакомления русских революционеров с марксизмом и распространения марксистской литературы в России. При всем этом Утину и его соратникам не удалось в идейном отношении подняться на уровень самой передовой революционной теории.

Высоко ценя Маркса, они в то же время не понимали многих положений его теории. Историческую неизбежность торжества революции они объясняли ростом сознания масс. Пролетариатом они называли всех трудящихся. Преимущество России, по их мнению, состояло в наличии общинного землевладения. Они полагали, что у нее особый путь. В России в то время уже дымили фабричные трубы. Росли и рабочие кварталы в городах. Но Россия покуда оставалась отсталой страной, поэтому в русском революционном движении сохранялись незрелые, ошибочные народнические идеи.

Снова на родине

До сих пор остается загадкой, почему Николай Утин с половины 70-х годов отошел от активной политической деятельности.

С каждым годом он все сильнее ощущал тоску по родине и упорно обдумывал план возвращения в Россию. Наконец он решил, что диплом инженера даст ему возможность достигнуть цели. В качестве инженера он мог работать на частном предприятии и не зависеть от правительства. Утин начал учиться.

Случай, которого долго ждал Николай, наконец, представился. Ему

предложили поехать в Румынию на строительство железной дороги, которое вел купец Поляков — один из железнодорожных королей в России. Это было в 1877 году. Шла русско-турецкая война. Строительство в Румынии железных дорог и других сооружений было необходимо для военных операции на Балканах.

Напрягая всю волю и энергию, Николай работал так, что купец Поляков пришел в восхищение от своего нового инженера. Железнодорожный магнат начал хлопотать о возвращении Утина в Россию. Дело подвигалось успешно. Теперь нужно было, чтобы сам Утин написал прошение на имя царя. Стиснув зубы, Николай писал царю, выражая «чистосердечное раскаяние в безумных увлечениях незрелого возраста». Это была обязательная официальная форма прошений «на высочайшее имя».

9 декабря 1877 года разрешение было получено. Из Третьего отделения 15 декабря 1877 года было послано сообщение командующему Виленского военного округа. Там когда-то был вынесен смертный приговор Николаю Утину. Теперь правительство разрешало ему возвращение в Россию с установлением за ним строгого полицейского надзора.

Снова Россия! Николай с болью в сердце бродил по улицам Петербурга. Его тянуло к друзьям по прежней революционной борьбе. Но кипящий жизнью город казался пустым. Одни погибли, другие в Сибири, третьи... были так запуганы, что, заметив его, переходили на другую сторону улицы.

После возвращения в Россию Николай Утин прожил недолго.

*

1936 год. Лучи заходящего солнца золотили древние башни и крыши зданий. Надежда Константиновна Крупская сидела у письменного стола в своей маленькой комнате в кремлевской квартире. Рядом, на диване, сидел ученый, историк, специалист по истории русского рабочего движения.

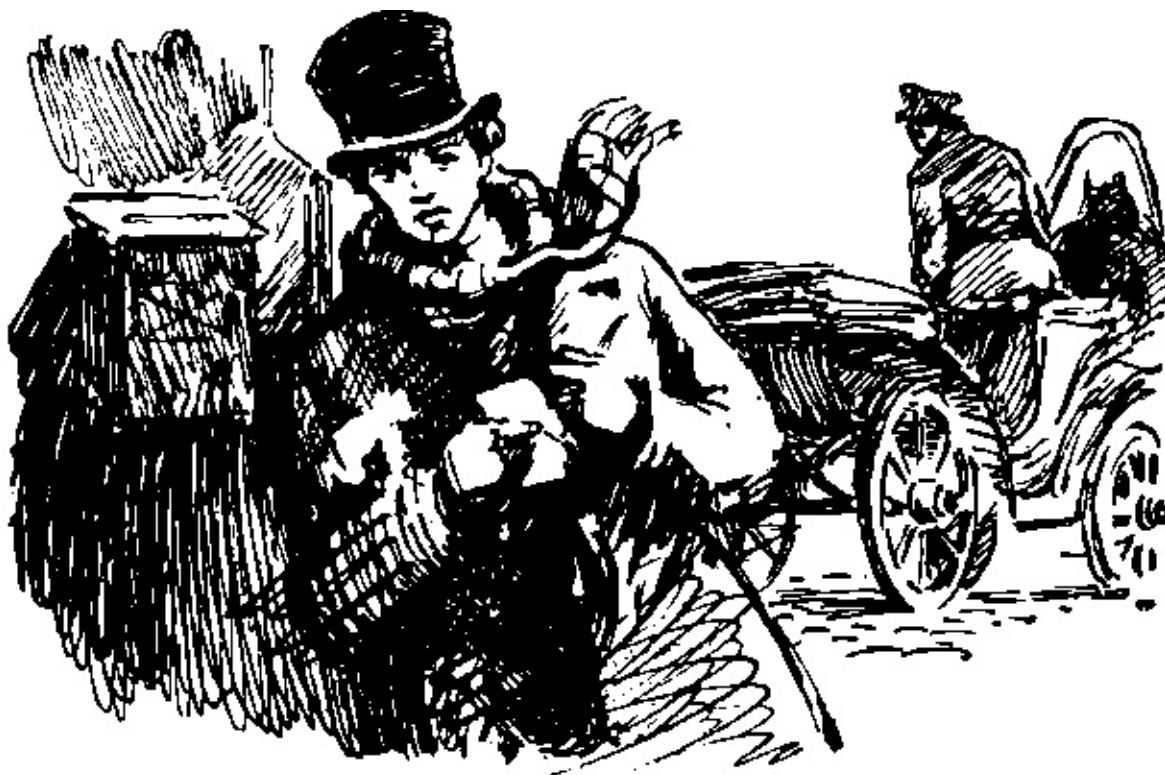
— Мне очень хотелось бы знать, кто такой Утин? — задумчиво говорила Надежда Константиновна. — Я уже не в первый раз спрашиваю о нем. Он меня очень интересуется. Я познакомилась с ним, когда мне было еще четырнадцать лет. Это было в 1883 году. Мы жили в Петербурге. Только что умер мой отец. Мы с матерью остались без всяких средств и страшно бедствовали. Вот тогда-то к нам и пришел Утин. Я знала, что

прежде отец посылал ему за границу карточки для первого Интернационала со сведениями о рабочих, о стачках и тому подобное. На этот раз он пришел к отцу, не зная о его смерти. Я сказала, что он умер. Он был поражен, стал расспрашивать меня, но я тогда была страшным дичком и сначала не хотела с ним разговаривать. Потом овладела собой. Узнав, как трудно нам жилось, Утин достал мне урок. Он очень помог нам с матерью. Заходил еще несколько раз, а потом вдруг исчез и больше никогда не появлялся. Всю жизнь мне никто не мог ничего сказать о нем.

Утин исчез неожиданно и не появлялся больше в семье Надежды Константиновны. Он скончался в том же году 18 ноября.



Я. Новикова ВЛАДИМИР ОБРУЧЕВ



Не хочу стрелять в своих!

Обручев просидел у Чернышевского весь вечер. Разговор шел о «высоких предметах», то есть о крестьянском вопросе, который так волновал их обоих в начале 1859 года.

На другое утро Чернышевский снова погрузился в свою работу.

Неожиданно в кабинет вошла служанка и сказала:

— Пожалуйста в залу, там вас спрашивают Обручев.

«Что такое? — подумал Чернышевский. — Вот уже полгода мы очень дружны с капитаном Обручевым, но не до такой нежной неразлучности. Вчера не предполагали видеться раньше как недели через две. Значит, экстренное дело. А главное, что ж он остался в зале и прислал сказать о

себе, а не вошел сам в кабинет? Странно!»

Чернышевский вышел в залу. Опершись рукой на стол, у дивана стоял незнакомый молодой человек в костюме безукоризненно строгой простоты. И сам он показался Чернышевскому человеком очень светского воспитания: так непринужденна была его поза, так легко он поклонился и сделал шаг к хозяину в ответ на его поклон.

Неожиданный посетитель был стройный человек среднего роста, сухощавый, довольно широкий в плечах, со светлыми, почти белыми, но очень курчавыми волосами, с очень белым, даже бледноватым, но здорового цвета лицом, черты которого были угловаты.

— Извините, — сказал Чернышевский, — служанка назвала мне фамилию моего приятеля господина Обручева— видимо, перепутала... Покорно прошу... — добавил Николай Гаврилович, внутренне смущаясь, что вышел в домашнем виде к незнакомому человеку.

— Служанка не ошиблась: моя фамилия действительно Обручев, — сказал посетитель, садясь и подавая письмо.

Чернышевский взглянул на адрес, разрывая конверт: рука Панаева. Развернул записку — так и есть: «Не найдется ли у нас в журнале работа для г. Обручева, который выходит в отставку, чтобы заняться литературою».

— Я посмотрю, поищу; может быть, найду что-нибудь для вас, но не рассчитывайте на это, скорее нет, — вынужден был сказать действительный редактор «Современника».

Обручев хотел встать и откланяться. Но Чернышевский остановил его вопросом:

— Вы не родственник Николаю Николаевичу Обручеву, которого я ожидал увидеть вместо вас?

Договаривая эти слова, он уже успел упрекнуть себя за этот вопрос: если б он был родственник, то, естественно, Николай Николаевич и рекомендовал бы его, а не явился бы он сам по себе. Но против ожидания посетитель ответил:

— Да, я ему родственник.

— И в хороших отношениях с ним?

— Да!

— Но ведь он знаком и с Панаевым, и с Некрасовым, и со всеми в «Современнике».

— Я знаю.

— Что за диво! Почему же вы не сказали ему, чтоб он познакомил вас?

— Потому что не хотел пользоваться рекомендацией.

— Его? Почему же?

— Не его в частности, а вообще, потому что не находил это удобным.

Чернышевский невольно почувствовал к нему некоторое уважение. Нежелание пользоваться рекомендацией хотя и было необычным, но честным. Новый Обручев заслуживает, чтобы посоветовать ему не делать глупости.

— Вы хотите выйти в отставку, чтобы заняться литературой. Занятие хорошее, если у вас есть беллетристический талант. Быть беллетристом можно и оставаясь на службе. А кроме повестей, ничто не требуется и ничто не выгодно. Собственно журнальная работа — черная работа, которая обременительнее службы; славы она вовсе не дает, денег дает мало. Да и здесь, как на службе, приходится ждать вакансий. Итак, ищите, испытывайте себя и ждите, оставаясь на службе.

— Я не могу этого сделать. Не дальше как через неделю я должен подать в отставку.

— Это жаль. Что ж, у вас вышли столкновения по службе?

— Нет. Но я должен выйти в отставку потому, что служба портит.

Чернышевский не выдержал и рассмеялся. «Служба портит! Это любопытно».

— Где же вы нашли такую службу? В откупках?

— Нет, — отвечал Обручев спокойно, улыбнувшись, — в военном министерстве.

Только теперь Чернышевский понял, откуда в этом штатском такая выправка.

— Интересно. Я знаком со многими служащими в этом министерстве. Признаюсь вам, не замечал ни на ком порчи от службы в нем. Одно из самых чистых министерств, помилуйте.

— Я не говорил, что портит служба именно в этом или каком-нибудь другом министерстве, я говорил, что портит служба вообще. Я хочу остаться человеком свободным.

— Хорошо. Я рекомендую вам оставаться на службе вовсе не так долго — несколько месяцев, в течение которых вы еще не испортитесь, а избежите риска. Служите, пока найдете работу и испытаете себя на ней.

— Это было бы лучше, правда. Но есть особенная причина — я хочу уйти с военной службы из опасения, что придется сделаться убийцей, стрелять в своих, и притом в тех, кто будет стоять за добро против зла!

Обручев сам удивился, что так просто и легко сказал редактору самую сокровенную причину отставки.

Чернышевский, казалось, не слышал этих слов молодого Обручева,

продолжал задавать вопросы и отговаривать бросать военную службу. Но если бы Обручев знал, как был поражен Чернышевский и тронут его горячей искренностью, ему бы стало легче. Чернышевскому было ясно, что служба противна убеждениям Обручева, кроме того, что может испортить его хорошим жалованьем и карьерою.

— Позвольте спросить, где вы кончили курс?

— В Николаевской академии Генерального штаба.

— В каком вы чине?

— Поручик гвардии.

— Ищите место на кафедре военной академии. Кафедра и вернее, и спокойнее, и почетнее журнальной работы. У вас остались связи с академией?

— С немногими из профессоров. — Он назвал двух-трех.

— Они руководят большинством совета. Я знаю, там есть вакантные места.

— Мне говорили. Но я не хочу деятельности», противной моим убеждениям.

— Даже и кафедра? Помилуйте!

Они разговорились. Чернышевский стал подробно разбирать каждый пункт предшествовавшего краткого объяснения, по каждой статье доказывал рассудительность своего мнения.

Владимир Александрович Обручев — так звали нового знакомого Чернышевского — слушал терпеливо, спокойно; возражал холодно и коротко; большей частью не оспаривал слов Чернышевского, а только говорил: «ваш взгляд таков: я не могу разделять его», «мой взгляд кажется вам неправилен; я остаюсь при мнении, что он верен».

Чернышевский был верен своей привычке шутить. Обручев принимал шутки с полнейшим равнодушием, с видом снисходительного одобрения, с мягкой, несколько меланхолической улыбкой, которая появилась у него, как только разговор оживился, и уж не сходила с лица его все время. В его глазах, маленьких, серых, светилося кроткое, задумчивое добродушие. С этим взглядом, с этой улыбкой лицо его стало привлекательно — живо, выразительно.

Так они протолковали часа два. Когда они расставались, Чернышевский просил его зайти к нему через неделю, заметив, что, может быть, он найдет ему какую-нибудь работу, но что важнее потолковать еще раз.

— Нельзя ли вас сбить с ваших мыслей?

— Это напрасно, — скромно отвечал Обручев.

Да и Чернышевский видел, что напрасно.

— Конечно; но все-таки священный долг опытного человека — не оставлять без назидания восторженного юношу, — сказал Чернышевский с улыбкой.

— Конечно; и юноша обязан не скрываться от назиданий. Зайду.

Беседа окончена. Оба крепко пожали друг другу руки. Дверь захлопнулась.

Редактор не мог работать. Он долго ходил по кабинету, напряженно обдумывая всю встречу. Снова нахлынули сомнения. Уж очень необычный человек!

Наконец он остановился у окна. Никто не видел, как улыбнулся редактор. Улыбнулся и подумал: «Наш!!!»



Александр Серно-Соловьевич.



В. А. Обручев.

— У вас есть родственник Владимир Александрович. Что он за человек и почему я ни разу не встречал его у вас? — спросил Чернышевский Николая Николаевича Обручева, когда увиделся с ним после появления Владимира Обручева у себя в доме.

— Владимир? Хороший юноша. Еще не установился. Когда установится и образумится, то будет умный и порядочный человек. Теперь он еще слишком экзальтирован, а я все холожу его. Ему это, конечно, не по вкусу. Потому он редко бывает у меня по вечерам, а когда ко мне приходят знакомые, он и вовсе не благоволит посещать нас. Потому вы его и не встречали у меня.

— То есть вы продолжаете обращаться с ним так, как обращались с ним, когда ему было пятнадцать лет, а вам двадцать. Натурально, что он не хочет стоять в таких отношениях при ваших знакомых.

— Что, вы уж с выговором мне? А вы долго с ним говорили?

— Довольно долго.

— Ну как же вы сами-то с ним говорили? Полагаю, так же, как я?

— И то правда. Он хочет выходить в отставку — безрассудство, но, кажется, его не переубедишь; и хочет заняться журнальной работою. Способен он к-этому?

— Да, если захочет.

— Как же, если захочет? Хочет.

Из дальнейшего разговора с Николаем Николаевичем Чернышевский узнал, что Владимир Обручев происходил из старинной служилой дворянской семьи. Его отец находился под влиянием идей декабристов, но все же принял участие в подавлении польского восстания 1830–1831 годов; после этого женился на польке, дочери участника польского восстания и эмигранта Франца Тимовского, служил главным образом в западных губерниях. После Крымской войны в чине генерал-лейтенанта он получил отставку и очень скромно жил возле Ржева Тверской губернии в деревеньке Клепенино, купленной на сбережения. Для воспитания детей он не жалел никаких средств и сил. Сыновья Владимир и Афанасий закончили 1-й кадетский корпус, затем Владимир из лейб-гвардии Измайловского полка был направлен в академию Генерального штаба. Он закончил ее с серебряной медалью в чине поручика с перспективою служить в гвардии и сделать не меньшую карьеру, чем все ретивое военное поколение

Обручевых (среди них были даже генерал-губернаторы!).

Николай Николаевич хорошо знал Владимира, своего двоюродного брата, так как он часто бывал в их семье.

Неожиданное и твердое желание Владимира Обручева — молодого двадцатитрехлетнего поручика «со связями» и перспективами — выйти в отставку казалось безумством, которое грозило ему разрывом с отцом и некоторыми важными родственниками.

Повод, который он выдвигал, — обида по поводу получения не того назначения, на которое рассчитывал, — никого не убеждал.

Николай Гаврилович понял из всех этих рассказов, что, в сущности, молодой Обручев пускался в путь совершенным младенцем. Будь он опытнее, он, конечно, не сказал бы обо всем при первой встрече. Чернышевский вновь вспомнил, как решительно заявил Обручев о нежелании служить в армии.

— Я не хочу стрелять в своих! — как клятва звучали эти слова.

В этом юноше чувствовалась горячая искренность.

Чернышевского поразило также его спокойное упорство в стремлении уйти в отставку — это было явное безрассудство. Но оно проистекало из благородных мотивов, и Николай Гаврилович не мог осуждать его, а мог только сочувствовать ему.

В «Современнике»

Владимир шел домой окрыленный. Он чувствовал себя уже сотрудником «Современника», хотя никто еще не дал ему согласия. Поручиком были добродушная улыбка Чернышевского и его теплое рукопожатие. Правда, впереди трудности. О них серьезно говорил Чернышевский. Но жребий брошен. Обручев смело шагнул в новую жизнь.

За последние годы в направлении его мыслей произошли большие перемены под влиянием чтения «Современника», «Военного сборника», «Колокола», который изредка доставали офицеры академии. Повлиял на него и социалист Консидеран, два тома которого он прочел с восторгом, близким к его восторженному восприятию поэзии Некрасова.

Володе был по сердцу беспощадный некрасовский приговор ненавистному «барству» и «тиранству» и некрасовское ликование по поводу того, что

...Набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий...

Его, сына дворянина-генерала, глубоко трогали строки о «бесплодной жизни отцов»:

Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я...

И он глубоко презирал себя за то, что на правах помещика дважды в год выжимал через денщика с оброчного пьянчужки-портного по десяти рублей, которые, несомненно, доставались портному не дешево.

Владимир Обручев уже отказался от казенного денщика «по ненадобности» и перешел на жительство в «вольной квартире», но от этого не изменилась судьба 125 заложенных и перезаложенных душ в Клепенине, где барщина и в 1859 году неукоснительно отбывалась.

Еще совсем недавно, на рождество 1858 года, Обручев был дома — в Клепенине, имел горячие и резкие объяснения с отцом по поводу своей отставки и грубости отца с крепостными.

Последствием этого были тяжелые домашние сцены, убивавшие его тихую, кроткую мать, разрыв с отцом и отказ от денежной помощи из дому.

Почему он пошел в «Современник»? Потому, что надеялся найти там не только работу, но и ответы на мучившие его вопросы: почему так плохо народу в России, как найти путь к социальной справедливости, как лучше провести реформы, необходимые народу?

«Современник» поможет ему ответить на эти вопросы— так он понял Николая Обручева, любившего этот журнал и связанного с его редакцией.

Внимание и доброта Чернышевского как-то по-особому взволновали Обручева, стало стыдно, что он так мало его читал. И Владимир жадно набросился на статьи своего нового наставника.

Как он не прочел раньше «Критики философских предубеждений»? Там было много ответов на мучившие его вопросы, в решении которых ему не помог ни его любимец Руссо, ни новый для него автор Консидеран, ни даже Герцен.

После беседы с Чернышевским и более внимательного чтения его

статей Обручев почувствовал, что еще больше любит людей труда и «интеллигентный пролетариат», в ряды которого он решил вступить.

Страстно хотелось все понять, знать и осуществить «беспощадный суд» над своей слабостью и нерешительностью.

Работа в инспекторском департаменте по расквартированию войск и доклады о поразительных пороках эмира Бухарского совсем перестали занимать Обручева.

Он с нетерпением ждал новой встречи с Чернышевским. Как и договорились, он зашел через неделю. Николай Гаврилович встретил его приветливо, как старого знакомого, и предложил сделать перевод первого тома «Всемирной истории» Шлоссера. Обручев, в совершенстве владевший немецким языком, охотно согласился. Николай Гаврилович посоветовал изучить и английский язык. Владимир последовал этому совету и взялся за изучение языка.

Только позднее Обручев понял, почему так нужно знать английский язык журналисту России «накануне». По ту сторону океана, где люди говорили по-английски, начались важные события — восстания рабов. Опыт этих восстаний изучался.

Вскоре пришлось Владимиру Обручеву узнать, что такое русская цензура. Чернышевский рассказал ему о всех перипетиях борьбы с цензорами. Открылась еще одна область, мало известная Владимиру. Оказывается, искусство маневрирования в сетях цензуры состояло не только в умелом изложении мыслей, но также в использовании всех неувязок и неразберихи, царивших в цензурном ведомстве.

Дело в том, что никто не отменял старого николаевского цензурного устава. Он был устранен самой жизнью. В стране оказалось очень много недовольных цензурой. Кругом говорили о необходимости новых правил и даже был создан особый комитет по делам печати, но его возглавили ярые реакционеры Адлерберг, Муханов и Тимашев.

Дело с подготовкой правил затянулось. Внутри комитета обнаружились разногласия. Этим-то и пользовались многие издатели. Разрешения на издание того или иного произведения не требовалось, но издателям постоянно грозил штраф, приостановка выпуска или даже закрытие журнала или газеты. Для этого достаточно было, чтобы цензору показалось в статье что-либо «предосудительным».

Издателям «Современника» не раз приходилось откупаться штрафами. Приходилось считаться с опасностью закрытия журнала, а это означало потерю единственной трибуны.

— Подумайте об этом, — говорил Обручеву Николай Гаврилович. Он

имел в виду его статью о событиях в Сербии. — Это первый ваш опыт, — улыбался Чернышевский, — и я вижу, что вы сделали все возможное, чтобы читатель вместо слова «Сербия» мог прочесть — «Россия».

Речь шла о статье «Возвращение князя Милоша Обреновича в Сербию», опубликованной анонимно «Современником» в марте 1859 года. Сам Обручев ни за что не решился бы назвать ее своей. Николай Гаврилович так основательно поработал над гранками, что от первоначального текста мало что осталось.

— Надеюсь, не обидитесь? — спросил Чернышевский, показывая Владимиру корректуру, всю перечерканную, переправленную и местами дописанную. Конечно, Владимир не обиделся. Напротив, в этом увидел он наглядный урок. Только под пером Чернышевского статья засверкала публицистическим блеском. Острие статьи было направлено внутрь России, на ее правительственные сферы.

Сама тема увлекла Обручева. Мысль о том, — что демократические завоевания, политические свободы и экономическая независимость Сербии добыты с оружием в руках, не давала ему покоя. Было стыдно за Россию, которая не имела «скупщины», даже подобия парламента, в котором бы власть принадлежала лучшим представителям народа. Он старался пробудить этот стыд и в читателях, говоря, что русский читатель непривычен к таким формам жизни и особенно к низложению правителей народным собранием, в то время как в Сербии «это вещь очень натуральная». Редактируя статью, Чернышевский особенно высмеивал русских либералов, благоговевших перед царской властью, а также подчеркнул благотворность для «австрийских сербов» повторения «сильного потрясения Австрии событиями вроде происшествий 1848 года». Владимир долго удивлялся тому, что цензура не заметила этой деликатной похвалы революции.

Не заметила цензура и того, что статья доказывала преимущества конституционного устройства, при котором представители народа, правильно избранные, решают судьбы страны, что примером Сербии «Современник» хотел увлечь крепостную Россию.

*

Летом 1859 года Чернышевский тайно даже от многих сотрудников «Современника» уехал в Лондон для переговоров с издателями «Колокола».

Надо было объединить усилия и не допускать разногласий.

Владимир Обручев, конечно, не знал, куда уехал Чернышевский. Ему сказали, что в отсутствие Николая Гавриловича он должен сдавать свою работу Добролюбову. Их первая встреча произошла в редакции. Она была не только деловой, но и теплой. Обручев чувствовал в этом заботу Чернышевского, который просил Добролюбова позаботиться об Обручеве. Навсегда запомнился кроткий взгляд этого высокого молодого человека, удивительно доброго, также отговаривавшего его уходить в отставку. Правда, его аргумент, сказанный как бы вскользь: «Хорошие люди везде нужны», — заставил задуматься, но было уже поздно. Подходило к концу оформление отставки. Очень кстати были и деньги, полученные за переводы по записке Добролюбова 2 августа 1859 года.

Поручик гвардии должен был привыкать к новой жизни русского журналиста-демократа со всеми ее случайностями и трудностями.

В конце августа 1859 года вышла отставка Обручева. Тогда же он снял небольшую комнатку, выглядевшую довольно убого.

На этой квартире его посетил однажды Добролюбов. Он привез ему работу и деньги и, между прочим, нашел, что Обручеву следовало бы переехать. Однако Владимиру пришлось здесь перезимовать.

С Николаем Гавриловичем Обручев сходил все ближе. Бывал у него дома. Там познакомился он с Ольгой Сократовной, женой писателя, со многими интересными людьми. Одним из них был старый знакомый семьи Чернышевских, позднее домашний врач семьи — Петр Иванович Боков. Он был немного старше Володи и был добрейшим человеком. Скоро они стали друзьями.

Потянулись месяцы упорной работы. Отшумело рождество, новогодний праздник. Вслед за январскими морозами 1860 года февральские метели повсюду намели сугробы. Всю эту зиму Владимир помогал Николаю Гавриловичу в его работе над статьей «Леность грубого простонародья». Для нее нужно было перевести статью из «Эдинбургского обозрения». Уже с осени Обручев неплохо переводил с английского, и Чернышевский поручил ему этот перевод.

Обручев хорошо справился с переводом и заслужил похвалу Чернышевского и Добролюбова. Необходимо было заострить смысл принципиальных положений автора, придать им новое звучание, применительно к русской действительности. Статья была снабжена предисловием и заключением, написанными самим Чернышевским. В статье решительно опровергалось мнение о так называемой «лености» трудового люда. Вопрос этот был в те времена важным. Находились

«теоретики», доказывавшие пользу подневольного труда. Таким «теоретиком» оказался, например, экономист Горлов. Против него и направил удар Чернышевский. Он подчеркивал «благотворное последствие освобождения» и упрекал реакционеров за «тупые опасения» и «своекорыстные колебания». Крепостники получили еще один удар.

Владимир, правда, знал, что этот удар значительно ослаблен цензурными купюрами. Но был все же горд, счастлив, что по мере своих сил помогал Чернышевскому проводить в печати очень важные мысли о необходимости немедленного и полного освобождения крестьян, творцов богатства России.

Хотя заключение статьи было совершенно изуродовано цензурой, Обручеву стало ясно из рукописи, что Чернышевский верил в неизбежность крестьянского восстания в России «при энергическом характере русского простонародья», если подготавливаемая реформа обманет народные надежды.

Обручев смотрел теперь на Чернышевского как на руководителя современного ему общественного движения, к которому сам он примкнул искренне и самоотверженно.

Он теперь не мыслил себе дальнейшей жизни без «Современника», без Чернышевского, Добролюбова и Некрасова.

Всех подбадривал руководитель журнала. Он, беспримерный труженик, всегда находил время для друзей. Чернышевский интересовался всем, что касалось жизни Обручева.

Николай Гаврилович знал, что заработка в «Современнике» ему не хватало, и посоветовал найти уроки. Владимир так и сделал. Вскоре он начал давать уроки французского языка сыну министра двора графа Адлерберга.

Чернышевский первый узнал от Владимира, что его любимая сестра Маша тяжело заболела в деревне. С тревожным письмом матери Владимир прежде всего пошел к Николаю Гавриловичу, который, как лучший врач, сразу определил причину «серьезной болезни» Маши: тоска по людям, стремление к свету, к знаниям, желание вырваться на свободу из старозаветной семьи.

Николай Гаврилович, правда, посоветовал ехать в деревню со «своим доктором», то есть с Боковым.

Пришлось отложить новое серьезное дело, порученное Чернышевским: статью «Китай и Европа». Пришлось также оставить и место гувернера в семье капитана Зарембы и даже занять у него огромную сумму — 500 рублей, чтобы перевезти Машу в Петербург.

Поездка в Клепенино была очень трудной. Генерал не мог простить сыну отставки. Все надежды были на доктора. Владимир, конечно, не представил его как своего приятеля и человека современного образа мыслей. Он был доктором с бойко идущей в гору практикой — и прекрасно сыграл свою роль. Чуткая душа Эмилии Францевны не могла не оценить нежной души и доброты Петра Ивановича, а как женщина она была им очарована, поверила, что поездка в Петербург, перемена обстановки оздоровят Машу, которая не ест, не спит и тает на глазах.

Даже старый грозный генерал Обручев сдался, наконец, и отпустил дочь в Питер, но... под наблюдением матери.

Весь конец зимы и весну 1860 года Владимир занимался устройством Маши в Петербурге. Он нашел квартиру на Васильевском острове, по соседству с Чернышевскими.

Вскоре Николай Гаврилович приехал к Маше и Эмилии Францевне вечером и своим простым, участливым разговором чрезвычайно понравился обеим. Мать Обручева сразу оценила Чернышевского. Она была далека от понимания его роли в жизни тогдашней России «накануне». Но как человек он поразил ее, победил ее прежнюю недоверчивость. Маше Чернышевский привез самое главное лекарство — книги; он ободрял ее, звал к себе:

— Кроме жены и детей, у меня есть и взрослые племянницы, — объяснил Чернышевский.

Вскоре Машу навестила и Ольга Сократовна, повторившая приглашение мужа. Отношения вскоре стали дружескими. Племянницы Чернышевского Евгения и Полина часто приходили к Обручевым.

Каждую неделю теперь они виделись и на «субботах» у Чернышевских. Душою этих «суббот» была милая и веселая Ольга Сократовна, которая стремилась прекратить всякие споры в гостиной и отвлечь гостей шутками, музыкой, танцами, чаем.

Но она не могла, да и не хотела, отвлекать Обручева от Полины. Ей нравилась эта милая пара, оживленно беседовавшая о чем-то своем, каждый день делающая открытия. Она радовалась, глядя на них. О чем только не говорили они друг другу!

Был май 1860 года. Добролюбов собирался ехать за границу лечиться, Николай Обручев и Сераковский получили официальные заграничные командировки, которые хотели использовать для того, чтобы побывать у Герцена и Огарева в Лондоне и у Гарибальди в Италии.

В России создавалась своя «партия действия», — и надо было решительнее привлечь к этому делу редакцию «Колокола» и конкретнее

изучить опыт Италии, где разворачивались революционные события.

Однажды, оставшись наедине с Владимиром, Николай Обручев сказал ему:

— Мы делаем очень важное для России и очень опасное дело. Можем ли мы рассчитывать на твою помощь, когда она понадобится?

— Как мог ты сомневаться во мне?!

— Я не сомневался, но такое у нас правило— каждый должен идти на дело, зная о его опасности.

— Я готов.

— Уверен в тебе, как в себе, брат, потому и рекомендовал тебя.

— Спасибо за доверие.

— Поздравляю тебя и нас. Нашего полку прибыло. Помни, что ничего нельзя верить бумаге. Все дела будут вестись изустно. У нас нет ни списков, ни протоколов, чтобы не было материальных улик. Одна неосторожность — и погибнешь не только сам, погубишь людей, нужных России. Помни это, Владимир.

— Буду помнить, Николай.

Затем разговор перешел в самую конкретную сферу: шифр корреспонденции, которая будет идти из-за границы на имя Владимира; пароль для связи; советы присматриваться к людям, восстановить старые связи с офицерами Измайловского полка и в академии, с кем установить связь; изучать студенчество, имена.

Они расстались поздно ночью. Владимир понял, что посвящен в великую тайну. Он был горд и счастлив.

Со времени отъезда Добролюбова, Николая Обручева и Сераковского в Европу, то есть с мая 1860 года, общение с Чернышевским стало еще более тесным. Вместе ждали писем и радовались тому, что Николай Обручев смог быть полезным Добролюбову в Париже, где они вместе жили в Латинском квартале. Знал Владимир и то, что успешно решалась «лондонская проблема».

Надо было терпеливо ждать новых вестей. А вести приходили медленно.

«Письмо из провинции» за подписью «Русский человек», которого с нетерпением ждал Владимир, снова глубоко взволновало его, когда он прочел его не в рукописи, а на страницах «Колокола». Казалось, он видит Добролюбова и слышит его слова: «...Сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей... К топору зовите Русь!»

Лето и осень 1860 года Владимир работал над порученной ему статьей «Китай и Европа». Чернышевский придавал ей большое значение. Обручев

засел за книги о Китае. Вот когда опять понадобился английский язык.

В статью о Китае Обручев вложил все, на что был способен.

История Китая, трудолюбие и талантливость китайского народа, движение тайпинов восхитили его. Он проводил в статье бесспорную для него мысль: европейское вторжение только затормозило развитие Китая, стоявшего прежде на довольно высокой ступени материальной и духовной жизни.

Обручев настойчиво подчеркивал «высокую степень цивилизации» Китая и трудолюбие его народа, чтобы лишний раз подорвать господствовавшее представление о превосходстве европейцев над китайцами. Он писал: «Китай — страна, достигшая высокой степени материального и нравственного развития, имеющая право требовать, чтобы никто не оскорблял ее покоя, не задевал ее, как она никого не задевает». Обручев с возмущением осуждал «все мрачные стороны английского вмешательства в китайские дела», а также вторжение Англии на территории других стран, «уступающих ей в силе», осуждал зверства англичан и торговлю опиумом, которая «позорит английскую нацию».

Вместе с тем Владимир обрушивался на безграничный произвол китайских мандаринов. Сравнивая «народные страдания» в Китае с положением русских бурлаков, Обручев прямо наталкивал читателя на мысли о «бедствиях крайней нищеты» русского народа, борющегося за свободу.

Вывод этой статьи фактически звал и Россию к изменению ее феодального строя на европейский, как более передовой: «Мы далеки от безусловного поклонения западным общественным началам; но мы были бы пристрастны, если бы не признали их превосходства перед китайскими. Положение женщины в Европе лучше; и, главное, Европа проникнута жаждой прогресса, желанием идти вперед. Эти два обстоятельства могут служить лучшей меркой развития народа».

Обручев знал, что кое-что в статье сказано в угоду цензуре, но проницательный человек отбросит эти «кое-что», так как они противоречат всему содержанию статьи. Цензура этого не поймет, но лучшая часть читателей «Современника» поймет: европейские порядки все же лучше китайских и русских — феодальных — и за них нужно бороться.

Эта статья была помещена в январском номере «Современника». Впервые Обручев увидел свое имя рядом с Чернышевским («Кредитные дела»), Некрасовым («Плач детей»), Михайловым («Юмор и поэзия в Англии»).

В этом ряду, как автор и как боец, он вступил в незабываемый 1861

год.

Вскоре Чернышевский поручил Обручеву написать ответную статью «Современника» на ожидавшуюся со дня на день реформу. О России, конечно, писать было нельзя. Но Обручев должен был провести аналогию с Россией на примере невольников Америки. Поводом для статьи явилась вышедшая в 1860 году в Нью-Йорке книга Эббота «Юг и Север». Получили ее только к концу года, и Чернышевский упомянул уже о ней мельком. Теперь наступила пора использовать эту книгу полнее. Статью было решено назвать «Невольничество в Северной Америке».

Обручев работал не покладая рук. Из-под пера выбегали торопливые, неровные строчки:

«...беспредельная бедность, тяжелое физическое страдание, крайнее оскорбление всех человеческих чувств, отсутствие каких бы то ни было привязанностей, отсутствие всякой радости, отсутствие всякой надежды на улучшение участи и, наконец, при всем этом кнут плантатора всегда, везде и за все — вот в каких обстоятельствах трудится невольник...»

— Пишу о черных рабах, а перед глазами белые, — говорил Владимир Чернышевскому.

— Только так и быть должно! — улыбался Николай Гаврилович. — Ведь это только наши рабовладельцы белое делают черным.

Владимир волнуется. Что скажет он тысячам читателей самого популярного журнала России?

— Восстание...

Но разве можно говорить о нем прямо? И он пишет: «В обстоятельствах, в которых теперь находится Россия, конечно, едва ли какой-нибудь разряд сочинений может быть для нее интереснее, чем книги, определяющие относительное достоинство принужденного и свободного труда». Обручев не жалеет красок, описывая тяжелое положение невольников в Северной Америке, думая о русских крепостных крестьянах, «освобождаемых сверху». Угнетение невольников он прямо назвал «гнуснейшим из всех человеческих преступлений», а труд угнетенных — «жалким и ничтожным по своим результатам».

С глубоким внутренним волнением Обручев подчеркивает в статье: «Когда имеешь дело с известными людьми, недостаточно быть свободным, а нужно быть сильным, обеспеченным, нужно иметь залоги сохранения свободы. Иначе свобода окажется хуже рабства». Аналогия между ужасным положением формально свободных кули и освобождаемых по реформе 61-го года крестьян не могла не звать на борьбу за ликвидацию труда людей, «обреченных на воловий труд вплоть до самой могилы».

Обручев шел дальше, он обрушивался на всю систему, выносил ей приговор: «И всякая система, которая обрекает его (т. е. человека. — *Ред.*) на невежество, которое не позволяет ему достигнуть человеческого развития, должна быть названа зверской, бесконечно постыдной».

Отсюда уже логично и убедительно вытекал важнейший для России вывод статьи о неизбежности народного восстания там, где народ обманут в своих ожиданиях: «Неожиданное для всех пламя пожара может вдруг вспыхнуть во всех концах края... рядом с ним начнутся убийства и грабежи, которых свирепость, конечно, будет ужасна, но будет необходимое последствие крайней неразвитости и, главное, крайних страданий народа».

Тут же Обручев подчеркивал справедливость будущего восстания «невольников», ибо они будут драться из-за великой идеи, из-за «священных и существенных прав...» Обручев не надеялся, что цензор это пропустит, но он пропустил.

После того как реформа была объявлена, в мартовском номере «Современника» была опубликована статья Обручева «Невольничество в Северной Америке». Она оказалась как никогда кстати. Ее напечатали следом за «Песнями негров» Лонгфелло в переводе Михайлова.

Мартовский номер «Современника» упорно и демонстративно замалчивал царский Манифест и Положения 19 февраля. «Проницательный читатель» сразу догадался в чем дело. Это был протест против обмана, против игры в «освобождение».

— Говорят, молчание порой красноречивее любого оратора, — размышлял вслух Владимир, шагая через весенние лужи рядом с Полиной Пыпиной.

Подруга молча вскинула глаза. Они говорили яснее тысячи слов.

Владимир Обручев гордился доверием Чернышевского, редакции. Он стал уже постоянным сотрудником журнала. Обручев чувствовал себя в эти дни уже не «либеральным господином» или «черт знает чем», как говорил Чернышевский, а человеком, знающим, что делать.

В глубине подполья

Лучшие годы жизни были для Обручева не только годами работы в «Современнике» под руководством Чернышевского и Добролюбова. Была в них и другая, видимая лишь немногим сторона жизни.

Искренне, с большим воодушевлением примкнул Обручев к тому

тайному движению, душой которого был Чернышевский. Разумеется, об этом никто не говорил. Но Обручев твердо знал, что это так.

Знал Обручев и то, что стоит на одной с ним дороге борьбы за добро против зла, делает одно с ним дело.

Николай Обручев конкретно ввел его в это «дело», и он выполнял его, как мог. В Измайловском полку Владимир восстановил свои связи с Григорьевым и другими офицерами. У офицера Тихменева познакомился со студентом Данненбергом, который ввел его в кружок Николая Утина. Восстановил связи с академией Генерального штаба, с офицерами поляками. Владимир Обручев чувствовал себя с ними, как с родными. Польский язык, который он знал с детства, очень пригодился для тайных бесед.

По массе поручений с конца весны — начала лета 1861 года Владимир чувствовал, что «дело» вступало в решительную фазу. В одной из тайных бесед Боков сказал ему, что «наступило время революционных организаторов» и что он, Обручев, является теперь агентом тайного революционного Комитета. Обручев не задавал лишних вопросов, но он догадывался о составе Комитета. Боков сказал, что Добролюбов возвращается в Россию из Италии, что Николай Обручев вернется вслед за ним к концу октября. Вместо них для связи поедут другие. Это нужно и для дезориентации Третьего отделения. Комитет готовит к изданию газету, конечно очень маленькую, но важную для организации всего дела. Для этой цели создаются три типографии. Кроме газеты, будет налажен выпуск прокламаций, обращенных ко всем слоям населения: к крестьянам (она уже написана), к молодежи, к солдатам, к офицерам, к «образованным классам». Обручев должен был ждать посыльного с газетою и разослать ее по адресам, развезти по городу. А пока он должен бывать в университете, у военных друзей, в обществе и сообщать Бокову о настроениях «публики».

В конце разговора Боков не вытерпел и спросил о Маше. Никто, кроме Владимира, не знал, как много значила для Бокова Маша. Каким милым казалось ему ее бледное лицо, как он любил выражение этих грустных серых глаз, таких задумчивых и добрых, как не давала ему покоя эта кудрявая белокурая умная головка, как волновал его ее тихий голос! На правах врача он многое знал о ее болезни, которая уже излечилась университетом. Мария Обручева была в числе пионерок высшего женского образования в России.

От природы очень похожая на брата, да и характером в него, Мария была на три года его моложе, то есть вступала в ту пору, когда ее сверстницы считали необходимым выходить замуж. Но мысли Маши

Обручевой были далеки от этого. Ею овладела другая мысль, казалось — несбыточная мечта: стать врачом, лечить болезни и раны своего многострадального народа.

Боков был восхищен ее решением и втайне приписывал кое-что и себе, своему влиянию. Он знал, что по твердости характера она не уступит брату, несмотря на всю свою доброту, скромность, тихий голос и удивительную женственность. Из последней беседы с нею он понял, что отец требовал ее возвращения в деревню, почему и спросил Обручева о ней.

— Положение трудное, — ответил Владимир, когда Боков смущенно опустил глаза, — и я не знаю, как ей помочь. Без согласия отца она не может сдавать экзамен за гимназический курс мужской гимназии, к которому готова, не может начать слушать лекции в Медико-хирургической академии.

— Может быть, я снова могу быть полезен? — спросил Боков.

— Спасибо, Петр Иванович, но в качестве врача нет — отец вам больше не поверит. Да и нужно его официальное согласие.

— Может быть, посоветоваться с Николаем Гавриловичем?

— Я думал об этом, но он так занят последнее время.

— Я имею к нему доступ всегда. Пойдем вместе.

Николай Гаврилович работал так много, что ходить к нему без особенной надобности никто бы не решился. В 1861 году он работал больше, чем всегда. Но сейчас была именно «особенная надобность», и Владимир решился.

Боков действительно провел его сразу в кабинет, маленький, весь заставленный книгами. При их появлении Николай Гаврилович оторвался от корректуры и, как всегда, выслушал их внимательно и доброжелательно. Он не мог сразу решить эту задачу. Лицо его было задумчиво и грустно. Наконец он сказал:

— Случай исключительный и трудный. Но только такие трудности уполномочивают на риск. Вижу только один выход: если генерал не разрешит Марии Александровне учиться, ей остается одно — немедленно выйти замуж за человека, которого примет генерал и который позволит Марии Александровне учиться и свободно располагать собой. Идеальный вариант, если бы она уже полюбила такого человека, а он — ее. Но если этого нет — можно решиться на фиктивный брак. Но это риск, риск чрезвычайный. Любовь — это так хорошо и так важно для обоих супругов.

Сердце Владимира болезненно сжалось. Но если бы он мог знать, как тревожно и с каким волнением забилося сердце Бокова! Никогда, наверное, не решился бы предложить руку дочери генерала Обручева он, безродный

«интеллигентный пролетарий», потомок крепостных. Но теперь он, не задумываясь, будет предлагать свою руку и сердце, ни на что не надеясь, а только желая пожертвовать собою ради несравненной Маши и видеть хоть иногда ее глаза не очень грустными. Она была для него единственной женщиной в мире, для которой он был готов на все, даже на муки неразделенной любви.

— Я готов для нее на все, — сказал Боков с таким чувством и убеждением, что Чернышевский и Обручев оба были поражены.

Да! Друг познается в беде. Русский народ всегда так считал, и это подтвердилось снова.

Владимиру стало жаль и Машу и Бокова. Он знал, что она еще никого не любит, а значит, не любит и Бокова.

Разговор с Машей окончился для Владимира неожиданно.

— Если он действительно согласен — я согласна, — сказала Маша внешне спокойно, — но я должна поговорить с ним наедине.

Боков на всю жизнь запомнил этот разговор с Машей. Она плакала. Он впервые видел ее слезы, но это были не только слезы благодарности. Ей было больно сказать ему правду, но она была слишком честна, чтобы не сказать ее. Она никого еще не любит, но постарается полюбить его. А пока она может пойти только на фиктивный брак. Он открывает ей дорогу к образованию, к свободе, она не связывает его свободы ни в чем; даже материальных обязанностей у него не будет. Боков поражен в самое сердце, но он любит ее, и он сказал ей об этом, сказал, что он будет ждать, надеяться и готов на все.

Маша полна благодарности к своему жениху, но внешне она с ним очень холодна, он внешне принимает это за должное, на удивление всех знакомых. Маша с братом уезжают в мае в деревню. Боков приезжает позднее туда же и делает предложение по всей форме. Эмилия Францевна поражена холодностью дочери с этим милым красивым доктором. Она заметила слезы дочери, которые тщательно скрываются. Но доктор явно любит Машу, у доктора хорошая практика, Маша согласна, и Эмилия Францевна не может возражать.

Генерал не заметил ни холодности Маши, ни слез ее. Он давно понял, что неспроста Маша задержалась в Питере. Доктор Боков вылечил ее. Это заметно. Что ж, пусть выходит замуж! Забудет все свои фантазии. Жаль, конечно, что Боков не дворянин, да что делать! Другие, видно, времена пошли. Приданым не интересуется — видно, что любит Машу и обеспечит ее счастье.

Свадьбу назначили на 20 августа — в Клепенине. Владимиру поручено

подыскать и устроить молодым в Петербурге новую квартиру: у Володи отменный вкус и чувство изящного. Даже кое-что из приданого Маша поручила купить ему, зная его вкус и доверяя ему в этом больше, чем себе. Суэта по случаю предстоящей свадьбы совершенно отвлекла Владимира от работы в «Современнике». Хорошо еще, что двести рублей ему выдали из кассы вперед. Шлоссер лежал без движения. До перевода ли тут!

Но вот долгожданные письма от Чернышевского и от Бокова от 2 июня, в одном конверте. Надо возвращаться к работе над Шлоссером. Чернышевский просит об этом «усердно».

Если Чернышевский напомнил о делах по «Современнику», то Боков дал понять, что Владимир нужен ему как агент Комитета. Обручев покинул Клепенино.

Он приехал все же поздно. Без него уже был распространен первый номер «Великорусса» — подпольной «газеты», изданной в России. Обручев уже читал этот маленький листок — в осьмушку тонкой бумаги.

«Помещичьи крестьяне, — говорилось в «Великорусе», — недовольны обременительною переменою, которую правительство проводит под именем освобождения; недовольство их уже проявляется волнениями, которым сочувствуют казенные крестьяне и другие простолюдины, также тяготящиеся своим положением. Если дела пойдут нынешним путем, надобно ждать больших смут.

Правительство ничего не в силах понимать, оно глупо и невежественно; оно ведет Россию к пугачевщине. Надобно образованным классам взять в свои руки ведение дел из рук неспособного правительства, чтоб спасти народ от истязаний...»

Владимир вспомнил, что уже слышал не раз эти слова, особенно: «...патриоты будут принуждены призвать народ на дело, от которого отказались бы образованные классы». Он знал, что листок был написан не одним человеком, да, он ясно слышал разные голоса, даже если бы Боков и не сказал ему, что эта программа — результат коллективного творчества, результат многих споров.

— Поэтому, — объяснил Боков, — первый номер — маленький и не полностью раскрывает наши карты. Все сразу нельзя — нужна разведка, проба сил.

В его, Обручева, задачу входило выявить реакцию различных кругов общества в Петербурге и в провинции на поставленные в первом номере вопросы:

1. Нужна ли конституция при монархии или без нее?
2. Может ли нынешняя династия отказаться добросовестно и твердо от

самодержавия?

3. Будут ли «образованные классы» готовить формальные требования самодержавию?

На основе ответов на эти вопросы должна была создаваться дальнейшая тактическая платформа Комитета, выпустившего «Великорусе».

Владимир нигде не слышал осуждения «Великоруса». Всюду говорили о необходимости водворения «законного порядка» на основе справедливого разрешения крестьянского вопроса, введения конституции и освобождения Польши. Но возникали споры о том, как решить эти проблемы; выявились партии «умеренных» и «крайних». Первые считали, что нужны только более решительные реформы сверху, что царь способен сделать это, если его убедить и попросить; другие считали, что мирным путем сделать ничего нельзя, что царь ничего не даст народу России и Польши добровольно и Россия стоит накануне «революционных чудес».

Владимира глубоко взволновал отклик Герцена на первый номер «Великорусса». «Колокол» посвятил ему передовую.

«Заводите типографии! Заводите типографии! — говорилось в передовой. — Теперь самое время. Мы с восторгом узнали, что у нас начали печатать в тиши, не беспокоя цензуру, мы видели даже один листок «Великорусса». Это второй, необходимый шаг; везде так шло... Печатайте ручными типографиями, печатайте кой-как, тут не до эльзевировских изданий, имейте букв на пол-листа, чтоб разом можно было спрятать от долгих рук и коротких умов тайной полиции. Нет в Европе страны, где легче заводить типографии, как у нас, — везде теснее живут. Но не нам вас учить, да еще публично, мы ограничимся братским советом: Заводите типографии! Заводите типографии!»

Обручев был горд, что может помочь этому делу. Его радовало также удивительно бодрое, приподнятое настроение Чернышевского. Он ждал Добролюбова, чтобы ехать в Саратов, и был необычайно оживлен. Владимир убедился в этом в конце июля, когда встретил его случайно на улице. Погода была чудесная, располагавшая к жизнерадостному настроению. Оно, видимо, и овладело Чернышевским. Ему было нужно в типографию, потом в Гостиный двор — «за дарами Цереры», попросту за сайкой, — и Обручев предложил сопутствовать ему. Чернышевский все время весело разговаривал и шутил. Он был чем-то внутренне доволен. Владимир никогда не видел его на таком подъеме душевных и физических сил и не знал, конечно, что это их последняя большая беседа.

Неожиданно для многих, даже для Панаева, вернулся из Италии

Добролюбов. Он вернулся совсем больным. Состояние его здоровья ухудшалось. Но об этом знали только близкие. Добролюбов деятельно включился в работу «Современника», Чернышевский мог ехать в Саратов к больному отцу. Владимир пошел, конечно, провожать его 17 августа, в день отъезда, но поговорить с ним уже не пришлось.

На другой день Обручев сам выехал во Ржев. 20 августа 1861 года в Клепенине по всем правилам была отпразднована скромная свадьба Маши и Бокова.

Радость подвига

Лето кончалось. Стояли последние дни августа. Обручев окончательно водворился в Петербурге и принялся наверстывать потерянное время. Не успел он кончить перевод Шлоссера, как был вызван в редакцию к Добролюбову.

— Владимир, вам поручается политическое обозрение для сентябрьской книжки. Николай Гаврилович не сможет его прислать. Я знаю, что это нелегко. Но мы поможем вам.

Владимир взялся за работу. Он часто в это время посещал Добролюбова. В одно из посещений неожиданно вошел Некрасов, только что приехавший из деревни и потому не видевший еще Добролюбова после Италии.

Встреча была очень радостной. Они обнялись. Владимир решил, что не стоит мешать им, не видевшимся так долго.

Но на завтра ему снова нужно было по делам навестить Добролюбова. Этот разговор долго потом вспоминал Владимир Обручев.

— Ничего не будет! — с горечью сказал Добролюбов. — Таково впечатление Некрасова за время бытности в деревне. Ему нельзя не верить, он чувствует биение народного сердца, он знает деревню. Но мы не опускаем рук, мы будем драться до конца, до последнего дыхания!

Разговор, естественно, перешел в конкретную сферу. Добролюбов возлагал большие надежды на приезд Николая Обручева в конце октября. Он знал, какая бездна работы в армии будет двинута им и Сераковским здесь и в Царстве Польском.

Говорили о Михайлове, который привез из-за границы воззвание «К молодому поколению», начал его распространять сам и с помощью студентов и у которого недавно был обыск.

Прощаясь, Добролюбов сказал Обручеву:

— Будьте осторожны! Это только первый обыск. Борьба вступает в решающую фазу. Как больно, что меня ограничивают физические силы!

Обручев утешал его, как мог, но усилившаяся болезнь Добролюбова была слишком очевидной.

Придя домой, он прежде всего сжег все свои «ученические упражнения в писании». Часть бумаг он отнес к Маше, но впоследствии понял, что этого делать не следовало.

В назначенный день и час Владимир услышал условный стук в дверь и пароль.

Посетитель был ему более чем знаком.

— На этот номер большая надежда, — сказал он, — в нем изложена важнейшая часть программы Комитета. Надо не только распространить, но и доложить через Бокова реакцию общества на этот номер. После заадресования конвертов список сожгите — это важная улика. Будьте осторожны. Желаю успеха! Вам будут помогать и другие.

Толстая пачка номеров «Великорусса» лежала перед ним. С волнением он взял в руки листок. О! Он в четыре раза больше прежнего. Правда, печать дурна да бумага слишком тонка для текста на обеих сторонах. Но ничего, зато у нас, дома, без цензуры, в Питере — под носом у Зимнего дворца и Третьего отделения! Не «Колокол», конечно, но периодическое издание, подпольная газета в самой России. Это неслыханно!

«Выслушав отчеты своих членов о мнениях, высказываемых в публике по поводу вопросов, предложенных в «Великоруссе», — читал Владимир, — Комитет пришел к следующим заключениям». Дальше, дальше, а вот оно, главное:

«Крестьяне еще не организовались для общего восстания, эпохою которого будет лето 1863 года, если весна его обманет их. Но должно помнить, что выкуп отвергают единодушно все крестьяне. О требовании с них выкупа нечего и думать людям, желающим, чтобы они остались довольны решением вопроса. Если же крестьяне останутся недовольны, законный порядок не может водвориться путем мирных реформ, потому что удерживать крестьян в спокойствии надобно будет, как теперь, военными мерами. А власть, действующая такими мерами против массы населения, не будет соблюдать законности ни в чем. В таком случае законность будет введена только вследствие революции».

Владимир оглянулся — нет, он один, а ему казалось, что он видит Чернышевского, который стоит и говорит ему это.

Он стал читать дальше:

«...русские приверженцы законности должны требовать безусловного освобождения Польши. Теперь стало ясно для всех, что власть наша над нею поддерживается только вооруженною рукою. А пока в одной части государства власть над цивилизованным народом держится системой военного деспотизма, правительство не может отказаться от этой системы и в остальных частях государства. Вспомним слова Чатама при начале восстания американских колоний: если английское правительство подчинит деспотизму Америку, сама Англия подвергнется деспотизму. Поэтому он вместе со всеми друзьями свободы в Англии требовал, чтобы английские войска были выведены из недовольных колоний. Точно так же интерес русской свободы требует освобождения Польши».

Снова невольно Обручев вспомнил свои беседы с Чернышевским, когда работал над статьей «Невольничество в Северной Америке» в январе — феврале 61-го года, свои беседы с ним о Польше, когда начались демонстрации в Варшаве — в апреле — мае. Казалось, что эта беседа продолжается, но формулировки стали более резкими, тон — более решительным.

«Мы, великоруссы, достаточно сильны, чтобы остаться одним, имея в самих себе все элементы национального могущества. Гордые своею силою, мы не имеем низкой нужды искать, по примеру Австрии, вредного для нас самих искусственного могущества в насильственном удерживании других цивилизованных племен в составе нашего государства.

Мы можем вполне признать права национальностей. Мы необходимо должны это сделать, чтобы ввести и упрочить у себя свободу. Вот объяснение имени, носимого нашею газетою».

Только теперь Владимир ясно понял, почему так названа газета. Видимо, поляки думают наладить свои издания, разъединиться во имя объединения на новой основе свободных наций. Фраза об Австрии, угнетавшей многие народы, живо напомнила Обручеву совместную работу с Чернышевским над первой статьей о сербах, когда он подчеркивал именно насильственный характер многонационального государства Австрии и говорил о необходимости нового потрясения ее, как в 1848–1849 годах.

А вот и заключительные выводы Комитета:

«Но чего требовать? Того, чтобы государь даровал конституцию, или, чтобы он предоставил нации составить ее? Правительство не умеет порядочно написать даже обыкновенного указа, тем менее сумело было оно составить хорошую конституцию, если бы и захотело. Но оно хочет сохранить произвол, потому, под именем конституции, издало бы оно

только акт, сохраняющий, при новых словах, прежнее самовластие. Итак, требовать надобно не октроирования конституции, а созвания депутатов для свободного ее составления. Для выбора представителей нужны: свобода печати, право популярным людям составить из себя в каждой губернии распорядительный комитет, с подчинением ему всех губернских властей, составление временного избирательного закона популярными лицами, которых укажет голос публики.

Следующий номер «Великорусса», изложив выводы из мнений, высказываемых по вопросу о династии, представит на рассмотрение публики способ действий, наиболее сообразный с нынешним настроением общественного мнения».

Этим номер заканчивался. Обручев глубоко задумался. Он не знал, что его оценка совпадет с тою, какую даст Герцен там, за Ла-Маншем: «Это подвиг, который не пропадет бесплодно». В разных концах света они сделали тот же вывод. Впервые в России, в тайно изданном документе, так просто и ясно вскрывались ее болезни и язвы и указывались наиболее приемлемые средства лечения.

Медлить нельзя. Завтра же весь Петербург, а затем Москва, Тверь, Саратов должны узнать этот замечательный документ. Владимир берет пачку конвертов, оставленный ему список адресатов и пишет, пишет, пишет...

Рука устала писать. Но скоро конец. Номера «Великорусса» уложены в конверты. Конверты заклеены.

День 7 сентября 1861 года подходил к концу. Закончив работу, Владимир сжег список и вышел на улицу. Был уже вечер. Конверты надо было бросить в разные почтовые ящики, некоторые развезти по домам, разбросать в подъезды.

Из-за частых приступов зубной боли Обручев носил клетчатый шерстяной шарф, которым закрывал нижнюю часть лица. Сегодня он тоже не решился с ним расстаться. Владимир вышел в своем обычном костюме, хотя он был приметен. Карманы были полны пакетов.

Сначала Обручев ходил пешком, но ему показалось, что из одной квартиры за ним побежали. Владимир умел слетать с лестниц, как немногие: он имел большую практику в этом деле еще со времен корпуса. Но этот случай все же заставил его подумать о транспорте.

Проходя мимо угла Невского и Литейного, Обручев всегда смотрел на стоявших тут лихачей и в особенности на одного из них — молодого, красивого парня. Даже при всей массе проходящего тут народа лихач мог заметить его лицо и тем более шарф. Никогда раньше Обручев не мог и

мечтать о том, чтобы прокатиться на таком извозчике. Но сейчас для пользы дела он счел разумным взять его.

В тот вечер, 7 сентября 1861 года, экипаж с седоком в клетчатом шарфе можно было встретить в разных концах города. Гнедой конь птицей порхал вдоль Литейной, Садовой, Миллионной. Он яростно грыз удила, пробегая мимо Таврического дворца и Летнего сада, выбивал глухую дробь по настилу Дворцового моста, гарцевал иноходью на Васильевском острове, обдавал пылью людей на набережной Екатерининского канала.

Если кому-нибудь пришло бы в голову пуститься в погоню за экипажем, он увидел бы, как, останавливаясь то здесь, то там, пассажир исчезал на миг в подъездах с пачкой конвертов в руке или бросал их в почтовые ящики.

Впрочем, никто не обращал внимания на человека; в клетчатом шарфе. Дело обычное. Какой-нибудь курьер. Напрасно седок осторожно косил глазами по сторонам. Все спокойно, если не считать любопытного лихача. Но на лихача-то Владимир и не обращал внимания и не заметил, как пристально смотрел на него этот парень, когда он опускал в разные ящики письма. Ах, если бы Обручев был наблюдателен, он бы сменил лихача немедленно. Но он не сменил его ни разу. Хорошо еще, что расстался с ним не у дома, а где-то на Невском и быстро исчез в толпе. Шел домой бесконечно усталый.

Что делает Полина? Она, конечно, и не подозревает о случившемся. Еще вчера днем они говорили о стихах Гейне, Фрейлиграта и уговорились идти в театр в воскресенье.

«Великорусе»! О, он расскажет ей о содержании второго номера. Заснул спокойно, с чувством исполненного долга.

Утром он опять засел за свою работу — надо было кончать «Политику» для сентябрьской книжки «Современника». Он был счастлив и спокоен.

В те дни в богато обставленных салонах, в клубах, редакциях журналов и на званых обедах только и разговоров было, что о таинственном листке. Многих пробирала дрожь. Дерзость вольного слова была не по вкусу умеренным прогрессистам. Однако многим кружила голову перспектива мирного решения конституционной проблемы.

— Ведь мы действительно не мужики и не поляки. В нас стрелять нельзя, — подбадривали себя некоторые цитатой из первого воззвания.

Однако дальше разговоров дело не шло. В словесном вихре больше всего было любопытства.

— Кто же, наконец, автор этой интригующей бумаги? Из кого состоит

загадочный «Комитет», кто автор программы?

*

— Помните, что писать «Политику» означает излагать главную линию журнала, — говорил Добролюбов. — Сейчас это особенно трудно. Цензура вцепилась нам прямо в горло. Жизнь требует творить чудеса. Оставаясь неуязвимыми для цензуры, мы должны писать так, чтобы читатель воспламенялся ненавистью к существующему порядку. И не только возненавидел его, но и набрался отваги для борьбы!

Обручев не мог забыть лихорадочного блеска глаз этого тихого на вид человека. Неужели он не доживет до революции?

Да разве ему дожить, если одна тревога за другой охватывали этого сгоравшего на глазах у всех человека?

Очень беспокоился Добролюбов за Обручева. Через Бокова узнал, что извозчик не был сменен ни разу. Неделя волнений. Посоветовал Обручеву сменить квартиру.

14 сентября распространился слух об аресте Михайлова. Владимир немедленно уничтожил дома все, что могло еще его скомпрометировать. Теперь он мог ожидать появления непрощенных гостей в голубых мундирах и на новой квартире, в другом конце города.

Полину он уговаривал не пугаться в случае его ареста.

— Сейчас такие времена, что хватают кого попало, — объяснял он.

Полина угадывала чутьем, что дело не в случае, и тайком плакала.

Обручев продолжал внимательно прислушиваться к различным толкам о «Великоруссе». Подолгу беседовал с литераторами, студентами, чиновниками.

Среди дворян-либералов «Великорусе» не был принят как программа конституционализма и мирных реформ. Многие заявления великоруссцев заставляли их не только морщить нос, но трепетать. Когда же всерьез обсуждался вопрос о петиционной кампании, все прятались в кусты. Радикальная молодежь высказывала свое недоверие к «мирной» доктрине «Великорусса», хотя кое-кто и понимал, что даже при столь умеренной политической линии столкновение неизбежно. Многие видели, что в «Великоруссе» куда больше пороха, чем это кажется на первый взгляд, и потому переписывали и распространяли «Великорусе».

Владимир так и не увидел третьего номера. Но его содержание

пересказал ему Александр Серно-Соловьевич.

— Итак, наше тайное общество отстаивает мирный конституционализм? — спрашивал Владимир, желая, наконец, добиться ясности.

— Наше общество, — терпеливо пояснял Александр, — заявляет только, что оно поддержит всех, кто на деле, а не на словах будет решительно бороться за конституцию, составленную без участия нынешнего правительства. Оно ставит условия, на которых будет поддерживать это движение. Надо иметь в виду, что всякая решительная борьба, пусть мирная, в условиях России неизбежно приведет к столкновению и выльется в революцию. Весь вопрос в том, как далеко способны пойти либералы по такому «мирному» пути. Для того и делается проба. «Великорусе» лишь на первый раз предлагает испытать мирные средства. Время, употребленное на этот опыт, не будет потеряно.

— Понимаю! Значит, все равно необходимо готовить организованную пугачевщину?

— Ну конечно! Глупо полагаться на «образованные классы». Не так ли? — взволнованно говорил ему Александр Серно-Соловьевич.

Владимир молча кивал головой. Он не хотел признаться, что предпочел бы мирный путь, что, больше того, он возлагает на него немалые надежды. Началось это еще со времени ответа Герцена на письмо «Русского человека». Издатель «Колокола» отказывался от призыва к оружию «до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора...». Приближается время серьезного испытания для «образованных классов». «Великорусе» поможет решить вопрос, быть или не быть кровопролитию.

Словно угадывая его мысли, Александр Серно-Соловьевич говорил:

— Запомни, что сказано в последнем выпуске «Великоруса»: «Если мы увидим, что они не решаются действовать, нам не останется выбора».

— Правильно! — вырвалось у Владимира. — Если нет иного пути — пусть топор решит дело. Но надо действительно убедиться, что выбора нет. Неужели разум не возьмет верх?

Наконец 21 сентября 1861 года из Саратова вернулся Чернышевский. Его не было в столице всего месяц и пять дней. А Обручеву казалось, что прошла целая вечность. Усилившаяся болезнь Добролюбова пугала всех близких. Но приезд Чернышевского, казалось, придал ему новых сил. Он и все как-то заметно ожили. Работа кипела в редакции, кипела она и вне ее. Настроение у всех было приподнятое. Приподнятым было оно и у Обручева. Скоро месяц, как он свободно гуляет по Питеру, совершив

«государственное преступление». Значит, все было удачно. Скоро он закончит самые неотложные дела и решит свой личный вопрос, а то Полина потеряет, наконец, терпение.

4 октября Владимир проснулся в отличном настроении. На столе лежали последние страницы законченного перевода. Теперь скорее к издателю!

Весь день прошел удачно. Владимир сдал рукопись Александру Александровичу Серно-Соловьевичу, занимавшемуся изданием Шлоссера. От него Обручев на извозчике отправился на обед к сестре и Бокову. Пересекая Невский, он по привычке оглянулся на «своего» лихача, с которым недавно ездил по городу. Тот, как всегда, стоял на своем излюбленном месте. Только на этот раз Владимиру показалось, что владелец гнедого рысака махнул кнутом в его сторону. Быть может, это только померещилось?..

Около девяти вечера Обручев шел домой по Басковой улице. Вдруг на него набросился рослый мужчина.

— Постой-ка, голубчик! — раздался позади пропитый голос. — Тебя-то нам и надо!

В лицо пахло винным перегаром.

— Пустите! Как вы смеете меня трогать?! Я гвардейский офицер!..

— Городовой, сюда!

Голос звучал повелительно. Владимир понял, что сопротивление бесполезно.

Среди врагов

Немые стены безжалостно отрезали его от всего мира. По ту сторону остались друзья, родные. Но Обручев не думает сдаваться. Сначала он все же считал свой арест недоразумением. Когда известный следователь по политическим делам Путилин искал к нему подход со всех сторон, Обручев понял, что при аресте жандармы даже не знали его фамилии, его арестовали в результате слежки, по внешнему виду.

Он не скрывал своей фамилии: это было неразумно, они все равно бы ее узнали. Но он требовал освобождения, требовал объяснить ему причину внезапного ареста на улице.

У него потребовали адрес квартиры и повезли туда. В его каморке обыск им ничего не дал. Но его все же не оставили дома. Владимир с

тоскою посмотрел на свою последнюю «вольную квартиру». Отныне у него, как и у Михайлова, «казенная квартира» — сначала в Третьем отделении, потом в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Михайлов ещё здесь. Но они должны скрывать свое знакомство. Каждый из них один на один должен биться с общим врагом. Если Михайлов еще здесь и если его, Обручева, взяли на улице по слежке, значит свой его не выдал. Его выдал чужой, да, тот красивый парень-лихач!

Обручев ни в чем не признается: не ездил, не возил, лихача не знает, «Великоруса» не видел и не знает. Наконец его повели к самому графу Шувалову в кабинет, обставленный шкафами красного дерева. Беседа продолжалась примерно четверть часа. Шувалов все время стоял за своим столом, посматривая в окно.

Пренебрежительным тоном граф заметил:

— Ведь у вас есть двоюродный брат, который участвовал в «Военном сборнике» с Чернышевским? Где он теперь?

— Полковник Обручев в служебной заграничной командировке. С мая 1860 года он не был в России.

— Да?!

Обручев запомнил этот вопрос. С тревогой сжалось сердце за Николая, который в конце октября с молодой женой-француженкой должен был вернуться в Россию. Но Владимир не сомневался в его осторожности.



Н. И. Утин.



П. Г. Заичневский.

Обручев твердо решил ни в чем не признаваться.

Однажды его подвели к небольшому железному ящику и, открыв его, показали массу надписанных им самим писем: Панаеву, Салтыкову-Щедрину, Ламанскому...

«Почему эти письма здесь?! Неужели адресаты сами доставили их в Третье отделение?! Конечно, как же иначе?» Вихрем проносились в мозгу Обручева ужасные догадки. Мысль о том, что все эти конверты могли быть задержаны на почте, не пришла ему в голову.

Отпираться было бесполезно. Жандармы так же хорошо знали его почерк, как и он сам. А конверты надписаны его обычным почерком.

Он вынужден был признать свое личное участие в распространении второго номера «Великорусса».

Но и только! Больше жандармы от него ничего не добились!

Это было 28 октября 1861 года. Мысль Обручева лихорадочно работала в одном направлении: к 20 октября должен быть напечатан третий номер «Великорусса». Все его острие направлено против царствующей династии. «Комитет уверен, — говорится в нем, — что законность и нынешняя династия — вещи, которых нельзя соединить... Сами факты пусть раскроют глаза людям, питающим ошибочную надежду на династию. Всего важнее, чтобы друзья свободы действовали заодно».

Обручев мучительно повторял эти строки. Его лично факты уже убедили, что друзья свободы на словах, а кто — на деле.

Обручев страдал всем сердцем за «людей партии». Ведь они рискуют жизнью ради того, чтобы получатели «Великорусса» приносили его в Третье отделение!

Обручев не знал, что только 17 человек из сотен принесли номера «Великорусса» в Третье отделение, приложив к ним письменные уверения в своей преданности престолу. Не знал он и того, что Панаев поступил так с одной лишь целью: отвести подозрения от редакции «Современника», не знал он, что конверты, адресованные Салтыкову-Щедрину, не им были вскрыты в канцелярии вице-губернатора. Многого не знал Обручев! Он видел только надписанные собственной рукой конверты, попавшие в руки врагов, и страдал, тревожился за друзей, за лучших людей России.

В нем все клокотало. Он буквально метался по камере и мучительно думал:

«Как предупредить людей? Как огласить этот подлый факт доставки «Великорусса» в полицию их пол учителями?»

Обручев перебрал в уме все возможности и, наконец, решился попросить свидания с сестрой Машей и зятем Боковым. Быть может, это было неосторожно, он рисковал вовлечь своих ближайших родных в большие неприятности. Но другого, более верного и внешне безобидного пути он выдумать не мог. В конце концов это его родные, и он имеет право требовать встречи с ними.

Владимир был крайне возбужден. Он с нетерпением ждал свидания. Наконец оно было разрешено. Вечером Обручева привели в приемную, и он увидел своих. Маша, конечно, бросилась к нему со слезами, тепло обняла и стала расспрашивать о всем, что с ним произошло. Власти проявили удивительную корректность: в комнате не было никого.

Боков тотчас же приложил палец к губам и указал взглядом на необыкновенную мебель в приемной: там был большой полукруглый диван, приставленный к стене. В нем легко могли спрятаться два человека, хотя и одного бывает достаточно, чтобы погубить людей.

Предупреждение Бокова заставило их говорить нужные вещи шепотом под аккомпанемент причитаний Маши. Инцидент с письмами был подробно рассказан с просьбой дать ему возможно широкую огласку и не губить себя ради публики, до такой степени безучастной. Из разговора Обручев узнал, что «третий вышел» и адрес царю — тоже.

«Комитет работает!» — с этим радостным сознанием Владимир простился с Машей и Боковым. Теперь он был спокоен, ибо знал, что предупредил людей, продолжавших борьбу.

В себе Владимир не сомневался. Он знал, что тайное общество больше всего сейчас нуждается в его твердости и самообладании.

— Держись, — шептал Боков. — Мы верим.

И он боролся.

Улики? Их поначалу оказалось немного. Обручеву предъявили два письма, найденные при обыске. Одно от Чернышевского, другое от Бокова. Оба были в одном конверте и адресованы ему, Владимиру. В письме Чернышевского упоминалось имя Николая Александровича Серно-Соловьевича.

Но все это не улики. Это просто деловые записки относительно литературной работы.

Ничего не дала следователям и другая «находка». Это был черновик письма, в котором Владимир еще в 1859 году просил советов у Чернышевского. Каким образом он не уничтожил его?

— Объясните, что именно разумели вы под словами «подняться выше типа либерального господина»?

Обручев импровизировал на ходу. Не поверили. Атаки продолжались.
— Почему вы искали руководства именно Чернышевского?

Обручев понял, что больше всего врагов интересует это имя. Нет, Чернышевского он будет защищать до последнего дыхания! Собрав все силы и хладнокровие, он отвергал одно подозрение за другим. Он начинающий литератор и, конечно, нуждался в советах, в руководстве. Как же иначе?

Следователи наступали. По их вопросам Владимир догадывался о многом. Жандармы уверены, что «Великорусе» — дело рук Чернышевского, но они прячут свои карты. Если бы Владимир знал, что в распоряжении жандармов уже были доносы предателя Костомарова, рукописи воззваний «Барским крестьянам», «Солдатам» и множество агентурных донесений!

Никто не мог рассказать ему о Михайлове. Его он мельком увидел в тюрьме. Удалось ли ему сохранить тайны общества?

Борьба не утихала.

Шувалов, по существу, так и не добился ничего, если не считать признания самого Обручева. Да! Он, Владимир Обручев, не отрицает своего сознательного участия в распространении «Великорусса». Почему он пошел на это? Ему казалось, что это единственный путь улучшить бедственное положение страны.

— Надо думать, не один вы исполнили все дело. Где остальные участники? Кто, например, дал вам эти листы?

— Извольте. Я получил их от одного господина, которого, кстати сказать, знаю очень мало. Имени назвать не могу—Связан словом чести.

Сколько раз пришлось повторить одно и то же, пока не убедились жандармы в бесполезности дальнейших допросов! Обручев был переведен в Петропавловскую крепость.

Потянулись недели и месяцы томящего одиночества, изредка прерываемого допросами, похожими на предыдущие.

Боков, как позднее узнал Владимир, тоже был арестован, но сумел отвести от себя удар.

— Печать, которой запечатаны конверты с «Великорусом», принадлежит вам?

Боков решительно отверг подозрение. Да, на его письме к Обручеву та же печать, что и на конвертах с «Великорусом», но, по-видимому, он, Боков, запечатал свое письмо у кого-нибудь из своих многочисленных пациентов. У кого именно, он, конечно, не помнит.

Атаки на Обручева становились все настойчивее. К каким только

хитростям не прибегали враги!

В ноябре камеру Обручева посетил свитский генерал Потапов.

— Вы знали Добролюбова?

— Знал, по журнальной работе.

— Умер он-с...

Узник стиснул голову руками. Посетитель терпеливо выжидал. Вкрадчивый тон сочувствия не подкупил Обручева. Напрасно ждал Потапов рассказа о Чернышевском и других друзьях Обручева. Он уехал ни с чем.

Но, оставшись наедине с самим собой, потрясенный Владимир весь день ходил по камере. Он не мог уснуть всю ночь.

Сколько передумано дум! Лишения огромны. Но не они тяготят Владимира. Огорчает мизерность самого «преступления». Знай Обручев, что так обернется дело, он бы поспешил сделать что-нибудь посущественнее. По крайней мере было бы за что пострадать. Теперь поздно.

В декабре на него пытались воздействовать письмами родителей, убитых горем, после чего дважды возили на допросы в сенат — с тем же результатом.

В Петропавловской крепости он встретил новый, 1862 год.

В апреле по приказанию царя ему устраивают встречу с принцем Ольденбургским. Холеный отпрыск выродившейся немецкой династии знает все тонкости придворной дипломатии. После долгой беседы о родителях Обручева принц переходит к делу.

— Вы понимаете, что я приехал не для того, чтобы погубить вас, а для того, чтобы спасти... Вот бумага и перо. Напишите государю, я обязуюсь подать и добиться милости...

Обручев не двигается с места. Он не смотрит на «высокого гостя». Пауза затягивается.

— Вы понимаете, что ваше упорство составляет новое преступление? — шепчет принц. Его лицо блее бумаги.

— Лучше преступление, чем позор!

— А преступление не позор?!

Через секунду принц исчезает, но за дверью долго еще слышится истеричный вопль: «Преступление не позор?.. Преступление не позор?..»

У Обручева свое представление о чести и о позоре. Пусть его не учат титулованные особы. Принц напрасно потерял полтора часа. А сколько их потеряли Шувалов, Потапов, Путилин?

...Сегодня, по-видимому, 13 мая 1862 года. Если это так, то завтра

сенат должен, наконец, вынести приговор. Несколько дряхлых служителей царского престола, уткнув подбородки в стоячие воротники мундиров, решат судьбу двадцатилетнего человека, единственное «преступление» которого — попытка донести до людей вольное слово.

Появляется другой «доброжелатель» — комендант крепости Сорокин, хорошо знавший его отца:

— Зачем вы себя губите?

— Что делать? Нельзя иначе.

— Хотите на свободу? Стоит только написать покаянное письмо государю...

Только не это! Пусть не ждут от него предательства. И вот поэтому завтра ему предстоит выслушать приговор. Владимир знает, что пощады не будет. Его судят не столько за распространение запретных листов. Кара его ждет за дерзкий вызов проклятому игу российской династии. Он, дворянин, предал свой класс. Этого не простят, тем более что врагов «своего класса» он защищал до конца.

В ночь на 14 мая 1862 года Обручев спал спокойно. Он честно исполнил долг.

*

Гул многолюдной толпы на Мытной площади затих. Головы повернуты в одну сторону.

Ах, как тяжелы эти несколько ступеней, ведущих на эшафот! Пусть как угодно воспевают поэты последние шаги осужденных! Обручев поднимался, напрягая все силы.

Смерть? Нет, всего лишь гражданская казнь, но чем она лучше настоящей?

Палач грубо срывает пальто и шапку. Глухо стучит молот по железу. Вот они какие, кандалы! Сейчас его поставят к позорному столбу. А погода стоит чудесная, майская, легкий ветерок освежает голову «преступника».

В толпе раздаются выкрики:

— Прихвати мясо! Прихвати мясо! Так им и надо, смутьянам да поджигателям!

Владимир смотрит в толпу. Он видит много разъяренных лиц. Сердце его упало.

За что?!

Обручев не знал, что полиция затеяла провокацию в связи с майскими пожарами в Петербурге. Революционеров обвиняли в поджоге домов.

Гремит барабанная дробь. Палач толкает Владимира, и он падает на колени. Хруст переломленной над головой шпаги и звуки голоса, зачитывающего приговор, Обручев слышит точно сквозь сон. Впрочем, приговор ему уже известен. Лишение всех прав состояния, ссылка на каторжные работы сроком на три года и пожизненное поселение в Сибири. Империя помещиков-крепостников рассчитывалась с человеком, посягнувшим на ее незыблемость.

Генерал-губернатор Суворов был последним, кто даже после казни предложил Обручеву назвать имена сообщников.

— Я сказал все, что мог, и покоряюсь моей участи.

Вечером того же 31 мая Обручев сел в тюремную повозку. Лошади тронулись в дальний сибирский путь. Непривычно и тоскливо гремели кандалы.

Позади остались поиски» пути, первые шаги по нему, борьба за честь, за друзей и товарищей по общему делу.

Так закончились для Обручева шестидесятые годы. Он был вырван из них.

Впереди была длинная и трудная дорога, жизнь каторжника.

Трудные годы

Под ним «оборвалась крутизна». Падение было стремительным, а удар такой, что до конца дней у него не осталось сил и умения выбраться на прежнюю дорогу. До 1863 года он ждал революции в России. Но «натиск» был отбит. Чернышевский и Николай Серно-Соловьевич разделили печальную судьбу Михайлова и Обручева. Тяжело было пережить эти вести. Тяжело еще и оттого, что был один.

Как сложилась судьба Обручева?

Двенадцать с лишним лет сибирской каторги и поселения составили особый период в его жизни.

Первобытная сибирская глушь, стоны арестантов в острогах, мрачные рудники и заводы, наконец, бескрайная отдаленность от всего, чем привык жить и дышать Обручев, действовали угнетающе. Перед стихией людского зла опускались руки. Каторжные порядки, заведенные на Руси, казались здесь, в Сибири, несокрушимыми, как Гималайский хребет.

Светлыми пятнами на мрачном фоне были дружеская встреча в Тобольске с Шелгуновыми да встречи с политическими ссыльными. Среди них были и польские революционеры. Но свидания были слишком короткими.

Тень декабристов витала над краем, где пришлось жить Обручеву. Многие сподвижники Пестеля и Рылеева уже ушли из жизни. Другие доживали свой век оторванные друг от друга.

В первый год каторги на Александровском винокуренном заводе, в пятидесяти верстах от Иркутска, ему посчастливилось часто видаться с Владимиром Раевским. На Петровском железоделательном заводе, где он пробыл с 1863 года почти до конца ссылки, завязалась его искренняя дружба с декабристом Иваном Ивановичем Горбачевским. Тот согревал его теплом большого сердца. Нередко читал ему письма, приходившие из разных уголков Восточной Сибири от Оболенского, Завалишина, Фон-Визина, Михаила Бестужева. Для Обручева герои 14 декабря были не только живыми памятниками, обращенными лицом к прошлому. Общение с ними ободрило его.

Физические лишения переносились легко. Труднее были внутренние муки. Казалось, он терял самого себя.

В одном он оставался прежним Обручевым — в своей любви к родине, желании блага и свободы народам России и Польши. Как к этому придут они, теперь он не знал.

И еще одну неистребимую черту сохранил он в себе до конца дней — железную стойкость в борьбе за сохранение тайны, вверенной ему однажды.

В Третьем отделении не забыли непокорного отставного офицера Обручева. Атаки продолжались. Кто знает, может быть, каторга развяжет язык бывшему агенту Комитета?

Время от времени перед Обручевым появляется человек в голубом мундире.

— За вас ходатайствуют родные. Мы понимаем боль родительского сердца. Но от вас требуется раскаяние. Полное раскаяние. Назовите же сообщников по делу «Великорусса»!

Ах, как хочется на свободу! Как нужны Владимиру глаза и руки близких людей! Но...

— Я не считаю это для себя возможным!

И так без конца.

Граф Шувалов бесится в своем кабинете на Фонтанке. В 1868 году он шлет в Сибирь два официальных письма о новых предложениях

«фанатику» Обручеву. В них он дает слово оставить виновных «безнаказанными», если только...

Что? Слово жандарма? Никогда Владимир Обручев не станет предателем. Лучше смерть!

И из жандармских канцелярий Сибири идут одни и те же рапорты: «Отказался дать показания».

Тяжко на душе у Владимира. Давно нет тайного общества, к которому он принадлежал, и «человек, передавший мне для распространения в публике этого листка, уже ни для кого не может быть опасен», — писал он в своих объяснениях начальству. Многих уже нет на свете. А иные томятся в сибирских острогах. Среди них и дорогой ему человек, Чернышевский. В часы раздумий Обручев нежно смотрит на томик Шекспира в красном переплете. У него на полке три таких томика. Это подарок Николая Гавриловича.

Вспоминались последние беседы с ним, его добрый взгляд, могучее обаяние ума. За Чернышевского он, Обручев, хоть сейчас готов отдать жизнь.

Пролетели двенадцать лет. «Законное облегчение участи». Обручев, наконец, в России. Куда забросила его теперь судьба?

...1877 год. Черноморские штормы качают русские суда у берегов Турции. Идет война. Рядом с русскими солдатами в Балканских горах проливают кровь за свободу братья-славяне.

На море свои потери и свои победы. 29 мая на рассвете русский миноносец № 2 на всех парах идет на сближение с головным кораблем турецкой эскадры. Удар в борт! Взрыв! Миноносец круто разворачивается, посылая залпы в борт неприятельского судна. Кочегар сует в топку огромный кусок сала, и миноносец стремительно ускользает от врага.

Слава! Весь экипаж представлен к награде. Только волонтер Владимир Обручев скромно отказывается от нее.

— Ведь я же ничего не сделал лично! Всего лишь подставил лоб.

Обручев не служит на корабле. Он человек гражданский. Просто выпросил у адмирала разрешение «сходить в дело». Но все равно. 15 июля 1878 года в Одессу, где живет теперь бывший каторжник, приходит бумага. Владимиру Обручеву возвращен его прежний чин поручика. Вместе с чином пришло восстановление во всех правах.

Что это, поворот в жизни?

Нет. Обручев ждал другого. Ему казалось, что победа в войне будет зарей конституционных свобод для России.

— У людей явились общие гражданские мысли и решимость

действовать по этим мыслям, — говорил он, восхищаясь патриотическим подъемом военных лет.

Но Россия осталась в старых цепях. И Обручев снова упал духом. Внешне он продолжал держаться. Он покинул свою службу в «Русском обществе пароходства и торговли», куда поступил в 1874 году, после возвращения из ссылки.

С 1880 года началось «пролетарское существование». Так называл он работу журналиста. На страницах «Вестника Европы» и «Отечественных записок» временами появлялись его статьи и повести. Неизменно помогал ему М. Е. Салтыков-Щедрин.

В 1883 году Обручев в качестве корреспондента едет за границу. Париж, Лондон, затем снова Париж. Усилием воли он заставляет себя собирать материал для русских журналов. Но дело не клеится. Внутренняя духовная драма приводит Обручева к глубокому кризису.

«Были мысли, вопросы, порывы, падения, любовь и ненависть, радость и тоска, — пишет он. — Неужели из всего, что пришлось продумать и проработать, нельзя выжать одной слезы человеческой, которая пала бы на другую душу и зажгла бы в ней огонь решимости быть лучше? Решимость! Настоящая, твердая, осуществимая! Хорошие бы люди из нас выходили, если бы она была в нас!»

Ничто так не толкает к раздумью, как литературный труд. Где же то знамя, за которое стоит бороться? Обручев почувствовал себя в тупике.

Корни трагедии уходили к тем далеким временам, когда жандармы, злорадствуя, показывали ему пакеты с «Великоруссом». То был первый удар по идеалам юности. Крушение наивной веры в разум, силу и честь сословия, к которому он, Обручев, принадлежал.

В кого верить, в народ? Где дорога к нему? Обручев вспоминал гражданскую казнь и ожесточенные лица людей, обманутых полицией. Это был второй удар.

Третьим ударом было общее поражение славной когорты людей, с которой он связал судьбу в 1859 году.

Остальное довершила сибирская ссылка.

Возвращение не помогло ему. Он не заметил на родине ни обновления, ни тяги к нему. Война и ее исход обманули радостные надежды. Рядом не нашлось твердой руки, подобной руке Чернышевского, которая поддержала бы и направила его.

В жалкой мансарде Латинского квартала, а потом в одном из предместий Парижа Обручев испытал всю глубину одиночества. Голод, отчаяние предвещали гибель.

Спасение пришло неожиданно. Николай Николаевич Обручев и его жена вспомнили о родственнике и разыскали его. Они помогли вернуться в Россию.

Николай Обручев, в те времена крупный военный деятель, был уже начальником Главного штаба русской армии. Благодаря его протекции в октябре 1883 года в Петербурге «состоялся журнал» об определении Владимира на военную службу.

Истощив силы в поисках жизненной цели, Владимир Обручев покорился ходу событий.

До 1906 года продолжалась его служба в морском ведомстве. Двадцать два года политической летаргии, оправдание которой он искал в пользе своей службы для родины, закончились уходом Обручева в отставку в чине генерал-майора.

Судьба обоих Обручевых, бывших друзей и сподвижников Чернышевского, была судьбой людей, не вынесших удара, который нанес царизм революционному движению 60-х годов, первому «революционному натиску». Для Владимира Обручева он явился большой личной драмой. И когда настало время подвести итоги жизни, отыскать в ней самые светлые воспоминания, старый генерал обратил взор к эпохе «Современника» и «Великорусса».

В конце своего пути, склонясь над мемуарами у письменного стола, он вновь испытал суровый упрек жизни. Его мечта рассказать потомкам о «Великоруссе», о борьбе революционеров 61-го года оказалась неосуществимой. В стране все еще царил деспотизм, от борьбы с которым он отошел с болью и мукой.

«Словом, ясно... если я теперь не заставлю себя написать то, что... должно быть написано, то оно так и уйдет со мной в могилу. А это было бы нежелательно, так как мне пришлось быть прикосновенным к обстоятельствам, которые не должны быть забыты и без моего свидетельства неизбежно будут искажены... Но... наиболее важное из того, что я имею сказать, не скоро еще может быть оглашено... Об Н. Г. Чернышевском и М. И. Михайлове еще не наступило время говорить... Путешествие Н. А. Серно-Соловьевича было, кажется, неблагополучно... Мне рассказывали, что он умер почти тотчас по приезде в Иркутск... Я назвал Некрасова... потому, что его можно называть. Никого больше не назову...» — перо выпало из рук семидесятипятилетнего Обручева. Он умер в 1912 году.

Знаменательно, что с первым словом об этом человеке обратился к потомству сам Чернышевский. Героем романа «Алферьев», к которому

Чернышевский приступил в Петропавловской крепости тотчас после «Что делать?», не случайно был избран Владимир Обручев. Вдохновенны пламенные слова, посвященные автором своему младшему соратнику:

«Милый друг! Мы шли по одной дороге. Под Вами оборвалась крутизна; я продолжал итти, гордясь тем, что цел, отчасти стыдясь того, что цел, — не очень долго: и подо мною оборвалась крутизна. И вот оба лежим разбитые. Это ничего, мы оба выздоровеем, опять пойдем своей дорогой, одной дорогой... А мне хотелось бы, чтобы и это время разлуки не пропало даром для нашей дружбы. И вот мне вздумалось показать Вам, как я понимаю Вас, как я ценю Вас».

Тайну «Великоруса» и его Комитета начал открывать тот, кто лучше всех знал ее и имел на нее право, — «великорусский демократ» Чернышевский.



Ю. Куликов ПЕТР ЗАИЧНЕВСКИЙ



Агитатор

Подольск. Люди в заплатанных зипунах и в рубахах навывпуск плотно сгруппировались у крыльца единственного в городе двухэтажного дома.

Тучный господин в мундире коллежского советника что-то говорил собравшимся, изредка оборачиваясь к исправнику, стоявшему рядом на крыльце. Поодаль, возле нарядной коляски, вытянулись во фронт кварталный надзиратель и несколько будочников.

Молча, без шапок слушали крестьяне оратора. Им давно были знакомы и это обрюзгшее лицо и холеные руки. Даже мальчишки» знали князя Оболенского, богатого землевладельца, уездного предводителя дворянства, обладателя не одной тысячи крепостных душ.

Чрезвычайный сход в Подольске был созван по его распоряжению.

Причину никто не объяснил, и потому каждый теперь старался пробраться поближе к крыльцу.

— С вами, друзья мои, будет все улажено по закону, — раздавался елейный голос князя, — уставные грамоты^[16] в имениях составят полюбовно, по доброму согласию. Государь в каждом уезде поставил мировых посредников и указал им строго следить, чтобы земля между помещиками и крестьянами делилась по справедливости, чтобы в обиде никто не был. А ныне, — продолжал оратор, — повелевается открыть повсюду сельские и волостные выборные крестьянские управления. Опекать их поручено опять-таки мировым посредникам.

— А что, эти самые... мировые из мужиков, что ли, аль из чиновников будут? — крикнул из толпы кто-то.

— Избираются они из честных и добропорядочных землевладельцев уезда, — повысил голос предводитель. — Вот мы и собрали вас, чтобы представить посредников. Господин Поленов, господа Давыдов, Вердеревский, Демидов, пожалуйста!

На крыльцо поднялись четыре человека. Трое были в штатской одежде, один в офицерском мундире. Крестьяне рассматривали посредников с явным недоверием, словно фальшивый товар. Неловкое молчание затянулось.

— Перед вами исполнители государевой воли, защитники законности, ваши благодетели, — заговорил, наконец, князь Оболенский. — Воля, объявленная государем, — это святое слово, его нельзя толковать так, будто все теперь дозволено. Бог учит чтить государя и повиноваться властям.

— Волю сказали, а на барщину сызнова гонят! — раздался тот же голос.

Толпа вдруг ожила, зашумела.

— А выкуп-то, выкуп неслыханный, кому за землю платить? Все нам, мужикам!

— А лучший наш выгон пошто огораживают?

— Управляющий снова оброк требует!

Исправник загремел ножнами сабли. По его знаку на крыльцо кинулись будочники. Они стащили со ступеней старика, который тянулся к предводителю.

Оболенский поднял руку.

— Не будем препираться, — пропел он медовым голосом, — я сказал ведь... господа посредники для того и поставлены, чтобы законным путем разрешить споры. Прежде я был вашим отцом и благодетелем, теперь они. Во мне вы прежде находили барина и защитника, теперь найдете в них. Ну,

а сейчас идите с миром домой. Готовьтесь в труде и молитве к устройству нового сельского и волостного управления.

Речь окончена. Предводитель спустился с крыльца, направляясь к коляске. На дрожках поместилась свита. Поезд тронулся, его замыкали полицейские. Через минуту вдали слышалось лишь цоканье копыт.

У крыльца наступила тягостная тишина.

— Ну, дед, что ж не выложил напрямки, чего хотел? — прервал молчание высокий чернобородый крестьянин, обернувшись к старику, тому самому, которого стащили с крыльца.

— Да ведь, чай, слышал исправника, покуда князя ожидали? «Будете, — говорит, — супротивничать, всех перепорю». А будошники-то? Они что злые псы!

Толпа снова загудела.

— Твоя правда, дед. У них сила, не у нас.

— Ан нет... Не у них! — раздался сочный молодой голос.

Все встрепенулись. Юноша в красной рубахе поднимался на каменные ступени. Ветерок шевелил русые кудри, полуденное солнце освещало простое круглое лицо с высоким лбом и темными умными глазами.

Откуда он взялся? Лишь немногие заметили, как полчаса назад на площади остановился четырехместный почтовый экипаж. Из него вышли офицер и молодая дама. Следом за ними, кряхтя, вылез старик в картузе. Все трое скрылись в дверях трактира. Что же, дело обычное. Через Подольск пролегает большой почтовый тракт на Тулу, Орел, Курск и дальше — в южные губернии. А парень в красной рубахе? Еще на ходу спрыгнул он с экипажа и долго стоял в стороне, а во время шумной перепалки с князем подошел ближе и затерялся в толпе.

— Люди добрые, долго ли дадите себя морочить! Кому верите?

Теперь голос молодца звенел, как колокол. Люди плотнее сгруппировались у крыльца.

— Нельзя верить дворянскому предводителю. Он ведь первый в уезде помещик! Не ждите добра и от посредников мировых, они те же бары и за бар стоять будут, как только земли межевать начнете. На государя тоже надеяться перестаньте. Гадкую волю дал он вам, кругом обобраны вы, помещикам в угоду...

Слушавшие жадно ловили каждое слово.

— Речи диковинные! — крикнул старик, поднимаясь по ступенькам. Теперь уж никто не тянул его вниз.

— Ну, а кто ж, по-твоему, эту межу должен проложить промеж барской да мужицкой землей, а?

— И прокладывать нечего! — ответил парень в красной рубахе. — Ваша земля... Вся ваша! Нет у помещиков прав на землю никаких, понятно вам?

— Самая правда, — вмешался чернобородый, — ничья земля, земля божья! Кто ее пашет, под тем и быть ей, куда пашет... Верно говорю?

Шум нарастал.

— А что насчет силы тут толковали, — продолжал молодец, сходя с крыльца, — так вздор все это! Сила вся в народе! Сколько их, помещиков да чиновников? Тысячи. А народ — это миллионы! Разве может кто народ одолеть, когда он разом дружно станет за правду?

Парень остановился. Вокруг него тотчас образовалось кольцо.

— А за правду стоять надо! — воскликнул он, поворачиваясь кругом. — Стоять крепко! Слыхали про Антона Петрова?

— Кто таков этот Антон, рассказывай!

— Не здесь об этом говорить. Разве подальше отойдем...

Четверть часа спустя на пустыре за городом шла горячая беседа. Парень с жаром объяснял крестьянам: земля принадлежит им, управлять ею должна община, мир; верить в царя, надеяться на мировых посредников — гиблое дело. Он рассказал им о подвиге Антона Петрова из села Бездна Казанской губернии.

Разговор захватил юношу целиком. Наконец-то он стал лицом к лицу с сельским людом! В суровых бородатых лицах читал он негодование и видел доверие к себе. Легко и просто было ему с этими тружениками земли. А те засыпали его вопросами.

— А сам-то, сам-то кто таков будешь? — допытывался тот же старик.

Парень расхохотался.

— Спыхватился, дедуся! Да зачем знать-то тебе? Человек я... такой вот, как ты, как все... — И вдруг, нахмурившись, заговорил резко, отрывисто: — За правду стою! Не могу видеть, как баре народ грабят! Вот и вы стойте за правду, как Разин Степан стоял, как стоял Пугачев, как Петров Антон сложил свою голову. Да и как не стоять? К примеру, дворовых людей возьмем. Ну что им делать без земли?

— Сами добудем ее... землю, — слышался хриплый возглас. В круг вступил худощавый человек лет тридцати, по виду дворовый.

— Ну, а как думаешь добывать ее? — прищурился агитатор.

— А это на что? — и дворовый протянул вперед жилистые руки с узловатыми пальцами. — У помещика заберем, ведь не один я... Правду ты сказал, у нас сила!

— Эх, воин! — усмехнулся кто-то из толпы. — А против войска

царского с чем пойдешь, с вилами?

— И то верно, — подхватил парень, — с вилами да с дубиной войска не осилишь. Правда, войско тоже из мужиков набирают, да только и нам сплеховать нельзя. Без оружия воевать пустое дело. А оно в городах. Вот и выходит, что крестьянам надо друзей в городах искать. А они есть там, их друзья. Не одни баре да слуги царские в городах. Вот и смекайте...

— А я ищу вас, господин Заичневский, — раздался вдруг насмешливый голос.

Юноша обернулся и увидел офицера, своего дорожного спутника.

— Вы, кажется, увлеклись, мой дорогой, — цедил он, злорадно улыбаясь, — а ведь экипаж ждет.

Словно кумач рубахи бросился в лицо проезжему молодцу. Казалось, он был готов кинуться на пришельца. Сдержался.

— Благодарю, господин... Шереншпигель.

— Шеренвальд! — резко поправил офицер и, круто повернувшись, зашагал по дороге.

А юноша снова обратился к своим бородатым друзьям.

— Поклон вам, люди добрые! Готовьтесь стать за правду.

Потом очень тихо добавил:

— Только остерегайтесь бунтовать, покуда нет еще меж вами приготовленности, покудова согласия полного по всем деревням не будет да силой не запасетесь. Памятуйте, о чем толковали сегодня. Может, еще доведется свидеться. Не поминайте лихом.

И, взмахнув рукой, зашагал вслед за офицером к городу, где ожидал его почтовый экипаж. На пригорке остановился, оглянувшись на крестьян. Те оживленно толковали о чем-то между собой. А еще через полчаса дорожная пыль заслонила от глаз путника город Подольск.

Дело единомышленников

На третьи сутки до родного Орла оставалось еще добрых сто верст и несметное количество ухабов. Студенту Московского университета Петру Григорьевичу Заичневскому не терпелось. Он спешил домой на летние каникулы. Хотелось скорее обнять родных, пожать руки друзьям, посмотреть, что делается в эти полные тревоги дни в губернии и особенно в деревнях.

Шел 1861 год. Весной, вскоре после объявления «воли»,

почувствовалось приближение грозы. Ощущал ее и Заичневский. Ехал он в родные места полный радости и ожидания, жадно оглядывал каждый лесок, каждую деревеньку. Вдоль дороги буйно зеленели майские хлеба на крестьянских пашнях. Рядом с ними расстилались темные массивы запоздалой пахоты. Это помещичьи земли. Да, тульские и орловские землевладельцы не ждут нынче доброго урожая. Даже поздние посевы дались им нелегко. Поговаривают, что кое-где крестьян выгоняли на барщину при помощи войск. А что творится в Тамбовской и Казанской губерниях! Если так пойдет дальше, петербургскому тирану не усидеть на троне и года. При одной этой мысли» Заичневскому становилось весело. Радовала и недавняя беседа в Подольске. Первый опыт! Нет, не так уж трудно объяснить крестьянину, что конец терпению настал и что пора всем вместе выйти на «доброе дело». Надо только, чтобы смелые люди дружно принялись за работу.

Конечно, предстоит борьба, и еще какая! Враг силен, в его руках власть, оружие, деньги, опыт и преданные престолу слуги. Взять хотя бы Шеренвальда. Сейчас он сидит впереди и дремлет. Его отвратительный затылок мозолит глаза всю дорогу. Еще в Москве непрощенный попутчик приставал с расспросами, а после Подольска вдруг затеял политический спор. Заичневский не сдержался и выпалил все, что накопилось на душе.

— Неужели подобные мнения станете вы высказывать и впредь? — взорвался офицер.

— Проповедь этих мыслей, — отрезал холодно Заичневский, — я считаю задачей моей жизни, и проповедовать их я буду не только в деревне, но везде, где только смогу.

Собеседник злобно покосился и умолк.

«Неплохо заткнул я тебе рот, — думал Заичневский, поглядывая на офицера, — только черт знает, где ты его еще откроешь?»

Все дальше и дальше катился экипаж по пыльной дороге. Собеседники молчали». Заичневский часто оглядывался на чемодан. Там, в его глубине, около 300 экземпляров запрещенных сочинений. Если бы знал о них Шеренвальд!

На свой чемодан юноша возлагал большие надежды. Будет что почитать теперь орловской молодежи. Этой зимой он и его московские друзья славно потрудились. Больше всего Заичневский захватил с собой литографированных изданий лондонской Вольной типографии. Среди них есть такие вещи, как «С того берега» Герцена, «На новый год» Огарева, «Что такое государство» Энгельсона. Здесь же лежат сочинения западноевропейских философов и социалистов Бюхнера, Лорана, Прудона.

Лучшие главы из книги Фейербаха «О сущности христианства» Заичневский переводил сам, сидя ночами напролет в маленькой комнатке на Воздвиженке.

Да, два года в университете не пропали даром. Как все это началось?

Осенью 1858 года семнадцатилетний Заичневский, сын небогатого орловского помещика, полный жажды знаний, впервые вступил в стены Московского университета. Он избрал физико-математический факультет. Однако даже такие профессора, как Зернов и Брашман, не увлекли беспокойного первокурсника. И неудивительно. В общественной жизни России после крымского поражения чувствовалось что-то вроде подземных толчков — вестников землетрясения. Равнодушными к ним могли остаться только полумертвые.

Словно река в весеннее половодье, бурлила жизнь в университете. Незадолго до поступления Заичневского здесь начались студенческие сходы, в прошлом дело невиданное. Шумно обсуждались столкновения студентов с полицией и администрацией университета. Старые студенты рассказывали новичкам о скандальных историях с профессорами-консерваторами. Назревали новые столкновения. Студенты отстаивали свои права, добивались свободы сходов и студенческих организаций.

Заичневский с головой окунулся в университетские события. Накаленная политическая атмосфера предреформенных лет и студенческие дела очень скоро отбили у него вкус к естествознанию и математике. Однако переходить на юридический или к филологам не хотелось. Преподавание там встречало всеобщее недовольство. Махнув рукой на профессоров, он занялся самообразованием. Лекции профессоров ему, как и многим, заменили труды по социологии, философии, истории. Пробудился горячий интерес к журнальной публицистике. На столе росла стопка книг, добытых у букинистов.

Не одну утреннюю зарю встретил молодой математик за чтением немецких философов Бюхнера и Фейербаха. Вся окружающая природа, как и отношение к ней человеческого разума, предстали перед ним в их материалистическом очертании.

Товарищи по факультету пожимали плечами, часто видя в руках Заичневского вместо лекций по физике или математике журналы со статьями о революционных событиях в Италии, о польском восстании или том «Всемирной истории» Шлоссера.

Еще в орловской гимназии появился у него интерес к истории. Там же впервые встретился он со словом «социализм». В университете Заичневский прочел запрещенные сочинения Герцена, где это загадочное

слово встречалось чуть ли не на каждой странице. С тех пор начались жадные поиски.

Чего не удавалось достать в букинистических лавках, можно было добыть другим путем. Заичневский скоро стал усердным посетителем полулегальной «Библиотеки казанских студентов». Чего только не было там! Серьезные предприимчивые организаторы «Библиотеки» — студенты старших курсов Юрий Мосолов и Николай Шатилов держали на частной квартире, снимаемой за недорогую плату, несколько комплектов «Современника». Здесь можно было прочитать переписанные от руки статьи из «Колокола». Для лиц, пользующихся особым доверием, извлекались из тайников неопубликованные сочинения Белинского, запрещенные стихи Пушкина, Рылеева, Полежаева и, конечно, западноевропейская социалистическая литература.

— Хотите прочитать свежую вещь? — обратился как-то к Заичневскому худой юноша с огромными, немного грустными глазами.

Заичневский не раз уже встречал его в «Библиотеке казанских студентов». Оригинальный профиль и черные вьющиеся кудри выдавали в нем южанина. Заичневский назвал себя, протягивая руку.

— Аргиропуло, Перикл... с юридического, — произнес брюнет, отвечая с улыбкой на рукопожатие. Оглянувшись по сторонам, новый знакомый осторожно извлек из-за пазухи вчетверо сложенный номер «Колокола».

Это было зимой 1858 года. С тех пор завязалась их большая дружба. Аргиропуло родом грек, сын драгомана русской миссии в Турции, почти всю жизнь прожил в России и окончил гимназию в Харькове.

Друзей сблизило единство убеждений. В оживленных беседах выяснилось горячее желание обоих служить народу, бороться против помещиков и самодержавной тирании.

Не мудрено, что весной следующего года оба встретились на тайной сходке избранных читателей «Библиотеки казанских студентов». Мосолов и Шатилов обратились к собравшимся с предложением создать тайное общество. Они уже были исключены из университета за активное участие в студенческих беспорядках.

— Что же мы будем делать? — спросил Заичневский. — Как определили бы вы задачи общества?

— Я полагаю, — ответил Мосолов, — что первым нашим делом должен быть подбор людей надежных и стойких, готовых целиком отдать себя борьбе.

— Ну, а потом?

— Потом... мы должны серьезно и обстоятельно заняться политическим самообразованием и вместе с тем тщательно наблюдать за всем, что происходит в стране, чтобы в нужное время быть готовыми на дело...

— Все не то! — перебил Заичневский. Он вскочил с места и вышел на середину комнаты, ероша непокорные волосы.

— Что толку, — заговорил он с присущим ему жаром, — если мы, маленькая кучка людей, усядемся за книги и журналы, будем тратить драгоценное время на беседы да препираться в спорах? Этак мы можем проспять революцию, а я верю, что она близится!

— Недолюбливаю риторики, — тихо сказал Шатилов. — Говорите прямо, Заичневский, что вы предлагаете?

— Пора полным голосом звать людей, — гремел косматый богатырь, — будить их везде и всюду, действовать открыто, без страха. Нас услышат и поймут. Наступает такое время, когда на призыв откликнутся тысячи...

Заичневского поддержали некоторые из присутствующих. Однако руководители «Библиотеки» серьезно возражали:

— Вы забываете, Заичневский, что Россия не Англия. Здесь полицейский строй. За нами и так уже следят.

— Нас не должно это пугать! — спорил Заичневский. — Пусть пострадаем мы. На смену придут другие. Только так можно покончить с рабской покорностью. Если мы серьезно думаем о борьбе, так ведь ее пора уже начинать! Мы должны сплотить вокруг себя революционную партию и выпустить воззвание к народу...

Мосолов и Шатилов видели в Заичневском своего единомышленника, но в организационном вопросе и взглядах на методы действий все же твердо стояли на своем. Они называли позицию Заичневского безрассудной. Споры о задачах и уставе общества затянулись на несколько недель. Они закончились тем, что Заичневский со своими последователями покинул тайные собрания «Библиотеки», создав свой кружок. Решено было начать с тайной литографии. В середине 1859 года молодые пропагандисты с жаром взялись за дело.

С тех пор минуло почти два года. За это время кружок отлитографировал и распространил в сотнях экземпляров статьи из «Полярной звезды» и «Колокола». Были изданы не меньшим числом произведения западноевропейских утопических социалистов, распространены портреты Герцена, Огарева, декабристов, польского революционера Мерославского.

Сейчас, на пути в Орел, Заичневский мог пересчитать по пальцам

города, куда рассылались эти издания: Москва, Петербург, Орел, Курск, Харьков, Киев, Чернигов, Лубны. К ним следует добавить города и села Нижегородской губернии, Тульской, Рязанской.

— Это уже кое-что! — шептал юноша, с гордостью оглядываясь на чемодан. — Пожалуй, мы вправе считать себя первыми издателями вольной прессы на русской земле, — вспоминал он слова своего друга.

Заичневский за эти годы крепко привязался к «греку», так называл он Аргиропуло. В ответ приятель иногда называл его Робеспьером. Что-то сейчас делает в Москве этот чудесный парень? Ведь это он добровольно взвалил на себя всю практическую часть литографирования и повел дело с необычайным умением и настойчивостью. Запрещенные сочинения издавались в частных литографиях под видом университетских лекций. Скоро Аргиропуло поставил всю работу на коммерческую ногу. Издания кружка продавались по дешевой цене и приносили доход. К таким вещам у «грека» было природное дарование, сочетавшееся с редким бескорыстием. Недаром Аргиропуло был избран заведующим студенческой кассой. Вся выручка от продажи подпольных изданий шла на поддержку нуждающихся студентов.

А каких верных друзей помог найти Аргиропуло! Усердными переводчиками и переписчиками запрещенных сочинений были студенты Николай Славутинский, Вячеслав Манассеин, Аполлинарий Покровский, Александр Новиков, Петр Лебединский. Брат Заичневского Николай ввел в кружок таких талантливых и деятельных студентов, как Праотцев, Понятовский, Евреинов, Рубинский. С большим уважением относился Заичневский к Леониду Яценко. Этот одаренный молодой украинец с увлечением переводил на русский язык стихи Тараса Шевченко, а на украинский — статьи Герцена и Огарева. Переводы литографировались и рассылались украинским книгопродавцам. Яценко сотрудничал в журнале «Основа» и вел переписку со многими книгоиздателями.

С такими людьми хоть в огонь и в воду. Заичневский уверенно вел друзей к намеченной цели. Профессора не так уж часто видели его в аудитории, зато знакомая всем красная рубаха непременно маячила в студенческой гуще во время сходов. За своим главарем неотступно следовали Аргиропуло и другие друзья по кружку. Имена их уже давно попали в черный список ищейки-инспектора. Но была опасность посерьезнее. Впрочем, друзья только посмеивались, если заходила речь о путешествии по знаменитой Владимирке^[17]. Больше всех потешался сам Заичневский.

— Что-о-о? Запрещенные! — шептал он, бывало, запустив руку за

пазуху кому-нибудь из друзей. — Не миновать вам Сибири, молодой человек! — И заливался громким смехом.

То были дни, озаренные счастьем большого труда на благо народа. По вечерам молодые люди собирались для чтения или беседы. Чаще всего это происходило на Воздвиженке в доме Татьяны Петровны Пас-сек, родственницы Герцена, либо в квартире Тимофея Степановича Славутинского. Сам Заичневский или кто-нибудь другой читал вслух новую статью из «Современника». Обсуждался каждый номер «Колокола». Почти всегда завязывался горячий спор, связанный с внутренним положением в стране и, конечно, с крестьянским вопросом. Правительство заканчивало работу по подготовке реформы. Многие ожидали больших перемен.

— Только не ждите ничего путного от правительства! — твердил Заичневский. — Ничего, кроме обмана, не будет. Помните слова Чернышевского: «Крайность может быть побеждаема только другою крайностью». На нашем языке это называется революцией.

Руководитель кружка резко осуждал Герцена за его упование на монарха.

— Теряю уважение к Искандеру с каждым днем, — говорил он. — И что за охота рассыпать комплименты коронованному Собакевичу! Ради этого не стоило уезжать в Лондон.

Имена Чернышевского и Добролюбова произносились в доме Пассек с особым уважением. Вникая в «Антропологический принцип в философии» Чернышевского или обсуждая события в Италии, изложенные острым пером того же автора, друзья не замечали, как пролетала ночь.

Как-то в одну из поездок в Петербург, везя с собой полный чемодан запрещенных изданий, Заичневский и Аргиропуло остановились на квартире у Стопакевича, корректора «Современника». Тот привел их в редакцию. С тех пор начались встречи с Николаем Гавриловичем.

Чернышевский откладывал в сторону все дела, как только на пороге редакции появлялись редкие гости из Московского университета. С ними он был прост и серьезен. От Заичневского не ускользнул живой интерес руководителя «Современника» к университетским событиям, и он с увлечением рассказывал обо всем, что творится среди московской молодежи.

В беседе у стола, заваленного книгами! и корректурами, часы летели незаметно. О чем бы ни говорил Николай Гаврилович: об искусстве, сельском хозяйстве, университетском уставе или европейской политике, всякий раз юные посетители покидали редакцию с еще большим убеждением — существующий порядок для современного общества стал

нестерпимым. Близится время, когда для его сокрушения понадобятся смелые люди, и тогда...

Впрочем, Чернышевский никогда не доводил этой мысли до конца. Глаза его словно говорили: «Теперь довольно. Дальше нельзя. Думай и решай сам».

Простодушного юношу поражало искусство, с которым Чернышевский уходил от острой темы, преображаясь в скромного литератора, погруженного в книги. Сколько раз пытался Заичневский заговорить о тайном обществе, о практических задачах революции! Напрасно. Чернышевский оставался непроницаемым.

— Загадка какая-то! — жаловался. Заичневский «греку», и однажды, на пути к Дворцовому мосту по Миллионной, сгоряча воскликнул: — Нет, это человек, конечно, необъятного ума, но слишком уж кабинетный!

Аргиропуло, как мог, возражал против резкости этих суждений, но пылкий друг не хотел и слушать. Заичневский глубоко чтит в Николае Гавриловиче революционного мыслителя. Называл учителем. Но он принадлежал к числу тех натур, которые наивную прямолинейность сочетают с бесшабашной отвагой и презрением к тактическому маневру в борьбе за достижение цели. Слишком пылкий и порывистый, он не сумел понять и оценить Чернышевского как политического борца и искусного конспиратора.

Не по сердцу была Заичневскому сдержанность, которую наблюдал он в среде литераторов, окружавших Чернышевского.

— Каков поп, таков и приход! — волновался неукротимый орловец. Он не выносил осторожности, но ощущал ее всюду: и в равнодушном, как ему казалось, взоре Некрасова, которого так уважал за смелую гражданскую лирику, и в молчаливой застенчивости Добролюбова, как-то не вязавшейся с боевым задором знаменитого «Свистка». Осторожностью и выдержкой веяло от остроумных реплик поэта Михаила Илларионовича Михайлова и от спокойного оптимизма его друга Николая Васильевича Шелгунова.

Заичневский не знал, что эти люди, в свою очередь, сдержанно относились к порывистому, не знающему удержу студенту москвичу. В те дни Заичневский горячо толковал своему другу Аргиропуло:

— Литераторы — народ полезный, они будоражат мысль, но не в их среде надо искать людей дела.

И они спешили на Васильевский остров, не обращая внимания на нарядную публику. Там, за рекой, под сводами бывших петровских коллегий, они попадали в знакомую среду. В столичном университете кипела жизнь. Те же шумные сходки, студенческие «истории», что из

Москве.

— Вот она, молодая Россия! — радовался Заичневский.

Чернокудрый завсегдатай сходок, вдохновенный оратор и коновод молодежи, Николай Утин пришелся более всего по душе Заичневскому. Сошелся он и с его друзьями — студентами Михаэлисом, Покровским и Геном. В Петербурге издания московского кружка расходились молниеносно.

Связи расширялись. Много друзей приобрели Аргиропуло, Праотцев, Манассеин в Харьковском университете. Через харьковчан завязалось знакомство с киевскими студентами. Все искали объединения и жаждали деятельности. Только московское общество «казанских студентов» не проявляло себя ничем. Казалось, в нем все замерло, но это только казалось.

Весной 1860 года перед кружком Заичневского открылось новое поприще. Повсюду заговорили о бесплатных воскресных школах для фабричных людей, ремесленников и всякого трудового люда. Среди московских студентов разнесся слух, что в Киеве такие школы уже открыты.

Спустя два месяца, в один из воскресных дней, двери приходских училищ Москвы раскрылись для новых учеников. Тут были крестьяне с бородами, приказчики, мастеровые и подростки-подмастерья.

Нелегко далась эта победа. Поначалу Заичневский и его друзья обратились к профессору Тихонравову, который энергично вмешался в дело. Поддержали его и другие ученые, литераторы. После долгих увещаний попечитель учебного округа, наконец, сдался.

В классах тон задавали, конечно, студенты. Вячеслав Манассеин первый открыл урок. С волнением выводил он на доске буквы. В следующее воскресенье Заичневский повел в школы студентов Покровского, Новикова, Славутинского, Праотцева. С третьего занятия в работе участвовали уже двенадцать членов кружка и еще многие студенты-добровольцы, не принадлежавшие к тайному обществу. Заичневский настаивал на том, чтобы приступить к делу, не откладывая в долгий ящик. Вместе с Аргиропуло он раздобыл несколько десятков экземпляров «Хижины дяди Тома» и сборника рассказов Марко Вовчка, и, когда ученики уставали писать буквы или складывать однозначные числа, юные учителя начинали чтение вслух.

Глаза учеников блестели радостью от вежливого обращения на «вы», а еще больше увлекало их чтение книг о горькой судьбе обездоленных. Затем начинались беседы.

Воскресные школы росли по всей стране. В одной Москве их

насчитывались десятки. К концу 1860 года в работе школ принимало бескорыстное участие около ста студентов-москвичей. Никто не предвидел, что быстро растущему делу скоро придет конец.

30 декабря 1860 года как снег на голову свалился грозный циркуляр министра народного просвещения. Министр требовал установления строгого контроля за преподаванием в воскресных школах, а также за «благонадежностью» учителей.

— Остается только покинуть эти школы, — заявил Заичневский. — Только мы так просто не сдадимся. Создадим свои! Сделать это можно в деревнях. Для чего существуют каникулы?

Наступил 1861 год...

В западне

Рука канцелярского служителя старательно водит пером. На серой папке с бумагами одна за другой ложатся каллиграфически выписанные буквы: «О печатании и распространении запрещенных сочинений».

Верхняя часть обложки занята трафаретом. Надпись гласит: «Его императорского величества собственной канцелярии третье отделение». Чуть пониже мелким шрифтом набрано: «Экспедиции 1-й».

Чиновник оттирает пот. Самое главное сделано. Остается лишь заполнить графу «Начато». Осторожно обмакнув перо, он аккуратно выводит: «16 октября 1859 года».

Графа «Окончено» пока остается пустой. Сегодня 15 июня 1861 года, но никто не может предугадать, когда завершится «дело». По-видимому, не накопилось еще достаточного количества бумаг. Впрочем, чиновнику безразлично. Его обязанность — завести новую обложку. Завтра «дело» снова ляжет на стол его сиятельства, а тут на беду оказалась чернильная клякса. Не интересуется чиновника и имя студента Заичневского, упоминаемое чуть ли не в каждой бумажке, подшитой к делу.

У секретаря, которому он подчинен, тоже много своих забот. Кто отвечает за форму бумаг? Вот и сегодня секретарь скрепил своей подписью на нижнем крае листа важное предписание самого управляющего Третьим отделением графа Шувалова. Прежде чем отправить его, он не раз пробежал глазами ровные строчки:

«Его высокоблагородию жандармскому подполковнику г-ну Житкову.

С получением сего согласно высочайшему повелению от 15-го июня

сего года касательно студентов Московского университета Петра Григорьевича Заичневского и Перикла Эммануиловича Аргиропуло, предписывается Вам, подвергнув аресту вышеупомянутых студентов и описав найденные при них бумаги, доставить оных в Санкт-Петербург в Третье отделение вместе с бумагами. Об исполнении чего неукоснительно сообщить...»

Жандармам, получившим предписание, понятно все. Заработала фельдъегерская почта, а через два дня резвая тройка мчала подполковника Житкова из Москвы в Орел. Машина Третьего отделения действует безотказно.

...Заичневский тем временем продолжал свое дело. Вот уже скоро месяц, как он в Орле. Среди молодежи давно разошлись нелегальные издания. Их не хватает, каждому хочется скорее познакомиться с Фейербахом, прочитать вдохновенные творения Герцена, обсудить в жарком споре социалистические теории европейских мыслителей. В дни, когда Россия переживает опасный поворот, никому не сидится на месте. Особенно тем, кто не перешагнул еще на третий десяток. Среди таких много гимназистов, есть студенты, учителя и даже девушки из помещичьих семей. Они тоже жаждут приобщиться к большому делу. Только к какому? И как приобщиться? На эти вопросы не так просто найти ответ.

Точно с неба свалился взлохмаченный студент в красной рубахе. Этому неугомонному богатырю все ясно. Как горячо и убедительно говорит он о социализме, революции, о сельской общине и федеративной республике будущего! Сколько остроумия, пыла и неумолимой логики в его речах! Не мудрено, что юношество потянулось к нему.

Заичневский чувствовал, что стал душой орловской молодежи. Своих слушателей он покорял рассказами о французской революции 48-го года, о Бланки и Маццини, о теориях Бюхнера и Фейербаха. Атеизм, социализм, революция, сплетаясь в урагане красноречия, метко били в одну цель: существующий строй неизбежно рухнет, и час близится. А если заходила речь о героях 14 декабря, о «Колоколе» и «Современнике», десятки глаз впивались в оратора. Затаив дыхание ловили каждое слово.

Литературы не хватало. Заичневский в каждом письме просил «грека» о присылке новых подпольных изданий. В беседах убегали дни. А тут еще непрестанно глодала заветная, скрытая от многих страсть — потолковать с мужиками. Раза два в неделю Заичневский ездил домой — в отцовское имение либо в одну из соседних деревень. Там где-нибудь в полутемной риге или на берегу реки сходились бородатые слушатели. Проповедник в красной рубахе рассказывал им о самом святом: о воле, о жизни радостной

и счастливой. И будто бы та жизнь уже не за горами. Надо только решиться всем, сообща выйти на бой против господ-кровопийц. Приносил он с собой и мудреную книжку — «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» — царский закон, что объявлен недавно. Получается и вправду, что кругом обманут мужик и воли нет никакой, а приготовили ему сети новые, хитро сплетенные царем да чиновниками.

До чего же быстро находил Заичневский с крестьянами общий язык! Как это передовые, просвещенные люди не догадались до сих пор, что место их в гуще народа? Взять хотя бы Герцена. Столько писать о сельском мире, общине, так яростно клеймить нынешних аракчеевых и салтычих, а ведь ни слова к самому «государю народу»!

Впрочем, Искандер не виноват. Крестьянин неграмотен. С ним надо говорить устно. Притом совсем просто, забыв крылатые метафоры, без которых Герцен не может написать и пары строк. А потому он, Заичневский, говорил прямо от души. Поведал он мужикам и о Кандеевском восстании в Тамбовской губернии. Там, рассказывают, возили по деревням красное знамя.

В те дни он с восторгом писал в Москву к Периклу Аргиропуло; «Вот оно, красное знамя, начинает развеваться и у нас и осенять собою толпы собравшихся хотя и невооруженных, но все-таки на защиту великого дела социализма — общинного владения землей!!!»

Один раз Заичневский угодил прямо на крестьянскую свадьбу. Что же, неплохо! Вслед за тостом в честь молодых он стал говорить про «волю». Смолкла свадебная песня. Хозяева и гости окружили проповедника, а когда окончилась речь, бросились обнимать его. Каждый наперебой звал к себе. Пришлось переходить из дома в дом, и везде было полно жадных слушателей.

Все же одному вест» дело трудно. Заичневский по ночам часто думал о своем кружке. Как мало, однако, еще надежных друзей, а ведь пора приступать к созданию всероссийского тайного общества. Начало как будто положено. Разъезжаясь на каникулы по разным городам и селам, московские друзья поклялись взяться за дело. Каждый обязался привлечь в общество несколько надежных студентов с таким расчетом, чтобы охватить все университеты России. Вместе с тем было решено везде, где только возможно, создавать крестьянские школы и вести беседы с крестьянами. Это самый удобный путь для создания тайного общества. В случае провала все можно свести к делам невинным.

Аргиропуло и тут оказался на своем месте. Живо договорился с учителем воскресных школ Смирновым и пустил на литографию его

буквари, разработанные по звуковому методу с приложением набора передвижных букв. Теперь всякий член кружка имеет у себя десятки букварей.

Как же все-таки! быть с тайным обществом? Заичневский без конца ломает голову над этой проблемой. Вся надежда на тульский съезд. Дело в том, что еще в Москве деятели кружка договорились собраться летом в Туле. Туда же должны прибыть люди, заранее подобранные каждым из товарищей. Работа пока только начата. Больше всего приятели пишут о крестьянских школах. Вот, например, Иван Понятовский из Кузьмищева Тульской губернии. Учеников у него больше пятидесяти, «и всё славные мальчики». Посмотреть бы, что это за «ребятишки». Ведь перед каникулами сговорились, что «мальчики» могут быть и с бородой по пояс.

Утешительные вести шлют Праотцев, Славутинский и сам Аполлинарий Покровский, инициатор создания таких школ. Ему давно пришло в голову создать всероссийское общество, которое с фасада выглядит школой, а внутри меч обоюдоострый заложен.

Словом, дела пока идут недурно. Только проклятая полицейская слежка портит кровь. Первым напакостил, конечно, Шеренвальд. Вскоре Заичневский узнал, что отца вызывает к себе губернатор. Григорий Викулович вернулся домой расстроенный, а на другой день в отцовском кабинете шел серьезный разговор. Оказывается, у губернатора на руках конфиденциальное письмо от московского обер-полицмейстера. Отец запомнил его слово в слово.

«Выехавший на днях отсюда в имение своего отца помещика Орловской губернии Заичневского студент здешнего университета Петр Григорьевич Заичневский намерен распространять мнение в народе и переее всего в имении своего отца, что вся земля помещиков принадлежит бывшим их крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости».

Итак, полиция не дремлет. Ну и что же, пусть! Бояться ее не надо. Открыто надо действовать, лишь в этом залог успеха. А с отцом разговор был коротким. Григорий Викулович хоть и слывет либералом, но страсть как трусит. Грозился отречься от сына и прогнать из дому. В ответ сын только пожал плечами и ушел, грохнув дверь.

Само собой разумеется, он не знал и сотой доли козней, из которых сплеталась жандармская западня. Ему не приходило в голову, что на берегу Фонтанки, в доме, мимо которого жители Петербурга проходят с опаской, тщедушный чиновник уже полтора года подшивает в дело листок к листку, а в них...

Нет! Заичневский не станет терзать себя опасениями. Такие люди идут

напролом. Их девиз — бой с открытым забралом.

В один из первых дней каникул Заичневский случайно очутился в гуще избранных землевладельцев губернии. За богато сервированным столом — предводитель дворянства и прочая местная знать. Любопытно, что в своем кругу они не прочь полиберальничать. После нескольких бокалов дело дошло даже до разговоров о социализме. И тут какому-то ожиревшему плантатору взбрело в голову поносить борцов за общественное счастье. Смакуя осетровый балык, он возвестил, что-де французские социалисты в 1848 году на практике показали свою несостоятельность.

Заичневский, до сих пор только подававший реплики, вдруг поднялся.

— О том, чего не знаешь, лучше молчать! — вспыхнул он.

Теперь уже никто не мог удержать его. С разинутым ртом слушали орловские собакевичи и маниловы дерзкую речь «красного». А тот увлекался все больше. Рассказав о революции 1848 года, он перешел к положению крестьян в России и закончил похвалой Антону Петрову. На минуту воцарилась гробовая тишина. «Благородные» переглянулись и встали. Ни один не стал возражать. Молодой оратор, оглядев почтенное собрание, громко захохотал и исчез.

«Одним словом, скандалов столько, что и не перечесать, — писал он в Москву Периклу Эммануиловичу, — а я еще ничего не говорю о скандалах с маменьками и тетеньками, у которых есть дочери. Молодежь, однако, слушает с восторгом речи об эмансипации женщин».

Кажется, написал напрасно. «Грек» встревожился не на шутку и с первой же почтой прислал письмо, в котором умолял об осторожности. К чему это? Вот уж не ожидал подобной робости.

«Проповедовать не значит бунтовать», пишешь ты, дорогой «грек»? А что же тогда делать и где же, по-твоему, проповедовать? Неужели только дома, сидя на печи?

И в Москву летит новое письмо. «Ore e sempre!^[18] — девиз Маццини и всей «Молодой Италии». Ore e sempre! — не должен ли быть и нашим девизом? Мы, социалисты, не обязаны ли везде и всегда проводить те идеи, которые в настоящее время составляют достояние весьма немногих людей... Пора! Настало время показать этим господам, что истина не на их стороне, что скоро, скоро рухнет окончательно строй, к которому они принадлежат».

Беда грянула, как всегда, неожиданно.

Однажды под вечер Заичневский возвращался из Орла в имение отца. Переступив порог, он гут же наткнулся на голубые мундиры. Мигом понял

все. В голову ударила мысль: «Не успел уничтожить последних писем от друзей! Теперь поздно...

Со скоростью ветра несла его тройка в Петербург. По бокам жандармы. А дальше — лязг засовов, решетка... непрерывные допросы... бессонные ночи.

В тот же день, 22 июня, в Москве был схвачен Аргиропуло, а позднее — Покровский, Понятовский, Новиков, Яценко, всего девять человек из кружка.

Скоро наступит день

По улице, проклиная липкую грязь, идут прохожие и озираются на крохотное окно, забранное решеткой. Они видят пару рук, стиснувших железные прутья. Больше ничего. И прохожие инстинктивно ускоряют шаг. Еще один страдалец! Кто бы это? Видать, детина немалого роста. Не каждый дотянется до решетки.

В полутьме камеры трудно разглядеть взлохмаченного человека. Он прильнул к кирпичам скошенного оконного проема. Ухватившись за решетку обеими руками, невольник смотрит на облака, плывущие над Москвой. Взгляд полон гнева, а губы шепчут страстные слова:

— Россия вступает в революционный период своего существования. Проследите жизнь всех сословий, и вы увидите, что общество разделяется в настоящее время на две части, интересы которых диаметрально противоположны, которые, следовательно, стоят враждебно одна другой... снизу слышится глухой и затаенный ропот народа, народа угнетаемого и ограбляемого всеми, у кого в руках есть хоть доля власти...

Узник рывком отделяется от окна. Шагает по тесной камере из угла в угол, не переставая говорить.

— ...это всеми притесняемая, всеми оскорбляемая партия, партия-народ! Сверху над нею стоит небольшая кучка людей довольных, счастливых. Это помещики, предки которых или они сами были награждены населенными имениями за свою прежнюю холопскую службу...

Тишина. Три шага в один угол. Три — в другой. Затем снова звучат слова. Звук стремительно нарастает. Рвется наружу. Ему тесно в камере.

— ...Это потомки бывших любовников императриц, щедро одаренные при отставке... Это купцы, нажившие себе капиталы грабежом и обманом... Это чиновники, накрававшие себе состояние... Одним словом, все имущие, все, у кого есть собственность родовая или приобретенная. Во главе ее царь... Ни он без нее, ни она без него существовать не могут.

И уже во весь голос, так, что слышно даже в коридоре за тяжелой дверью;

— ...Она понимает, что всякое народное революционное движение направлено против собственности и потому в минуту восстания окружит своего естественного представителя — царя. Это партия императорская!

Полная тишина. Заичневский озирается кругом. Он словно ловит угасший звук своего голоса. Записать бы все это! Но под рукой ни клочка бумаги. Обессиленный, падает на скамью и, вытянувшись во весь рост, думает... думает...

Март 1862 года. Девять месяцев юноша томится в неволе. Теперь он уже в Москве, в камере Тверской полицейской части. С ним разделяет участь верный друг Аргиропуло. Только сидят они порознь. Многие испытали оба за это время. Сначала мучили допросами жандармы Третьего отделения. Потом для расследования дела «о печатании и распространении злоумышленных сочинений» создали специальную комиссию из чиновников сената. В поисках нитей «заговора» изобретали каверзные вопросы. Напрасный труд! Девять товарищей Заичневского держались стойко. Нет, они не печатали и не распространяли ничего, кроме университетских лекций, а разве это запрещено? Найденные при аресте крамольные сочинения попали к ним совершенно случайно. Кто купил у разносчика, а кому подсунул какой-то «неизвестный студент». Зачем брали? Просто так, поинтересоваться. Откуда известно, что разрешается, а что нет?

Аргиропуло, бедняга, не смог выкрутиться. Слишком много улик. Письма, множество литографированной продукции. Ну что же? Да! Заказывал частным литографам вместе с лекциями и другие сочинения... без всякого умысла, лишь для поддержки нуждающихся студентов. Ищeyки не отставали. С пристрастием допрашивали о типографском станке, который «грек» купил за девяносто девять рублей у студентов Сулина, Сороко и Петровского-Ильенко. Пришлось изобретать легенду о незнакомом господине Киро-Дежане, который проездом через Москву якобы попросил его взять на себя труд комиссионера...

Не помогло. Враги уцепились за улику. Заскрипели перья протоколистов. Аргиропуло боролся до последних сил, но что можно сделать? Счастье еще, что Славутинский успел предупредить многих товарищей, и те перед арестом уничтожили переписку. Могли раскрыть тайну тульского съезда! Правда, в одном из писем, захваченных у Аргиропуло, вскользь упоминалось о нем. И тотчас вопрос:

— Скажите, что подразумевали вы под встречей в Туле?

— Летом этого года, — записывает протоколист, — я собирался побывать в провинции и по пути навестить своих друзей в Туле. Никакой другой цели, кроме того, чтобы свидеться, не было.

«Отдать под суд», — решает комиссия.

Самым лакомым куском для нее явился «главарь подпольных издателей». Тут было чем поживиться. Не зря поработали жандармы. На столе злополучная папка, а в ней, бумажка к бумажке, тьма улик. Тут и донос о тайных посещениях Заичневским литографа Ивана Комарова в 1859 году и рапорт о выступлении его на панихиде 17 марта 1861 года по поводу расстрела демонстрации поляков. А вот сообщение орловского губернатора о доносе Шеренвальда. За ним подшиты показания разных сыщиков о «бунтарских речах» в деревне.

Зловеще шуршат бумажки. Следователи умышленно затягивают паузу. Что-то скажет теперь «бунтовщик-социалист»? Но тот и не думает отречься. Не таков Заичневский. В упор смотрит он им в глаза.

— С социализмом познакомился на гимназической скамье, — режет он без всяких окольных, — и твердо убежден, что общинный строй, мирское самоуправление есть самый лучший путь общественного развития.

Следователей больше всего интересует пропаганда среди крестьян. И юноша смело бросает им в лицо:

— Мне случалось говорить с крестьянами в Подольске и в некоторых деревнях Орловской губернии. Я указывал им на несправедливость налагаемой платы на землю, на самую несправедливость личного и потомственного владения землей и, как противоположность этому противоестественному состоянию, поставил общину.

— Признаете вы, что призывали крестьян к открытому возмущению?

— К этому не призывал. Я допускал уже, что возмущение произведено, и указывал только на безрассудство возмущения без оружия.

И так далее. Инквизиторы не могут скрыть радости.

— Чего же еще? Вот он, государственный преступник!

Заичневский идет напролом и не ждет пощады. Он презирует царских прислужников. Никогда не допустит колебания или страха.

И вот теперь, в ожидании суда, он томится в полицейском доме, но о суде не думает. Есть дела посерьезнее. В Москву его доставили вместе с Аргиропуло еще в ноябре прошлого, 1861 года. Других товарищей за недостаточей улики отпустили на поруки. Надо сказать, здесь, в Москве, положение его, как заключенного, куда легче, чем в Северной Пальмире. Сюда, в полицейскую часть, начальство допускало друзей для свидания.

Следовательно, можно было продолжать свое дело. Выводили даже на прогулку по городу под предлогом посещения бани. Можно было встретиться и побеседовать с нужными людьми. Иногда в темницу приходили малоизвестные посетители — те, кто сочувствовал движению, или просто любопытные. Раз два подъезжали в экипаже какие-то нарядные дамы, передавали цветы и фрукты. Но они мало занимают Заичневского. Другое дело — светлокудрая девушка, с которой его познакомили на бульваре. Солдат отошел в сторонку, а они сидели на скамье под липами. Зовут Аней. Фамилия — Можарова. Гимназистка. Как нежно смотрела она своими чистыми, умными глазами! И как ловила каждое слово! Конечно, говорили о народе, о будущем России, о революции. Ненавидит монарха и плантаторов. Настоящий человек, и, быть может... Что? Мысли о браке! И это теперь, когда... ай-ай, вот так революционер!

Лязгнул засов. Часовой впустил Аргиропуло. Они видятся ежедневно. Перикл страшно похудел и оброс. Болезнь подтачивает его силы. Чахотка. Едва ли несчастный выдержит. Но мужество не покидает его. Глаза загораются лихорадочным блеском, когда речь идет о борьбе.

— Какие новости, Робеспьер?

Пожав руку, падает на единственную скамейку.

— Что слышно о наших ходатаях?

— Ничего! Боюсь, как бы не сцапали Покровского с братией.

Разговор идет о товарищах по кружку. Они составили ядро московской студенческой депутации к министру просвещения. Во главе ее друг Заичневского, Аполлинарий Палладиевич Покровский. Цель — подать адрес и добиться от министра уступок для студенчества и пересмотра университетского устава.

Вопрос этот встал в дни осенних студенческих волнений 1861 года. В то время Заичневский и Аргиропуло сидели еще в Петропавловской крепости. Но до них долетали слухи о закрытии Петербургского университета и двух факультетов в Москве, гонениях на молодежь в других городах. Оба вспоминали московских друзей.

— Наши, наверное, тоже ввязались в драку, — говорил Заичневский.

Он не ошибся. Отпущенные на поруки Покровский, Понятовский, Новиков, Лебединский, Яценко вместе с остальными кружковцами возглавили левое крыло движения. Два месяца бушевали сходки. Московская полиция и профессорский совет растерялись. Главным оратором на сходках и демонстрациях был Славутинский.

В октябре начальство университета и полиция перешли в наступление.

Перед домом генерал-губернатора произошло избиение студентов. Тверская полицейская часть до отказа была набита арестованными. А дальше — следствие, массовые исключения, административная высылка.

— Ничего у нас не выйдет, друзья, — смеялся Заичневский, когда ему рассказали о планах отправки депутации в Петербург, — разве таков путь нашей борьбы? Горбатого исправит только могила!

Но тут родилась новая мысль, заставившая его согласиться на поездку. Покровскому и его спутникам Понятовскому, Евреинову и Рубинскому поручили связаться в Петербурге с «партией» Николая Утина. Пора строить давно задуманное всероссийское революционное общество.

С момента ареста Заичневского произошли события огромной важности. Летом 1861 года по городам распространились три прокламации «Великорусе», взбудоражившие не только демократическую часть общества, но и либералов (впрочем, те сразу же перетрусили и заявили о своей непричастности к этому делу). Той же осенью среди молодежи ходило по рукам зажигательное воззвание «К молодому поколению». Оживилась работа лондонской типографии. Герцен все более решительно поворачивал в сторону боевого действия и рвал с либералами. Вместе с Огаревым он громко заявил; «Крепостное право не отменено! Народ царем обманут!» В июле 1861 года читатели «Колокола» увидели на страницах журнала воззвание «Что нужно народу?».

А как росло боевое настроение в Польше! Там назревало вооруженное выступление. «Если бы объединить его с русским народным восстанием!» — мечтали передовые люди. Правда, в России крестьянские бунты понемногу стали утихать, но подождите, что будет весной 1863 года, говорили многие.

— Страна идет верным курсом, — ликовал Заичневский. — Быть революции! — В это он твердо верил.

«Императорская партия» жестоко огрызалась. Бросили в Петропавловку поэта Михайлова, схватили отставного офицера Владимира Обручева. Аресты продолжаются. Все за прокламации, наверное. Ничего! Близо возмездие, пусть это знают монарх и его клика.

Смущало только одно. Где же в России руководящий комитет действия? Если он есть, то почему молчит, не заявит о себе по всей стране? Одно это удвоило бы силы революции, казалось юноше. Он жадно вникал в каждую строчку Чернышевского. Видел, какую титаническую борьбу ведет учитель с «императорской партией». Неужели в одиночку действует?

Вопрос этот Заичневский без конца обсуждал со своим другом. Аргиропуло склонен был думать, что революционного центра пока не

существует, но вот-вот должен появиться.

— Доказательством служат прокламации, — говорил он. — Ведь кто-то их печатает и распространяет. Мы только не знаем кто.

— Нет, это не та литература, какая нужна сейчас, — кипел Заичневский. — Не согласен я с «Великорусом». Много пустого либеральничания наряду с громадным успехом.

— Ну, а другие воззвания?

— Тоже плохи! Нет в них полного выражения революционной программы.

Только две прокламации вызвали шумное одобрение у Заичневского. Это воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и такое же воззвание, адресованное солдатам. Авторы неизвестны.

— Вот как надо обращаться к народу!

Оба воззвания дошли до Заичневского и его друзей по счастливому стечению обстоятельств. Оказывается, хорошо знакомые им московские студенты Сулин, Сороко, Петровский-Ильенко и Гольц-Миллер давно издают запрещенную литературу. Это они издали известный всем «Разбор книги барона Корфа», написанный Огаревым. У студентов был сначала деревянный станок. Потом они приобрели металлический. Деньги на это дал сотрудник «Современника» поэт Михайлов. Тогда он был еще на свободе. Михайлов же передал им в Петербурге для набора прокламации «Барским крестьянам» и «Солдатам». Составителей не назвал. Ну что же, москвичи набрали пробный экземпляр, и только. Все дело погубил доносчик Всеволод Костомаров. Случилось это весной 1861 года. Схватили Михайлова. Сулин с товарищами тоже пострадали. Следствие по их делу шло одновременно с делом Заичневского. Взгляды и судьбы сплелись прочно. Они вступили в кружок Заичневского. Перед самым арестом Сулин продал станок Периклу Аргиропуло. Но было уже поздно...

Итак, всю работу надо начинать снова. Заичневский мечтал о создании Центрального революционного комитета. В голове рождался проект манифеста революционной партии России.

Вот и сегодня ему так хочется поделиться своими мыслями с другом.

— О чем, интересно, ты так расшумелся сегодня? Даже до меня долетало.

— Манифест вынашиваю!

Заичневский шагнул к окну и взялся за решетку. По небу ветер гнал облака.

— Революции все способствует в настоящее время, — начал он, — волнение Польши и Литвы, финансовый кризис, увеличение налогов,

окончательное разрешение крестьянского вопроса весной 1863 года, когда крестьяне увидят, что они кругом обмануты царем и дворянами, а тут еще носятся слухи о новой войне, поговаривают, что государь поздравил уже с нею гвардию. Начнется война, потребуются рекруты, произведутся займы, и Россия дойдет до банкротства. Тут-то и вспыхнет восстание, для которого достаточно будет незначительного повода...

Заичневский перевел дух и, не оборачиваясь, продолжал. Долго еще звенел могучий голос, ударяясь о стены тесной камеры. Вдохновение трибуна окрылило юношу. Весомые, дерзновенные слова, казалось, сами слетали с языка.

— Скоро, скоро наступит день, когда мы поднимем великое знамя будущего, знамя красное, и с громким криком «Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!» двинемся на Зимний дворец!..

Но вот умолк. Не отрывая глаз от весенних облаков, стоял в глубокой задумчивости.

А когда, наконец, обернулся к другу, едва не вскрикнул. Аргиропуло лежал на скамье лицом вниз, приложив платок к губам. Алые капли забрызгали тетрадь, лежавшую на полу. Его унесли в другую камеру. Ночью у «грека» начался жар, приступ кашля и сильное кровотечение.

Заичневский достал из кармана подобранный тетрадку. Вдохновенная речь была записана почти слово в слово.

Мы требуем!

Через три дня прибыли Покровский, Понятовский и Рубинский. Евреинов остался в Петербурге. Свидание с Заичневским произошло в камере Аргиропуло. Ему стало совсем плохо.

— Из адресной затеи, конечно, ничего не вышло, — рассказывал Покровский, — министр не принял студенческой депутации, зато главную задачу, скажу прямо, выполнил недурно.

И друзья рассказали о своих встречах с петербургскими революционерами. На квартире знакомой всем учительницы Варвары Александровской они откровенно побеседовали с Николаем Утиным и Александром Слепцовым. Кроме них, там были студенты Гогоберидзе и Пантелеев. Петербуржцы с интересом отнеслись к предложению объединиться и создать Центральный революционный комитет. Только почему-то не спешили с окончательным ответом. Может быть, их смущал

вопрос, за кем остается главная роль, за москвичами или людьми столицы?

— А вы спросили, есть ли у них программа?

— Интересовались. Ответ какой-то неопределенный. Больше всего нравится им воззвание «Что нужно народу?».

— Вы шутите! — нахмурился Заичневский. — Да разве это программа? Все это Герцен с Огаревым. Узнаю манеру «Колокола» — угождать всем, от барина до мужика. Где же разбор современного политического и общественного быта России? Где проведение тех принципов, на которых должно строиться новое общество? Где... впрочем, валяйте дальше.

Приезжие рассказали, что встреча закончилась сердечно. Петербуржцы обещали держать постоянную связь, просили присылать литографированные издания.

Заичневский выпрямился во весь рост.

— Кажется, ясно! — заговорил он тоном, не допускающим возражений. — Конечно, у них там кое-что делается. Но настоящей организации, как видно, нет. Придется все-таки нам начинать это дело. Оно ждет решительных людей. Готовы ли вы? Согласны ли пойти на бой? Если да, слушайте!

Где взять Центральный революционный комитет? Вот он! — и Заичневский показал рукой на товарищей. — У нас наберется еще человек двадцать пять, не так ли? Конечно, пока еще мы не комитет, но станем им, если сумеем сплотить вокруг себя сторонников революции. Откуда взять программу? Вот проект!

Из-за пазухи появилась тетрадка, забрызганная кровью. Заичневский раскрыл ее. Теперь она была исписана целиком. Под сводом темницы потекли звуки, полные меди и серебра.

— Мы требуем изменения современного деспотического правления в республиканско-федеративный союз областей, причем власть должна перейти в руки Национального и областных собраний...

— Мы требуем...

Пункт за пунктом зачитывались требования манифеста, который должен выйти за подписью «Центральный революционный комитет».

Порой разгорался жаркий спор. Для окончательного редактирования пришлось собраться несколько раз. Камера Заичневского оставалась доступной для посетителей, а за взятку полицейская стража пропускала друзей даже в неурочное время. В обсуждении приняли горячее участие новые члены кружка: Сулин, Сороко, Иван Гольц-Миллер. Дебаты закончились только к 7 апреля. Заичневский торопил друзей. Надо было

еще организовать издание, а дело это опасное и трудное.

Манифест выдвигал требования демократической федеративной республики, общинного землевладения, организации общественных фабрик и лавок, выборности суда и органов власти, замены армии милицией, уравнивания женщин в правах с мужчинами, равноправия наций и отделения Польши, справедливого распределения налогов, общественного воспитания детей, обеспечения больных и престарелых.

Этой одной из первых социалистических программ в истории России было суждено увидеть свет. Ее прочитали сотни передовых людей страны.

Заичневский настоял на том, чтобы в манифесте была дана оценка и критика подпольных изданий того времени. Высоко оценивая «Колокол» Герцена и издание «Великорусе», он в то же время заявил, что они не смогли создать вокруг себя революционной партии. Он находил эти органы склонными к либерализму.

Составители манифеста четко определили силы революции:

«Мы надеемся на народ. Он будет с нами, в особенности старообрядцы, а ведь их несколько миллионов. Забитый и ограбленный крестьянин станет вместе с нами за свои права...»

Народ — главная сила. Однако инициативу в восстании должны проявить войско и революционная молодежь. Заичневским же была внесена в манифест и усиленно пропагандировалась идея диктатуры революционной партии на другой день после победы восстания.

В манифест вошли пламенные слова, призывающие к борьбе, которые вынашивал Заичневский в течение стольких дней заключения. Они были полны боевого пафоса.

«...с полной верой в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой выпало на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: «В топоры», и тогда, тогда бей императорскую партию не жалея, как не жалеет она нас теперь...»

— Когда же отправим манифест петербургским друзьям? — спрашивали Заичневского.

— Посылать пока не станем! Сначала опубликуем. Пусть почитают. Послушаем, что скажут. Ведь манифест обращен ко всем и прежде всего к молодежи.

— «Помни же, молодежь, — цитировал наизусть Заичневский строки манифеста, — что из тебя должны выйти вожаки народа, что ты должна стать во главе движения, что на тебя надеется революционная партия!»

— Друзья! Предлагаю название — «Молодая Россия».

Если восстание не удастся...

— Что, если не удастся восстание? — произнес Славутинский, заканчивая писать под диктовку. — Сколько крови прольется напрасно! А результат? Снова восторжествуют враги. Еще ужаснее будет тирания. Вспомните Герцена...

— Опять Герцен! — поморщился Заичневский. — Если восстание не удастся, — подхватил он, ударяя на каждом слоге, — если придется поплатиться жизнью за дерзкую попытку дать человеку человеческие права, пойдем на эшафот нетрепетно, бесстрашно и, кладя голову на плаху или влагая ее в петлю, повторим тот же великий крик: «Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!»

Слова эти целиком вошли в заключительную часть манифеста.

В середине мая над Петербургом по ночам стояло зарево. Горел Апраксин двор. То здесь, то там занимались новые пожары.

По городу бродили подозрительные субъекты и как бы невзначай бросали в толпу:

— Социалисты жгут Питер!

— Читали «Молодую Россию»? Воззвание поджигателей! Опасайтесь студентов! Берегитесь красного петуха!

Кто верил, кто сомневался, но были люди, которые мучительно думали, как парализовать полицейскую клевету.

...В полутемной комнатке конспиративной квартиры собралась утинская пятерка тайного общества «Земля и воля». Говорит Утин.

— «Молодая Россия» — смелый революционный манифест. Он верно выражает основные идеи и конечную цель нашего движения. Но Заичневский и его товарищи поступили опрометчиво. Они распространили, всюду свой документ, >вместо того чтобы заранее, обсудив вместе с нами, пустить его по тайным каналам среди людей вполне надежных. Ошибка! Но виноваты и мы. Почему не сообщили им о «Земле и воле»? Люди не знали всего. Поспешили взять на себя инициативу...

— Теперь не время об этом, — перебил кто-то. — Надо пресечь провокацию. Притом немедленно. По городу пущен слух о поджигателях. Требуют бросать всех студентов живьем в огонь, а ведь поджигает сама полиция...

Где только не толковали о «Молодой России»! Воззвание появилось

сначала в Петербурге. Это было 14 мая. Полиция сбилась с ног. Через несколько дней чьи-то невидимые руки начали разбрасывать манифест на улицах Москвы, затем в других городах.

Страх и злобу вызвал манифест в рядах «императорской партии». Заичневский сознательно стремился к этому, и, покуда на лист бумаги ложились строки одна дерзостнее другой, он метался по камере, приговаривая:

— Побольше пороха! Так, чтобы всем либеральным и реакционным чертям тошно стало!

— Помилуйте, что же это такое! — вопили даже те, кто втихомолку позволял себе мечтать о конституции. — Для этих смутьянов нет ровно ничего святого: ни собственности, ни царя, ни религии. Они даже... попирают семью!

Действительно, Заичневский согласился включить пункт об уничтожении семьи и брака «как явления в высшей степени безнравственного». Предложение внес Гольц-Миллер. Другие поддержали. Для революционной России тогда еще не миновала пора утопических представлений о социализме, а утопистам во все времена семья казалась институтом, стоящим на страже частной собственности. Поэтому «Молодая Россия» провозглашала, что при сохранении семьи «немыслимо уничтожение наследства».

А каково было господам из привилегированных сословий читать такие, например, строки: «Мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48-го года, но и великих террористов 92-го года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами 90-х годов».

Манифест ходил по рукам и, конечно, не миновал жандармов.

Багровые щеки и налитые кровью глаза начальства. Растерянность среди подчиненных. Да и как иначе? Где-то под боком у Третьего отделения действует Центральный революционный комитет. Он рассылает угрозы, дерзко пророчит гибель дому Романовых! Тут есть над чем призадуматься. На Фонтанке тревога.

Все это радует Заичневского. Если бы знали враги, что главный составитель воззвания у них в руках! Больше всего радует Заичневского то, что «Молодая Россия» встречена с восторгом в среде боевой демократической молодежи. Смелые люди идут с крамольным манифестом в руках к тем, у кого рассчитывают встретить сочувствие и поддержку: к журналистам, учителям, студентам, гимназистам. Идут и к рабочим.

Рассказывают, что в Петербурге студенты Медико-хирургической академии Хохряков, Беневоленский и Крапивин пытаются разъяснить рабочим смысл воззвания. Дело нелегкое. Малограмотным людям трудно одолеть мудреные слова, и юноши взялись составить специальный словарь, в котором толкуются такие понятия, как «деспотизм», «либерал», «конституция». Поступило сообщение, что группа столичных офицеров, человек в семьдесят, образовала кружок, цель которого содействовать «комитету «Молодой России». В других городах, таких, как Казань, Нижний Новгород, Харьков, манифест также встречает признание и одобрение со стороны решительных противников «императорской партии».

И все же Заичневский недоволен. Ему казалось, что с распространением «Молодой России» под знамя Центрального революционного комитета сразу начнут стягиваться полки негодующих, полных решимости борцов, и через какой-нибудь год...

А вместо этого при несомненном успехе манифеста в своих же рядах слышится резкая критика. И от кого? От людей, которые, казалось, безоговорочно должны были принять воззвание. Ведь программа «Молодой России» отражает их же идеи!

Заичневский не сразу понял причину.

Как и следовало ожидать, «Молодая Россия» оказалась в центре внимания людей, жизнь и помыслы которых всецело были направлены на создание революционной партии. Это была кучка смелых борцов, группировавшихся вокруг «Современника». Ее идейным вождем был Чернышевский. Связанная с целым рядом революционных кружков, разбросанных по городам России, а также с лондонскими издателями «Колокола», группа направляла свою деятельность на сплочение революционных сил. Работа эта, начатая еще накануне 19 февраля 1861 года, к моменту появления «Молодой России» уже завершалась. Складывалось всероссийское тайное общество «Земля и воля».

Как же обстояло дело с программой? Основные принципы ее уже определились на страницах «Современника» и отчасти «Колокола». Ядро «Земли и воли» и ее активные деятели на периферии были убежденными сторонниками утопического общинного социализма, знамя которого впервые поднял Герцен. Путь к социализму они видели только в низвержении крепостничества и монархии. И свершить его мог только народ. Землевольцы горой стояли за крестьянскую революцию. Идею разрушения прогнившей дворянской империи Чернышевский проводил так искусно, что когда правительство спохватилось, было уже поздно. А тайные бесцензурные издания? Сколько важных вопросов поставлено было

в них! Тут и конечные цели движения и вопрос о силах будущей революции и ее противниках, наконец, проблема создания революционной партии, методы ее борьбы.

Все эти издания были хорошо известны Заичневскому, да и не только ему.

В камере тесно и шумно. Сюда, кроме близких друзей, пришли люди, которым небезразличны вопросы, поставленные «Молодой Россией». Заичневский знает, что не они главные авторитеты, но до них, живущих на свободе, скорее доходят мнения людей, с которыми нельзя не считаться.

Идут горячие споры. Почти все в принципе согласны с манифестом, но есть и серьезные возражения по вопросам тактики. В центре собравшихся сам главный составитель воззвания, высокий, непоколебимый, громоподобный.

— Разве мы сказали что-либо новое? — говорит он, потрясая в воздухе листком воззвания. — Все это уже давно имеется в нашей подцензурной и особенно в тайной печати.

— К чему же тогда манифест?

— Как это к чему? — бушует юный гигант. — Ни одно из существующих изданий не может служить основным программным документом! Во-первых, все они либо анонимны, либо вышли под псевдонимом. Революционной партии пора заговорить прямо от своего имени. Не без конца же обращаться к народу от лица таинственных друзей и доброжелателей?

— А во-вторых?

— Во-вторых, ни одно издание — не содержит полного выражения наших целей. Нет, уж если говорить о программе, ставящей конечные цели, так ближе всего к ней воззвание «К молодому поколению». Оно хоть и безыменное, но там выставлены социалистические требования. Слушайте: «Мы хотим, чтобы земля принадлежала не одному лицу, а стране, чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных землевладельцев не существовало... чтобы каждый гражданин, кто бы он ни был, мог сделаться членом земледельческой общины...»

— Чего же требуем мы?

И он снова читает вслух:

— «Всякий человек должен непременно приписаться к той или другой из общин: на его долю, по распоряжению мира, назначается известное количество земли... Земля, отводимая каждому члену общины, отдается ему не на пожизненное пользование, а только на известное количество лет, по истечении которых мир производит передел земель».

Заичневский оглядывает присутствующих.

— Мы не сводим экономической проблемы к одному земельному вопросу. Мы требуем завести общественные фабрики и лавки. Нельзя же отмахнуться от городов и забыть фабричного работника. Ведь его постоянно изнуряют работой, от которой выгоду получает не он, а капиталист! Разве не в этом состоит одно из важнейших требований социализма? Почитайте примечания Чернышевского к «Основаниям политической экономии» Милля или его статью «Капитал и труд».

Наши политические требования, — продолжает Заичневский после минутной паузы, — более последовательны, нежели в воззвании «К молодому поколению». Не понимаю, к чему эта дряблость и нерешительность? Хотят власти, действующей в интересах народа, и тут же пункт: сокращение расходов на царскую фамилию. Пять миллионов в год вместо пятидесяти! Нет, мы республиканцы. С Романовыми надо покончить навсегда. Федеративный союз свободно управляющихся областей при сохранении на первых порах централизации — вот наша программа.

— Кто же, по-вашему, должен осуществить переворот в России, где главная сила революции? — спрашивают Заичневского.

— Главная сила — народ! Разве не ясно сказано это в «Молодой России»? Народ веками боролся за свое освобождение, ему и принадлежит главная роль в революции. Если хотите, я прочитаю снова: «Едва проходило несколько времени после поражения, и народная партия снова выступала. Сегодня забитая и засеченная, она завтра встанет вместе с Разиным за всеобщее равенство и республику Русскую, с Пугачевым за уничтожение чиновничества, за надел крестьян землею. Она пойдет резать помещиков, как было в восточных губерниях в 30-х годах, за их притеснения; она встанет с благородным Антоном Петровым — и против всей императорской партии». Слышите? Так и говорится: «за уничтожение чиновничества», «за надел землею», «за республику Русскую»! Это не слепая стихия бунта, а революция, имеющая политическую цель.

— Но кто же ее возглавит? Кто организует народ?

— Об этом уже подумали передовые люди нашего времени, — отвечал Заичневский. — Читали «Ответ Великокоруссу»? Он подписан псевдонимом «Один из многих». Кто бы он ни был, вопрос поставлен верно. Автор пишет, что дело настоящих сторонников народа — организовать борьбу, возглавить ее. К этому он и призывает передовых людей. Но разве не к этому же зовет «Молодая Россия»? Ни в одном издании, претендующем на роль программы, вы не найдете требования диктатуры. Мы его выдвигаем.

Но не подумайте, что это новость в нашей социалистической литературе. Загляните в «Современник» 1858 года. Там, в статье «Кавеньяк», известный всем автор упрекает французских революционеров сорок восьмого года в нерешительности, в том, что они не захватили власти и не установили диктатуры. Вспомните ранние статьи Герцена о той же революции. Разве нет в них того же упрека? Мы решили извлечь уроки из ошибок минувшей французской революции.

Все жарче разгораются споры. Они очень полезны. С их помощью выясняется, что Заичневский и его друзья действительно не оригинальны. Их задачей было сконцентрировать все лучшее, что было в легальной и подпольной литературе и, переработав в виде манифеста, определить конечную цель движения, силы революции, дать оценку современным революционным изданиям, призвать к созданию революционной партии.

— Критиковать других очень полезно, однако и самим следует избегать ошибок, — раздаются голоса.

— Каких? Каких? — волнуется узник.

— Понимаете, Заичневский, вы ставите революционную партию в положение полководца, начинающего сражение без армии. У вас все правильно, покуда речь идет о кульминации борьбы и о завершении революции. Но вы почти не задумываетесь над тем, как ее начать. Что же получается? Неприятеля, вооруженного до зубов, готового к бою, вы предупреждаете о близком сражении, сражении генеральном. Отлично! Но собственные наши войска ведь еще в глубоком тылу. Они не мобилизованы. На фронте только передовой отряд, маленькая горсть. Подобная тактика заранее обрекает революционеров на изоляцию и поражение. Ведь не станет же правительство ждать, пока мы соберемся с силами.

Заичневский не знает, что возразить на это. Особенно сильно поколебали его Утин и Слепцов. Оба они по совету Чернышевского посетили Тверскую полицейскую часть, специально приехав поодиночке в Москву. Было это еще в мае. Много узнали от них тогда Заичневский и его товарищи. Разговоры, понятно, велись в строгой тайне. Составители манифеста «Молодой России» впервые услышали о «Земле и воле» как о всероссийской организации во главе с Центральным народным комитетом. Утин и Слепцов поведали о том, что Чернышевский назвал авторов манифеста «нашими лучшими друзьями», но собирался в особой прокламации предостеречь их от преждевременных выступлений.

Теперь Заичневский с помощью деятелей «Земли и воли» мог лучше оценить обстановку в стране. А обстановка в начале 1862 года складывалась не в пользу революционной партии. Оправившись после

крестьянских и студенческих волнений 1861 года, правительство переходило в наступление. Движение в деревне еще продолжалось, но шло на убыль. Только к весне 1863 года революционеры ожидали нового подъема. К тому же сроку ожидали восстания в Польше и Литве.

До этого времени революционерам важно было сохранить силы, не останавливая подготовительной работы в подполье. Необходимо было оттянуть наступление реакции. В интересах ожидаемой революции важно было продлить состояние политического кризиса, колебаний в «верхах».

— Вы совсем не думаете о тактике, — говорили Заичневскому.

Однажды в камеру Заичневского принесли свежий номер «Колокола». Славутинский читал вслух:

«Вы нас считаете отсталыми, мы не сердимся на это, и если отстали от вас в мнениях, то не отстали сердцем, а сердце дает такт».

Издатель «Колокола» встал горой на защиту «Молодой России», обвиняемой в «поджигательстве» и «кровожадности». Но Герцен все-таки не удержался от упреков. «Молодая Россия» казалась ему вариацией западноевропейского социализма. Ее авторы, по мнению Герцена, не вышли из рамок книжного понимания революции и по молодости лет увлечены риторикой. Программа должна быть понятна народу — без этого революционеры обречены на одиночество, и на их долю останутся одни заговоры, дворцовые перевороты.

Герцен был против открытой проповеди революционного насилия. Насилие порой бывает неизбежным. Возможно, так будет и в России, но «вызывать его в самом начале борьбы, не сделав ни одного мирного усилия, так же нерасчетливо, как неразумно пугать им».

Главной ошибкой издателей манифеста, по мнению Герцена, была несвоевременность их выступления. «Всякое преждевременное выступление — намек, весть, данная врагу».

— Нет худа без добра! — не сдавался Заичневский. — Хоть и допустили ошибки, но все-таки неплохо, что вышел наш манифест. По крайней мере развязались языки, и теперь многое представляется в ином свете!

Действительно, многое прояснилось теперь для авторов «Молодой России». Оказывается, Герцен при всех заблуждениях в вопросе о насилии все-таки прав. Время для открытого объявления войны «императорской партии» еще не наступило. К тому же выяснилось, что Герцен активно поддерживает «Землю и волю», собирается печатать ее материалы.

А главное — выяснилось, что существует уже всероссийская революционная организация! Цели ее те же, что и у «Молодой России».

Значит, остается взяться за дело. К концу мая организация Заичневского уже вошла в состав «Земли и воли». На нее была возложена задача установления связи революционеров севера и востока России с Москвой. Работа закипела. В Поволжье, не теряя времени, отправились Покровский и Понятовский. Добились взаимопонимания и с бывшей «Библиотекой казанских студентов». Теперь это уже не замкнутый кружок, а московское отделение «Земли и воли». Все эти годы Мосолов и Шатилов готовили свою организацию к большому делу и теперь активно вели работу, подчиняясь главному центру.

Но по-настоящему развернуть дело не удалось никому. На революционное подполье со всей силой обрушилась царская полиция. Летом 1862 года были разгромлены основные силы «Земли и воли». Жандармы напали на след главных деятелей тайного общества. Начала работать следственная комиссия под председательством князя Голицына. Палачи вырывали из рядов революционной партии одного вожака за другим. Тяжелые двери казематов захлопнулись за Чернышевским, Николаем Серно-Соловьевичем, Сергеем Рымаренко. Та же участь постигла многих других революционеров.

Июнь 1862 года. Заичневский опять лицом к лицу со своими врагами. Сенат вершит суд над красным агитатором. Царские судьи, конечно, слышали о «Молодой России». Кое-кто даже читал манифест. Но им и в голову не приходило, что перед ними стоит основной его автор. Заичневского судят за пропаганду среди крестьян в Подольске и в деревнях Орловской губернии.

Титулованные слуги империи ждут признания вины, раскаяния. Этого не дождутся! Гордо повторяет революционный вождь свои показания, данные в Петербурге во время следствия. Слово в слово.

Факты налицо. Остается подписать приговор. Лишение всех прав состояния, три года каторжных работ, пожизненная ссылка в Сибирь.

«Что, если не удастся восстание? — вспомнил Заичневский, когда сани мчались по Владимирке. — Как не удастся? Можно ли допустить такую мысль, если «императорская партия» не успевает казнить, ссылать, пытаться? А на смену павшим идут новые люди!»

Январь 1863 года. На пути в ссылку Заичневский подводил итог. Он был безрадостным. Юный революционер был свидетелем расправы над главными деятелями «Земли и воли». Всего месяц назад в тюремной больнице скончался замученный неволей незабвенный друг Перикл Аргиропуло. Жандармы выслали на север остальных участников кружка. Но это ненадолго! Заичневский более чем уверен, что скоро «удастся».

А сани мчались навстречу снежной метели. По бокам жандармы. Впереди суровая, холодная Сибирь.

«Русский якобинец»

Прошло много лет с тех пор, как Заичневский с кандалами на ногах перевалил Урал, полный уверенности, что темницы вот-вот рухнут. Быть может, свобода встретит его еще на пути в Иркутск? Эта вера не покидала его и в те мрачные дни, когда в одежде каторжника выходил он на «большой тракт» и пристально смотрел вдаль. Завидев новую партию ссыльных, спешил навстречу. С жадностью выпытывал новости. Ждал революции.

— Только пришла бы поскорее она, давно желанная! — шептал он строки из «Молодой России».

Каторжные работы отбывал он в местечке Усолъе на солеваренном заводе, что в пяти верстах от Иркутска. Начальство ненавидело непокорного узника. Однажды Заичневский устроил тайное свидание одного проезжего ссыльного с польскими соотечественниками, работавшими на том же заводе. За это в 1864 году Заичневского перевели в Витим Киренского уезда — самый северный и отдаленный пункт Иркутской губернии.

За годы каторги и ссылки Заичневский повидал многих революционеров. Встречался с Чернышевским. Учитель стойчески переносил гонения. Тяжелые это были годы! Некоторых каторга сломила физически, кое-кого — морально. Но малодушных немного. Большинство осталось в стане борцов. Особенно часто встречались Заичневскому ссыльные польские повстанцы. Они восхищали его стойкостью.

— Вот у кого нет расположения к гамлетовщине! — любил говорить он.

Кого-кого, а Заичневского Сибирь не сломила. Из ссылки он вернулся в Россию, полный энергии и решимости продолжать борьбу. Произошло это в 1869 году. Глухой таежный плен заменили неволей в российских губерниях.

Сначала поселили в Пензе. Глаза и уши соглядатаев следили за каждым шагом, ловили каждое слово. Вскоре начальство узнало, что поднадзорный позволял себе в разговорах высказывать «мысль нераскаяния» и даже не раз говорил, что «при случае не прочь снова

повторить то же самое».

— Непокорным нет места в губернском центре!

И Заичневский отправлен в маленький городишко Краснослободск той же губернии, затем в Мокша-ны. Но ссыльный не исправим. Допускает «свободные суждения» и, как доносят, возбуждает обывателей против администрации. Что делать? Пензенскому губернатору до смерти не хочется возиться с бывшим каторжником. Впрочем, выход найден. «Было бы осторожнее людям, подобным Заичневскому, — пишет губернатор министру внутренних дел, — нигде не давать укрепляться». Ловко? Пусть в Петербурге подумают, как быть дальше.

А в столице сидят просвещенные и хитрые администраторы. Нет, они пока не станут прибегать к репрессиям. Есть более тонкие средства. Возможно, «добродота» начальства смягчит «озлобленную душу»?

В 1872 году Заичневскому разрешено вернуться в свою губернию; и вот уже отцовский экипаж пылит по дороге.

Родной Орел. Близкие люди, друзья, сколько воспоминаний! Здесь десять лет назад Заичневский взбудоражил всю молодежь. В окрестных деревнях еще не забыты рассказы про «волю». А как дерзко, бывало, бросал он в лицо маститым аграриям «крайние суждения»! Ore e sempre!..

Губернское начальство теперь весьма снисходительно к Заичневскому. Позволяет приезжать из отцовского имения в Орел. Помнят ли Заичневского в Петербурге? Да, конечно. Только тех, кто с восторгом встретил «Молодую Россию», уже там нет. Высланы в разные концы Руси и те, кто, соглашаясь в главном, не мог простить юношеской неопытности. Зато процветает страшный дом на Фонтанке. Прежняя папка с аккуратно подшитыми бумагами сдана в архив. Вместо нее заведена новая.

Теперь об этом отлично известно поднадзорному орловцу. И что же, сдался? Сложил руки? Плохо они знают Заичневского!

Кружки... кружки...

Душой их стал могучий, жизнерадостный человек, умевший вдохновить и зажечь. Что это было за время?

Во главе революционного движения по-прежнему оставалась разночинная интеллигенция, почти не замечавшая рабочего класса, хотя тот набирал силы и уже готовился выйти на историческую арену. Но час не пробил, и пока что России предстояло пережить особый этап разночинного движения. В начале 70-х годов передовая интеллигенция жадно потянулась к революционной теории.

1872–1876 годы, проведенные в Орловской губернии, для Заичневского были периодом активной просветительской деятельности.

Участники его кружков сестры Оловенниковы, Арцыбушев, Лаврова, Носкова, впоследствии видные революционеры, с благодарностью вспоминали упорную работу над книгой, расширявшую их кругозор. Читали произведения немецкого социалиста Лассаля, философа-позитивиста Спенсера, английского экономиста Милля с примечаниями Чернышевского и многое другое. Читали и «Капитал» Маркса. Заичневский комментировал прочитанное, а иногда сам выступал с докладами по политической экономии. Особое внимание уделялось истории французских революций, изучался опыт Парижской коммуны.

Полиция, зная многое, пока смотрела на все это сквозь пальцы. Заичневский теперь был очень осмотрителен. К тому же, как доносили, он вовсе критиковал «странствующих просветителей деревни». Видимо, начальство не потеряло надежду направить Заичневского в лоно умеренной «добропорядочности». Ему вернули права состояния, разрешили службу в земстве. Заичневский стал интересоваться местными делами, заводил обширные знакомства. Все это облегчало надзор явный и тайный. Казалось, чего еще? Но нет!

В один прекрасный день поднадзорный исчез. Слово канул в воду! Это случилось в начале декабря 1876 года. Сбитая с толку полиция рыскала по губернии до тех пор, пока из Петербурга не пришла секретное сообщение. Заичневского видели среди участников демонстрации 6 декабря у Казанского собора. Демонстрацию, разогнанную казаками, организовали руководители «Земли и воли». В другом сообщении указывалось, что 8 декабря Заичневский на конспиративной квартире выступил с речью перед столичными революционерами.

— Довольно! — решает полиция.

И в начале 1877 года Заичневский уже на севере, в Олонецкой губернии. Сперва крохотный Повенец, потом занесенный снегами Шенкурск. Глухомань не лучше сибирского Витима, и все же...

В Повенце среди ссыльных усилиями Заичневского организуется библиотека, налаживается доставка газет и журналов. В Шенкурске создается столовая, а при ней читальня. И везде, насколько позволяют обстоятельства, — пропаганда. И так до 1880 года. В олонецкой ссылке Заичневский напряженно следил за событиями.

...Среди землевольцев раскол. Многие, махнув рукой на народ, с бомбами в руках вышли на единоборство с царизмом. Заичневский — противник индивидуального террора. У него свое представление о методах борьбы.

Он просит начальство о возвращении в Орел. Но разрешена только

Кострома. Там у него нет знакомств, город тихий, жители богомольные. Но Заичневский верен себе. Для него не существует «тихих» городов.

...Теплый летний вечер. Пароход из Нижнего давно у пристани, и поток приезжих успел рассеяться по глухим улицам и переулкам Костромы.

А Заичневский? Поглядев равнодушно на пассажиров, он поворачивается и не спеша идет вдоль прибрежной улицы. Возле дома с желтыми наличниками, почти не останавливаясь, закуривает трубку. Это сигнал: «Внимание! Следят». Спокойно продолжает путь. Пора домой. Жители Костромы ложатся спать рано; Все в порядке. Через два дня в доме с желтыми наличниками его будет ждать тайная почта и, может быть, чемоданы с нелегальной литературой. В Костроме Заичневский всего лишь полтора года, но за это время и здесь сумел он наладить свое дело.

Заичневского давно не узнать. Куда девалась беззаботная откровенность в словах и поступках? Как скептически относился он, бывало, к осмотрительности Чернышевского, как презирал всякую осторожность! Теперь не то. Заичневский — умелый конспиратор. И не только практик. В его суждениях о революционной борьбе конспирации отведена почетная роль. Что проповедовал Заичневский?

Разгром «Земли и воли» 60-х годов, гонения и каторга изменили взгляды Заичневского. Бесстрашный сельский пропагандист, сторонник крестьянской революции, глашатай партии «вожаков народа» после возвращения из ссылки стал склоняться к заговорщичеству.

Представители главных народнических течений в 70-е годы и позднее не хотели признавать его «своим». Заичневский держался особняком в народничестве. Направление, которое он активно пропагандировал, вернувшись из ссылки, называли «русским якобинством». В основе его лежала та же народническая утопия общинного социализма. Специфическим был его взгляд на движущие силы революции, тактику и методы борьбы. Заичневский был «централистом», сторонником создания крайне централизованной и глубоко законспирированной партии, на которую в первую очередь возлагалась надежда в революции.

Многие мотивы «русского якобинства» перекликались с лозунгами прежней «Молодой России». Но сходство было лишь внешним. Со времен «Молодой России» в Заичневском произошла крутая перемена, и она была подмечена его учениками.

Современница Заичневского, его горячая последовательница Анна Можарова в своих воспоминаниях повествует о том, что Заичневский, вернувшись из Сибири, «проповедовал уже новую идею: систему централизации. Он говорил, что к этому привел его горький опыт,

указывал, как проваливались целые кружки и погибали лучшие люди в тюрьмах и на каторге и как быстро росла гидра шпионства».

Итак, заговорщичество вместо массовых революционных действий. Народ нужен только для поддержки смелых инициаторов переворота. Заичневский оставался до конца своих дней верен этому глубоко ошибочному направлению. Раскол «Земли и воли», поражение «Народной воли» толкали его к смелым решениям.

Везде, насколько позволяли условия, он создавал новые кружки, поддерживал связь со старыми учениками из других городов. Все это вылилось в конце концов в отчаянную попытку Заичневского привести свои планы в исполнение. Произошло это уже не в Костроме.

...Февраль 1889 года. Глухой ночью по тихим московским переулкам шагают двое. Оба атлетического сложения. Один из них помоложе. Это «дядя Гиляй» — писатель Владимир Гиляровский, человек с романтическим прошлым, знаток старины и московских трущоб. Он ведет своего спутника в район Хитрова рынка. Кругом мертвая тишина. Но вдруг... Мерный стук десятков сапог. Позади, вынырнув с Солянки, настигает взвод городских.

— Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее! — шепчет «дядя Гиляй». Но, кажется, поздно. Из всех углов появляются городовые, взвод за взводом. Они оцепляют кварталы легендарных трущоб, притонов московских жуликов. Облава!

— Черт знает... Это уже хуже! — бормочет, оглядываясь, Заичневский. Но «дядя Гиляй» не зря годами изучал кварталы нищеты. Он знает каждый проходной двор.

— Слышите, как гремит железо на крышах? — улыбается он. — Это «серьезные элементы» спасаются от полиции.

Через несколько минут путники в безопасности.

— Здорово выкрутились! — смеялся Заичневский на другой день в компании друзей. А до смеху ли было? Друзья понимали, что «якобинец» был на волоске от тюрьмы.



Карикатура на мировых посредников из сатирического журнала «Искра».

Ночная прогулка по Москве не имела серьезного характера. Гиляровский просто хотел показать Заичневскому притоны московских босяков. А у того была другая цель. В Москву он приехал тайком, чтобы

организовать боевые группы революционной молодежи и офицерства. Еще в 1885 году он добился разрешения вернуться в Орел. В течение нескольких лет он развил самую активную деятельность. За это время были восстановлены прежние связи. Отовсюду слетались старые ученики. Созданы новые кружки в Орле, Курске, Смоленске, а затем и в Москве.

Во главе орловских кружков стоят Русановы, брат и сестра. Вместе с ними работает Мария Голубева, костромская ученица Заичневского. В Курске создан активный революционный кружок молодежи во главе с Арцыбушевым. Он уже готовит подпольную типографию. Не хуже обстоит дело в Смоленске. Там активную роль играют С. Середа, П. Лобза, Н. Добровольский. Заведена маленькая типография, и изданы первые листовки от имени «исполнительного комитета» для сбора денег в пользу пострадавших от насилий русского правительства.

Заичневский не знает покоя.

Он пропагандирует, конспирирует, организует. Кажется, не напрасно старался он долгие годы, создавая кружки. Теперь у него есть единомышленники в разных городах. Настало время их объединить, создать прочную организацию, охватывающую крупные центры России.

И вот снова провал! В марте 1889 года был арестован юнкер Романов. При обыске жандармы нашли письмо Аделаиды Романовой к брату. В письме упоминалось имя Заичневского.

Вожак за решеткой. Аресты... аресты... В Орле, Курске, Смоленске и Москве схвачено около пятидесяти человек. Новый процесс. Судят «якобинцев».

После двухлетнего заточения Заичневского ссылают в Восточную Сибирь. На всем пути следования пересыльные тюрьмы полны арестантов. Кандальный звон слышен по всему бесконечному «тракту»...

Шли годы. Время серебрило виски ветеранов-«шестидесятников». Уже отгремела слава революционеров 70-х годов. На смену поднималось новое поколение, незнакомое Заичневскому.

Россия неудержимо двигалась по пути капиталистического развития. На арену истории смело вышел могущественный революционный класс. В практику революционной борьбы он внес свои, пролетарские методы, а в идейную жизнь страны — новое всесильное учение — марксизм. Приближалась пора крушения эксплуататорского строя. Но Заичневский так и не понял марксизма, хотя был знаком с «Капиталом» и другими произведениями великих основоположников научного коммунизма. В своем мировоззрении он оставался на позициях народничества, верным своему «якобинскому» направлению.

...В Иркутске, куда его сослали теперь, обстановка куда легче, чем тридцать лет назад. Заичневскому дозволена даже литературная работа. Он не сидит сложа руки. Сотрудничает в газете «Восточное обозрение» — органе, находящемся под влиянием сибирских областников. Заичневскому поручен иностранный отдел. Областники — умеренные буржуазные реформисты, сторонники мирного культурничества — ратуют за автономию Сибири. Им не по нутру революционные настроения нового сотрудника. А тот, не обращая внимания на укоризненные намеки, заполняет целые полосы обзорами рабочего движения за границей. Но душа рвется в Центральную Россию. Только там простор для дела.

В начале 1895 года он снова пересекает Урал с востока на запад. Ссылка кончилась. Заичневский вернулся в Россию надломленным, усталым. Но до конца остался верным себе мужественный революционер. Местом жительства ему был назначен Смоленск. Уже в феврале 1895 года он выступил на конспиративном собрании с докладом об анархизме. Докладчик резко осудил это вредное течение.

На другой день после доклада Заичневский тяжело заболел. С постели ему уже не суждено было подняться. Организм не вынес многолетней напряженной работы. 19 марта 1896 года оборвалась беспокойная, боевая жизнь.

В памяти современников и последующих поколений сохранился образ нестигаемого борца против крепостничества и монархии, неутомимого просветителя, обаятельного человека. В мировоззрении Заичневского мы видим немало заблуждений. Проповедь «якобинства» не сыграла существенной роли в русском освободительном движении и не увлекла интеллигенцию. Жадные поиски революционной теории не привели Заичневского на правильный путь.

Но велика роль Заичневского как революционного просветителя. В кружках Заичневского широко изучалась революционная литература всех направлений, в том числе марксистская. Немало учеников Заичневского ушло в организации народников-пропагандистов, а лучшая часть их перешла в ряды революционной социал-демократии.

Самой светлой порой деятельности Заичневского были 50—60-е годы. В то время мировоззрение молодого революционера находилось в русле самого передового для России движения, руководимого Чернышевским. Боевой клич «Молодой России» при всех тактических недостатках прозвучал как смелый зов на борьбу против крепостного и монархического гнета. Он отразил думы и чаяния всего лагеря революции.

Долгое время даже среди революционеров не было известно имя

авторов знаменитого манифеста. Только в 1889 году Заичневский, отвечая на письмо одного из знакомых, раскрыл тайну:

«Молодую Россию» писал я и мои товарищи по заключению. Припомнить долю участия каждого не берусь — написал аз многогрешный, прочел, выправили общими силами, прогладили и отправили для напечатания через часового...»

Заичневский ушел из жизни, полный веры в светлое будущее своей родины. При нем «не удалось» восстание.

Через двадцать один год после его смерти, свергнув власть помещиков и капиталистов, рабочий класс разрушил до основания государство эксплуататоров.

Руки рабочих, завоевавших власть в России, разобрали кирпич за кирпичом ветхое здание ненавистой Тверской полицейской части, где сто лет назад томился Заичневский и откуда он выпустил в свет «Молодую Россию».

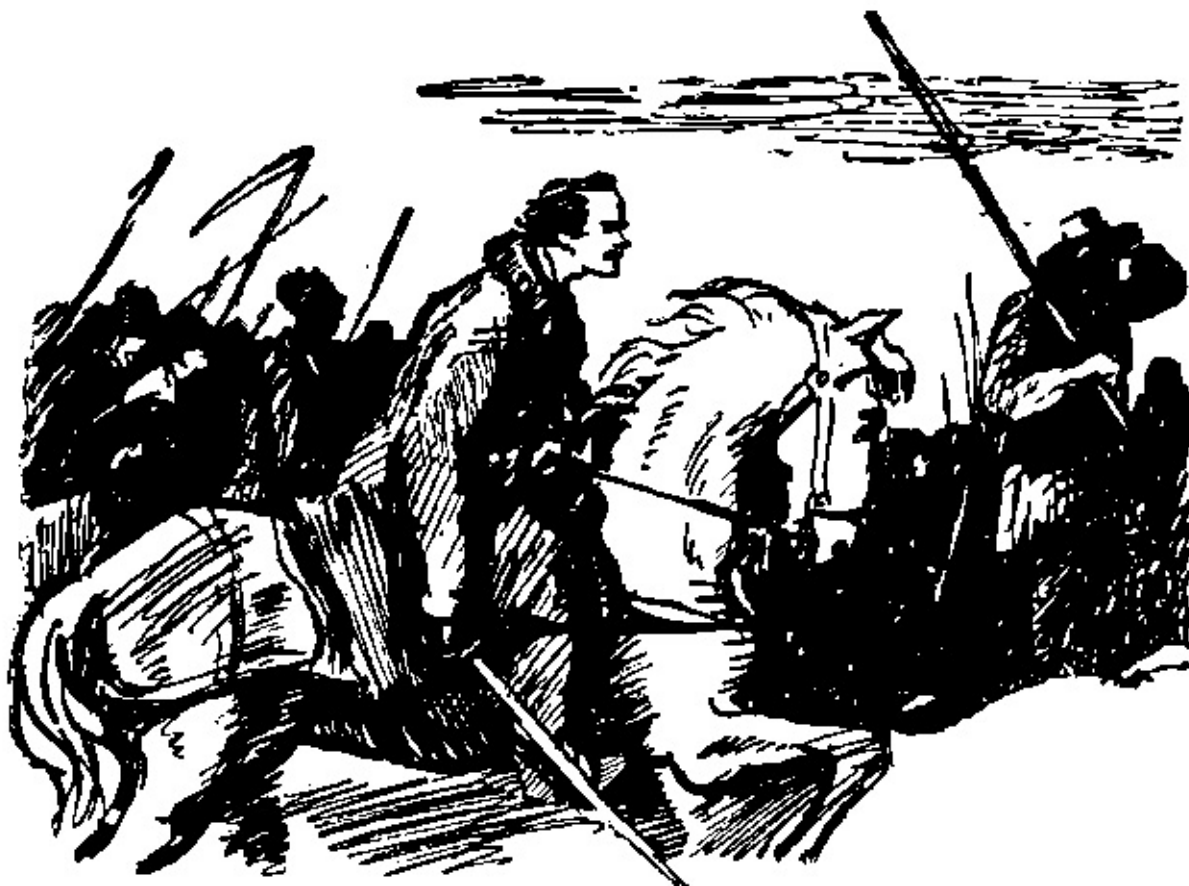
В годы первой пятилетки на это место пришли люди нового поколения. Сильные руки строителей воздвигли здесь большое здание. В нем бережно хранится богатое документальное наследие основоположников научного коммунизма. Среди хранящихся здесь материалов — брошюра, написанная в 1873 году К. Марксом и Ф. Энгельсом, «Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих». В ней дана высокая оценка «Молодой России».

«Этот манифест, — писали К. Маркс и Ф. Энгельс, — содержал ясное и точное описание внутреннего положения страны, состояния различных партий и условий печати и, провозглашая коммунизм, делал вывод о необходимости социальной революции. Он призывал всех серьезных людей сплотиться вокруг радикального знамени»^[19].

Москва. Советская площадь. Здание Института марксизма-ленинизма. Остановитесь у памятного места. Сто лет назад здесь были написаны и облетели страну пророческие слова о России, которой «вышло на долю первой осуществить великое дело социализма».



А. Смирнов СИГИЗМУНД СЕРАКОВСКИЙ



I

Стоявший у стола жандармский поручик докладывал генералу Дубельту.

— 21 апреля сего года у местечка Почаев на австрийской границе при подозрительных обстоятельствах задержан студент здешнего университета Сигизмунд Герасим Иосиф Гастра Сераковский, двадцати двух лет, католик, из дворян Луцкого уезда Волынской губернии. При задержании у

него найден пистолет, впрочем, незаряженный, шпага дворянская, старый сюртук и баранья шапка. По заявлению корчмаря, Сераковский намеревался бежать за границу, расспрашивал о дороге, обещал деньги за услуги проводника. Однако положительных доказательств вины нет. Задержанный — местный уроженец, имел к тому же отпускной билет, выданный ректором университета, для поездки на родину и свидания с родными. Сам задержанный заявил, что ехал к дальнему родственнику, графу Сераковскому, которого почитает как отца родного, чтобы с его помощью собрать недостающие бумаги для утверждения в дворянском достоинстве.

— И это все, поручик? Есть ли у вас данные о его, Сераковского, поведении в университете? Из какой он семьи? Ведь он поляк? Где его отец?!

— По собранным данным, отец Сераковского Игнатий был одним из организаторов прошлого мятежа на Волыни, командовал шайкой бунтовщиков и убит под Уманью в 1831 году. Задержанный воспитывался в доме бабки своей Марии Моравской, также вдовы бунтовщика, обучался наукам в Житомирской гимназии, которую окончил одним из первых. В Петербурге в 1845 году был студентом математического факультета, затем перешел на камеральное отделение. Проживает на Васильевском острове — Пятая линия, дом Иконникова. Среди товарищей пользуется заметным влиянием. По отзывам начальства, поведения положительного и ни в чем предосудительном замечен не был. Имеет знакомства среди здешних обывателей поляков, принят в доме графа Ржевуского, у которого, по слухам, исполняет обязанности секретаря. Частным образом удалось узнать, что в доме у графа Сераковский произносил речи в коммунистическом, мятежническом духе, заявляя, что давно пора вырезать всех дворян, чем весьма смутил гостей графа.

— Кто же они?

— Епископ Головинский — ректор римско-католической духовной академии; профессор Сенковский, впрочем, более известный в литературном мире под псевдонимом барона Брамбеуса; статский советник Вацлав Пршибыльский — издатель газеты «Тыгодник». Посещают они дом Ржевуского более для ученых и литературных беседований, коих граф — поклонник муз и покровитель талантов — большой любитель. Говорят, что он и сам пописывает и некоторые из его вещей удостоились похвалы Адама Мицкевича. Задержанный помогал графу в его литературных трудах, был обласкан их светлостью, но ответил черной неблагодарностью. Говорят, в тот вечер, когда он, распалясь, грозил истребить дворян, графине сделалось

дурно, Сенковский хотел доложить о случившемся университетскому начальству, да граф отсоветовал, боясь, что это уронит честь дома.

Выслушав доклад, Дубельт отпустил чиновника и в задумчивости несколько раз прошелся по кабинету.

В молодости он сам слыл либералом. Кочуя с полком по имениям западного края, любил при случае произнести красивую фразу о высоком назначении человека. С годами, однако, некогда пылкий прапорщик обрюзг и полысел, сменил скромный армейский сюртук на расшитый золотом голубой мундир, сохранив привычку пофилософствовать на досуге. Дубельт любил во время допросов пускаться в «откровенные» излияния, чтобы увлечь очередную жертву в западню и склонить к «чистосердечным сознаниям». Старым, опытным сыщиком был Леонтий Дубельт, и недаром наблюдательные современники сравнивали его с лисой.

В этот солнечный майский день генерал поеживался и хмурился. Вести, полученные им, были не из приятных. Он обдумывал прочитанные депеши, глядя в окно на Марсово поле. Обычно, наблюдая движения войсковых колонн, любуясь молодецким видом солдат, он быстро возвращал себе утраченное спокойствие, приобретал уверенность и решимость. Однако на сей раз возникшее беспокойство и смутные подозрения не исчезали. Изученное им дело Сераковского невольно связывалось с последними сообщениями о революционном движении в Европе. Побег молодых людей, особенно поляков, за границу его не удивляли. Весной 1848 года они были особенно частыми. Правда, с тех пор как гвардия была расквартирована вдоль западной границы, там стало спокойнее. И вот опять побег. Да и побег ли это? Студентик, наверно, не так уж чист, как представляется с первого взгляда.

Пройдясь по кабинету и потирая самодовольно руки, генерал позвонил и, приказав привести к нему Сераковского, сел к столу. Перелистывая бумаги, он думал, с чего начать разговор, как склонить арестованного к откровенности. Пальцы привычно перебирали прошитые, украшенные двуглавым орлом листы. Глаза бегали по четко выведенным строкам, а мысли генерала унеслись далеко. Было о чем подумать управляющему Третьим отделением императорской канцелярии. Время наступило тревожное. Весенние грозы проносились над Европой. В Париже свергли короля. В Вене народ строил баррикады. В Польше и Литве неуловимые эмиссары агитировали в пользу мятежа. Даже в Петербурге молодежь толковала с социализме. Ах, уж эти студенты! Ведь и мундиры пожаловали им, а все какая-то вольница. Глаз да глаз за ними нужен! Все чем-то недовольны. Пора кончать с вольнодумством, с польской крамолой.

Не Сераковский ли этот у них за предводителя? Уж больно ловок в ответах. Интересно, каков молодчик с виду? Только бы зацепить его, а там, глядишь, распутается и весь клубок.

Дубельт все более склонялся к мысли, что Сераковский попал на границу не случайно, что он много знает и нужно только вытянуть из него нужные сведения.

Доложили, что арестованный доставлен. Дубельт приосанился. И вот перед ним невысокий худощавый блондин. Генерал немного разочаровался. Ничего, казалось, примечательного в облике студента не было. Он казался даже каким-то сутулым, болезненным.

Привычно скрывая свои истинные чувства, Дубельт начал с выражения удовольствия от встречи с представителем молодежи, воплощающей надежды нации на будущее, с человеком, прекрасно понимающим тревожное время, заслуженно снискавшим уважение коллег и любовь профессоров.

Сераковский молча поклонился в ответ и опустился на предложенный стул.

— Как вы относитесь к требованиям введения конституции? — продолжал Дубельт. — Ведь подлинные патриоты не могут в такое тревожное время

оставить страну без твердого руководства. Возьмем пример: разве можно на козлы посадить несколько кучеров? Ведь они, чего доброго, перепутают вожжи и опрокинут экипаж. Куда лучше вручить бразды правления одному хорошему и сильному человеку.

— О, конечно, — подал реплику Сераковский, — я за хорошего кучера, но, когда он умрет, я передам вожжи не его сыну, а выберу другого опытного человека. Ведь далеко не всегда сыновья наследуют отцовские качества.

— Да знаете ли вы, как мы поступаем в подобных случаях? Посмотрите на этот замок! — и Дубельт указал на Инженерный замок, в котором был в свое время задушен император Павел.

— Согласитесь, — спокойно парировал Сераковский, — что подобные крайние меры не всегда нужны. Если человеку нельзя доверить вожжи, то его лучше сразу послать пахать землю, а не сажать на отцовские козлы.

— Неужели все ваши коллеги считают себя хорошими кучерами? Да ведь не хватит на них и карет! — Генерал самодовольно откинулся в кресле. «Ну, на сей раз я его, кажется, срезал», — подумал он и пристально стал наблюдать за собеседником.

Сераковский сидел у стола, упираясь в колени широкими ладонями.

Солнечные лучи, проникая через шторы, освещали его скуластое лицо. Из-под густых, косматых бровей на Дубельта смотрели проницательные глаза. Не каждый мог выдержать взгляд генерала, но этот, не смущаясь, смотрел, казалось, не в глаза, а в самую душу. Кашлянув, генерал встал, прошелся по кабинету.

— Ваши коллеги почитают себя наиболее разумной частью народа. Они вечно чем-то недовольны, всех и вся порицают. Для них нет ничего святого. Высочайше утвержденный университетский устав кажется для них стеснительным. Теперь вот многие направились за границу. Несколько человек задержано при попытке нелегального перехода. К чему все это может привести? Ведь вы же безрассудно губите себя.

— Генерал! Ваши слова полны живого сочувствия к молодому поколению. Я и мои товарищи видят в них образец высокого христианского служения человечеству. Бог всемогущ и всеблаг, но согласитесь, генерал, что он не прямо, а через лиц, проникшихся христианским милосердием, несет людям добро, помогает попавшим в беду. Я счастлив, что имею честь беседовать с человеком, готовым пожертвовать всем ради ближнего. Генерал, не каждый может понять, как много означал для вас переход из армии в это ведомство. Молодым орлам нужно научиться летать. Позвольте же им это и направьте их полет. Ваши слова окрыляют. Я готов служить отечеству. Направьте меня в действующую армию на Кавказ. У меня только одна просьба. Позвольте мне в армии продолжить учение в университете, подготовиться и сдать экзамен за полный курс... Ваше внимание и помощь помогут мне преодолеть все преграды!

Дубельт не успел ответить. В дверях появился адъютант.

— Ваше высокопревосходительство! Граф вернулся из Зимнего.

Спеша на доклад к шефу жандармов графу Орлову, Дубельт почти на ходу заканчивал разговор с Сераковским.

— Мой юный друг! Вы невинная жертва странного недоразумения. Я сделаю все, повторяю, все, что в моих силах, чтобы недоразумение было улажено и ваше желание служить отечеству и науке было удовлетворено. Я не забуду вас. Все мы помним слова августейшего монарха о нашем назначении. Что может быть выше и благороднее этого?

Дубельт явно желал напомнить собеседнику басню о платочке. Император Николай I вручил его графу Бенкендорфу при организации Третьего отделения, сказав: «Вытирай им слезу невинно обиженных!» Кто в России не знал этого! Но многие знали и о том, к чему приводила опека Третьего отделения. Об этом говорил печальный удел Пушкина, Лермонтова, Шевченко.

Что скрывается за лицемерным участием жандарма? Хотелось быть подальше от подобного источника тепла, чтобы не брать потом холодные сибирские ванны. Но первая и главная цель, кажется, достигнута: следствие идет к концу, и Дубельту не удалось вырвать у него признания.

На другой день Дубельт докладывал шефу жандармов графу Орлову:

— Полагаю, что Сераковского нельзя оставить в университете. По собранному мною фактам, он имеет пагубное влияние на товарищей. Вокруг него группируется молодежь — выходцы из Литвы и Волыни, недовольные существующим порядком вещей. Они не могут скрыть радости по поводу начавшейся в Европе революции, зачитываются Мицкевичем и Пушкиным. Вот посмотрите список книг, отобранных у Сераковского. Взгляните, граф, здесь наши старые знакомые — Данте, Вольтер, здесь же стихи Мицкевича, прославляющие Рылеева, сочинения французского историка Мишле, проникнутые самыми что ни на есть коммунистическими идеями. Я полагаю, что Сераковский стремился к мятежным действиям. Идеи коммунизма весьма сильны в Западном крае, а он имеет там обширные знакомства. На днях мне донесли, что литовские и украинские мужики скупают в пограничных местностях оружие, шляются по корчмам, ведут разговоры о необходимости вырезать всех дворян поголовно. Такие, как Сераковский, только и мечтают встать во главе пьяного мужичья. Ведь он вел пропаганду даже в здешней римско-католической духовной академии. Епископ Головинский сообщает, что еще в прошлом году приказал Сераковского и в ворота академии не пускать. Он среди воспитанников хвастал тем, что его предки были мясники и умели пускать кровь дворянству. Я полагал бы удобным не ссылать Сераковского на Кавказ, против чего он, кажется, и сам не возражает, а послать его рядовым в линейные оренбургские батальоны. Там романтики поменьше, а порядок у генерал-губернатора Обручева подтверже. Соответствующие бумаги мною заготовлены.

Орлов пробежал глазами докладную и задержался на заключительных строках; «Хотя улики к прямому обвинению нет, а сам Сераковский ни в чем не сознался, но тем не менее обстоятельства дела навлекают на него некоторое подозрение в намерении скрыться за границу, и потому необходимо принять в отношении его меры осторожности».

— Нахожу ваши соображения весьма здравыми и соответствующими воле его императорского величества. Пошлите Сераковского, не мешкая, в Оренбург в сопровождении толкового офицера.

Почтовые смотрители были людьми многоопытными. Задолго до прибытия очередной тройки они по звону колокольчиков и столбам дорожной пыли узнавали, кого бог несет. Влетая в ворота станции, фельдъегерская тройка заставляла там уже готовую смену лошадей, и коляска мчалась дальше.

Мелькали деревни, позади оставались многие уездные городишки. Ночью промчались через Москву. Сигизмунд так и не успел рассмотреть первопрестольную. И вот опять те же знакомые картины: перелески, зеленеющие нивы, серая лента убегающей вдаль дороги. Который день мотало Сераковского в коляске, а привыкнуть не мог. Усталое тело казалось чужим. На ухабах подбрасывало и трясло.

За долгую дорогу Сераковский привык видеть перед собою широкую спину ямщика, слышать его песни. Под их монотонный заунывный напев посапывал сбоку сопровождавший его поручик. В душе Сераковский был даже благодарен ему: хоть с расспросами не пристава, не бережил душу. Хотелось замкнуться, побыть наедине с тревожными мыслями. Горько усмехнулся, вспомнил, как писал друзьям на прощание, успокаивая их: «Клянусь вам, что я спокоен. Я нимало не думаю о погребении. Будьте здоровы и веселы, как я здоров и весел. Ура! Отче наш! Да будет воля его на земле, как на небесах!»

А старую жандармскую лису он провел! Ведь так и не узнали голубые мундиры, зачем он ездил в Почаев. Правда, в Галицию пробраться не удалось, но цель была достигнута. Неподготовленный взрыв он предотвратил. Как горячились его друзья, узнав о революции в Европе, о победах Кошута! Казалось, что час выступления в Польше близок. Находились и такие, что требовали немедленного восстания в Вильно и Петербурге. Он вызвался поехать за границу, связаться с эмиграцией, заручиться поддержкой ее. В душе он надеялся, что радужные известия окажутся верными. Ему уже мерещились польские революционные легионы, марширующие из революционной Венгрии к границам Польши, но он считал необходимым тщательно все проверить, прежде чем принять решение о восстании. В пути его арестовали, но время было выиграно. Обстановка прояснилась, и преждевременно вспыхнувшие страсти улеглись. Не беда, если ему пришлось покинуть друзей, университет, родных.

Что ждет его в загадочных оренбургских степях? Ведь там зародилась пугачевщина. На берега Урала царица Екатерина сослала повстанцев Костюшко. Ее внук Александр выслал туда же друзей Адама Мицкевича, а его венценосный братец пожелал ознакомиться с суровым краем молодого автора «Кобзаря», властителя дум украинской молодежи. Да только ли украинской? Ведь и среди товарищей своих Сераковский видел восторженное преклонение перед вдохновенным певцом. По рукам ходили списки его стихов. Царь запретил сосланному писать и рисовать, говорят, даже и петь. Но разве можно связать птице крылья? С далекого Арала он продолжает звать друзей к борьбе, к единству. Сераковский шепчет стихи Шевченко:

Вот так же польский друг и брат!
Мы и поныне в мире б жили,
Но нас, поссорив, разлучили
Коварный ксендз и враг магнат...

Сераковский улыбается при мысли о возможности встречи с Шевченко в оренбургских степях. Царь Николай стремится разрушить крепнущую дружбу украинцев с поляками, а они наперекор судьбе образовали бы славное содружество!

Коляску сильно тряхнуло. Ямщик привстал на облучке и, гикая, крутя вожжи над головой, перевел лошадей вскачь. Тройка помчалась над обрывом по наезженной дороге. Прямо перед глазами Сигизмунда открылась безбрежная водная ширь. Передняя кромка ее, обрамленная зеленой каймой, казалось, начиналась где-то под копытами лошадей, а дальше синева уходила к горизонту и словно терялась в небе. Над белыми барашками мягко катившихся волн взмывали чайки.

«Дорога в рай не может быть прекраснее», — подумал Сигизмунд.

— Куда завез, борода? — заворочался рядом поручик, протирая заспанные глаза. По привычке он поднял кулак, намереваясь ткнуть кучера в спину, как делал это всякий раз, просыпаясь. На этот раз рука осталась висеть в воздухе, а поручик так и застыл, не отрывая глаз от раскрывшегося перед ним вида.

— Это Волга-матушка, ваше благородие.

Тройка катилась вниз, к песчаной отмели.

Речная волна мягко бьет в замшелый борт парома. Нет надоевшей

тряски, пыли, забивающей нос и рот. Только иногда вздрагивает тяжелый паром. Река, подобно могучему исполину, вздымает свою грудь, словно стремясь стряхнуть караваны барж и уйти свободной в зелень берегов.

Сераковский сидит в коляске, опустив подбородок в широкие ладони. Голубая, безмятежно веселая жизнь реки будит новые воспоминания. Уже не берега могучей реки, а зелень литовских дубрав видит он. Не всплески волн, а звуки родных милых голосов слышатся ему. Прошлое — далекое, дорогое, недоступное! Иные дороги, другие реки встают перед ним.

...Лето 1846 года. Друзья пригласили Сераковского на вакации в Литву. Несколько недель, проведенных на берегах Немана, теперь сливались в его памяти в зеленый сгусток лесных пущ, тихий шелест сказаний о прошлом, задорный спор молодых о завтрашнем. Как живые, стояли перед ним друзья.

Он приехал в гости к старшему из сыновей Деспота-Зеневича и был встречен, как человек близкий и дорогой. Сколько он пробыл там — неделю или вечность? Да и не все ли равно, сколько прошло дней, если наполнили они его душу солнцем, счастьем, ощущением молодости, избытка сил, безграничной любви к людям, желанием что-то свершить для блага их. Все казалось прекрасным; и мужики, с которыми он убирал сено, а потом жарким полднем бросался с обрыва в прохладные струи реки, и седые старцы сказители, и даже старый пан — отставной николаевский офицер.

Над всем витал, все скрашивал задорный смех Рашель. Что полюбилось в ней? Да и любил ли он ее? А может ли быть молодость не прекрасной, если непосредственность, простота пробивают себе дорогу через лабиринт условностей, прививаемых дочери пана с детства француженкой-гувернанткой?

В первый же день Рашель увела Сигизмунда в заброшенный угол старинного парка. Протащив через разросшиеся кусты роз, вывела на небольшую поляну, усеянную цветами. Нет, то были не цветы! Перед ним колыхались пышные султаны и сверкающие кивера. Милая угловатая девушка была поклонницей наполеоновской стратегии. Начитавшись реляций о сражениях и победах, она воспроизводила в цветнике движения колонн, причудливые схемы маршей и битв. В тот первый день он даже посмеивался над ребяческими забавами избалованного панского дитяти. Сигизмунд не мог принять всерьез ее слов, что отечество ждет от молодежи великих свершений.

А теперь он видит перед собой ее лицо, не может забыть ее голос, глаза, с такой надеждой устремленные на него. Как ошибался он, слывший

среди товарищей знатоком человеческих душ!

Навеки запомнил он полутемную гостиную, голос, звучавший в вечерней тиши:

Отчизна, милая Литва! Ты как здоровье:
Тот дорожит тобой, как собственной кровью,
Кто потерял тебя! И я рисую ныне
Всю красоту твою, тоску на чужбине...

Кто бы мог подумать в те дни, что строки эти окажутся для него пророческими?

...Рашель уверяла, что если бы все поляки, как один, заявили императору о необходимости воскрешения отчизны, то не пришлось бы соотечественникам скитаться на чужбине. Наивные мечты! Она, кажется, и впрямь писала что-то подобное царю. А теперь вот и он, ее оппонент, — гонимый бурей странник.

...Тихий августовский вечер. Густые сумерки прорезаны мрамором белоствольных берез. Отгремел прощальный фейерверк. Разъехались гости, простившись с отъезжающими в столицу студентами. Вздрагивает колокольчик стоящей у крыльца тройки. Грузно шагает по гостинной старый пан, то и дело поглядывая на часы. Рушится привычный распорядок в усадьбе. Скорее бы уезжал этот непонятный друг сына. Зачем только привезли его, что такого нашла в нем дочь? Уж не думает ли связать с ним свою судьбу? Но нет! Горlinkа не для воробья, а его дочь не для безродного шляхтича, какие б там таланты ни признавали за ним. Молодое. Вот, пожалуйста, сегодня весь вечер вдвоем и никак не могут распрощаться.

А молодые люди молча стоят у окна, запрокинув головы. Долгое молчание прерывает девичий голос.

— Я подарю тебе на память звездочку. Ты не забудь ее! Нет, не эту, смотри выше от Полярной и считай — раз, два...

— Да подари ты ему хоть все небо! Только скорее, — гремит негодующий бас отца.

В Оренбург приехали на рассвете. Это было 31 мая 1848 года. В тот же день Сераковский свалился в лихорадке. Только и успел, что поменять партикулярное платье на солдатский мундир. Две недели метался в горячке, был между жизнью и смертью.

Чудилось, что наклоняется к нему затянутый в чемарку отец. Мягкие пшеничные усы его приятно щекочут разгоряченное лицо, слышится отцовский голос: «Спи спокойно, мой малыш. Собственной грудью прикрою тебя». Хочется обхватить шею отца, припасть к его широкой груди, плакать слезами радости и облегчения. Взметнулись руки и упали бессильно на грубое солдатское сукно.

— На, испей водицы, — шепчет молодой солдат, склоняясь над изголовьем. — А то кваску принесу холодненького аль соку березового.

Голос солдата певуч, в нем что-то родное, близкое. Стучат зубы о жесть кружки, льется вода на смятую шинель.

...В середине июня по тракту на Уральск пылит караван. Под жгучим солнцем шагает солдат Сераковский. Обливается потом. Его путь далек. Где-то Ново-Петровский форт. Там определено служить рядовым в 1-м Оренбургском линейном батальоне воспитаннику Санкт-Петербургского императорского университета. Что-то там впереди? Пыль, клубы дорожной пыли. Зной.

II

Груда корректурных листов лежит перед склонившимся к конторке человеком. Глаза, проворно и привычно бегавшие по страницам, устали. Протерев очки, редактор вновь углубляется в чтение. Уже месяц, как он один ведет «Современник». Перед самым отъездом Некрасова за границу в редакции произошел раскол. Грянула давно назревавшая буря. Старые сотрудники во главе с Дружининым ушли из журнала. Они надеялись, что в последнюю минуту Некрасов сдастся и удалит из редакции Чернышевского; ну, а если нет, то журнал растеряет подписчиков, захиреет, и тот же Некрасов придет к ним на поклон. Дружинин шумел о том, что-де Чернышевский губит созданный Пушкиным лучший орган российской литературы, когда вводит в чистый храм искусства мужиков в лаптях, засоряет изящную словесность грубыми простонародными словами.

Читавший усмехнулся, вспомнив свои недавние споры с хранителями «чистого искусства». А ведь они всерьез воображают, что продолжают традиции Пушкина. Полноте, что общего может быть между «Посланием в Сибирь» и стряпней того же Дружинина! Нет, он не пойдет к ним на поклон, и Некрасов не пойдет. И если б пришлось остаться одному, не изменил бы своего решения. Но он верит, что в одиночестве не будет.

Придут новые сотрудники, лучше понимающие запросы дня. Среди молодежи так много талантов. Да и Некрасов выстоял, не согнулся. А ведь работал с ними добрый десяток лет, и не только работал, жил с ними, как с братьями родными, душа в душу, но пошел на разрыв.

Как быстро они сработались с Николаем Алексеевичем! Ведь, кажется, и разговоров-то об идеалах не было. Объяснение произошло как-то незаметно. Вдруг открылось им, что вместе они идти должны, а порознь быть не могут. Тряхнул головой, словно отгоняя не вовремя нахлынувшие воспоминания, и опять углубился в корректуру.

Скоро, очень скоро оживут эти листки и разнесут по Руси добрые, правдивые слова народных заступников. Ради этого стоит жить, бороться.

Без стука открылась дверь.

— Здравствуйте, Николай Гаврилович! Посмотрите, кого я к вам привел!

Оторвавшись от конторки, Чернышевский пошел навстречу. Капитана генерального штаба Яна Савицкого он знал давно, но прапорщика, который пришел с ним, он видел впервые и невольно задержал на нем взор. Широкие плечи, казалось, вот-вот прорвут ветхое сукно. Скуластое волевое лицо было уставшим и загорелым, мохнатые крылья бровей выпцвели.

— Не удивляйтесь, Николай Гаврилович, — сказал меж тем Савицкий, пожимая ему руку. — Мой друг только что закончил путешествие из Оренбурга в столицу. И я рад представить вам давнишнего приятеля моего Сигизмунда Игнатьевича Сераковского!

— Наслышан о вас. Еще в бытность студентом знал о вашей прогулке, сначала во Львов, впрочем, кажется, неудавшейся, а затем в Оренбург! Уж не кумыс ли пить послал вас Дубельт? Ох, уж этот врачеватель! Больному Белинскому обещал теплый казематец в Петропавловской, Лермонтова отправил на воды, а подорожную выписал на тот свет. Ну, а вас с Шевченко — на кумыс.

Неожиданная встреча с Сераковским взволновала Чернышевского. Он действительно знал о нем, о его нелегальной деятельности, о настойчивых усилиях вырваться из ссылки. Высоко ценил его, верил, что судьба Сераковского должна перемениться к лучшему непременно, но не думал, что так скоро. Желал высказать Сераковскому все это, но, взволнованный встречей, он не находил нужных слов. Он как-то стушевался, поняв, что говорит не то, что хотелось, потом засмеялся, скрывая неловкость, желая показать, что произнесенные слова не нужны. Чернышевский радовался встрече и тому, что изнурившая его вычитка корректур закончена.

Сераковский был утомлен долгой дорогой. Загоняя тройки, он мчался

в Петербург, отсчитывая каждый день, каждую версту, томясь от дорожного безделья. Долгие восемь лет солдатчины, когда он не принадлежал себе и делал не то, что хотел, казались теперь какой-то краткосрочной вынужденной остановкой. Пролетавшие же в клубах пыли один за другим дни тяготили. Теперь руки были раскованы, ощущение обретенной вновь свободы пьянило. Радость собственного освобождения сливалась с ощущением перемен, о которых говорили ему и потрепанные книжки журналов, доходивших до Оренбурга, и растерянность николаевских служак, не знавших, куда деть кулаки. В столице он надеялся отыскать старых друзей, обрести новых.

Едва стряхнув с одежды дорожную пыль, он помчался к Савицкому, с которым был давно знаком, переписывался, встречался в Оренбурге. Забросав его вопросами и не выслушав до конца ответов на добрую половину их, он потащил друга на Невский.

Зная привычки петербуржцев, он надеялся, что встретит там, в эти вечерние часы, старых знакомых. Неожиданное ненастье обезлюдило тротуары. Экипажи, мчавшиеся по мягкой торцовой улице, были закрыты. На мосту, у бронзового юноши, усмирившего коня, стояли, любуясь панорамой города.

У Литейного Савицкий вдруг заявил, что они в двух шагах от редакции «Современника» и квартиры Некрасова, что поэта теперь в городе нет, но там, наверное, можно увидеть Чернышевского.

— Лучший, правдивейший журнал, благороднейший, неподкупнейший редактор, — так, кажется, выразился Савицкий.

Сераковский про себя тогда еще отметил, что его сдержанный друг волнуется, заговорив о «Современнике». Сигизмунда обрадовало и это волнение Савицкого и его неожиданное предложение зайти вот так, запросто, и познакомиться с Чернышевским.

Он не сказал тогда Савицкому, что давно, очень давно, полюбил этого человека, хорошо знал статьи его, следил за его покоряющим умы словом. В душе Сераковский давно считал себя единомышленником выдающегося публициста, привык искать в его статьях ответы на все сомнения. Он не раз мечтал о том, как встретится с выдающимся публицистом России, как скажет ему, что разделяет его мысли. Скажет, что в пору юности, совпавшей с революцией 1848 года, суровый мороз убил цветы весны народов. Скажет, что теперь, когда над Европой занялась заря свободы, поляки и русские, объединившись, должны, наконец, опрокинуть трон Романовых, дать народам волю, крестьянам — землю!

И вот он видит перед собой не исполина, каким рисовал себе вождя

революционных сил, а уставшего смущенного человека. Он долго трясет протянутую ему руку и тоже говорит какие-то слова, а потом умолкает недоумевая.

Затянувшаяся пауза становится тягостной. Выручает Савицкий. Непринужденно говорит о том, что Сераковскому надо помочь. Ведь он сильно нуждается в деньгах после восьмилетней солдатчины, должен к тому же содержать старушку мать и сестру, разбитую параличом. Хорошо было бы найти ему какую-либо работу в журналах. Он владеет несколькими иностранными языками и, как человек неглупый и образованный, сумеет быстро войти в курс дела. Почему бы ему не сотрудничать в «Современнике»?

Чернышевский подхватывает предложение Савицкого, которое, как видно, пришлось ему по душе. Тут же решено, что Сераковский возьмется вести отдел «Заграничных известий», приняв его у Александра Пыпина.

— Да смотрите, — шутя замечает Николай Гаврилович, — не следуйте примеру Саши. Не увлекайтесь придворными балами да нарядами красавиц. Пройдитесь по окраинам Парижа и Лондона.

Тут же Чернышевский советует обратить внимание на события в Северо-Американских Соединенных Штатах, где, по его мнению, борьба угнетенных против плантаторов-рабовладельцев грозит перерасти в войну. А это весьма напоминает обстановку в России.

Так в сентябре 1856 года Сераковский стал сотрудником «Современника». Более года вел порученный ему отдел. С ворохом газетных вырезок на многих европейских языках часто приходил запросто к Николаю Гавриловичу. Подолгу сживали вместе, спорили, обсуждали обзоры и статьи. Не во всем и не всегда соглашались. Чаше Сераковский сдавался и вносил предложенную Чернышевским правку.

Однажды в присутствии Савицкого речь зашла об адресах, подаваемых дворянами западных губерний на высочайшее имя. Дворянство Подолии и литовских губерний просило присоединить край в административном управлении к Царству Польскому и даровать ему национальную автономию. Савицкий, поддержанный Сераковским, заметил, что осуществление таких требований дворян было бы шагом вперед и способствовало бы возрождению независимого польского государства. Чернышевский резко возразил: Польша кончается на Буге, а голос дворянской общественности нельзя принимать за изъявление чувств коренного населения; что скажут еще сами белорусы и украинцы, пока неизвестно. Революционеры не должны уподобляться псам, дерущимся за кость!

Часто в перерывах между подготовкой материала в очередную книжку «Современника» разговор заходил о жизни Сераковского в Оренбурге. Как-то за вечерним чаем Сераковский долго говорил о тяжелой участи солдат, о том, что он решил посвятить свою жизнь облегчению этой участи и счастлив иметь такую благородную цель. Он пришел к убеждению, что первым шагом на пути освобождения народа является отмена варварского обычая наказания солдат шпицрутенами, при котором солдат не может чувствовать себя человеком, а офицер превращается в зверя. Ободренный вниманием собравшихся, Сераковский долго говорил о жизни в ссылке.

Он рассказывал, как в 1848–1849 годах находился в маленькой крепостце на берегу Каспийского моря, в глуши, где многие спивались. Да и как не запьешь, если зимой метет вьюга, а летом ничего не видишь, кроме песка? Вот и все красоты природы! К тому же жили вначале в землянках и шалашах. Форт только строили. Из-за недостатка в офицерах и отсутствия грамотных фельдфебелей поручили как-то Сераковскому вести с солдатами уроки «изящной словесности», как в шутку называли зазубривание бессмысленных «пунктиков» об обязанностях солдата. Вручил ему фельдфебель эти самые «пунктики». Читает он — и глазам не верит: «Солдату надо знать: немного любить царя...» Что за чушь! Протер глаза, смотрит — то же самое! Видно, писарь спяну перепутал знаки препинания.

— И что же, вы думаете, исправили ошибку? Бумага-то прислана была из Уральска, из батальонной канцелярии. Никто не осмелился подвергнуть сомнению присланный свыше текст.

Как ни убеждал Сераковский фельдфебеля исправить ошибку, не убедил служивого. Так вся рота и заучила, что царя особенно любить не следует. Только на инспекторском смотре обнаружилась ошибка. После этого случая фельдфебель проникся к Сераковскому доверием и поручил евангелие читать. Комментировал тексты Сераковский так, что солдаты задумывались над причинами своего тяжелого положения и судьбами родины.

— Скажите, Сигизмунд Игнатьевич, — спросил как-то Чернышевский, — шесть лет служили вы с Шевченко в одной дивизии, а говорят, что так ни разу там и не встретились.

— Долгая история. Надобно сказать, что, еще подъезжая к Оренбургу, мечтал я об этой встрече. С Тарасом Григорьевичем мы земляки — оба с берегов Днепра; с поэзией его я давно знаком. Когда я прибыл в Оренбург, Шевченко был в экспедиции капитана Бутакова, изучавшей Аральское море. Вскоре меня направили в форт Ново-Петровский. А Шевченко,

вернувшись с Бутаковым в Оренбург, обрабатывал материалы Аральской экспедиции и близко в то время сошелся с тамошними польскими ссыльными. Среди них были и мои добрые знакомые по Вильно и Киеву. Стойкие люди. Дружили очень, помогали друг другу книгами, табаком — словом, кто чем богат, а Тарасу Григорьевичу все краски добывали. Говорят, в кругу друзей он преображался, оживал, забывал на минуту о невзгодах, пел украинские песни, стихи читал. Он хорошо знал польский язык и мне писал иногда по-польски. А увидеть его так и не привелось.

В 1857 году Сераковский поступил в академию Генерального штаба и был вынужден прекратить работу в «Современнике». Однако связь его с журналом не оборвалась. Частым, желанным гостем был он в доме Чернышевского, в квартире Добролюбова.

Иногда Сераковский с друзьями навещал мастерскую Шевченко в Академии художеств.

— Поэт, настоящий поэт! — воскликнул Шевченко, беседуя с польским другом, вкладывая в эти слова свое восхищение его возвышенными, гуманными стремлениями, его чутким отношением к людскому горю. Не мог без волнения Тарас Григорьевич говорить о том, как подружился он в ссылке с польскими революционерами. Своими соизгнанниками оренбургскими называл он ссыльных друзей Сераковского.

Сераковский и его товарищи приняли горячее участие в судьбе родных Шевченко, в организации выкупа их из крепостной неволи, не дожидаясь готовящегося правительственного «освобождения» крестьян.

Шевченко, много натерпевшийся во время «мрачной, монотонной десятилетней драмы», ненавидел царскую армию и ее офицерский корпус. Однако, когда он узнал о поступлении Сераковского в академию Генерального штаба, одобрил этот шаг друга, согласившегося остаться на всю жизнь в армии, чтобы иметь возможность участвовать в борьбе за освобождение солдатских спин от шпицрутенгов.

В академии вокруг Сераковского сгруппировался кружок польских и русских офицеров, принявший вскоре революционный характер и просуществовавший вплоть до восстания 1863 года. Молодые друзья Сераковского помогали ему готовить проект реформы военно-уголовного законодательства. В 1862 году они дали достойную отповедь царскому флигель-адъютанту князю Э. Витгенштейну, выступившему в печати с прославлением палок и стремившемуся доказать, что можно избивать солдат даже на виду у неприятеля на биваках и перед боем. Более ста

офицеров разных родов оружия опубликовали в «Северной пчеле» протест, высмеяв пруссака на царской службе. Общественность высоко оценила это выступление офицеров, поставивших человеческое достоинство выше мнимой чести мундира.

По вечерам на квартире Сераковского собиралось многочисленное общество. Тут на своеобразных литературных вечерах мешались роскошные мундиры гвардейцев со скромными сюртуками канцеляристов. Выделялись студенты университета и Медико-хирургической академии — они демонстративно носили мужицкие свитки. Пили чай, пели песни, но больше спорили, разбившись на группы. Тут все выходило на сцену: история, философия, религия, стратегия, прошлое и будущее. Слышались польская и русская речь, изящные французские выражения мешались с украинскими и белорусскими. Читали «Колокол» и «Современник». По рукам ходили прокламации на русском и польском языках.

Как-то вечером разнеслась весть: в Петербурге закрыта единственная польская газета «Слово», близкая к «Современнику». Ее редактор Иосафат Огрызко — частый посетитель литературных собраний у Сераковского — посажен в Петропавловскую крепость^[20]. Кто-то прочел экспромт Некрасова: «Плохо, братцы, беда близко, арестован коль Огрызко». Грустное предсказание Некрасова приняли за неудачную шутку. Верили все в безоблачное будущее, не придавали значения тучам, собиравшимся над головой.

В кругу друзей Сераковский, восторженно импровизируя, рисовал радужные картины будущего. Он мечтал о временах, когда Россия и Польша, освободившиеся от царского деспотизма, заживут, как добрые соседи, в мире и согласии. Валерий Врублевский однажды шутя предложил избрать Сераковского президентом федерации свободных славян. Маленький, ладно скроенный, Ярослав Домбровский — «Локоток», как любовно называли его друзья, — добавил, что доброе время, о котором повествует Сигизмунд, конечно же, придет, но не само собой, что одних мечтаний о нем мало. С ним все согласились. И тут все заговорили о том, что прежде благородные умы были заняты разработкой основ справедливого общественного порядка, основанного на уважении естественных прав человека, но ныне одних мечтаний о воцарении разума, конечно, мало. Все сошлись на том, что честные люди должны стремиться к воплощению идеалов в жизнь, в этом знамение времени.

Сераковский был душой этих бесед. Прирожденным трибуном, неодолимым в диспутах диалектиком называли его товарищи. Отличительной его чертой было превосходно развитое чувство жизни, он

умел схватить суть, живую душу науки и блестяще применить ее к делу, которому служил. Даже оппоненты, оспаривая выдвинутые им положения, не могли отрицать силы и благородства высказанных им мыслей.

Кто бы мог подумать в те дни, следя за оживленными задорными спорами друзей, что среди них находятся будущие революционеры, руководители и участники польского восстания и первой в мире пролетарской диктатуры!

А ведь из среды офицеров, группировавшихся вокруг Сераковского (их было не один десяток!), большинство вошло в ряды нелегальной революционной организации «Земля и воля», примкнуло к польскому национально-освободительному движению, а некоторые впоследствии сражались на баррикадах Парижской коммуны.

*

В шумных спорах с друзьями, в занятии литературой, штудировании воинских уставов Петра Великого и Александра Суворова незаметно прошли два года. Занятия в академии Генерального штаба шли к концу. Успешно заканчивалась и разработка проекта реформы военно-уголовного законодательства, призванного, по мысли Сераковского, освободить, наконец, солдат от унижительных телесных наказаний. В этой работе много помог Сераковскому профессор Петербургского университета Владимир Спасович, некогда его студенческий товарищ, ставший известным юристом. Спасович удивлялся обширности познаний Сераковского и не раз говорил, что место его друга не в армии, а на университетской кафедре. Не без умысла он представил однажды Сигизмунда профессору Кавелину. Однако Сераковский не поддерживал разговоров об ученой карьере, равно как и рассуждений Кавелина о необходимости уравнивать в гражданских правах русских и поляков: «О каком равенстве может идти речь? — возражал Сераковский профессору. — Ведь и права-то русских граждан до смешного ничтожны. К тому же и существующие законы постоянно нарушаются!»

С профессором академии Генерального штаба гвардии полковником Николаем Обручевым Сераковский познакомился благодаря своей близости к редакции «Современника». Обручев тоже был там частым гостем.

Возмущенный крепостническими порядками, царившими в армии, он тяжело переживал позор крымского поражения русской армии и принял

близко к сердцу проекты Сераковского. Обручев оказал деятельную помощь в их разработке и продвижении. Он же познакомил Сераковского с бывшим профессором академии Генерального штаба Дмитрием Милютиным, занимавшим пост товарища военного министра. Вынашивая планы реформы в армии, Милютин сочувственно отнесся к проекту Сераковского и обещал поддержать его.

Генералы николаевской закваски, не мыслившие армии без мордобоя, встретили в штыки самую мысль о возможности отмены шпицрутенов. Им казалось диким признание в солдате человеческого достоинства. Однако время шло вперед, и новые веяния, носившиеся над Россией, а пуще всего недавнее крымское позорище властно требовали отмены крепостного права и перемен в армии и флоте. Сераковский чувствовал жизненность своего проекта.

— Отмена крепостного права, — говорил он, — вызывает потребность уничтожения телесного наказания. Когда огромная масса крестьян, из которых преимущественно составляется армия, пробуждается к новой жизни, когда ей предоставляются новые права, когда во вчерашнем рабе увидели, наконец, человека, необходимо возвысить в глазах народа звание солдата, признать за ним гражданские права. Повсюду содержание постоянных крупных армий стоит народу огромных средств, отрывает от производительного труда миллионы рук. Если хотеть этому горю хотя бы отчасти помочь, нужно стремиться к тому, чтобы армия стала грандиозным рассадником образования, чтобы солдат во время мира овладевал элементарной грамотой, а со временем, после окончания службы, мог бы занять место учителя в народной школе. Офицеры должны вместо карт и попоек заняться умственным трудом, литературой и стать представителями умственной и нравственной силы нации. Когда народ гордится своими офицерами, солдаты охотнее, без палок и мордобоя повинуются им во время мира и закрывают их грудью в бою. Только насилие может заставить повиноваться грубому, необразованному человеку, но охотно повинуюешься тому, в ком видишь нравственное превосходство.

В конце 1859 года после блестящего окончания академии Генерального штаба капитан Сераковский по инициативе Н. Обручева, поддержанной Д. Милютиным, получил предписание военного министра выехать за границу и принять участие в работе русской делегации на Международном статистическом конгрессе в Лондоне.

Холодные бритты были удивлены поведением русского делегата. В программе значился вопрос, имевший отношение к военной статистике. Кто мог предполагать, что он станет одним из центральных в работе

конгресса? Зацепившись за него, капитан Сераковский заговорил, но не о военной статистике, а о тяжелой участи солдата.

— Если во времена Фридриха Вильгельма, — говорил Сераковский, — можно было сколачивать палкой толпы наемных бродяг в непобедимые колонны войск, то сегодня наличие палочной дисциплины — анахронизм, подрывающий боеспособность войск, оскорбляющий граждан, находящихся на военной службе во имя защиты отечества.

Чопорные дипломаты и степенные профессора были удивлены, обнаружив в своей среде человека, до деталей изучившего солдатскую жизнь, неопровержимыми фактами убеждавшего, что преступность, недисциплинированность солдат являются следствием палочной дисциплины. А когда Сераковский заговорил, что в стране, так гостеприимно встретившей делегатов конгресса, до сих пор существует наказание кавалеристов стремянами, а матросов — кошками, дипломатический ритуал был нарушен окончательно. Царившие на конгрессе плохо скрываемые равнодушие и скука пропали. Все заговорили о загадочном, необыкновенном делегате России, пожимали недоуменно плечами, строили самые фантастические предположения, стремясь найти объяснение его поведению. Любопытство возросло еще более, когда стало известно, что блестящий офицер Генерального штаба, личный представитель военного министра могущественной державы — недавний изгнанник, прошедший в азиатских пустынях лучшие годы молодости. Шептались, изумлялись, недоумевали и... спешили познакомиться, выразить свое уважение человеку со столь необычайной судьбой

А вчерашний изгнанник и в фешенебельных особняках, и на придворных балах, и на дипломатических приемах не переставал действовать в пользу своих бывших сослуживцев — солдат. Его необычайная настойчивость в этом деле привлекла внимание журналистов. О Сераковском заговорила пресса Великобритании.

Однажды военный министр сэр Сидней Герберт устроил прием в честь делегатов конгресса. Когда подошел Сераковский, Герберт, успевший услышать о его, как казалось министру, чудачествах, движимый привычкой представляться любезным и внимательным, заговорил о гуманности. Русский офицер тут же поддержал разговор на эту тему. Вскоре Герберт понял, что попал в западню. Спорить было неуместно, согласиться же с русским делегатом он не мог, не поставив под удар дисциплинарные основы королевского флота. Стремясь уйти от поставленных в упор вопросов, сэр Герберт шутливо заметил, что провинившиеся и наказанные матросы будут со временем благодарны своему строгому начальству, как

бывают благодарны повзрослевшие дети своим старикам родителям, некогда наказывавшим шалунов.

— Можно наказать и розгой? — спросил, улыбаясь, Сераковский.

— А почему бы и нет? — в тон ответил министр. — Ведь отец думает только о благе своих детей.

Медленно расхаживая по залу вместе с Сераковским, министр не сразу сообразил, что намерен предпринять его собеседник. Он опомнился, оказавшись рядом с супругой в окружении многочисленных гостей. Отступать было поздно и некуда.

— Миледи, — звучал рядом голос Сераковского, — разве можно поверить, что ваш супруг собственной рукой может выпороть ребенка?

Жена Герберта, смеясь, отрицательно повела головой. Заручившись ее поддержкой, неугомонный русский делегат развил мысль о том, что в хорошем доме исчезает необходимость прибегать к жестоким наказаниям. А кто может сомневаться, что Англия — хорошая мать для своих подданных?

— Господа, — продолжал он, — я, может быть, недостаточно знаю английских матерей, но я помню собственную мать, простую польскую женщину. Ее отношение к сыну не было лишено гуманности.

Сераковский заговорил о родине и своем детстве. Был, по его мнению, только один случай, когда он заслужил суровое наказание. Ему было тогда около шести лет, когда в их дом прибыл чиновник, производивший по приказу царя набор детей из мелкопоместных польских семей в кадетский корпус. Мать, не желая расставаться с сыном, передела его в платье сестры и выдала за дочь. Чиновник уже вносил поправки в свои списки, когда из-за спины матери появилась фигура и звонким голосом произнесла: «Я не дочь, я сын, Сигизмунд Сераковский!»

Когда смех поутих, Сераковский добавил:

— Заметьте, господа, мать и тогда не наказала меня. Ведь я все же остался дома, хотя фамильное серебро уехало с чиновником!

Многие выходцы из Польши и России, жившие в Лондоне, осуждали Сераковского. Но один эмигрант безоговорочно встал на его сторону в борьбе за облегчение участи полкового раба. Это был Герцен. Он понимал истинный смысл поведения Сераковского. Последний сознательно вел дело так, чтобы падкая на сенсации западноевропейская пресса заговорила о необычных заседаниях конгресса. Нужно было привлечь внимание общественности к делу, которому он служил, склонить на свою сторону видных ученых и военных деятелей. Надо было использовать их либерализм и авторитет Запада (ведь к мнению деятелей западных держав

прислушивались придворные круги России!). Надо было повлиять, наконец, на «дантистов», как любил называть Герцен любителей зуботычин, обитавших в Зимнем дворце, положить конец затянувшемуся обсуждению проекта реформы военно-уголовного законодательства. В Лондоне Сераковский продолжал добиваться решения об отмене наказаний шпицрутенами.

Далеко за полночь, возвращаясь с очередных приемов и затянувшихся заседаний, Сераковский спешил к Герцену. Он знал, что застанет его за письменным столом работающим. А если утомленный издатель «Колокола» отдыхал, Сигизмунд будил его, и друзья часами просиживали, составляя планы очередных выступлений Сераковского на конгрессе. Не раз они вместе встречали солнце, встававшее над лондонскими предместьями. Рассвет казался им зарей всеобщей свободы — близкой, желанной, а личная дружба поляка в царском мундире и случайного представителя крестьянской Руси в Европе — символом братства наций.

Частым гостем в доме Герцена был Сераковский и в следующую поездку за границу — в первой половине 1862 года. Изучая военно-уголовное законодательство крупнейших стран Западной Европы, он побывал в Англии, Франции, Италии, Австрии, Пруссии.

Некоторые политические деятели Европы, стремившиеся использовать польское национально-освободительное движение в своих целях, делали Сераковскому прозрачные намеки о сотрудничестве, а Кавур даже предложил ему перейти на службу в итальянскую армию. В таких случаях Сераковский обрывал собеседника на полуслове, ясно понимая, какую роль отводили его отечеству мнимые друзья, не желая таскать для них каштаны из огня.

Совсем по-другому складывались его отношения с европейскими демократическими деятелями. Всюду он стремился познакомиться с лидерами парламентских оппозиций, с эмигрантами и вождями революционных и национальных движений, находил у них понимание трагических судеб польского народа, искреннее желание содействовать его социальному и национальному освобождению. Особенно близко к сердцу принял польские дела Джузеппе Гарибальди, которого Сераковский посетил весной 1861 года в ссылке на острове Капрера. Гарибальди с горечью говорил, что не может пока принять личное участие в борьбе за свободу Польши, что судьба обрекла его на вынужденное бездействие, но готов, как только это позволят обстоятельства, возглавить отряд волонтеров и будет рад видеть Сераковского своим начальником штаба. Прощаясь с Сераковским, Гарибальди отечески благословил его, пожелав удачи в

предстоящих боях. Позже Сераковский говорил, что беседа с Гарибальди удесятирила его силы, и он покинул отечество Данте и Микеланджело, очарованный его освободителем.

Знакомясь всюду с деятелями революционных и оппозиционных партий, Сераковский пришел к выводу, что мир стоит на пороге новых социальных потрясений, что борьба против подневольного труда крестьян в Европе, рабов в Америке и городских низов всюду изменит облик земли. Он был убежден, что его родина внесет достойный вклад в дело всеобщей свободы, что время воскрешения Польши не за горами и произойдет оно при самом деятельном участии революционных сил России и Европы.



С. И. Сераковский.



Н. Г. Чернышевский.

Возвращаясь из первой поездки за границу, по пути в Петербург

Сигизмунд навестил в Вильно семью Далеvских, с которой был близок со студенческих лет. Старшие братья Далеvские — Франтишек и Александр — были его друзьями-единомышленниками по нелегальным кружкам. Почти в одно время с ним попали они под суд и были приговорены к каторжным работам в забайкальских рудниках. По амнистии 1856 года Далеvским было разрешено возвращение на родину, чем они не преминули воспользоваться. Встреча со старыми друзьями после долгой насильственной разлуки буквально потрясла Сераковского.

В гостеприимном доме Далеvских он пробыл всего несколько часов, но и их оказалось достаточно, чтобы сердце Сигизмунда осталось в Вильно. А виновница этого — одна из пятерых сестер Далеvских, Аполлинария, — и не подозревала, что друг любимых братьев уехал в Петербург с думами о ней. Казалось, все говорило против их любви: она только еще вступала в жизнь, а он так много успел увидеть и пережить. К тому же Аполлинария была девушкой необыкновенной красоты. А мужественное лицо Сераковского, никогда не отличавшееся особо тонкой красотой, несло на себе печать пережитого.

Он тяжело страдал, боясь отказа молодой девушки, и потому долго не решался предложить ей свою руку. Несколько раз, используя представлявшиеся по службе возможности, Сераковский приезжал в Вильно по только что введенной в действие Петербургско-Варшавской железной дороге, бывал у Далеvских, но о своих чувствах к Аполлинарии не говорил. Девушка сама пошла ему навстречу, ибо горячо полюбила Сигизмунда, о котором многое знала из рассказов братьев. Она полюбила в Сераковском не только высокие качества человека, но и черты нестигаемого революционера. Иным своего друга эта гордая, умная девушка, выросшая в семье революционеров, не представляла.

В июле 1862 года в Кейданах Ковенской губернии, где служил один из братьев Далеvских, состоялась свадьба Сигизмунда и Аполлинарии.

Со стороны Сераковского на торжестве присутствовал только его давнишний друг — оренбургский соизгнанник, офицер Генерального штаба Ян Станевич. Вместе они вступили на путь борьбы накануне революционных битв 1848 года; вместе отбывали ссылку в оренбургских батальонах, вместе добивались производства в офицеры и возможности продолжать образование; вместе готовили проект отмены палок в царской армии; вместе разрабатывали план вооруженного восстания. Словом, неразлучные друзья все делали вдвоем. Может быть, поэтому Сераковский и попросил Яна быть шафером на его свадьбе.

Празднество удалось на славу. Присутствовавшие называли его позже

последней мазуркой на Литве, ибо через несколько месяцев грянуло восстание. Но в июле 1862 года его еще не ждали. Гости, посвященные в нелегальную революционную деятельность жениха, говорили о весне 1863 года как о вероятном сроке вооруженного выступления. Спорили о том, можно ли рассчитывать на помощь революционных сил России в борьбе за независимость Польши, или следует опереться на помощь Франции. Сераковский и Станевич говорили о своих русских друзьях, о деятельности «Земли и воли», о желании соратников Чернышевского выступить вместе с поляками. Однако это желание разделяли не все. Многие из молодых дворян, мечтая о восстановлении независимой Польши, склонялись к мысли о необходимости заручиться помощью Наполеона III. При этом вспоминали о симпатии его деда к их отчизне. Так и не переубедив своих оппонентов, Сераковский вместе с молодой женой выехал за границу. Через Вену он отправился во Францию и далее — в Алжир, где предстояло выполнить специальное поручение военного министра.

Летом и осенью 1862 года поездками из Вены в Петербург Сераковский остановился на несколько дней в Варшаве.

Столица Польши напоминала осажденный город. Казармы были переполнены солдатами. Жерла орудий Александровской цитадели смотрели на предместье. На опустевших улицах раздавалось цоканье копыт.

Царские власти были охвачены тревогой, и не без основания. Непрекращавшиеся волнения в Польше сливались с крестьянскими «бунтами» в России, со студенческими демонстрациями, массовым недовольством народа реформой 19 февраля 1861 года. С каждым днем крепло единство действий русских и польских революционных сил, совместно выступавших против царских властей.

Остановившись в Варшаве, Сераковский был намерен встретиться со своим другом Ярославом Домбровским, возглавляющим варшавскую революционную организацию и фактически руководившим Центральным национальным комитетом — центром, который координировал действия революционных сил в Польше и за границей. Сераковский хорошо знал и офицера Андрея Потебню, вставшего во главе Комитета русских офицеров в Польше. Буквально накануне приезда Сераковского царские власти расстреляли группу русских офицеров за распространение в войсках сочинений Герцена и революционных прокламаций. В качестве ответной меры польские и русские революционные организации устроили покушение на царского наместника в Варшаве генерала Лидерса, окончившееся неудачно. С каждым днем террор усиливался. Спасаясь от

преследования, Потебня перешел на нелегальное положение. Домбровский был арестован и заключен в Александровскую цитадель.

Сераковскому все же удалось встретиться с представителями Центрального национального комитета и Комитета русских офицеров в Польше. Во время этих встреч, продолженных затем в ноябре — декабре 1862 года в Петербурге, русские и польские революционеры решили весной 1863 года начать вооруженное восстание и свергнуть царизм объединенными усилиями.

Восстание должно было начаться в Польше, Поволжье, на Дону и Урале. Отряды восставших должны были двинуться со всех окраин страны к ее центру, на Москву и Петербург, провозглашая повсюду клич: «Земля и воля».

Сераковский был не только связующим звеном между русскими и польскими революционными организациями, но и принимал деятельное участие в разработке этого плана вместе со своими друзьями Ярославом Домбровским, Андреем Потебней и Сигизмундом Падлевским.

События, однако, развивались не так, как рассчитывали революционеры. В Польше народные массы взяли за оружие не весной 1863 года, а в лютую январскую стужу. Революционные силы России были в то время не в состоянии немедленно поддержать восставших поляков вооруженным выступлением против царских войск. К тому же из рядов русских тираноборцев были вырваны многие революционные деятели. Крестьянские выступления против крепостничества в течение двух предыдущих лет были подавлены вооруженной силой.

Царское правительство маневрировало и стремилось бить своих противников поодиночке.

III

Весна 1863 года. Третий месяц полыхает восстание. Начавшись в Царстве Польском, оно вскоре перекинулось в Литву, Белоруссию, на Правобережную Украину. Борьба, назревавшая долгие годы, началась по инициативе молодежи и горожан. Теперь в нее все более широко втягивались крестьяне.

Немалые силы были брошены царем против повстанцев. В состав карательных корпусов были включены отборные войска, имевшие опыт

боевых действий, гвардейские дивизии и казачьи полки. Во главе отрядов стояли офицеры, знакомые с приемами партизанской войны горцев Кавказа.

Трехсоттысячной вышколенной армии противостояли отряды восставших, общая численность которых не превышала 40 тысяч вооруженных бойцов. Но какое у них было оружие! Большинство повстанцев имело старые охотничьи ружья, уцелевшие от конфискации во время многочисленных обысков и облав. Многие имели косы, вилы, топоры, иные вооружались дубинами. Редко можно было встретить в руках повстанцев дальнобойный штуцер. Несмотря на превосходство сил, каратели с начала боев не одержали решающей победы. Опираясь на сочувствие и поддержку местного населения, хорошо зная родные леса, повстанцы вновь и вновь уходили звериными тропами из окружения.

В дремучие, труднопроходимые леса стекалась городская молодежь. Из университетов Петербурга, Москвы, Дерпта, Казани, Киева сотнями съезжались студенты...

Общее руководство восстанием в Литве осуществлял Виленский революционный комитет, в составе которого было несколько друзей Сераковского. Крестьяне Литвы и Белоруссии нападали на воинские команды, расставленные по селам, и не принимали условий грабительской реформы. Однако склонить чашу весов борьбы в свою пользу повстанцы все еще не могли. Время шло, лучшие люди гибли в неравной борьбе.

...Последние известия из Вильно и Варшавы потрясли Сераковского. Воспользовавшись отъездом революционной молодежи на театр военных действий, к руководству организацией повстанцев пробрались лица, страшившиеся крестьянских топоров более, чем царских войск. Друг Сераковского, пламенный белорусский революционер Кастусь Калиновский был отстранен от руководства восстанием. Правда, большинство повстанческих отрядов Литвы и Белоруссии не признавало новое руководство. Уж слишком явно защищало оно интересы польской аристократии.

В конце марта 1863 года Сераковский выехал из Петербурга. Официально он получил двухнедельный отпуск для поездки за границу. На самом же деле он намеревался пробраться к восставшим в Литву, а из Вильно послать военному министру рапорт об отставке. До сих пор он помогал повстанцам, оставаясь в столице, тайно руководя отправкой офицеров, оружия и боеприпасов, поддерживая контакт с русскими революционными организациями. Теперь, когда пламя борьбы уже бушевало, он не мог оставаться в столице. В Литве и Белоруссии решался вопрос, перейдет ли польское национальное движение в крестьянское,

распространится ли оно далее на восток, удастся ли восставшим польским дворянам найти общий язык с литовскими и белорусскими крестьянами. Товарищи звали Сераковского в Литву, и он не мог не откликнуться на их зов.

В Вильно Сераковский остановился в гостинице Нашковского и в первый же день приезда нанес визит генерал-губернатору Назимову — командующему войсками Виленского военного округа. Это был несколько необычный визит. Нужно было не только выполнить формальность, но и попытаться разузнать о намерениях царского командования. Назимов, однако, больше интересовался новостями из столицы, жизнью двора, расспрашивал о здоровье членов августейшего дома — он был в молодости воспитателем Александра, в то время еще наследника. В завязавшейся беседе он «бросил все же несколько фраз, из которых было видно, что командующий войсками считает мятеж уже подавленным и в этом духе составляет донесение военному министру.

Сераковский, слушая светскую болтовню Назимова, рассеянно поддакивал ему и кивал головой. Мысли его были далеко. Что противопоставить царским войскам, стянутым в Литву? Как поднять народ, крестьян, чем вооружить их?

Вечером в номере у Сераковского собрались несколько офицеров, вместе с ним готовившихся перейти к повстанцам. Разложив на столе военно-топографические карты, долго обсуждали сложившуюся обстановку. Было решено, что Сераковский выедет в Жмудь и возглавит повстанцев, действующих у морского побережья. Звездовскому — капитану генерального штаба, старому товарищу Сигизмунда — предложили выехать в восточную Белоруссию и поднять там восстание местных крестьян. Остальные офицеры должны были выехать в отряды, действовавшие на Виленщине и Гродненщине. Было решено, что к концу апреля отряды повстанцев продвинулись на восток. К этому времени должны были начать активные действия революционные силы внутренней России. Революционные эмигранты в Лондоне и Париже должны были закупить и доставить к месту боев оружие и боеприпасы. Решающим участком борьбы считали приморские районы Литвы.

Ночью, проводив друзей, Сераковский написал военному министру Милютину письмо, в котором сообщил, что переходит на сторону восставших соотечественников и иначе поступить не может.

10 апреля 1863 года командующий карательными войсками в Ковенской губернии генерал-лейтенант кавалерии Лихачев получил тревожное сообщение о концентрации крупных повстанческих сил в окрестностях уездного города Поневежа. Доставивший донесение раненый офицер заявил, что его обстреляли и он едва ушел от погони.

Сообщение это не было для Лихачева полной неожиданностью. Уже несколько дней губернский город был как бы в невидимой осаде. Паромы бездействовали. Почтовая связь прервалась. Лишь два-три раза в неделю из Вильно приходили под сильным конвоем транспорты. В уездные города пробиваться было трудно. Распоряжения губернских властей не доходили на места, а если и доходили, то их некому было выполнять. Большая часть канцеляристов ушла в леса к повстанцам. Оставшиеся чиновники если и сохранили верность престолу, то не имели сил ему служить. Полиция повсеместно была объята страхом и бездействовала. Крестьяне прекратили отбывание повинностей в пользу владельцев имений. Налоги не собирались. Колонны войск, посланные против восставших, кружили по лесам, и нельзя было понять, то ли они преследуют повстанцев, то ли повстанцы гоняют на корде царских генералов.

— Умы в отчаянии! Народ потерял веру в силу законной власти, — твердили Лихачеву чиновники, требуя принятия энергичных мер.

Об этом же писал теперь и барон Мейдель — старый сослуживец Лихачева, командовавший войсками в северо-восточной части губернии. Барон доносил, что в жмудских лесах у мятежников объявился новый предводитель — Доленга. Он вполне оправдывает свою кличку, ибо в самом деле действует ловко. По слухам, он назначен на пост военного руководителя мятежных сил всей Литвы. Начальники шаек — так именовал барон командиров отрядов восставших — приняли назначение Доленги с радостью, и многие поспешили к нему на соединение.

Среди примкнувших к Доленге отрядов Мейдель назвал отряд Болеслава Кольшко (в прошлом студента Московского университета) и отряд Антона Мацкевича — местного ксендза, первым поднявшего знамя восстания в губернии. Лихачев уже многое слышал и о них. Не раз Кольшко и Мацкевич били карательные отряды, но более всего генерала тревожило сочувствие населения к этим партизанским предводителям.

Мейдель писал, что у Доленги до 10 тысяч бойцов, и если не принять неотложных мер, то нельзя поручиться за последствия. В занятых селах мятежники повсюду провозглашают низложение с престола государя императора, обещают крестьянам землю. Хуже всего, что крестьяне верят

коммунистическим посулам атаманов и сотнями пристают к ним. Во многих деревнях все взрослое мужское население ушло в леса. При приближении войск села пустеют. Повстанцы безнаказанно разъезжают по всему краю, их конные отряды врываются в крупные местечки. Собирая народ у костелов, инсургенты оглашают какие-то манифесты о безвозмездном наделе мужиков землей, об уничтожении налогов и повинностей, разоружают полицию и мелкие воинские команды, призывают народ встать на защиту обретенной земли и свободы. Мейдель сообщал далее, что наличных войск едва хватает для охраны уездных городов и местопребывания епископа Велончевского.

По опыту трех месяцев борьбы Лихачев знал, что барон преувеличивает, как это делают все отрядные командиры, выдавая разезд повстанцев за кавалерийскую колонну, а сотню вооруженных косами мужиков — за несметные скопища. Однако задуматься было над чем. Полученные из Вильно депеши, прибытие в Палангу личного представителя военного министра настораживали.

Вызвав адъютанта, Лихачев продиктовал ряд приказов, решив наступать. Барону Мейделю он предложил немедленно атаковать лагерь Доленги, извещая, что вышлет в том же направлении сильную колонну со стороны Ковно, дабы совокупными действиями взять мятежников в клещи и принудить сложить оружие. В Вильно под усиленным конвоем было направлено обширнейшее донесение с просьбой выслать в губернию один из вновь прибывших гвардейских полков. Затем Лихачев принял депутацию немецких колонистов и помещиков — владельцев имений в Ковенской губернии. Он выслушал жалобы растерявшихся и напуганных дворян; они сетовали на судьбу и правительство, соблазнившее их приобрести имения в таком известном мятежными традициями крае. Лихачев посоветовал им не скорбеть об утраченных окороках и конфискованной восставшими старке. Затем генерал предложил помещикам создать из числа преданных слуг и охотников-егерей несколько подвижных отрядов в помощь войскам, которые, плохо зная местность, без пользы блуждают по лесам.

Беседа с помещиками, усердно поддакивавшими генералу, исполнительность штабных офицеров, дававших понять, что они одобрительно относятся к решимости, проявленной, наконец, их начальником, — все это несколько успокоило генерала. Подписав приготовленные бумаги, он пообедал с предводителями дворянства, а затем пошел к себе вздремнуть часок-другой.

Успел ли Лихачев досмотреть сон, осталось неизвестным.

Разбудивший его адъютант доложил: прибывший из Паланги гонец сообщил, что к побережью Литвы приближается морская экспедиция мятежников. Она намерена высадить на берег где-то между Мемелем и Палангой крупный десант с пушками, которых до сих пор, слава богу, у мятежников пока не было. Во главе экспедиции будто бы стоит Михаил Бакунин. А это еще хуже пушек!

— Что-то будет! — тревожно шептал Лихачев, застегивая мундир. — Господи! Спаси Россию, государя и нас, грешных!

*

В повстанческом лагере, разбитом в дремучем лесу в окрестностях местечка Шоты, царило оживление. Голоса людей, стук и лязг, конское ржание стояли над пущей. То и дело скакали всадники, подходили и уходили партии вооруженных и безоружных людей. В стороне, в походной кузне, лили пули, катали дробь, гнули железные полосы, ковали наконечники копий. Тут же тесали свежесрубленные березы, ладили к палкам косы и готовые наконечники копий. На небольшой поляне группы молодых крестьян обучались воинскому делу. Особенно оживленно было около старого дуба, на сучьях которого висел портрет царя вверх ногами — мишень для стрелявших. Удачные выстрелы сопровождались шутками и смехом, что, впрочем, было не так часто. Большинство обучавшихся впервые держало в руках огнестрельное оружие. У шалаша в окружении группы мужиков, как видно недавно подошедших к лагерю, стоял Доленга.

В редколесье метнулся всадник и вскоре осадил у шалаша взмыленного коня.

— Пан воевода! Со стороны Рогова идут солдаты, видимо-невидимо! И пехота и пушки, а впереди казаки да уланы. Янек проводником у них. Ведет, видно, по дороге через греблю.

Доленга благодарит гонца, жмет ему руку. Расторопный адъютант воеводы спешит собрать офицерский совет. Разговор, прерванный гонцом, продолжается. Крестьяне просят дать оружие. К ним присоединяется вновь прибывший гонец. Он просит и ему дать «стрэльбу». Гонец добавляет, что сверстники ушли из села, а его держали для связи, потому что имел доброго коня. Он старший в семье и не может оставаться дома. Земли у них нет, кто же добывать будет?!

Плотное кольцо мужиков колыхнулось. Загомонили все сразу. Доленга

поднял руку, попросил высказаться кого-либо одного.

— Да вот он уже высказал, — показывает на гонца пожилой загорелый крестьянин со шрамом на лице. — Земли нет! Как добыть ее, где? Все мы, — крестьянин повел рукой вокруг, — пришли к тебе, воевода, за правдой. Говорят, глубоко ее, правду-то, паны запрятали. А теперь настало такое время, что всякий по-своему ее толкует. Был у нас на страстной неделе становой. В имение всех нас согнали, читали бумагу, что царь волю дает и справедливость в подушном обещает. Эконом рядом стоял, тоже головой кивал. Так на наш мужицкий разум выходит, что тут обман. Как же так? Добро нам, мужикам, обещано, и пан эконом вроде бы с тем согласен.

Толпа вновь гудит. Крестьянин продолжает:

— А намердны были у нас панычи верхами. Тоже читали «манихвест», всем землю сулили, а подушного, говорили, совсем не будет и станового тоже. Всяк, значит, себе сам хозяин. А вот про пана нашего ничего не сказали. А мы все, — крестьянин опять повел рукой, — батрачим у пана. Земли-то у нас нет. Да что там земли! Халупы своей не имеем. И вот он, — говорящий показал на молодого гонца, — тоже, как и мы, кутник в графской экономии. Ты нас, воевода, за правду поднял, а где же правда? Землю-то панскую нам дадут аль нет?

Не раз уже говорил Доленга с мужиками, влившимися в его отряды. Но впервые перед ним так ясно, в простых, бесхитростных словах крестьянина встали вопросы, мучившие и его. Как часто спорил он с товарищами, обсуждая замыслы восстания. Кажется, обо всем тогда договорились, все предусмотрели. Теперь долгожданный миг наступил. Поднялся народ. Сотни глаз смотрят с надеждой. Что-то скажет воевода!

Знал Сераковский, каких слов ждут от него мужики, Литва ждет. Душой и сердцем был с ними.

Национальное правительство в Варшаве — верховный вождь восстания — строго запретило всякие покушения на помещичьи земли. Не согласен был Доленга с приказом, но послушаться не мог. Надеялся, что со временем, подняв народ, можно будет изменить состав временного правительства. Вот тогда во всю мощь развернется крестьянская война. Потекут под его знамена мужики со всех сторон, пойдут на Петербург, на Москву и Варшаву, пойдут на помещиков с кличем: «Вся земля мужицкая! Выкупу никакого! Убирайтесь, помещики, пока живы!» Что сможет остановить эту лавину?!

Пронеслись и исчезли радостные надежды, молнией опалив мозг. Всего этого сразу не выскажешь столпившимся вокруг косинерам. Эти-то, пожалуй, поймут его, но ведь в отряде не одна сотня дворян. Согласятся ли

они с потерей дедовских вотчин? Тревожно на душе. Но он заговорил спокойно, уверенно.

— Братья! Национальное правительство над всем краем Литовским и Белорусским поручило мне поднять вас, братья, на святую борьбу за волю, за землю. В отечестве, которое мы отстоим собственной грудью, всем будет хорошо. Кто бы ты ни был — мужик или пан, мещанин или ксендз, еврей или литвин — будешь свободным. Все будут равны, все свободны!

Говорил и следил за обращенными к нему лицами. Видел, как загораются надеждой и доверием глаза. Звенит голос Доленги над поляной, распрямляются плечи крестьян, крепче сжимают они в руках свое немудреное оружие.

— Братья! Мы встали против кривды, против глума. Как брат братьям, как вольный вольным говорю вам. Все будут иметь свою землю, свою хату! Без этого нет счастья человеку!

— Верно, — гудели в ответ сотни глоток. Потрясая оружием, повстанцы требовали, чтобы воевода вел их в поход.

Доленга говорил, что народное войско уже прогнало из сотен сел и деревень станowych и казаков. Паны экономы не глумятся над народом, не требуют больше дани, не гонят мужика на панщину. Ассесоры не собирают подушный. Попы, чиновники, офицеры дурят народ, говоря, что царь дал новую волю, что посредники отмеряют землю мужику.

— Не верьте! — восклицает Доленга. — Идите к односельчанам, скажите им: теперь настало время, когда каждому достанется столько земли, сколько сам себе отмеряет и нарежет саблей. Так я говорю, братья?! — И слышит гул восторженного одобрения. — А кто встанет против того, толкните своей мужицкой рукой, гоните в шею! Кто бы он ни был — пан или ассесор, хоть сам губернатор! И будет у нас справедливая воля!

— Ура! — крикнул мужик со шрамом, и возглас его подхватила толпа.

— На виселицу пана! — крикнул гонец.

И вновь толпа отозвалась могучим эхом:

— На виселицу!

Поплыли над лесом звуки рожков. Загремели фурманки, зазвенело оружие. Вдоль строившихся рядов в голову колонны пронесли знамя. На колыхавшемся голубом шелке земной шар серебрился в золотистых лучах солнца. Броско на русском и польском языках было выведено: «За вашу и нашу свободу!» Повстанческое войско Доленги-Сераковского выходило навстречу карательным отрядам барона Мейделя.

С высокого дуба отчетливо виднелись гребля, разрезавшая болотистое редколесье, казачий разъезд, крутившийся на опушке, узкая змейка дороги,

терявшаяся вдали. Лес был безмолвным. Казаки проскакали. Показалась колонна войск: всадники, пехота на подводах, артиллерийские упряжки. Отряд явно спешил. Очевидно, офицеры надеялись атаковать на рассвете повстанческий лагерь, а до него оставался еще добрый десяток верст. Когда колонна вышла на греблю, Доленга подал условный знак. Стреляя из-за завалов, почти в упор, повстанцы первым же залпом произвели большое опустошение в рядах неприятеля. На гребле все смешалось. Лошади вставали на дыбы, рвали построения, телеги падали под откос. Солдаты катились вниз в коричневую грязь. Крики людей, лязг железа.

Выстрелы вдруг заглушило громкое нестройное «ура». Часть солдат, развернувшись под огнем в цепь, с ружьями наперевес пошла в атаку на заросли, решив, очевидно, проложить дорогу штыками. Один из повстанческих офицеров (Доленга узнал в нем Болеслава Колышко), крутя клинком над головой, вел навстречу солдатской цепи густую волну косинеров.

«Горячится Болеслав, — подумал Доленга, — надо бы еще дать залп, другой, а потом уже поднять людей». Но, захваченный горячкой боя, уже сам рвался вперед, бросаясь во главе резерва в гущу дравшихся врукопашную.

Через полчаса, когда кровавый диск солнца встал над лесом, все уже было кончено. Часть солдат пробилась через ряды повстанцев и ушла по ковенской дорроге, многие рассеялись в лесу. Казаки и уланы ускакали. Гребля была покрыта трупами. В болоте торчали застрявшие артиллерийские передки и опрокинутые пушки со снятыми замками. Повстанцы перевязывали раненых — своих и чужих.

Победа под Роговом позволила повстанцам закончить формирование. В лесу между местечками Кнебье и Оникшты был разбит лагерь. Собравшиеся отряды и партии добровольцев — всего около двух тысяч человек — были разделены на батальоны и роты. Из-за недостатка огнестрельного оружия только треть бойцов была вооружена ружьями и трофейными штуцерами. В каждый батальон, помимо стрелков, входили роты косинеров. Усиленно обучали собранных людей воинскому искусству. По окрестным селам, как и прежде, рассылались небольшие конные партии для ознакомления населения с программой восставших, вербовки добровольцев, уничтожения местных органов царской администрации.

Из лагеря при Кнебье Доленга намеревался двинуться под Динабург — сильную крепость на Двине, прикрывавшую железную дорогу Петербург — Варшава. В гарнизоне крепости действовала революционная группа. При подходе повстанцев к цитадели она намеревалась поднять восстание и

содействовать взятию крепости. В случае удачи в руки восставших переходили огромные запасы оружия и снаряжения, коммуникации карательных войск перерезались, открывалась возможность продвижения в глубь страны на соединение с крестьянами центральных губерний. В Поволжье русские революционеры должны были поднять восстание и двинуться на Москву с востока.

К этому же времени ожидалось прибытие из Лондона к побережью Литвы морской экспедиции, подготовленной революционной эмиграцией с участием Герцена, Бакунина, Маццини. Для обеспечения высадки десанта Сераковский выслал к Паланге два лучших отряда под командованием Яна Станевича-Писарского и Болеслава Длусского-Яблоновского, имевших большой военный опыт. Прославленные командиры уже не раз одерживали победы в боях с превосходящими силами карателей. Их отряды были лучше вооружены и обучены. Доленга полагал, что военное счастье будет сопутствовать им и в этой операции.

Пять дней провели повстанцы в лагере под Кнебье и двинулись к Динабургу. Двигались по почтовым трактам плотной колонной, выслав вперед и по сторонам кавалерийские разъезды.

Каратели, разбитые под Роговом, все еще не решались нападать на сильный повстанческий отряд. Используя передышку, Сераковский хотел показать населению военную мощь повстанцев, ободрить крестьян и жителей местечек, а заодно и поднять моральный дух своей небольшой армии.

Поход повстанческого войска напоминал триумфальное шествие. Жители селений выходили навстречу с хлебом и солью. Сотнями прибывали добровольцы. Крестьянки подводили к воеводе своих сыновей, прося зачислить их в отряд. Можно было образовать ополчение в десятки тысяч бойцов, но не было оружия и командиров.

Доленга принимал в свое войско только добровольцев с оружием. Энтузиазм населения, однако, был так велик, стремление сражаться так владело молодежью, что за колоннами повстанцев шли толпы молодых крестьян, ожидая зачисления в отряды.

В местечке Субочь Доленга получил известие, что заговор в Динабурге раскрыт, там идут аресты офицеров — членов нелегальной организации. Движение к мощной цитадели становилось в этих условиях не только ненужным, но и опасным. Собственными силами, не имея ни одного артиллерийского орудия, нечего было и думать о штурме крепости. Не было отрядных сообщений и о морской экспедиции. Назначенные сроки высадки десанта прошли. Отряды Станевича и Длусского вели упорные

бои, маневрируя вблизи побережья, куда царское командование стянуло дополнительные контингенты войск.

Приходилось на ходу менять план борьбы.

На экстренном военном совете было решено: минуя укрепленный район Динабурга, прорваться в Курляндию, где царских войск было сравнительно мало, и поддержать борьбу крестьян-латышей с немецкими баронами. Доленга полагал, что таким путем в тылу карательной группировки войск, находившейся в Литве, возникнет новый очаг восстания с перспективой дальнейшего распространения пламени борьбы на восток. Сподвижники согласились с его предложением.

За Субочем в лесу Доленга остановил отряды и, разбив их на три колонны, приказал двигаться по лесным дорогам параллельным маршем к местечку Биржи, что у самой границы с Курляндией. Там колонны должны были соединиться вновь. Многие недоумевали, почему после блистательной победы надо прятаться от дружески настроенных крестьян, обходить населенные пункты, где к услугам повстанцев было все, что нужно. Между тем принятое решение было, по-видимому, единственно верным. Доленга получил сообщение, что в район Кнебье вышел гвардейский Финляндский полк и форсированным маршем двинулся по следам повстанцев, на ходу присоединяя к себе встречающиеся карательные отряды. Надо было избежать преждевременного столкновения с хорошо вооруженной гвардией царя и вывести из-под удара еще не окрепшие, плохо вооруженные повстанческие силы. Приходилось маневрировать, путать след.

Одного только не знал вождь восстания. Каратели тоже кое-чему научились за три месяца борьбы с повстанцами. Командир Финляндского полка генерал Ганецкий получил в свое распоряжение специальный отряд, сформированный немецкими баронами. Отряд состоял из егерей — метких стрелков, следопытов, знавших леса Литвы и Курляндии. Они-то и вели теперь отряды Ганецкого. Укрыться от них в лесных дебрях было невозможно.

25 апреля в редколесье неподалеку от местечка Биржи встретились две колонны повстанцев. Третья, шедшая кружным, более долгим путем, ожидалась к рассвету. Утомленные маршем, повстанцы расположились на бивак. Офицеры собирались к палатке Доленги, как вдруг послышалась стрельба дозорных. Вслед за тем горнисты заиграли сигнал к атаке. Повстанцы, не успев принять боевой порядок, попали под обстрел.

Вначале Доленга полагал, что имеет дело с армейской пехотой, оправившейся после поражения у Рогова. Вскоре он в бинокль увидел

гвардейские мундиры. Первый натиск гвардии отбили. Стрелки, рассыпавшиеся по опушке, задержали атакующие цепи и дали возможность построиться косинерам. Вскоре бой перешел в рукопашную схватку. Несколько штыковых атак гвардейцев было отбито крестьянами, вооруженными пиками и топорами. Однако повстанцы потеряли лучших офицеров, сражавшихся в первых рядах, чтобы личным примером воодушевить необстрелянных крестьян. Тяжелые потери не были случайными. Перед атакой Ганецкий приказал егерям прежде всего вывести из строя командный состав повстанцев. Охотникам, бившим зверя в глаз, не стоило труда различить в атакующих цепях командиров. К тому же гвардейцы вели прицельный огонь даже в перерывах между атаками, не давая повстанцам перестроиться. Последние же стреляли только на расстоянии нескольких десятков шагов.

Вечером во время очередной штыковой атаки центр повстанцев дрогнул. Часть косинеров побежала. Нависла угроза прорыва боевых порядков. Сераковский вскочил на коня и бросился бегущим наперерез, стремясь прекратить начавшуюся панику и обеспечить планомерный отход. В какой-то мере ему это удалось. Повернув бегущих, он, не сходя с коня, повел их в атаку, но вскоре упал раненый.

Ночь, опустившаяся на поле боя, прервала сражение. Повстанцы отошли, сохранив обоз, вынеся раненых. Среди них был и Доленга. Охотничья картечь ранила его в спину, затронув позвоночник. Наскоро перевязанный, он лежал у костра, отдавая последние распоряжения. Было решено переправить его за границу. Об ином решении нечего было и думать. Перед тем как расстаться с повстанцами, Доленга позвал к себе представителей батальонов. Сам представил им нового командующего, наказал слушаться его во всем. Добавил, что рана тяжела, но он надеется скоро вернуться.

Раненого временно укрыли в небольшом охотничьем домике какого-то местного помещика. В ближайшее имение послали людей, чтобы добыть рессорную коляску. Но на рассвете домик неожиданно был окружен ротой солдат. Офицер, открыв дверь, предложил сложить оружие. Сопrotивляться было бесполезно. Двадцать повстанцев — из них половина с тяжелыми ранениями — не могли и помышлять о прорыве и спасении. Оказалось, что посланные за коляской люди были задержаны помещицей. Она известила Ганецкого, что в лесу скрывается группа раненых повстанцев.

Тяжело раненного Сераковского повезли в Вильно. Ганецкий гордился, что ему удалось пленить воеводу Литвы. Судьба Сераковского была предрешена.

В Вильно свирепствовал новый генерал-губернатор Михаил Муравьев. Было время, когда он входил в организацию декабристов. Потом стал видным николаевским сановником и стяжал печальную славу циничным заявлением: он не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают. С первых же дней пребывания в Вильно Муравьев оправдал позорную кличку «вешателя». Не скрывал он своих намерений и в отношении Сераковского. На просьбы не расстреливать раненого губернатор с тем же цинизмом заявил, что он не расстреляет, а повесит его.

Сераковского поместили в военный госпиталь. Ганецкий расставил вокруг усиленные караулы. К раненому были приставлены гвардейские унтеры вместо сиделок. Ганецкий явно переусердствовал. Раненый не мог сам даже подняться. Муравьев же полагал, что Сераковский притворяется. Он приказал начать военно-полевой суд немедленно. Суд начался 8 июня прямо в палате госпиталя. Сераковский заявил, что требует гласного заседания, и не ранее, чем восстановятся его силы и он сможет вполне отчетливо вспомнить прошедшие события и вразумительно отвечать на предложенные вопросы.

Комиссия запросила мнение врачей. Военный доктор Гаврила Родионович Городков, осмотрев раненого, заявил: больной находится в таком тяжелом положении, что нельзя поручиться за благополучный исход, поэтому надо оставить его в покое на две-три недели.

Городков был знаком с Сераковским еще по Петербургу, встречался с ним у Чернышевского и теперь специально добился назначения в виленский госпиталь, чтобы быть около друга. Хотя Сераковский был очень слаб, но не выдал своего волнения при неожиданной встрече с Городковым. Последний успел шепнуть ему слова ободрения, сообщить, что товарищи в столице неустанно хлопочут об отсрочке суда, что, возможно, удастся организовать побег. Сераковский, однако, отверг всякую мысль о побеге, заявив, что не желает быть невольной причиной возможных при этом жертв и будет требовать гласного суда. На нем он намерен защищать правое дело восставших перед общественным мнением России и Европы. Это единственное, чем он еще может служить народу.

Муравьев-вешатель между тем не дремал. Он послал в госпиталь какого-то спившегося лекаришку. Тот поспешил заявить, что раненый здоров. Так авторитетом медицины пытались прикрыть готовившуюся расправу.

Последние формальности были выполнены. 11 июня 1863 года военно-полевой суд вынес у госпитальной койки смертный приговор. Собрав последние силы, вождь восстания, приподняв голову, заявил: «Суд надо

мной должен быть гласный!» Но «вешатель», получив протокол судебного заседания, начертал: «Соглашаясь с мнением военно-судебной комиссии, я определяю: Сераковского казнить смертью, но вместо расстрела — повесить, исполнив приговор над ним в Вильно, на одной из площадей города, публично».

Сераковский писал в те дни жене:

«Анели моя! Узнал вчера, что жить и быть свободным могу под одним лишь условием — выдачи лиц, руководящих движением. Не знаю никого, но гневно ответил, что если б и знал, то и тогда не сказал бы. Дано мне понять, что подписал свой смертный приговор. Если надо умереть — умру честным и незапятнанным... Считай, что в понедельник я буду мертв!»

15 июля базарная площадь Лукишки в Вильно была запружена народом. Шпалерами выстроились войска. Мертвая тишина встала над площадью, когда показалась коляска с осужденным. Сераковский полулежал в ней, опираясь на плечи госпитального служителя и ксендза. Не снимая раненого с коляски, прочли приговор. Услышав заключительные слова «казнить через повешенье», Сераковский воскликнул, что протестует перед лицом всей России и Европы.

Полицмейстер махнул рукой. Барабанная дробь заглушила последние слова осужденного. Коляска встала перед виселицей. Палач набросил саван, разбередив разбитый позвоночник. Теряя сознание, раненый заметался. По площади пронесся гул возмущенных голосов. Даже издававшие виды солдаты отворачивались и закрывали глаза.

*

Читатель! Если ты побываешь в Вильнюсе, ты увидишь на одной из самых красивых площадей города плиту из серого мрамора. На ней выбиты имена Константина Семеновича Калиновского и Сигизмунда Игнатьевича Сераковского — двух прославленных вождей восстания 1863 года, в котором плечом к плечу против царского самодержавия сражались русские и поляки, белорусы и литовцы. Зелень молодых лип, посаженных благодарными потомками, шумит над плитой, установленной на том месте, где некогда оборвалась жизнь славных борцов за свободу.



КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЭПОХИ ПАДЕНИЯ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ^[21]

21 июня 1853 — Начало военных действий на фронтах Восточной войны 1853–1856 годов.

Конец 1853 — Начало деятельности Н. Г. Чернышевского в «Современнике».

1853 — Основание А. И. Герценом Русской вольной типографии в Лондоне.

18 февраля 1855 — Смерть Николая I. Начало правления Александра II.

28 августа 1855 — Конец обороны Севастополя.

1855 — Начало издания А. И. Герценом журнала «Полярная звезда».

1855 — Возникновение в Москве тайного общества «вертепников» во главе со студентом Московского университета П. Н. Рыбниковым.

Весна 1856 — Приезд Н. П. Огарева в Лондон. Начало его деятельности совместно с А. И. Герценом в Русской вольной типографии.

18 марта 1856 — Подписание Парижского мирного договора между государствами — участниками Восточной войны.

30 марта 1856 — Речь Александра II перед предводителями московского дворянства — первое правительственное заявление о необходимости отмены крепостного права.

13 ноября 1856 — Оформление тайного революционного общества Бекмана, Муравского и других в Харькове.

Осень 1856 — Начало деятельности Н. А. Добролюбова в «Современнике».

Начало 1857 — Составление Н. П. Огаревым «Записки о тайном обществе» — плана общероссийской революционной организации.

3 января 1857 — Начало деятельности правительственного Секретного комитета по устройству быта помещичьих крестьян.

1 июля 1857 — Выход первого номера «Колокола».

1857 — Начало студенческих волнений в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, Казани.

16 февраля 1858 — Преобразование Секретного комитета по устройству быта помещичьих крестьян в Главный комитет по крестьянскому делу.

4 марта 1859 — Начало деятельности правительственных редакционных комиссий во главе с Я. Ростовцевым для выработки проекта Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

Май — июнь 1859 — Разработка Н. П. Огаревым программы общероссийской революционной организации (рукопись «Идеалы»).

Июнь 1859 — Встреча Н. Г. Чернышевского с А. И. Герценом в Лондоне.

Конец 1859 — Адреса либеральных дворянских депутатов от губерний к Александру II с критикой проекта Положений, разработанных редакционными комиссиями.

Конец 1859 — Открытие первых воскресных школ в Киеве, Москве, Екатеринославе, Белой Церкви, Могилеве. Начало массовой революционной пропаганды в воскресных школах.

1859 — Рост крестьянских волнений в ходе подготовки реформы (91 выступление в течение года).

1859 — Образование в Москве тайного революционного общества «Библиотека казанских студентов» во главе с Ю. Мосоловым и Н. Шатиловым.

1859 — Образование в Москве революционного студенческого кружка во главе с П. Г. Заичневским и П. Э. Аргиропуло.

1–4 февраля 1860 — Аресты в Киеве и Харькове главных деятелей харьковско-киевского революционного общества Бекмана — Муравского.

1 марта 1860 — Опубликование в «Колоколе» анонимного «Письма из провинции», содержавшего революционную критику политических колебаний Герцена.

Май 1860 — Отъезд Н. А. Добролюбова за границу.

Осень 1860 — Коллективный протест 115 слушателей Инженерной академии в Петербурге против действий реакционного генералитета.

Декабрь 1860 — Организация Вольной типографии в Москве студентами Я. Сулиным, П. Петровским-Ильенко, И. Сороко, И. Гольц-Миллером и др.

1860 — Усиление крестьянских волнений в ходе подготовки реформы (126 волнений в течение года).

1860 — Поездка Н. А. Серно-Соловьевича за границу. Личное знакомство его с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Начало деятельности Н. А. Серно-Соловьевича в «Современнике».

1860 — Окончательный разрыв руководителей «Современника» Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова с либеральными сотрудниками журнала.

Конец 1860—начало 1861 — Составление Н. Г. Чернышевским революционного воззвания «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».

15 февраля 1861 — Расстрел народной манифестации в Варшаве царскими войсками.

19 февраля 1861 — Подписание Александром II Манифеста и Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

26 февраля 1861 — Смерть Т. Г. Шевченко.

1 марта 1861 — Демонстративная панихида в Петербурге с участием студентов по поводу расстрела манифестации в Варшаве.

5–7 марта 1861 — Обнародование Манифеста и Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

17 марта 1861 — Демонстративная панихида в Москве с участием студентов по поводу расстрела манифестации в Варшаве. Политическая речь П. Г. Заичневского.

27 марта 1861 — Новый расстрел народной манифестации в Варшаве. Начало общего наступления правительственной реакции в Царстве Польском.

Март 1861 — Начало крестьянских волнений в России в ответ на реформу 19 февраля 1861 года. Выступления крестьян в восьми губерниях России.

10 апреля 1861 — Подавление восстания в селах Кандеевка и Черногай Пензенской губернии.

12 апреля 1861 — Подавление восстания в селе Бездна Казанской губернии.

16 апреля 1861 — Демонстративная панихида в Казани, организованная студентами в знак протеста против расстрела в селе Бездна. Политическая речь профессора А. П. Щапова.

19 апреля 1861 — Казнь руководителя восстания в селе Бездна крестьянина Антона Петрова.

Апрель 1861 — Рост крестьянских волнений в ответ на реформу 19 февраля 1861 года. Выступления крестьян в 28 губерниях России.

Май 1861 — Высшая точка крестьянского движения в ответ на реформу 19 февраля 1861 года. Волнения в 32 губерниях России.

Май — июль 1861 — Образование революционного тайного общества «Земля и воля».

22 июня 1861 — Арест П. Г. Заичневского и П. Э. Аргиролуло. Начало процесса «о печатании и распространении злоумышленных сочинений».

30 июня 1861 — Выход первого номера революционного воззвания «Великорусе».

Июнь 1861 — Начало спада крестьянских волнений. Выступления крестьян в 16 губерниях России.

1 июля 1861 — Опубликование в «Колоколе» революционного воззвания «Что нужно народу?» — платформы «Земли и воли».

Июль 1861 — Дальнейший спад крестьянского движения. Волнения крестьян в 12 губерниях России.

Конец августа 1861 — Аресты деятелей московской Вольной типографии, готовивших издание воззваний Н. Г. Чернышевского и Н. В. Шелгунова.

Август 1861 — Возвращение Н. А. Добролюбова из-за границы в Россию.

3 сентября 1861 — Распространение в Петербурге революционного воззвания «К молодому поколению».

7 сентября 1861 — Распространение второго номера революционного воззвания «Великорусе».

14 сентября 1861 — Арест М. И. Михайлова.

15 сентября — Опубликование в «Колоколе» статьи Н. А. Серно-Соловьевича «Ответ Великоруссу».

18 сентября 1861 — Начало осенних студенческих волнений 1861 года в Петербурге.

24 сентября 1861 — Закрытие Петербургского университета в связи со студенческими волнениями.

27 сентября 1861 — Начало осенних студенческих волнений 1861 года в Москве.

Осень 1861 — Издание в Петербурге второго революционного воззвания Н. В. Шелгунова — «Солдатам».

Осень 1861 — Возникновение русской революционной военной организации в Царстве Польском.

4 октября 1861 — Арест В. А. Обручева по делу о распространении «Великорусса».

12 октября 1861 — Массовое избиение и аресты студентов в Петербурге.

12 октября 1861 — Массовое избиение и аресты студентов в Москве.

20 октября 1861 — Распространение третьего номера революционного воззвания «Великорусе».

17 ноября 1861 — Смерть Н. А. Добролюбова.

14 декабря 1861 — Гражданская казнь и ссылка М. И. Михайлова.

Конец 1861 — образование в Царстве Польском партией «красных» Варшавского национального комитета.

1861 — Образование в Литве революционного комитета, руководимого К. Калиновским и В. Врублевским.

15 февраля 1862 — Постановление мировых посредников Тверской губернии, содержащее критику Положений 19 февраля 1861 года и требование созыва собрания представителей от народа без различия сословий.

29 марта 1862 — Опубликование в газете «Северная пчела» протеста 106 офицеров против телесных наказаний в армии.

Март 1862 — Вступление С. С. Рымаренко в общество «Земля и воля».

8 апреля 1862 — Вступление Н. И. Утина в общество «Земля и воля».

14 мая 1862 — Начало распространения революционного манифеста «Молодая Россия».

Середина мая 1862 — Провокационные пожары в Петербурге. Начало всеобщего полицейского террора в России.

30 мая 1862 — Арест С. С. Рымаренко.

31 мая 1862 — Гражданская казнь и ссылка В. А. Обручева.

Май — июнь 1862 — Издание и распространение «Землей и волей» революционных воззваний «Предостережение» и «К образованным классам».

Лето 1862 — Преобразование Варшавского национального комитета в Центральный национальный комитет во главе с Я. Домбровским.

2 июня 1862 — Распространение в Петербурге революционного воззвания «Чего мы хотим?», составленного организацией студентов Медико-хирургической академии.

6 июня 1862 — Арест П. А. Ветошникова — агента лондонского революционного Центра. Начало массовых арестов деятелей «Земли и воли».

13 июня 1862 — Арест юнкера В. В. Трувеллера и гардемарины В. А. Дьяконова за распространение революционных воззваний среди матросов.

16 июня 1862 — Казнь деятелей русской военной организации в Царстве Польском — офицеров И. Арнгольда, П. Сливицкого и Ф. Ростковского.

Июнь 1862 — Закрытие воскресных школ в России, Шахматного клуба в Петербурге и запрещение издания «Современника» и «Русского слова» на

восемь месяцев.

2 июля 1862 — Арест Д. И. Писарева по делу о написании воззвания, содержащего революционную критику брошюры Шедо-Ферроти и обличение царского правительства.

7 июля 1862 — Арест Н. Г. Чернышевского.

7 июля 1862 — Арест Н. А. Серно-Соловьевича, начало «процесса 32-х».

Июль 1862—апрель 1863 — Выход в Литве семи номеров революционного воззвания «Мужицкая пражда», издаваемого К. Калиновским, В. Врублевским и др.

8 августа 1862 — Арест Я. Домбровского.

23 ноября 1862 — Соглашение между обществом «Земля и воля» и польским Центральным национальным комитетом о совместной борьбе против самодержавия и подготовке общего восстания весной 1863 года.

Ноябрь 1862 — Издание в Казани революционного воззвания к крестьянам «Долго давили вас, братцы», составленного студентом И. Н. Умновым.

Конец 1862—начало 1863 — Организация Казанского комитета «Земли и воли».

22 января 1863 — Объявление польского Центрального национального комитета Временным национальным правительством.

23 января 1863 (в ночь) — Начало восстания в Царстве Польском под руководством Центрального национального комитета.

Январь — февраль 1863 — Печатание революционного журнала «Земля и воля» в имении Мариенгаузен Витебской губернии.

Январь — февраль 1863 — Опубликование воззвания «Офицерам всех войск» от имени «Земли и воли».

16–18 февраля 1863 — Распространение в Москве воззвания «Земли и воли» «Свобода» № 1.

19 февраля 1863 — Распространение в Москве и Петербурге воззвания «Земли и воли» «Льется польская кровь, льется русская кровь».

Февраль 1863 — Принятие «белых» в состав польского национального правительства. Диктатура Лянгевича. Начало внутривластной борьбы партии «белых» против партии «красных» в Царстве Польском.

Конец марта — начало апреля 1863 — Начало восстания в Литве и Западной Белоруссии.

2 апреля 1863 — Раскрытие революционной организации студентов и офицеров в Казани, готовившей крестьянское восстание в Поволжье («Казанский заговор»).

15 апреля 1863 — Заключение Н. В. Шелгунова в Петропавловскую крепость.

2 мая 1863 — Побег Н. И. Утина за границу.

15 июля 1863 — Казнь С. Сераковского в г. Вильно.

Июль 1863 — Распространение «Землей и волей» воззвания «Свобода» № 2.

17 октября 1863 — Свержение правительства «красных» в Царстве Польском. Установление диктатуры партии «белых» (диктатура Траугута).

Начало 1864 — Прекращение деятельности «Земли и воли» в России.

10 марта 1864 — Казнь К. Калиновского в г. Вильно.

Март 1864 — Арест правительства Траугута в Царстве Польском. Конец восстания.

19 мая 1864 — Гражданская казнь и ссылка Н. Г. Чернышевского.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. Произведения классиков марксизма-ленинизма

Маркс К., Политические партии в Англии. — Положение в Европе. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 12, стр. 518–521.

Маркс К., Перспективы войны в Европе. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 13, стр. 175–178.

Маркс К., Вопрос об отмене крепостного права в России. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 12, стр. 605–608.

Маркс К., Об освобождении крестьян в России. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 12, стр. 692–701.

Маркс К. Заметки о реформе 1861 года и пореформенном развитии России. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 19, стр. 422–441.

Маркс К. и Энгельс Ф., Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих. Доклад и документы, опубликованные по постановлению Гаагского конгресса Интернационала. Гл. Х. Дополнение. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 18, стр. 428–438.

«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». М., Госполитиздат, 1947.

Ленин В. И., Развитие капитализма в России. Сочинения, изд. 4-е, т. 3, стр. 159–160.

Ленин В. И., Рабочая партия и крестьянство. Сочинения, изд. 4-е, т. 4, стр. 394–395.

Ленин В. И., Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905–1907 годов. Сочинения, изд. 4-е, т. 13, стр. 215–219, 250.

Ленин В. И., Пятидесятилетие падения крепостного права. Сочинения, изд. 4-е, т. 17, стр. 64–67.

Ленин В. И., По поводу юбилея. Сочинения, изд. 4-е, т. 17, стр. 84–92.

Ленин В. И., «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция. Сочинения, изд. 4-е, т. 17, стр. 93–101.

Ленин В. И., Крах II Интернационала. Сочинения, изд. 4-е, т. 21, стр.

189–190.

Ленин В. И., Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? Сочинения, изд. 4-е, т. 1, стр. 111–313.

Ленин В. И., Из прошлого рабочей печати в России. Сочинения, изд. 4-е, т. 20, стр. 223–230.

Ленин В. И., Гонители земства и Аннибалы либерализма. Сочинения, изд. 4-е, т. 5, стр. 15–65

Ленин В. И., Памяти Герцена. Сочинения, изд. 4-е, т. 18, стр. 9–15.

Ленин В. И., Книга Г. В. Плеханова «Н. Г. Чернышевский». «Ленинский сборник» XXV, стр. 206–224.

2. Документы, воспоминания

«Крестьянское движение 1827–1869 гг.». Подготовил к печати Е. А. Мороховец. М.—Л., Соцэкгиз, 1931, вып. 1–2.

«Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного права». Ч. I и 2. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949.

«Рабочее движение в России в XIX веке». Сборник документов и материалов под ред. А. М. Панкратовой, т. 1, изд. 2-е, ч. 1–2. М., Госполитиздат, 1955.

«Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел о проведении крестьянской реформы 1861–1862 гг.». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950.

«Революционное движение 1860 годов». Сборник. М., Всесоюзн. об-во политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1932.

«Польское национально-освободительное движение и Герцен (1860-е гг.)». Статья и публикация И. М. Белявской. «Литературное наследство», т. 63, стр. 751–778.

«Процесс Н. Г. Чернышевского. Архивные документы». Саратов, обл. изд-во, 1939.

«К суду над поэтом М. И. Михайловым». Сообщение Б. Наумова. «Литературное наследство», т. 25–26, стр. 590–592.

«Эмигрантская брошюра «На смерть М. Л. Михайлова». Сообщение К. Кушевой. «Литературное наследство», т. 25–26, стр. 593–605.

«Николай Серно-Соловьевич». Материалы для биографии.

1. Незавершенная рукопись (1862). Публикация И. Б. Володарского. 2. Письмо из Алексеевского равелина (1864). Публикация Г. Ф. Коган.

«Литературное наследство», т. 67, стр. 745–758.

Письма Н. А. Серно-Соловьевича Герцену и Огареву. Приложение: четыре документа о подготовке вооруженного восстания в Сибири. Подготовили к печати А. Р. Григорян, Я. З. Черняк, Н. Д. Шулунов и др. «Литературное наследство», т. 62, стр. 552–570.

Два письма Герцена к А. А. Черкесову и А. А. Серно-Соловьевичу. Публикация А. Ф. Смирнова. «Литературное наследство», т. 67, стр. 741–744.

Письма Н. И. Утина — Герцену и Огареву. Статья и публикация Б. П. Козьмина. «Литературное наследство», т. 62, стр. 607–690.

*

Герцен А. И., Полное собрание сочинений и писем в 22 томах, под ред. М. К. Лемке. Пг., 1919 — М.—Л., 1925.

Огарев Н. П., Избранные произведения, т. 1–2. М., 1956.

Чернышевский Н. Г., Полное собрание сочинений в 16 томах. М., 1939–1953.

Добролюбов Н. А., Избранные сочинения. М.—Л., 1947.

Михайлов М. И., Записки (1861–1862). Пг., «Былое», 1922.

Шелгунов Н. В., Воспоминания. М.—Л., Госиздат, 1923.

Шелгунова Л., Из далекого прошлого. Спб., 1901.

Обручев В. А., Из пережитого. «Вестник Европы», 1907, № 5, стр. 122–155; № 6, стр. 565–595.

Слепцова М. Н., Штурманы грядущей бури. «Звенья», сборник 2. М.—Л., 1933, стр. 386–464.

Антонович М., Воспоминания. В кн.: «Шестидесятые годы». М.—Л., изд-во «Academia», 1933.

Елисеев Г. З., Воспоминания. В кн.: «Шестидесятые годы». М.—Л., изд-во «Academia», 1933.

Пантелеев Л. Ф., Воспоминания. М., Гослитиздат, 1958.

Николадзе Н. Я., Воспоминания о шестидесятих годах. «Каторга и ссылка», 1927, № 4 (33), стр. 29–52; № 5 (34), стр. 28–46.

3. Монографии, сборники, статьи

«Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг.». Сборник. М., Изд-во АН СССР, Ин-т истории, 1960.

Базилева З. П., «Колокол» Герцена. М., Госполитиздат, 1949.

Барабой А. З., Харьковско-киевское революционное тайное общество 1856–1860 гг. «Исторические записки», т. 52, 1955.

Белявская И. М., А. И. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х годов XIX в. М., Изд-во МГУ, 1954.

Володарский И. Б., Н. А. Серно-Соловьевич — выдающийся деятель русской революционной демократии. «Вопросы истории», 1946, № 10.

Зайончковский П. А., Отмена крепостного права в России. М., Госполитиздат, 1954.

Зевин В. Я., Политические взгляды и политическая программа Н. Г. Чернышевского. М., Госполитиздат, 1953.

Ионова Г. И., Рабочее движение в России в период революционной ситуации. В кн.: «Из истории рабочего класса и революционного движения». Сборник памяти академика А. М. Панкратовой. М., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 193–210.

Ионова Г. И., Воскресные школы в годы первой революционной ситуации (1859–1861). «Исторические записки», т. 57, 1956.

Ковальский Ю., Русская революционная демократия и январское восстание 1863 г. в Польше. М., Изд-во иностран. лит-ры, 1953.

Козьмин Б. П., Из истории революционной мысли в России. Избранные труды. М., Изд-во АН СССР, 1961.

Козьмин Б. П., Русская секция I Интернационала. М., Изд-во АН СССР, 1957.

Козьмин Б. П., Харьковские заговорщики 1856–1858 гг. Харьков, изд-во «Пролетарий», 1930.

Левин Ш. М., Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века. М., Соцэкпиз, 1958.

Лемке М. К., Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». Спб., 1908.

Лемке М. К., Политические процессы в России 1860-х годов. М. — Пг., Госиздат, 1923.

Линков Я. И., Очерки истории крестьянского движения в России в 1825–1861 гг. М., Учпедгиз, 1952.

Линков Я. И., Начало революционной агитации А. И. Герцена, обращенной к народным массам. «Исторические записки», т. 66, 1960.

Макеев Н., Н. Г. Чернышевский — редактор «Военного сборника». М.,

Воениздат, 1950.

Нечкина М. В., Рабочие волнения в связи с реформой 1861 года. В кн.: «История пролетариата СССР». М., 1930, сб. 1.

Нечкина М. В., Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен в годы революционной ситуации (1859–1861 гг.). «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», т. XIII, вып. 1-й, 1954.

Нечкина М. В., Н. П. Огарев в годы революционной ситуации. «Известия АН СССР. Серия истории и философии», 1947, т. IV, № 2.

Нечкина М. В., «Земля и воля» 1860-х годов. «История СССР», 1957, № 1.

Новикова Н. Н., Комитет «Великорусса» и борьба за создание революционной организации в эпоху падения крепостного права. «Вопросы истории», 1957, № 5.

Пеунова М. Н., Общественно-политические и философские взгляды Н. В. Шелгунова. М., Изд-во АН СССР, 1954.

Романенко В. И., Мировоззрение Н. А. Серно-Соловьевича, М., Госполитиздат, 1954.

Свинцова М. П., Демократическое движение студенчества в годы революционной ситуации. «Ученые записки Академии общественных наук», вып. 36-й, 1958.

Сладкевич Н. Г., Петербургский университет и общественное движение в России в начале 60-х годов XIX в. Ленинградский университет. Научная сессия 1944 г. Труды отделения исторических наук. Л., 1948.

Смирнов А. Ф., Сигизмунд Сераковский. М., Изд-во АН СССР, 1959.

Таубин Р. А., Революционер-демократ С. С. Рымаренко. «История СССР», 1959, № 1.

Таубин Р. А., Революционная пропаганда в воскресных школах России в 1860–1862 гг. «Вопросы истории», 1956, № 8.

Фатеев П. С., Русский революционный демократ М. И. Михайлов. В кн.: Михайлов М. И., Собрание сочинений в 5 томах, т. I, 1951, стр. 5—128.

Филы у с В. Е., Крестьянский вопрос и русская армия в период подготовки и проведения крестьянской реформы. «Ученые записки Астраханского педагогического института», т. IV, 1955.

Эльсберг Я., Герцен. Жизнь и творчество. Изд. 3-е, М., Гослитиздат, 1956.

Ястребов Ф., Революционные демократы на Украине. Киев, Изд-во АН УССР, 1960.

notes

Примечания

В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 5, стр. 26.

В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 17, стр. 97.

В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 17, стр. 100

В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 21, стр. 190.

В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. 23, стр. 235.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 29.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 29.

Литературный псевдоним Н. А. Добролюбова.

Так называл Герцен помещиков-крепостников.

Имелись в виду области с нерусским населением.

Подразумевается социализм в тогдашнем, утопическом понимании.

Правительство Женевского кантона — одного из 25 кантонов, составляющих Швейцарскую конфедерацию.

То есть секций, работа в которых велась на французском и итальянском языках. В Швейцарии секции разделялись по языковому признаку.

На юридическом факультете учились преимущественно дети состоятельных родителей.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 135.

Уставная грамота — письменное соглашение между помещиком и крестьянами о размежевании земель согласно Положению 19 февраля 1861 года.

Владимирка — дорога, по которой конвоировали ссыльных и каторжников, отправляемых в Сибирь.

Везде и всегда! (итал.)

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 18, стр. 433.

«Слово» («Slowo») — польская газета, издававшаяся в Петербурге в январе 1859 года группой польских прогрессивных деятелей. Сераковский был одним из ее создателей и членом редакции, а его товарищ по университету и друг Иосафат Огрызко — официальным редактором и издателем. Добролюбов, Чернышевский, Шевченко и другие революционные демократы приветствовали выход «Слова». Польский историк Иоахим Лелевель — лидер демократической эмиграции — пожелал новому органу успеха. Публикация его письма в № 15 послужила формальным поводом к запрещению газеты царскими властями. Огрызко посадили в Петропавловскую крепость, откуда, впрочем, вскоре выпустили.

Датировка событий дается по дореволюционному календарю (старый стиль).